

Русская литература

№ 2

Историко-литературный журнал

2006

Издается с января 1958 года

Выходит 4 раза в год

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Е. А. Костюхин . Русский народный роман	3
В. А. Кошелев . Дума гетмана Мазепы и поэма Пушкина «Полтава»	22
Елена Краснощекова (США) . Bildungsroman: из восемнадцатого века в девятнадцатый (трилогия Льва Толстого и «Библиотека моего дяди» Родольфа Тёпфера)	37
Л. В. Сафронова . Поэтика литературного сериала и проблема автора и героя (на материале сериалов «Дикие животные сказки» и «Пуськи бятые» Л. С. Петрушевской)	55

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ. М. К. АЗАДОВСКИЙ

«Удастся ли прорубить эту стену...» (Из писем М. К. Азадовского к Н. К. Гудзю 1949—1950 годов) (публикация К. М. Азадовского)	66
Два отзыва о научной деятельности М. К. Азадовского (публикация Т. Г. Ивановой)	86
Статья М. А. Сергеева о М. К. Азадовском (публикация М. Д. Эльзона)	102

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

С. В. Березкина . Воспоминания А. Н. Вульфа и М. И. Осиповой о Пушкине в записи М. И. Семевского 1880 года	118
О. Л. Фетисенко . Иван Аксаков и «фанатики-фанариоты». П. И. Аксаков и К. Леонтьев. Цензорский доклад К. Леонтьева о сборнике «Взгляд назад»	146
«Заграничные связи нам тоже слишком дороги»: письма З. Гиппиус, Д. Мережковского, Д. Философова к Б. Савинкову. 1912—1913 годы (вступительная статья, публикация и примечания Е. И. Гончаровой) (окончание)	160

Роберт Бёрд (США). Вяч. Иванов и массовые празднества ранней советской эпохи	174
Вячеслав Иванов. К вопросу об организации творческих сил народного коллектива в области художественного действия (публикация и примечания Роберта Бёрда (США))	189
Неопубликованные переводы Николая Гумилева: «Бимини» и «Вицли-Пуцли» Г. Гейне (публикация К. С. Корконосенко)	198

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

В. А. Ромодановская. О русской культуре позднего средневековья и Нового времени	216
А. Ю. Веселова. Новые исследования по русской культуре XVIII века	220
Р. Ю. Данилевский. И. С. Тургенев и права человека («Записки охотника»)	223

ХРОНИКА

Н. Ю. Грякалова, Е. И. Колесникова. Международная научно-практическая конференция «Александр Блок. Современное прочтение, издание, изучение»	226
А. К. Михайлова. Международные научные чтения памяти Вадима Эразмовича Вацууро (1935—2000)	231
В. Е. Багно, Р. Ю. Данилевский, П. Р. Заборов. Юрий Давидович Левин	238

Журнал издается под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН

Главный редактор *Н. Н. СКАТОВ*

Редакционная коллегия:

Е. В. АНИСИМОВ, Д. М. БУЛАНИН, Г. Я. ГАЛАГАН (зам. главного редактора),
А. А. ГОРЕЛОВ, В. Я. ГРЕЧНЕВ, И. Ф. ДАНИЛОВА (отв. секретарь редакции),
Н. Н. КАЗАНСКИЙ, В. А. КОТЕЛЬНИКОВ, Н. Д. КОЧЕТКОВА, А. В. ЛАВРОВ,
Ю. М. ПРОЗОРОВ, В. А. ТУНИМАНОВ, С. А. ФОМИЧЕВ, Т. С. ЦАРЬКОВА

Адрес редакции: 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4.
Телефон/факс (812)328-16-01
e-mail:rusliter@mail.ru

Рукописи не рецензируются и не возвращаются авторам

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ РОМАН

Лубочный роман и жестокий романс давно стали неотъемлемой частью традиционной народной культуры и уже потому могут претендовать на внимание фольклористов. Народный роман — явление пограничное, находящееся на стыке фольклора и литературы. С одной стороны, его можно отнести к «массовой литературе», где есть авторы, где произведение подчиняется законам книжного рынка. С другой стороны, народный роман не просто заимствует фольклорные мотивы и ситуации, но всецело принадлежит царству клише и штампов, в котором нет места авторской индивидуальности. Едва ли не каждый роман открыт для вариативности. Он предназначен не столько для индивидуального чтения, сколько для коллективных читок, что опять-таки не только сближает его с фольклором, но и открывает возможности для устного бытования.

Классической порой лубочного романа признается XVIII век. Все, что было потом, квалифицируется как упадок и угасание.¹ Но подлинный расцвет лубочного романа наступил во второй половине XIX века. Роман продолжал исправно выполнять свои эстетические функции и отвечал ожиданиям многочисленных читателей. И дело не в количественных показателях (рынок наводнен лубочными изданиями, поскольку на него работала целая индустрия) — на смену отдельным образцам пришла литература с ее устойчивым кругом писателей и определенными правилами «литературного этикета». В этом «этикете» традиционный фольклор играет довольно скромную роль, хотя народный роман остается фольклорным по существу.

При всем том народный роман находится как бы вне эволюции. Он, разумеется, приспособляется к новым вкусам, испытывает влияние «большой литературы», но в основе остается неизменным. В XVIII и XIX веках гарцуют на конях одни и те же рыцари, в любовные приключения пускаются одни и те же кавалеры.² Лубочный роман не остался глух к веяниям сентиментализма, романтизма и даже натуральной школы. Структура его, однако, оказалась удивительно устойчивой. Это позволяет говорить о лубочном романе как о цельном феномене и не принимать во внимание его хронологию. Еруслан остается Ерусланом, а Гуак — Гуаком. Поэтому, отдавая предпочтение лубочной литературе поры ее расцвета, мы нередко используем и материал, в хронологическом отношении более ранний. Другими словами, мы рассматриваем народный роман как некое целое, в синхронном плане.

Подобно фольклору, хотя и не всегда под его влиянием, народный роман выработал систему «общих мест» — топосов. Существовал набор повест-

¹ Так, В. Б. Шкловский утверждал: «Творческий рост лубочной литературы в начале XIX века приостанавливается» (*Шкловский В. Б.* Чулков и Левшин. Л., 1933. С. 44).

² Говоря о способах обработки фольклорных текстов в лубочной литературе, К. Е. Корепова замечает, что принципиальной разницы между книгами конца XVIII—начала XIX века и книгами второй половины XIX века нет (*Корепова К. Е.* Русская лубочная сказка. Н. Новгород, 1999. С. 10).

вовательных приемов: сюжетных ситуаций, мотивов, типов персонажей, способов включения автора в повествование и т. п. Оглядывая массив народных романов, замечаешь, что эти приемы выступают в разнообразных сочетаниях, редко меняя свою сущность. Они переходят из романа в роман, образуя причудливые узоры, как в калейдоскопе, причем от перемены мест слагаемых сумма не меняется: они хранят свою автономность, ничего не теряя и не приобретая в новых сочетаниях. Тем не менее преобладание тех или иных топосов позволяет говорить (но с большой долей условности) о разных типах лубочного романа. Перед нами как бы крупноблочное строительство, в котором теряется авторская индивидуальность.

Ведущее место в лубочной литературе занимает роман авантюрный, рыцарский. Это не сколок с западноевропейского авантюрного романа: на русской почве такие романы становились частью народной культуры, жили в тесном соседстве с народной устной прозой и «фольклоризовались», т. е. впитали в себя топику, фольклорную типологию характеров, отдельные стилистические приметы, свойственные сказкам и былинам. Так, Еруслан Лазаревич как две капли воды стал похож на богатыря русских былин, а враги «славянских рыцарей» нередко рисуются теми же красками, что в сказках и былинах.

Однако фольклоризация — лишь одна сторона дела, давно замеченная филологами. Лубочная книга — явление «третьей культуры», живущей отходами артистической культуры прошлого. Для жестокого романа, например, такой артистической почвой стала во многом изжившая себя сентиментально-романтическая поэтика начала XIX века. Народные романы не составляют исключения. И если Еруслан похож на богатыря (вплоть до эпического «общего места» — героического детства, когда будущий богатырь калечит своих сверстников), то Гуак — подлинный рыцарь, получивший соответственное воспитание: «Читая истории героев древности, он воспламенялся, и в огненных быстрых глазах его блистал тот пламень, который он чувствовал в душе своей, всегдашней мыслью его было сравняться с сими великими героями».³ Это топос героической биографии, выработанный поздней рыцарской литературой.

При всей разности содержания в большинстве народных романов есть общее: описываемое в них далеко от действительности. Роман рисует «иную реальность»: или это условно-сказочная страна, не находящаяся на географических картах, расположенная на условном Востоке или неведомо где, или, по крайней мере, какое-либо иное государство.⁴ В редких случаях автор остается в пределах реального, но и тут появляется нечто экзотическое в судьбах романских героев. Независимо от жанровой формы, герои носят непривычные имена, сигнализирующие о их принадлежности иной, более привлекательной действительности: Бова, Маркобрун, Гарвес, Гридон, Гуак и десятки им подобных. Все без разбора зовутся рыцарями.

Художественная эволюция рыцарского романа рисовалась следующим образом: переводная повесть «фольклоризовалась», делалась достойным «народной литературы» и нередко уходила в устную традицию, находя себе место среди народных сказок, примыкая к так называемым «богатырским сказкам». Особенно красноречивые примеры такой эволюции давали повести об Еруслане Лазаревиче и Бове Королевиче. В академической «Истории русской литературы» литературная судьба «Бовы» обрисована следующим

³ Гуак, или Непреоборимая верность. Рыцарская повесть. 7-е изд. М., 1859. Ч. 1—2. С. 9.

⁴ Например: «Страшная месть. Историческая повесть из жизни южных славян» Н. Пазухина. М.: Е. А. Губанов, 1887.

образом: «Русский читатель узнал эту повесть (...) как рыцарский роман, и лишь в итоге бытования повести в среде, тяготеющей к фольклору, она приобрела черты богатырской сказки, а в XVIII веке соседство с галантными „гисториями” стерло рыцарские элементы и превратило Бову и Дружневну в героев любовного романа».⁵

Богатырская сказка — не финальная точка в эволюции популярной повести, превратившейся в конце концов в «любовный роман». Это превращение не состоялось, и «Бова» — произведение синкретическое, остающееся безусловно рыцарским романом, где история любви разворачивается на фоне таких приключений, которые составили содержание так называемых богатырских сказок. Народный роман, напоминаем, составляется из повествовательных блоков, и его особенности определяются тем, какой из блоков оказывается доминирующим. Так, любовная история присутствует во всех народных романах, но ее удельный вес, как нам еще предстоит убедиться, колеблется. Рыцарский роман обязательно включает историю любви, но она разворачивается не сама по себе, а на фоне рыцарских подвигов и приключений. В других жанрах романа этот фон отсутствует или только намечен.

Именно этот, условно говоря, богатырский элемент роднит повести о Еруслане и Бове и отличает их от прочих народных романов рыцарского толка. Самый популярный из этих «прочих», конечно же, «Милорд Георг». А. И. Рейтблат называет его «повестью о верности и любви» и делится наблюдением: «„Милорд Георг” гораздо психологичнее „Бовы” и „Еруслана”, здесь уже анализируются чувства персонажей, значительно больше внимания уделяется мотивировкам поведения».⁶

Откуда появился этот пресловутый психологизм? Дело в том, что богатырские подвиги достаточно самозначимы и не нуждаются в каких-либо мотивировках. Богатырский характер не требует психологических прорисовок. Источник психологического «блока» — литературная традиция, и под ее воздействием богатыри превращаются в рыцарей, склонных к чувствительности, психологическим наблюдениям. Не будем сравнивать психологизм повестей об Еруслане и милорде Георге — обе полны равноценных психологических пассажей в таком духе: «Разговаривая с ней, Еруслан Лазаревич всматривался в ее прелестное миловидное личико и должен был сознаться, что она хотя несколько ниже была красотою супруги его, но зато много превосходила ее какою-то обольстительной, чарующей прелестью в манерах, обращении и уме» (ЛК, 119).

В народных рыцарских романах появляются свойственные литературным образцам XVIII века внутренние монологи, письма и т. п. Именно XVIII век — пора расцвета позднего рыцарского романа, сделавшегося достоянием массовой беллетристики, разменивавшей на мелкую монету достижения не только этого жанра, но и психологической прозы своего времени. Оознавательные знаки этой литературы в лубочных книжках на каждом шагу. Один из этих знаков — макароническая речь, характерная не только для повестей Петровского времени, но и для всего столетия. Герои рассуждают в таком духе: «Возможно ли стать, чтоб у благородного человека была такая безрасудная имагинация?»⁷ «по окончании же танцев экску-

⁵ История русской литературы: В 10 т. М.; Л., 1948. Т. 2. Ч. 2. С. 104. См. также: *Пылин А. Н.* Народная грамотность // Вестник Европы. 1891. № 1.

⁶ Лубочная книга / Сост. А. И. Рейтблат. М., 1990. С. 11. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием: ЛК.

⁷ *Комаров Матвей.* История мошенника Ваньки Каина. Милорд Георг / Подг. текста и комм. В. Д. Рака. СПб., 2000. С. 149. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием: МК.

зовался ей, что не обеспокоил я ее моим поступком» (МК, 245). Если же автор более поздних времен не подвержен лингвистической моде Петровской эпохи, его герои говорят по-прежнему выпренне, вроде: «Ужас шевелит моими волосами и сжимает мое сердце».⁸

Рыцарские народные романы «путешествуют» от литературы к фольклору. Тот же путь, только в обратном направлении, проделывают народные сказки, вошедшие в лубочную литературу. Они тоже занимают промежуточное положение, становясь народными повестями, приключенческими и любовными одновременно. Их тоже можно было бы назвать рыцарскими романами, если бы их героем был рыцарь, но авантюры здесь приходится на долю героя «из простых», например Портупея-прапорщика.

Далеко не всякая сказка, перелицованная лубочным писателем, становится повестью. В такой повести фольклорная поэтика уступает место иной, литературной. Жанр волшебной повести (разновидность романа) создается по мотивам народных сказок. Характерный образец — повесть Валентина Волгина «Чародей и рыцарь» (М.: И. Д. Сытин, 1910). Сюжет ее опирается на сказку об освобождении похищенной царевны. Но на этом сходство и кончается. Повесть становится фантазией на темы народных сказок. Баба яга, железная нога, живет в лесной хижине и превращена в одно из чудищ, с которыми приходится сразиться герою. Ее коронное оружие — огненная слюна. В услужении у яги находится черт безрогий, который превращается в чудесного коня. Среди чудовищ, побежденных богатырем Полканом, ужасный крокодил. Вообще в чудовищах, с которыми сражаются герои народных романов, распознаются черты сказочных драконов, змеев, великанов. Но много и созданий уникальных: «Чудовище это имело туловище лошадиное, голову бычачью с ужасно толстыми и длинными рогами, хвост змеиный, глаза, подобные раскаленным угольям, а изо рта текла кровавая пена».⁹ Не менее выразительно описание чудовища в другом романе — не сказочное по своему содержанию, но с отсылкой к народной сказке: «Это был необъятной величины змий, голова у него четыре сажени квадратных и покрыта вся красивыми (?) шишками, а на голове торчал зеленый, как куст, гребень, из страшной этой пасти торчали по два аршина зубы, глаза наподобие большой воронки, налитые кровью, они сверкали огнем, пламя от него было так велико, что близко подойти к нему не было никакой возможности, брюхо раздутое желтого цвета, лапы по четыре аршина с когтями, хвост четыре сажени, загнут кольцом, цвета серебристого, одним словом: это был такой страшный зверь, что ни в сказке сказать, ни пером написать».¹⁰

Здесь много характерных для традиционных сказок героев и сюжетных ситуаций (герой — богатырь, растущий не по дням, а по часам, в одиночку побивающий вражескую рать, невеста — всегда иноземная красавица, и герой находит ее в чужой земле). Сохраняются сказочные речевые формулы: «Не вели казнить, а вели слово вымолвить!» (ЛК, 22); обращение Бовы к коню: «Стань передо мной, как лист перед травой» (ЛК, 56) и т. п. Как и в фольклорной прозе, ситуации часто оцениваются с помощью пословиц. Так, отец наставляет свою дочь Милитрису: «Ты еще почти ребенок и не можешь

⁸ Заколдованный и чародейственный замок, с приключениями знаменитого рыцаря Гарвеса. М.: Манухин, 1879. С. 40.

⁹ «Страшный волшебник и храбрый могучий витязь Рогдай» Ивана Кассирова. М.: И. Д. Сытин, 1902. С. 50. См. также: Замок смерти, или Храбрый и неустрашимый рыцарь Актар-бей. М.: О. В. Лузина, 1887. С. 19.

¹⁰ Заколдованный и чародейственный замок, с приключениями знаменитого рыцаря Гарвеса. С. 50—51.

понять своего счастья. Не тебе располагать своею судьбою, а мне. У вас, у девиц, волос долог, да ум короток» — и Милитриса принимает решение покориться отцовской воле: «Ведь выше лба уши не растут, а отцу надобно же повиноваться» (ЛК, 23). И к своему возлюбленному Додону Милитриса обращается как фольклорная героиня: «По тебе я все плакала, по тебе вздыхала и вот тебя, моего милого, опять увидала! Ты мой возлюбленный, ты мой суженый, ты мой ряженный!» (ЛК, 27). Если фольклорные цитаты не угадываются непосредственно, то ведет себя героиня согласно народному этикету: «Упала она на колени, бьется об пол, как рыбка об лед, трепещется, стонет, плачет и разливается».¹¹

Если фольклорная стилистика и не избегает фольклорной цитации, то воссоздается она весьма наивными средствами. По понятиям авторов лубочных книжек, герои их должны говорить «народным» языком, да и сами они пишут «по-народному» — складно, ритмизуя повествование: «Принесла она Елистратычу зелена вина ровно два ведра да пирог большой, преогромнейший, а сама пошла в подземельице, что была оттоль в сорока шагах».¹² Подземельице обратилось в существительное женского рода, и подобные языковые фокусы не редкость в таком повествовании: авторы смело меняют привычные слова в угоду «народному слогу»: «Как возьмешь платок, поспешай скорей к Парамонычу, колдуну *лихе*».

Фольклорные формулы тоже не просто «цитируются», а пересказываются по-литературному, разрастаясь в объеме, амплифицируются. «Бова» начинается как будто по-сказочному, но тут же знакомая формула преобразуется: «В некотором царстве, в некотором государстве, за морем синим, за пучиной океанской, на местах раздольных, среди лугов привольных стоял город великий, называвшийся Антон...» (ЛК, 21). Привычная «формула времени» выглядит так: «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается: скоро бабушка блины печет, да опару долго ставит» (ЛК, 32). Красота Милитрисы Кирбитьевны характеризуется формулой, но опять-таки «дополненной»: героиня столь прекрасна, «что ни в сказке сказать, ни пером написать, да и красками ни нарисовать» (ЛК, 21). Фольклорная манера не только воссоздается, но откровенно стилизуется: «После сего взяла она его за руку и повела в свои белокаменные палаты. Там уже были накрыты столы дубовые скатертями браными, а на них стояли яства сахарные, закуски заморские, напитки крепкие, вина пьяные, меды сладкие. Ели они, пили, прохлаждались, друг на друга любовались, вели речи нежные про былое, прошедшее, про свою любовь прежнюю» (ЛК, 27). Это все же не сказочный пир: «прохлаждаются» только двое. А вот и пир, обращенный не столько к фольклору, сколько к реальности Петровской эпохи: «Из пушек палили, в бубны и литавры били, на дудках играли, паяцы комедь представляли» (ЛК, 117). Или обставленная, как положено по законам фольклорной поэтики, отрицательными параллелизмами, но литературная по антуражу картина битвы: «Не туча с тучей в небе сходится, не два сокола слетаются, не два могучие орла дерутся, и не лев со львом грызутся — то два могучие богатыря в чистом поле съезжаются, друг на друга нападают, на копьях потешаются» (ЛК, 85). И герой, «подобно африканскому тигру, собрав отборную дружину, кинулся в самую середину битвы».¹³ Африканский тигр, собирающий

¹¹ «Заколдованный замок, или Несчастливая царевна». Сказка для народа Ивана Кассирова. М.: О. В. Лузина, 1886. С. 15.

¹² Сказка о страшном колдуне Парамоне Парамоновиче и купеческом сыне Елистрате Кузьмиче. Киев: Т. А. Губанов, 1902. С. 28.

¹³ Громобой, новгородский витязь, и прекрасная княжна косоожская Миловзора. М.: И. Д. Сытин, 1910. С. 26.

отборную дружину, — это уже за пределами фольклора. То же и с песнями: нередко они попросту цитируются, но столь же нередко и стилизуются:

Не привез тебе я из-за моря
Платя цветного, чиста золота,
Но привез тебе святой Божий дар —
Совесь чистую, любовь пылкую!¹⁴

Самый же яркий пример — описание богатырской головы, которая стала принадлежностью рыцарского романа XVIII века, перешла в народные романы XIX века и прославлена А. С. Пушкиным в «Руслане и Людмиле». Вот как говорится о ней в «Бове»: «За высокими горами, за глубокими морями было поле мертвое, усыпанное человеческими и лошадиными костями, а на поле том за двести веков тому назад совершилось страшное побоище. На костях лежала живая богатырская голова, величиною со стог сена, а под этой головою хранится наш страшный меч-кладенец, положенный туда злым волшебником Черномором, которого борода была в три аршина, голова поменьше бочонка, а сам он был не больше котенка» (ЛК, 40).

Но сколько бы мы ни подыскивали примеров использования фольклорных формул, это не отменяет главного: перед нами литературное произведение. Фольклорная поэтика в данном случае сигнализирует лишь об одном: это литература народная, поскольку автор не просто эту поэтику «применяет» — она для него естественна, как воздух. Однако, входя в новую для нее литературную среду, фольклорная поэтика становится иной, меняется ее облик. Богатырские похождения, бои с чудовищами и сказочные формулы создавали сказочную реальность с ее откровенным неправдоподобием (чего стоит одна лишь начальная формула с *некоторым* царством, *некоторым* государством!). Реальность народного романа — литературная, где художественная условность допускает возможность существования описываемого. Царство-то некоторое, но есть в нем город с собственным именем — Антон. Где он на карте, этот Антон? Где Гонгольская страна? География народных романов — мнимая, и цель ее одна: создать ощущение необычности, особой экзотики происходящего.¹⁵ Поэтому легко тасуются в народном романе страны и народы. В «Гуаке», например, герой происходит из Флориды, завоевавшей Канаду, соперником его на рыцарском турнире выступает принц, явившийся с Суматры, — так создается ощущение необъятности мира, в котором рыцарь одерживает одну победу за другой. Впрочем, и эта фантастическая география может приобретать откровенно сказочную окраску — дальний город неотразимо похож на тридевятое царство: «Путь им лежал чрез места необитаемые, по пескам сыпучим, чрез леса темные, дебри непроходимые, чрез горы высокие» (ЛК, 56). Кроме традиционных змеев и чудовищ появляются соперники того же класса, но литературные: крокодил, обращающийся в василиска гигант, безымянное чудовище с таким обликом — «огромная голова, длинные руки, ноги копытами, глаза зеленые».¹⁶

Принадлежность «народных романов» к литературе видна, как говорится, невооруженным глазом. Манера изложения здесь литературная, и фольклорные вкрапления выглядят цитатами. В целом же эти романы скроены по стандартам беллетристики XVIII—первой половины XIX века. На любой странице обнаруживаешь характерные образцы ее стиля: «Укоры

¹⁴ Могила Марии, или Притон под Москвою. 4-е изд. М.: И. Смирнов, 1851. Ч. 1. С. 38.

¹⁵ Об экзотике в лубочной сказке писала К. Е. Корепова, отмечая ее «некоторую условную географическую достоверность»: *Корепова К. Е.* Указ. соч. С. 25.

¹⁶ Роковое кольцо, или Завещание ведьмы. М.: Е. А. Губанов, 1893. С. 22.

совести и материнская любовь пробудились в сердце Милитрисы Кирбитьевны, мучили ее и не давали ей покою ни днем, ни ночью. Она предавалась разного рода шумным увеселениям и забавам, изыскивала различные средства, чтобы заглушить в душе своей воспоминание о смерти погубленного мужа и о бедном сыне своем, которого она осудила на самую ужасную из смертей» (ЛК, 30); «сердце ее упокоилось, и отрадные слезы потоком хлынули из ее прелестных черных глаз». ¹⁷

Внутренняя речь столь же приподнята и патетична. Про себя герои говорят так: «Несчастливая сестра! Моя дорогая подруга детства! Ты погибла безвозвратно!» ¹⁸ Заимствованные из беллетристики рубежа веков повествовательные приемы нередко одеваются в сентиментально-романтические одежды. Именно подобные пассажи рождают ощущение психологизма, о котором уже упоминалось. Это не только психологические характеристики и мотивировки, но и эпизоды «истории любви». Вот Дружневна, почувствовав влечение к своему «рабу» Бове, приказывает ему надеть ей на голову венок. Следует такая сцена: «— Прекрасная княжна, я не смею и не должен прикоснуться моими рабскими руками к голове твоей, — отвечал стыдливо Бова и, смешавшись, не знал, что делать; взял в руки венок, смял и уронил его на пол, а сам выбежал из комнаты и так неосторожно хлопнул дверью, что выпал кирпич из стены, ударил его в голову и сделал очень глубокую рану. Дружневна сильно огорчилась этим несчастием, привела опять Бову в свою комнату и перевязала ему рану своими руками» (ЛК, 36). Настоящая любовная история всегда содержит второстепенные, на первый взгляд, но на самом деле важные детали: ручной воробушек, уколотый пальчик и т. п. Здесь роль такой детали, свидетельства любви, сыграл свалившийся на голову кирпич.

Охотно пускаясь в изображение переживаний своих героев, авторы народных романов «перегибают палку» — гиперболизируют эти переживания. В народном романе, в любой его разновидности, будь то роман рыцарский, готический или «исторический», поведение героев резко аффектировано: «Холодный пот катился с него градом; он дико озирался кругом, стараясь прийти в себя...» (ЛК, 10). Это дикое возбуждение доводит героев до безумия: «Волосы, раскиданные небрежно, глаза мутные, блуждающие, и по временам вспыхивающие огнем неведомой страсти, — все приводило в сдрогание при взгляде на несчастную жертву»; ¹⁹ «волосы стояли дыбом, глаза блуждали, как у безумного, руки дрожали, губы тряслись». ²⁰ Неистовство — наиболее привычная для народного романа психологическая атмосфера. Даже в полной неподвижности герой остается безумным: «Радич, как безумный, остался на месте». ²¹

Герои общаются между собой и самовыражаются «с невыразимым энтузиазмом». ²² Для противников героя черная краска не жалеется: «Адская злоба крушила буйные сердца их, и мысли их были мрачны, как черные тучи на небе в ненастную погоду». ²³ Тут слова не скажут в простоте душевной — обязательно заламывая руки, сверкая очами и скрежеща зубами, падая в обморок. «Любимая, видя Маремирову твердость, пришла в такое неистовство, что с великим сердца своего жаром говорила» — обычная преам-

¹⁷ «Страшный волшебник и храбрый могучий витязь Рогдай» Ивана Кассирова. С. 28.

¹⁸ Там же. С. 43.

¹⁹ Могила Марии, или Притон под Москвою. Ч. 2. С. 16—17.

²⁰ «Страшная месь...» Н. Пазухина. С. 179.

²¹ Там же. С. 61.

²² Могила Марии, или Притон под Москвою. Ч. 1. С. 83.

²³ Громобой, новгородский витязь, и прекрасная княжна косожская Миловзора. С. 20.

була к страстной речи героя. Впрочем, порою авторы понимают некоторую искусственность такого неистовства: излишне пылкая героиня сравнивается с пьяной нимфой. И Матвей Комаров не отказывает себе в легкой иронии, когда ведет повествование о страстных красавицах: «Оставим мы сию черную красавицу со всем ее любовным жаром в ее спальне; пусть она, опамятавшись, ищет себе другого любовника...» (МК, 193—194).

Особенно часто впадают герои в неистовство, когда они становятся жертвами любовной страсти. Народный роман не просто рисует историю любви — он не чурается и довольно примитивной эротики. Сводится она обычно к тому, что героини охотно обнажаются, стремясь соблазнить неприступного героя своими прелестями. Особенно богат на подобные сцены «Милорд Георг». В том же романе Матвея Комарова есть не совсем обычная эротическая сцена. Героиня разрешает милорду переночевать с нею в одной комнате, призывая его к сдержанности. Герою дается это с трудом, поскольку ему удалось полюбоваться обнаженной красавицей. Но это уже «чистое искусство». Обычно же функция эротических сцен сводится к тому, чтобы показать моральную стойкость героя, успешно противостоящего «наглому бесстыдству» и «непристойному нахальству».

В «эротический блок» входят не только «альковные» сцены. Появляются специфические чудесные предметы, например камень, который отталкивает от себя всякого, кто хоть раз держал в объятиях девицу против ее воли; чудесные противники оказываются насильниками (два великана, стремившиеся овладеть девицей и побежденные героем).²⁴

Такая эротика была для народного романа сущей находкой: волшебные сказки ее почти не знали (лишь в одной из сказок герой «пил, а колодец не закрыл», не устояв перед спящей царевной), а сказки «заветные», по сути дела, к эротике отношения не имеют. Она, видимо, поражала воображение читателей, как народные картины с изображением нагих красавиц.

Вообще поразить воображение — одна из задач такой литературы. И автор стремится потрясти читателя — то каскадом рыцарских поединков, то щедрой экзотикой стран, куда попадает его герой, то перечислением прелестей юных дев, встречающихся герою на его пути, то описаниями неслыханно роскошных интерьеров, торжественных церемоний, пышных выездов. Примеров множество, приведем лишь один: «В той прохладной и тенистой роще находилась великолепнейшая беседка; стены ее были вызолочены и украшены различными драгоценными камнями, от которых происходил такой свет, который освещал всю беседку; в ней стояла кровать из слоновой кости с великолепным балдахинном; против этой кровати висела на стене картина, изображающая Венеру совершенно нагую, пред нею стоял купидон, держащий в руках лук и стрелы»;²⁵ «Яхонты, изумруды, бирюза, жемчуг, алмазы и прочие самоцветные камни блистали повсюду; посреди комнаты стоял треножник — весь чистого золота, ножки которого были выточены из цельного сапфира».²⁶

Автор народного рыцарского романа охотно вводит в повествование пейзаж. Он играет подсобную роль: скажем, дается описание жаркого дня для того, чтобы сообщить о жажде, которая мучила героя, или автору требуется передать течение времени («Восходит красное солнце и приводит с собой ясный день; наступает тихий вечер и приводит с собою ночь темную, с часты-

²⁴ Оба примера — из романа «Волшебный замок, или Знаменитый рыцарь Родриг и волшебник Роас» (М: В типографии И. Смирнова, 1852).

²⁵ Гуак, или Непреоборимая верность. Ч. 1. С. 63.

²⁶ «Страшный волшебник и храбрый могучий витязь Рогдай» Ивана Кассирова. С. 51; Замок смерти, или Храбрый и неустрашимый рыцарь Актар-бей. С. 20—21.

ми звездами. И вот проходит так день за днем; уж красное лето приходит к концу, желтеют нивы спелые, и с деревьев опадает желтый лист, в темном лесу свищет осенний ветер, и близка уже зима со снежными вьюгами, с занывными метелями и морозами трескучими» — ЛК, 105). Иногда же он вводится, так сказать, этикетно: как же обойтись без красивенькой картинки природы? Необязательно, конечно, красивенькой: пейзажи в народных романах уже способны играть роль психологического аккомпанемента. Сцены мрачного злодейства обставляются соответствующими пейзажами: «Темная была ночь после ужасной грозы; черные облака налегли со всех сторон, и ни одной звездочки не видно было на небе». ²⁷ И совсем напротив — первое любовное свидание предваряется пейзажем, выдержанным в ярких лубочных красках: «Роскошный луч сверкал алмазною росой; солнце весело и ярко играло на голубом горизонте; с лугов, вместе с запахом скошенного сена и цветов, неслись всевозможные стрекотанья насекомых; из ближней рощи доносились разнообразные трели птичек; из кустов {...} раздавался громкий рокот соловья. С голубой вышины сыпались серебристые трели жаворонков. Все дышало жизнью и счастьем; все пело и радовалось». ²⁸

Столь же успешно осваивается в народном романе и портрет. Делается это не столько за счет амплификации фольклорной формулы — рисуется портрет чисто литературный, без каких-либо фольклорных реминисценций. Вот маленький Еруслан: «Был он такой беленький, полненький, нежный; глазки светло-голубые, волосики на голове русые, кудрявые — словом, был ребенок на загляденье» (ЛК, 74). Может быть, только это «загляденье» и заставляет вспомнить о фольклоре. И о женской красоте сообщается не фольклорной формулой, а с помощью описательного портрета, где фольклорные эпитеты «скрадываются»: «Много душистых цветов в зеленом саду, много ясных звезд на лазурном небе, но прекраснее всех цветов — роза душистая, а всех звезд яснее — солнце красное, так и всех дев милее — Анастасия прекрасная. Очи у нее, что звезды ясные, а ланиты — розы огневые; идет княжна — точно лебедь плывет: где ни станет — травка зеленеет, цветы расцветают; говорить ли начнет — точно реченька журчит; посмотрит — рублем подарит» (ЛК, 96). Здесь, впрочем, сохранен основной принцип фольклорного портрета: строго говоря, он не описателен — говорится о впечатлении, которое производит красавица. Зато портрет арапской королевы поражает своей протокольной точностью: «...а красота ее состояла в следующих признаках: рот имела маленький, губы толстые, лицо хотя и черное, но имеющее кожу чистую и тонкую, глаза карие и светлые, веки большие, зубы чистые и белые, волосы короткие и курчавые» (МК, 185). На впечатление, не лишённое эротического оттенка, рассчитан и такой портрет: «Лилейное лицо ее, покрытое живым румянцем юности, голубые глаза, как лазурь небесная, с неизъяснимой прелестью невинности и чистосердечия — все было в ней очаровательно! Богатое платье украшало привлекательные формы; светлорусая коса извивалась в струях золотой ленты; словом сказать: сладко было смотреть на этот дивный цветок — утешение родной семьи своей!» ²⁹

Этот портрет индивидуален; подобные ему в лубочной литературе встречаются, пожалуй, лишь у Кассирова. При кажущейся индивидуальности они тоже формульны, только формулы эти принадлежат не фольклорной, а литературной традиции. Это не столько стилистические клише, сколько некое поле с одним и тем же набором цветов. Портрет строится на привычных

²⁷ Русский колдун за Днепром. М.: И. Д. Сытин, 1916. С. 79.

²⁸ Кассиров И. Жена преступница. Киев: Т. А. Губанов, 1901. С. 24.

²⁹ Могила Марии, или Притон под Москвою. Ч. 1. С. 25.

ожиданиях. Какими должны быть разбойники? Ну, конечно же, свирепыми, со сверкающими глазами и длинными ножами: «Острые ножи и огромные топоры видны были у них за поясами, а у некоторых навтыты были на руках огромные кистени».³⁰ Атаман же их непременно должен быть в черной шляпе. А глаза его должны сверкать. Какой должна быть подлинно славянская красавица? «Душою смиренная, мыслию высокая, нравом кроткая, волей твердая, сердцем нежная, духом вещая — дева девая, светлая дева!»³¹ Тут от портрета уже ничего не осталось: речь идет о некоем духовном идеале.

Соединение приятного с полезным было, как известно, краеугольным камнем русской прозы XVIII века: она не могла обойтись без поучений и моральных наставлений. И в народном романе стоит герою чуть нарушить этикет — ему тут же на это указывают, приводя соответствующую максиму. Герой спрашивает другого: «Иль ты не знаешь, что нельзя делать другим того, чего себе не желаешь?» — и с пафосом восклицает: «Чем народ виноват?» (ЛК, 87). Столь же пафосно Еруслан Лазаревич утверждает: «Есть на свете правда, есть святыня, которая не может быть поругана и затоптана в грязь!.. Есть всевидящий и правосудный Бог, который всем управляет, и без Его воли ни один волос с головы человека не упадет...» (ЛК, 102). Герои всех стран и народов, прошлого и настоящего, рассуждают одинаково выпендренно. Чем отличается от Еруслана молодой русский боярин XVI века, мечтающий отомстить своему обидчику Малюте Скуратову: «Ты нагло лгал, прикрывая небывалым преступлением моим свою святотатственную сладострастную мысль».³²

Эксплуатация старинного жанра рыцарского романа обостряла интерес к «рыцарской эпохе» — Средневековью. Его атрибуты давно стали в большой литературе лакомой пищей для романа готического. В свою очередь его стереотипы нередко использует народный рыцарский роман. Лубочная литература обожает тайны средневековых замков, падок до них и неискушенный читатель. Поэтика готического романа привлекает многих лубочных писателей. Вот «легендарная повесть из средневековой жизни» «Двенадцать спящих дев, или Приключение прекрасного Иосифа».³³ Уже начало первой фразы — «Огромные мрачные и непроходимые леса осеняли в средневековые времена Швабию» — напоминает популярную литературу исторической тематики.³⁴ Кроме собственно исторических картин здесь много зарисовок из быта и обычаев прошлого. В «Двенадцати спящих девах» целая глава восьмая «Изменчивость времени» вообще напоминает конспект учебника по всемирной истории. С другой стороны, начальная фраза вводит в атмосферу

³⁰ Русский колдун за Днепром. С. 76—77.

³¹ Сказка о славянском богатыре Вадиме, о красной девице Людмиле и о мудром старце Гостомысле. М.: В типографии Александра Семена, 1860. С. 45.

³² Кассиров И. Брынский лес. М.: И. Д. Сытин, 1913. С. 17—18.

³³ Изданий множество. Мы пользуемся сытинским — М., 1915.

³⁴ Порою этот «образовательный акцент» в произведениях исторической тематики очень значителен. В «Двенадцати спящих девах» не редкость пассажи такого содержания: «В те времена повсюду была полная анархия. Моря были покрыты разбойниками, а графы, бароны и все сильные люди, не делавшие и не знавшие ничего, кроме войны да охоты, пренебрегавшие трудолюбивыми и мирными занятиями, только и делали, что враждовали между собою и без зазрения совести обижали и грабили слабых и беззащитных граждан, отнимая у них имущества и богатство. Повсюду царило безумное своеволие» (с. 36). Для авторов произведений из русской истории неисчерпаемым источником была «История государства Российского» Н. М. Карамзина, и нередко они прямо на Карамзина и ссылались (например, И. Кассиров в «повести XVI столетия» «Брынский лес»). Но чаще автор выносит «историческую справку» в предисловие, а в повествовании ограничивается лишь одной фразой, комментирующей событие или портрет. О «просветительском» и «псевдопросветительском» элементах в лубочном романе см.: Зоркая Н. М. Фольклор. Лубок. Экран. М., 1994. С. 67.

романа готических тайн и ужасов, где повествуется о необычной судьбе двенадцати дочерей владельца мрачного замка. Атмосфера таинственности все нагнетается и нагнетается. «Как черный саван, окутывала землю черная ночь. Мрак вился по хребту гор, как великаны, носились и сгущались громады черных облаков. Шумели и с глухим ревом бились волны рек и швабских озер о гранитные стены высоких берегов». Мало того, автор вводит в повествование духа зла.

Что же касается сюжетов народных готических романов, то здесь используется ставшая традиционной топка, заимствованная из литературных источников: вещи сны, бури и грозы, призраки, таинственные пустыньники и не менее таинственные незнакомцы, дьявольские наваждения и проклятья, проданные дьяволу души, чародеи и ведьмы. Ощущение ужаса и тайны поддерживается и тем, что готические романы не знают оптимистических развязок. Прекрасный Иосиф погиб, так и не исполнив мечты — пробудить двенадцать спящих дев. И эта мрачная концовка должна уверить читателя в том, что мир находится во власти злых и непредсказуемых сил.

Большое место в народном готическом романе занимает блок исторический. Необязательно монтируется он с романом готическим. Есть исторические романы без готического антуража, но с сохранением основных сюжетных элементов, без которых не обходится народный роман: страшная тайна, авантюрно-разбойничья история. О разбойничьем романе мы еще поговорим, а пока заметим: «разбойничий блок» — один из самых излюбленных в народном романе. Нередко разбойничья тема соединяется с исторической: действия знаменитых разбойников просто относятся к давнему прошлому (например, к XV веку в романе «Ведьма и Соловей, атаман разбойников»³⁵ или к XVI, как в романе «Могила Марии, или Притон под Москвою», самое позднее к эпохе Екатерины Великой, как в романе И. Кассирова «Жена преступница»). Непременный спутник разбойника — колдун: народный роман любит именно это сочетание сюжетных блоков.³⁶ Слегка разбавленный историческими подробностями, народный роман с разбойничьей темой смело бросает героев из огня да в полымя (в романе о ведьме и Соловье в буквальном смысле: пожар становится одним из решающих факторов сюжетного развития). Разбойники способны претерпеть разительные изменения (так, атаман Соловей становится смиренным иноком Палладием, боярский сын Василий Висковатый, атаман разбойников, распускает свою шайку, отправляется воевать против крымского хана, а затем тоже постригается в монахи).

Вообще народный роман очень любит исторический антураж.³⁷ Даже в тех немногих случаях, когда этого антуража нет и повествование лишено всяких исторических реалий, внешняя привязка к давно минувшему времени оказывается все-таки предпочтительной. Так, роман «Русский колдун за Днпром» сопровождается подзаголовком «Роман из времен Петра I».

Чем древнее исторический пласт, поднимаемый лубочным писателем, тем щедрее используется фольклор. Исторический и фольклорный блоки соединяются очень легко. Новгородскому богатырю Вадиму, например, при-

³⁵ Ведьма и Соловей, атаман разбойников. М.: Типография И. Д. Сытина, 1908.

³⁶ Кроме уже названных, см. «народное предание» «Заднепровская ведьма и страшный атаман разбойников» (М.: Е. И. Коновалова, 1901). Разбойничий роман соединяется не только с исторической темой — есть глубокое родство между разбойничьим и рыцарским романами, отмеченное Н. М. Зоркой: *Зоркая Н. М.* Указ. соч. С. 110.

³⁷ Среди приемов создания экзотики в лубочном романе К. Е. Корепова отмечает: «Другое историко-географическое приурочение — условная славянская древность» (*Корепова К. Е.* Указ. соч. С. 25).

ходится выдержать битву с Дубыней и Усыней (непостижимо превратившись из чудесных помощников в коварных соперников), с водяным змеем-драконом, в которого преобразился Волх Всеславьевич, вступить в поединок с варяжским исполином. Поскольку это богатырь, в «Сказке» используются не только сказочные мотивы, но и былинная поэтика. Подобно славным молодцам из дружины Василия Буслаева, после удара дубиной по голове «стоит Вадим, не шевельнется, и кудри на голове не тряхнутся». Концовка сделана под былинную: «То старина, то и деянье Синему морю на послушанье, Большим рекам — слава до моря». Неожиданно выливается она в славословие Москве — тем более неожиданно, что историческое содержание «Сказки» связано с древним Новгородом. Седая славянская старина противопоставляется государственному устройству воинственных варягов.

Чаще же автор псевдоисторического романа берет за основу летописное свидетельство, былинный эпизод, литературный факт — и на его основе свободно фантазирует. Так, И. Кассиров приписывает подвиг летописного юноши кожемяки некоему Рогдаю (видимо, в выборе имени не обошлось без Пушкина), в сестру которого Катю влюблен Алеша Попович, за которого она и вышла благополучно замуж. Достаточно одного реального факта, чтобы читатель «поверил» — и вот рядом с охабнями, ферзями и жемчугами (которые «огрузили шею») появляется упоминание о капитане Маржерете, который и в самом деле состоял на службе у Бориса Годунова и оставил свидетельства о том времени.³⁸

Обычно историческая реальность народных романов, особенно из славянского быта, — развесистая клюква. Поэтому герои здесь так легко взаимозаменяемы. Без зазрения совести авторы лубочных романов заимствуют друг у друга сюжеты, меняя только, да и то не все, имена действующих лиц. И ничего предосудительного в этом нет: творчество здесь подобно фольклорному и не поднялось до уровня авторского самосознания. Храбрый древнерусский рыцарь Рогдай и неустрашимый персидский рыцарь Актар-бей, как братья-близнецы, совершают одни и те же подвиги, женятся на одной и той же травянской княжне Пальмире, одинаково терпят поражение от итальянского царя и тонут в реке во время отступления. Русский колдун за Днепром легко преобразуется в волшебника Сезама.³⁹ Нередко автор считает нужным указать, что он предлагает читателю *русский* роман, к тому же «с картинами нравов в конце XVI века».⁴⁰ Картин нравов, однако, совсем немного: бояре угощаются медом и романеей, носят охабни и бобровые шапки. Если речь идет о древнеславянском прошлом, то рисуется некая идиллия: «Мы землю пашем, песни поем, хороводы водим, на вече сходимся, вместе празднуем, вместе работаем, вместе думаем, живем миром и в мире, в любви живем».⁴¹ И все при этом — горячие патриоты, с гордостью заявляющие: «Мы русские — как же не любить нам святую Русь?»⁴² Правдоподобие происходившего в незапамятные времена создается очень наивными средствами. Кроме исторически засвидетельствованных фактов, о чем мы уже упоминали, это языковые «сигналы». Так, в «Сказке о славянском богатыре

³⁸ Могила Марии, или Притон под Москвою. Ч. 1. С. 48.

³⁹ Атаман Львиное Сердце, или Чары волшебника Сезама. М.: Е. Коновалов, 1912.

⁴⁰ Могила Марии, или Притон под Москвою. Ч. 1—2.

⁴¹ Сказка о славянском богатыре Вадиме... С. 49.

⁴² Могила Марии, или Притон под Москвою. Ч. 1. С. 63. По силе патриотических чувств не уступают героям прошлого и герои — современники авторов. Так, деревенский парень «думал, что лучше сложить свою голову на поле брани за святое дело, на пользу царя и отечества, чем умереть где-нибудь в душной деревенской избе» (Волгин В. Мертвец без гроба. М.: И. Д. Сытин, 1910. С. 11).

Вадиме» герой порою обращается то к Сварогу, то к Хорсу и исправно пользуется личными формами глагола «быть» (сопернику он говорит, к примеру: «мошенник еси»). Представления о славянской мифологии (ссылки на нее обязательны в романах из древнеславянской истории) черпаются обычно из Чулкова. Поэтому, скажем, Перун одарен женой, богиней Ладой, в честь которой построен храм.⁴³ В романах такого рода появляются разные боги, но все наши предки исправно молятся Перуну.

Уже упоминался «разбойничий блок», охотно используемый в романах рыцарском и историческом. Разумеется, есть и собственно разбойничий роман со своим набором любимых клише. Обитают разбойники, конечно, в дремучем лесу, откуда и совершают лихие вылазки. «В лубочных романах описание лесного лагеря разбойников обязательно содержит реквизит: бочки, чарки, стаканы, брошенные в траву ковши, здесь же фигуры храпящих, упившихся разбойников».⁴⁴ Есть здесь и любовная тема. Простой разбойник не может претендовать на роль любовника — только атаман. Грозный разбойник и хрупкая красавица — достаточно экзотическая пара. Но этого романистам мало, и довольно элементарная антитеза усиливается за счет других противопоставлений: разбойник и княжна, аристократка (как тут не вспомнить Степана Разина и персидскую княжну!).

Разница между типами народных романов относительна. Поэтика народного романа едина для всех его разновидностей, и те его черты, что проявились в романе рыцарском, обнаруживаются и в других его типах. Рассказ о далеком прошлом приобретает в народных готических романах множество оттенков: он включает и рыцарские эпизоды (мы уже отмечали «блочный» характер народных романов вообще), и исторические картины, и историю любви, и этнографические зарисовки. Прошлое не только окружается пиететом, но и допускает легкую иронию. Не только Вальтер Скотт иронизировал по поводу «рыцарских потех»,⁴⁵ но и безвестный автор народного романа с улыбкой описывает позу, в которую встал его герой-рыцарь: «В эту минуту вся его фигура приняла то петушиное выражение, которое человек всегда изображает из себя, когда, считая себя неизмеримо выше других и сознавая свою силу и достоинство, желает поразить обыкновенных смертных своим величием даже и тогда, когда все дело не стоит выеденного яйца, между тем как он его принимает за такое серьезное и великое, от которого, по его мнению, зависит чуть не благоденствие всего мира».

Все виды народных романов охотно пользуются стереотипами — частью фольклорного происхождения, частью выработанными «самостоятельно». Эта самостоятельность сомнительна и относительна, поскольку вся лубочная литература вторична: она использует если не фольклорные, то литературные шаблоны. Собственно, все, о чем говорилось, — сюжетные ситуации, портреты героев, их манера выражаться, пейзажи и т. д. — шаблонно. Это свойственно лубочной литературе в целом. Естественно, она меняется вместе с «большой» литературой — меняются и штампы. Матвей Комаров вдохновлялся беллетристикой XVIII века, Зряхов — литературной продукцией

⁴³ Громобой, новгородский витязь, и прекрасная княжна косожская Миловзора. С. 14.

⁴⁴ Зоркая Н. М. Указ. соч. С. 120.

⁴⁵ «Так кончилась достопамятная ратная потеха при Ашби де ла Зуш — один из самых блестящих турниров того времени. Правда, только четыре рыцаря встретили смерть на ристалище, а один из них попросту задохнулся от жары в своем панцире, однако более тридцати получили тяжкие раны и увечья, от которых четверо или пятеро вскоре также умерли, а многие на всю жизнь остались калеками. А потому в старинных летописях этот турнир именуется „благородным и веселым ратным игрищем при Ашби“» (Скотт В. Айвенго // Скотт В. Собр. соч.: В 20 т. М.; Л., 1962. Т. 8. С. 164—165).

начала XIX века, Иван Кассиров — стилизациями под русский фольклор и сентиментально-романтическими штампами.

Блоки, тем не менее, играют различную композиционную роль в романах разного типа. Так, «история любви» в рыцарском романе вплетена в длиннейшую цепь авантур. В романах исторических приключения намечены пунктирно, и на первое место выходят «приключения сердца». Обстоятельства, сопутствующие любовной истории, весьма экзотичны. В «Брынском лесе» И. Кассирова история любви юных героев вплетена в рассказ о мести обиженных боярских детей Малюте Скуратову. В «Могилах Марии» традиционный сюжет о коварной измене возлюбленного привязан к эпохе Бориса Годунова, причем прелестница — польская панна Мария, странным образом очутившаяся в глухом подмосковном лесу, а неверный любовник — боярский сын.

Но самый популярный роман об экзотической любви — «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа» И. Зряхова (первое издание — 1840 год). Исследователи обратили внимание на то, что «бульварный» писатель эксплуатировал сюжетную схему пушкинского «Кавказского пленника». ⁴⁶ Схема эта не имеет особого значения, уступая по важности иной теме, восходящей к традициям агиографической литературы и высоко ценимой народной культурой: герою удается сохранить в чистоте свою веру. Искушение героя тем более значимо, что наградой за перемену веры будет брак с прекрасной кабардинской княжной, в которую влюблен герой, да и просит его перейти в мусульманство она сама. Но вера дороже! Необязательно, впрочем, вера: речь может идти о чистоте и невинности, которые сохраняет герой, противостоя «великим любовным знакам». Недаром уже Матвей Комаров сопоставил милорда Георга с Иосифом Прекрасным, а в «Двенадцати спящих девах» Иосифом Прекрасным назван герой-рыцарь. Если даже герой не уподоблен непосредственно фольклорно-литературному образцу, то характеристика его дается все равно в сравнении с таким образцом, который автор держит в уме: «Ах, если бы он на ту пору имел силу славного богатыря Ильи Муромца или Полкана, этих героев своего времени, которые воспеты и расписаны разноцветными красками!» ⁴⁷

С фольклорной традицией народный роман, испытавший влияние сентиментально-романтических штампов, расстается не в сюжетных ситуациях, а в стилистике повествования. Автор новой формации любит выражаться цветисто, в духе эпигонов сентиментализма. У него «утренняя заря разостлала свой розовый ковер на восточном небе для встречи сияющего солнца» (ЛК, 260). Про себя герой говорит не менее выпендренно, чем вслух: «Неподражаемое создание! Одно слово, один небесный взгляд голубых глаз твоих, один вздох в прелестной груди твоей, вмещающей такое же сердце, одна улыбка прекраснейших розовых уст обвораживают все мои чувства и приводят меня в неизъяснимый восторг!» (ЛК, 262—263). Впрочем, в этом заурядном стилистическом потоке автор находит порою неординарные сравнения: «Грудь ее волновалась, как тихие волны реки, колеблемые весенним ветром. Сердце милой и прекрасной сей девушки билось, как маятник в часах» (ЛК, 268). Не будем оценивать уместность этого маятника, но отказать ему в оригинальности нельзя.

Авторы лубочной литературы, как видно, не оставались в стороне от веяний «высокой» литературы. Если Матвей Комаров следует нормам, ха-

⁴⁶ Обстоятельный анализ этого романа см. в указанной монографии Н. М. Зоркой «Фольклор. Лубок. Экран» (гл. 1, раздел 2). Исследовательница стремится поставить разные редакции романа в хронологический ряд. В действительности они сосуществовали.

⁴⁷ Русский колдун за Днепром. С. 62.

рактурным для прозы XVIII века, то Зряхов явно обучался в школе романтизма. Психологические гиперболы становятся иными. Так, в «Прекрасной магометанке» пленник терзается оттого, что его любит как сына старый кабардинский князь Узбек, в то время как собственный сын князя пал от руки пленника. Как автор, не чуждый высокой литературе, Зряхов встает в позу рассказчика, человека сведущего, бывшего чуть ли не свидетелем событий, о которых он повествует, дающего всякого рода пояснения и не чуждающегося этнографического комментария. Вместе с кавказской темой входит в прозу этого времени и этнографическая тема: описание быта, нравов, привычек горцев. Зряхов говорит о военных стычках русских с кабардинцами, и русские предстают в обычном для лубочных воинских повестей облике: они безумно храбры и подобны исполинам. Но и противники их — народ замечательный и благородный, так что фольклорная традиция заведомого унижения врага здесь преодолена. Автор не ограничивается общими характеристиками — он насыщает повествование «этнографическими очерками».

Вообще народный роман любит всякого рода этнографические зарисовки — от прямого включения в повествование фольклорных текстов до описания забав и игр. Так, безвестный автор «Русского колдуна за Днепром», описывая Масленицу, включает полный текст народной песни «Ах вы, санки-самокаточки», а к описанию забавы с медведем присовокупляет: «Увеселения старины почти еще все сохраняются на нашей родине!»⁴⁸ Авторы охотно дают этнографические справки, отвечая на вопрос, как это было раньше. Так, предваряя описание боярской трапезы, И. Кассиров замечает: «Старинные русские обеды во многом отличались от наших теперешних; они основывались на обычае, а не на искусстве; кушанья были просты и разнообразны, хотя обеды и отличались огромным количеством блюд».⁴⁹ Ощущая свою принадлежность к иному, более просвещенному веку, авторы могли снисходительно отмечать, что жило прежде «в душе робких и суеверных поселян представление о мохнатом лесовике, о дедушке лешем и помощниках его — ведьмах и русалках».⁵⁰

Меняется в сентиментально-романтическом романе техника повествования. Зряхов часто прибегает к диалогу героев, поясняя его ремарками: «краснеет», «нежно и с состраданием», считая, видимо, что драматическая манера повествования — самый надежный путь к характеристике любовных переживаний героев.

Какого рода драма была знакома лубочному писателю более всего? Водевиль в первую очередь. По жанровым стандартам водевиля в драматический текст включаются разнообразные музыкальные номера: арии, куплеты и т. п. И Зряхов охотно такие номера выдумывает. Поэтическим дарованием он не обладал, и «номера» его написаны полуграмотными виршами в таком духе:

Ты была магометанкой,
Умерла здесь христианкой;
Доказала свой народ,
Любви, верности всей плод,
Как супруга умирает.

(ЛК, 325)

Но самые серьезные заимствования — не из водевильной традиции, а из вошедшей в моду сентиментальной прозы. И завершается повесть Зряхова

⁴⁸ Там же. С. 49.

⁴⁹ Кассиров И. Брынский лес. С. 67.

⁵⁰ Там же. С. 8.

так, как «положено» в этой прозе, — звучным сентиментальным аккордом: «Четыре густых липы осеняют прах их, и обсаженная цветами могила каждую весну и лето благоухает ими. Певец природы, милый соловей, свивший гнездышко на одном из сих деревьев, в это время поет столь прелестно, как на могиле Орфея» (ЛК, 326). А И. Кассиров позволяет себе отступление в манере раннего Гоголя: «Взошла луна и волшебным светом своим озарила всю окрестность. О, как пленительна эта южная ночь! Сколько в ней очарований и томлений, праздно и свободной неги для детей сурового севера!»⁵¹ И речь не только о каких-то отдельных заимствованиях и отступлениях, а о принципиальной авторской позиции. Сплошь и рядом авторы народных романов не ограничиваются ролью простодушных эпических повествователей в фольклорном духе, но считают необходимым сопроводить свой рассказ комментарием. Мало того что героиня мелодраматически заламывает руки — автор информирует: «Эти слова она сказала так торжественно, сила невыразимого вдохновения блистала в пламенных взорах и уподобляла ее жительнице сферы другого мира!»⁵² Автор «ведет» читателя, не оставляя его наедине с миром народного романа.

Итак, о фольклорном рассказано по-литературному — такова особенность лубочного любовного романа. Но о «чистоте жанра» здесь говорить не приходится. «Прекрасную магометанку» можно с таким же успехом отнести к народной библиотечке военных приключений. Кроме того, время шло, и это течение времени превращало «Прекрасную магометанку» в историческую прозу. Она занимала место среди лубочных перелицовок «Ледяного дома» И. Лажечникова и «Юрия Милославского» М. Загоскина, среди собственно лубочных исторических романов: «Таинственный монах» Р. Зотова, «Сокольники, или Поколебание владычества татар над Россиею» С. Любецкого, «Япанча, татарский наездник, или Завоевание Казани царем Иваном Грозным» А. Москвичина, анонимных романов «Вечевой колокол» (М., 1839), «Могила Марии, или Притон под Москвою» (М., 1835) и десятка им подобных.

И все же изначально «Прекрасная магометанка» была романом не историческим, а из современной жизни, хотя вообще лубочные писатели не баловали современность своим вниманием. Народный роман явно предпочитал «иную действительность». Если что-либо и привлекает лубочного писателя в действительности сегодняшней, то это какая-нибудь необыкновенная любовная история. Но и любовная история рассматривается на некоторой временной дистанции, пусть небольшой. Так, роман со страстями, убийствами реальными и мнимыми «Жена преступница» И. Кассирова относится к XVIII веку. А вот некий Топорков не побоялся привязать свой роман «В цепях под венцом» к современности. Здесь рассказывается о вспыхнувшей внезапно любви между вернувшимся из города в родную деревню фабричным парнем и местной красавицей, дочерью деревенского богача. Читатель может легко прогнозировать ситуацию: богатей-самодур не соглашается на предполагаемый брак, выдавая дочь замуж за купеческого сына и обрекая ее на несчастную жизнь. Контуры этой ситуации сохраняются. Однако богатая невеста неожиданно легко разлюбила своего фабричного. Покинутый бедняк не остался в долгу: он вернулся к некогда отвергнутой им девушке. И вот в один день играют две свадьбы. Фабричному предстоит жизнь, «полная любви и семейных радостей». Своевольной же красавице придется туго: ей предстоит «прикрыть грех» и испить чашу полагающегося ей пре-

⁵¹ «Страшный волшебник и храбрый могучий витязь Рогдай» И. Кассирова. С. 24.

⁵² Могила Марии, или Притон под Москвою. Ч. 1. С. 84.

зрения. Поэтому и стоит она под венцом как будто в цепях — так финальная фраза объясняет название столь неожиданно оконченного романа, полного психологических комментариев и описаний быта деревенской молодежи.⁵³

Все окончилось для главного героя благополучно. Так и бывает в большинстве народных романов, генетическое родство которых со сказкой угадывается без особого труда. Но влияние большой литературы, вовсе не склонной к счастливым финалам, коснулось и народных романов. Народная литература знает и печальные финалы. Выглядят они, правда, неожиданными и слабо мотивированными. Как гром среди ясного неба следует драматическая развязка в романе «Двенадцать спящих дев», где, как мы говорили, смерть рыцаря Иосифа создает ощущение неразгаданной роковой тайны. В безоблачную жизнь непобедимого рыцаря Рогдая вмешивается злодейка судьба. Он утопил в реке волшебный перстень — и последствия были катастрофичны: сам он утонул, погубил свое войско и довел до могилы красавицу жену: «Пальмира, не могши перенести горя и разлуки с своим горячо любимым супругом, в безотрадной и душной темнице вскоре умерла».⁵⁴ Но без оптимистического акцента роман все же не обходится. Пусть судьба жестоко посмеялась над Рогдаем — счастливы его дети. Они освобождены из «безотрадной и душной темницы» и стали «богатыми и значительными купцами» (напомним, что Рогдай и его супруга Пальмира дублировали судьбу персидского рыцаря Актар-бея). Потерять волшебное кольцо означает потерять жизнь, и растеряными оказываются не только славные рыцари вроде Рогдая, но и спасенные ими сказочные красавицы. Так погибла освобожденная от невзгод Люцена: она попросту потеряла кольцо и вскоре «умерла при громком плаче всех родных».⁵⁵ И только герои, близкие к автору по времени, расстаются с жизнью не из-за трагических случайностей, а в драматических обстоятельствах. Если зряховская магометанка имеет возможность припасть к гробу своего мужа, то юные героини повести «Мертвец без гроба» погибают оба: и прекрасная турчанка Гюльзам, и бегущий вместе с нею из плена «храбрый и неустрашимый воин» Иван Кудряш.⁵⁶

Мы усмотрели некий смысл в печальных развязках народных романов. Но часто такие развязки следуют из недостаточной профессиональной подготовки писателей. Роман «плохо» заканчивается, потому что автор попросту не знает, что делать далее с героем. Вот Гарвес узнал наконец-то своего отца. Но вдали остается еще мать. Что с ней делать? И автор вдруг сообщает, что «грусть и тоска иссушили ее, и она, проливавши ежедневные слезы, кончила жизнь».⁵⁷ Повествование, с одной стороны, клишируется, с другой — вырываясь из фольклорной стихии, становится неуправляемым и непредсказуемым. Так, очень трогательно рассказывает И. Кассиров о истории любви красавца князя к деревенской красавице. Они благополучно сочетались браком, но вскоре ревнивый князь покончил с невинно оклеветанной женой. И сообщается об этом между прочим, в одном абзаце.⁵⁸ Автору остается лишь заметить, что «счастье на земле не вечно». Развязка в одной фразе — обычное дело в народном романе: автор «разделяется» с запутанной интригой подобно полководцу древности, разрубившему Гордиев

⁵³ В цепях под венцом. Соч. Топоркова. М.: И. Д. Сытин, 1898.

⁵⁴ «Страшный волшебник и храбрый могучий витязь Рогдай» И. Кассирова. С. 61.

⁵⁵ Роковое кольцо, или Завещание ведьмы. С. 36.

⁵⁶ Волгин В. Мертвец без гроба. М.: И. Д. Сытин, 1910.

⁵⁷ Заколдованный и чародейственный замок, с приключениями знаменитого рыцаря Гарвеса. С. 67.

⁵⁸ Кассиров И. Жена преступница. С. 32.

узел: «Вдруг свистнула пуля, и Томашевич, обливаясь кровью, упал с лошади на землю. Пуля пробила ему сердце».⁵⁹

Довольно редко встречается такая разновидность народного романа, как роман плутовской. Жесткая иерархия русского общества мало способствовала проявлению личной инициативы. Единственное исключение делала словесность для солдата. Уволенный от службы или оказавшийся на войне, солдат полагался на свою смекалку и всегда выходил победителем в самых неожиданных ситуациях. Таков он в народных сказках, таков же и в народном плутовском романе. Характерно, однако, что похождения хитроумного солдата народный роман относит все же к прошлому: уж очень строга дисциплина в современной армии, чтобы авторы рубежа XIX—XX столетий предоставили своему герою свободу действий. Поэтому в популярном романе В. А. Л. «Солдат Яшка»⁶⁰ действие приурочено к турецкой войне XVIII века и взятию Измаила. Естественно, упоминается Суворов — упоминается, но на страницах романа не появляется. Любопытно, что военным приключениям хитроумного солдата предшествует рассказ о его детстве, и рисуемые картины более соответствуют современности, нежели веку Екатерины. Но далее — обычная для плутовского романа цепь проделок, каждая из которых вполне автономна.

Завершая наш обзор народных романов, еще раз отметим их промежуточное положение между фольклором и литературой. Это все же литература, однако сделанная по фольклорным стандартам, — не повторяющая, а создающая собственные клише. Народный роман совершил открытия в области поэтики — и все они были рецитацией литературного прошлого, совершавшейся по законам фольклора. Не внешняя, но глубинная «фольклорность» этих романов обеспечила им популярность на многие десятилетия.

Недопетая песня... Эта горестная метафора приходит сама собой к читателю статьи «Русский народный роман», ставшей последней завершенной работой крупного фольклориста наших дней Евгения Алексеевича Костюхина (23. II. 1938—4. I. 2006). Статья принадлежит к циклу задуманных автором еще в 1980-е годы аналитических исследований популярного прозаического фонда русской книжности XVIII—XX веков (см.: Приключения славянских витязей: из русской беллетристики XVIII века / Сост., вступ. статья и прим. Е. А. Костюхина. М., 1988) и ощутимо выражает переход Евгения Алексеевича как фольклориста-литературоведа к изучению новейшей массовой словесности XX—XXI столетий.

Подобно главным работам ученого (вспомним его монографии: «Александр Македонский в литературной и фольклорной традиции» — М., 1972; «Типы и формы животного эпоса» — М., 1987), статья поучительна тем, что вырастает на базе тщательной проработки материала, демонстрирует высокую эрудицию и остроту наблюдательности автора.

Будучи сказковедом по основной творческой склонности, Е. А. Костюхин выступил в последние годы с рядом новаторских работ, где выделяется серия важных историографических очерков о научном наследии А. Н. Веселовского, В. Я. Проппа, А. И. Никифорова, Н. П. Андреева. Параллельно он принял участие в масштабном переиздании фольклористической классики. Среди выпущенных им либо с его ближайшим участием книг — «Народные

⁵⁹ «Страшная месь...» Н. Пазухина. С. 180.

⁶⁰ В. А. Л. Солдат Яшка, красная рубашка, синие ластовицы. М.: И. Д. Сытин, 1915.

русские сказки не для печати» А. Н. Афанасьева (М., 1997), «Русские народные пословицы и притчи» И. И. Снегирева (М., 1999), «Русские сказки и песни Сибири» (СПб., 2000), «Великорусские сказки. Загадки» И. А. Худякова (СПб., 2001), «Сказки и предания Самарского края» Д. Н. Садовникова (СПб., 2003), «Русские народные сказки, прибаутки и побасенки» Е. А. Чудинского (СПб., 2005), «Народные сказки, собранные учителями Тульской губернии» А. А. Эрленвейна (СПб., 2005) и др.

Широта научных интересов и полнокровность повседневного общения со студенчеством, аспирантами позволили Е. А. Костюхину выпустить превосходный вузовский учебник «Лекции по русскому фольклору» (М., 2004), имеющий все основания стать учебником стабильным.

С глубокой горечью нынешняя фольклористика сознает невозместимость потери: нашего полку убыло.

Остается уповать лишь на то, что живое слово даровитого ученого способно жить долгие и долгие годы.

Зав. Отделом народно-поэтического творчества Пушкинского Дома
А. А. Горелов

ДУМА ГЕТМАНА МАЗЕПЫ И ПОЭМА ПУШКИНА «ПОЛТАВА»

«Мазепа есть одно из самых замечательнейших лиц той эпохи», — констатировал Пушкин в предисловии к первому изданию «Полтавы». ¹ И далее в этом предисловии — отсылка к популярным произведениям современной русской словесности, Мазепе посвященным. «Некоторые писатели хотели сделать из него героя свободы, нового Богдана Хмельницкого» (прямой намек на агитационно-пропагандистскую поэму К. Ф. Рылеева «Войнаровский»). «Некто в романтической повести изобразил Мазепу старым трусом, бледнеющим пред вооруженной женщиною, изобретающим утонченные ужасы, годные во французской мелодраме и пр.» (отсылка к недавно появившейся в «Невском альманахе» «исторической повести» Е. П. Аладьина «Кочубей»).

Оба противоположных друг другу литературных «представления» Мазепы кажутся Пушкину крайними и не соответствующими исторической характеристике этого «замечательнейшего лица»: «История представляет его честолюбцем, закоренелым в коварстве и злодеяниях, клеветником Самойловича, своего благодетеля, губителем отца несчастной своей любовницы, изменником Петра перед его победою, предателем Карла после его поражения: память его, преданная церковной анафеме, не может избегнуть проклятия человечества». Подобная характеристика отрицательна, но именно она должна, по мнению автора «Полтавы», формировать естественное «человеческое» отношение к герою. Тут же Пушкин ставит задачу представленной читателю поэмы: «объяснить *настоящий характер* мятежного гетмана, *не искажая своевольно исторического лица*» (V, 335; курсив мой. — В. К.).

Отправной точкой этого сложнейшего характера становится одно важное обстоятельство: Мазепа по типу своего характера — *поэт*.

Поэт в представлении Пушкина — человек особенный. Цель его жизни составляет особенная «высокая страсть»: «для звуков жизни не щадить» — так определяет ее автор «Евгения Онегина» (VI, 8). Герой же романа в стихах, в отличие от автора, принципиально *непоэт* даже по образу мышления. «Бранил Гомера, Феокрита; / За то читал Адама Смита...» (VI, 8). Ср. авторское «я»: «Читал охотно Апулея, / А Цицерона не читал...» (VI, 165). В этом заключается основная «разность между Онегиным и мной» (VI, 28), о которой автор постоянно напоминает читателю. Многие беды личности Онегина и даже его «русская хандра» оказываются следствием того, что он не имеет «высокой страсти». Но и он в иные минуты осуществляет тип *поэтического* (особенного) поведения: «Как *походил он на поэта*, / Когда в углу сидел один...» и т. д. (VI, 184; курсив мой. — В. К.). Даже отъявленный *непоэт* в критические моменты своей жизни может вести себя как *поэт*.

¹ Пушкин. Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1948. Т. V. С. 335. Далее ссылки на это издание в тексте.

Поэту же судьба особенно покровительствует и дает блестящие возможности добиться в жизни того, чего бы никогда не добился *непоэт*. Почему Мария влюбилась в старика-гетмана? Потому что он «гетман»? Нет, здесь Пушкин весьма основательно отмечает: «Мария (или Матрена) увлечена была, говорили мне, тщеславием, а не любовью: велика честь для дочери генерального судьи быть наложницею гетмана!» (XI, 164). Мария избрала для себя эту «невеликую» честь именно потому, что полюбила в Мазепе *поэта*:

Зачем она всегда внимала
Те песни, кои он слагал,
Когда он беден был и мал,
Когда молва его не знала;
Зачем с неженскою душой
Она любила конный строй
И бранный звон литавр и клики
Пред бунчуком и булавой
Малороссийского владыки...

(V, 22; курсив мой. — В. К.)

«Песни» Мазепы почему-то оказываются неотделимы от его «конного строя».

О том же таланте Мазепы поэт вспоминает и в финале поэмы, отвечая на вопрос: «Прошло сто лет — и что ж осталось / От сильных, гордых сих мужей?..» «Осталась» не память о «мятежном гетмане», не его слава или позор, а лишь его *поэтические* свершения: то, что обыкновенно остается в памяти людской от *поэта*.

...Лишь порою
Слепой украинский певец,
Когда в селе перед народом
Он песни гетмана бречит,
О грешной деве мимоходом
Казачкам юным говорит.

(V, 64; курсив мой. — В. К.)

Первое упоминание о «песнях» Мазепы сопровождается в поэме историческим примечанием: «Предание приписывает Мазепе несколько песен, донныне сохранившихся в памяти народной. Кочубей в своем доносе также упоминает о патриотической думе, будто бы сочиненной Мазепою. Она замечательна не в одном историческом отношении» (V, 65; курсив мой. — В. К.).

* * *

Единственная песня Мазепы, получившая высокую пушкинскую оценку, сохранилась в составе «доноса на гетмана-злодея», поданного генеральным судьей Кочубеем: по указанию доносчика, в ней содержалось «значное противу державы великого государя противление».² Отрывок из нее был приведен в приложениях к третьей части «основного исторического источника»³ пушкинской «Полтавы» — книги Д. Н. Бантыша-Каменского «Исто-

² Цит. по: Костомаров Н. И. Руина. Мазепа. Мазепинцы: Исторические монографии и исследования. М., 1995. С. 621.

³ Характеристику этого источника см.: Измайлов Н. В. Пушкин в работе над «Полтавой» // Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1975. С. 11—13, 29—31.

рия Малой России».⁴ В более полном виде «Дума гетмана Мазепы» впервые появилась в составе сборника М. А. Максимовича «Малороссийские песни» (1827). Первоначально Пушкин собирался привести ее «для любителей» в примечаниях к поэме (V, 329):

Все покою щире прагнуть,
А не в еден гуж тягнуть;
Той направо, той наліво,
А все браття: то-то диво!
Не маш любви, не маш згоды;
От Жовтои взявши Воды
През неправду все пропали
Сами себя зоевали!

Ей, братица, пора знати,
Що не всем нам пановати,
Не всем дано всеє знати
И речами керовати!
На корабель поглядимо,
Много людей полечимо,
Однак стирник сам керуєть,
Весь корабель управуєть.

Пчулка бедна матку маєть,
И оноє послухаєть.
Жалься, Боже, Украины,
Що не вкупе маєть сыны!
Едень живєть и с поганы,
Кличєть: «Сюды, отаманы!
Идем матки ратовати,
Не даймо ей погібати».

Другой ляхом за грош служить,
По Вкраине и той тужить:
«Мати моя старєнькая!
Что ты вельми слабєнькая?
Розно тебя розшарпали.
Кгды аж по Днепр туркам дали.
Все то фортель, щоб слабела
И аж в конец сил не мела».

Третий Москве юж голдуєть
И ей верне услугуєть.
Той на матку нарекаєть
И недолю проклинаєть:
«Лєпше було не родити,
Нежли в таких бедах жити».
От всех сторон ворогують,
Огнем, мечем руинують.

От всех не машь зычливости,
А ни слушной учтивости,

⁴ Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России. М., 1822. Ч. 3. С. 198.

Мужиками называют,
А подданством дорекають,
Чом ты братов не учила,
Чом от себе их пустила?
Лепше було пробувати
Вкупе лихо отбувати.

Я сам бедный не здолаю
Хиба тильки заволаю:
Ей, панове енералы,
Чему ж есте так оспали?
И вы, панство полковники,
Без жадной политики,
Озметеса все за руки,
Не допустеть горкой муки

Матце своей болш терпети!
Нуте врагов, нуте бити!
Самопалы набувайте,
Острых шабель добувайте,
А за веру хочь умрете
И вольностей боронете!
Нехай вечна буде слава
Же през шаблю маем права.⁵

Историческую значимость «Думы гетмана Мазепы» понимал уже доносчик, приложивший ее к своей жалобе, долженствующей доказать «нелояльность» гетмана к порабощению Украины «московитами». В этом смысле «патриотическая дума» представляла собою ранний образчик «вольной русской поэзии», расцветшей пышным цветом уже во второй половине XVIII столетия.

Пушкин, однако, точно почувствовал собственно *художественную* значимость сочинения мятежного гетмана. Его дума, являясь произведением рубежа XVII—XVIII веков, выламывалась из традиций тогдашнего «книжного» стихосложения, ориентированного на польскую силлабическую традицию. Автор «думы» представил яркую литературную имитацию народных украинских «дум», используя их тоническую основу. «Патриотическая дума» близка к тем образчикам «глатких и слатких» поющих стихов, которые привел В.К. Третьяков в «Новом и кратком способе к сложению российских стихов...»: такие «сладко и гладко поющиеся стихи не нуждаются в стопах».⁶ При этом они, снабженные парной женской рифмой, тяготеют к скандированию по «хореическому» типу.

Кроме того, по своему ритму эта «дума» оказывается близка латинским тоническим гимнам (например, гимну «Range linguam»); и эта «гимновая» основа определяет ее особенное поэтическое воздействие, точно почувствованное Пушкиным.

Между тем в восприятии современной критики эта «дума» стала едва ли не основным аргументом упреков Пушкину в том, что он отступил от исто-

⁵ Текст «Думы гетмана Мазепы» приводится в том виде, в каком она представлена в архивном «деле Кочубея»: «Сию песню читаючи и уважаючи один всечестный и разумный отец архимандрит дал мне оную и радил в спяту добром держати» (*Костомаров Н. И.* Указ. соч. С. 621). Более развернутый текст см.: *Уманец Ф. М.* Гетман Мазепа: Историческая монография. СПб., 1897. С. 162—167.

⁶ *Томашевский Б. В.* Стилистика и стихосложение: Курс лекций. Л., 1959. С. 325—326.

рической правды при создании характера мятежного малороссийского гетмана. Многие читатели попросту посчитали, что Пушкин, изобразивший Мазепу «хитрым честолюбцем, коварным оболъстителем и хладнокровным злодеем», следовал за упоминавшейся выше повестью Е. Аладьина «Кочубей». ⁷ Так, В. Д. Комовский, брат лицейского товарища Пушкина, заметил в письме к А. М. Языкову: «Пушкин так спустился, что в *Полтаве* слепил незавидную повесть. Хотя он и подшучивает над Аладьиным, однако же, кажется, читая Пушкина, будто он повесть Аладьина только в стихи переложил». ⁸

«„Полтава“ не имела успеха», — констатировал несколько позднее Пушкин (XI, 164). Восприятие новой поэмы критикой стало симптоматичным в том отношении, что знаменовало «охлаждение» публики к поэту. Ф. В. Булгарин сразу же определил «Полтаву» «*третьим по достоинству сочинений Пушкина*», поставив ее «ниже» на шумевших «южных» поэм. В его статье содержался упрек поэту в некоторой «легковесности» и антиисторичности: «Поэмы Пушкина суть великолепные панорамы, природа в отдалениях: в этих видах много прекрасного, но все показывается что-то неявственно». Неправильна историческая трактовка «мятежного гетмана»: «Мазепа в поэме жестоко обруган, но не представлен в том виде, каким изображает его история. *Одна дума, сочиненная Мазепой и напечатанная в „Истории Малороссии“ Бантыша-Каменского, сильнее рисует характер Мазепы, нежели все бранчивые эпитеты, данные ему автором поэмы „Полтава“*». ⁹

Н. И. Надеждин в «Вестнике Европы», поддержав ощущения литературной «публики», «утомившейся, наконец, зевать на закатившееся светило», объявил: «„Полтава“ есть настоящая Полтава... для Пушкина! Ему назначено здесь было испытать судьбу Карла XII!..». А в подтверждение тезиса об «антиисторичности» привел даже заключительные стихи из думы Мазепы: «Самое проклятие, тяготеющее над его (Мазепы. — В. К.) памятью, обличает в нем силу характера. (...) Грешно было бы думать, что не было ни отчизны, ни свободы для человека, утешавшего себя сею мыслию:

Нехай вечна будет слава,
Же през шаблю маем права!» ¹⁰

Думы гетмана Мазепы коснулись и «защитники» новой пушкинской поэмы. И. В. Киреевский усомнился в ее подлинности («неизвестно, когда написана сия дума и даже не достоверно, точно ли она сочинена Мазепой» ¹¹). М. А. Максимович резонно возразил, что эту думу, «равно как и другую песню Мазепы, под именем „Чайка“ известную, нельзя принимать за чистую монету». ¹²

Подобные «антикритики» оказались явно неудачны. Над «сомнением» Киреевского посмеялся еще Надеждин, резонно заметив, что «несомненных» и однозначно толкуемых документов, принадлежащих к этой эпохе,

⁷ См.: Бестужев-Рюмин К. Н. К поэме Пушкина «Полтава» (заметка) // Библиограф. 1888. № 12. С. 379—380.

⁸ Исторический вестник. 1883. Т. XIV. С. 529.

⁹ Булгарин Ф. В. Разбор поэмы «Полтава», соч. Александра Сергеевича Пушкина // Пушкин в прижизненной критике. 1828—1830. СПб., 2001. С. 136—137. Курсив мой. — В. К.

¹⁰ Надеждин Н. И. «Полтава», поэма Александра Пушкина // Там же. С. 166—167, 172.

¹¹ Киреевский И. В. О разборе «Полтавы» в 15 № «Сына Отечества и Северного Архива» // Там же. С. 145.

¹² Максимович М. А. О поэме Пушкина «Полтава» в историческом отношении // Там же. С. 183, 185.

почти не сохранилось и что не дело «журнальной красавице» приниматься за «археологическую критику». А построения Максимовича опровергались той исходной пушкинской данностью, что его Мазепа является *поэтом*: ведь поэт, согласно традиции, не умеет ни лгать, ни притворяться. И очевидные недостатки его личности должны искупаться очевидной же истиной: он *поэт*...

* * *

Те персонажи поэтических произведений Пушкина, которые обозначены как *поэты*, обыкновенно выступают в двух ипостасях.

Это могут быть образы предельной житейской *наивности*: таков, например, Ленский из «Евгения Онегина», «поэт неведомый, но милый» (М. Ю. Лермонтов), которого современники по причине этой наивности прямо сопоставляли с личностью автора. А. С. Хомяков в письме к Н. М. Языкову, передавая известие о гибели Пушкина, с горечью охарактеризовал происшедшую дуэль с Дантесом как «жалкую репетицию Онегина и Ленского».¹³

Но явно автобиографические черты несет на себе и другая разновидность пушкинских *поэтов*: откровенные *авантюристы*, склонные к риску «ловцы удачи». Поэтом оказывается Дон Гуан из «Каменного гостя». Его стихи, положенные на музыку, поет Лаура, а сам Гуан называет себя «импровизатором любовной песни». Этой данности пушкинского героя, по мнению А. А. Ахматовой, достаточно для того, чтобы истолковать «маленькую трагедию» как «не просто новую обработку мировой легенды о Дон Жуане, а глубоко личное, самобытное произведение Пушкина, основная черта которого определяется не сюжетом легенды, а собственными лирическими переживаниями Пушкина, неразрывно связанными с его жизненным опытом».¹⁴

Мазепу и Дон Гуана, воспринятых в роли *поэтов*, объединяет то, что оба они — сочинители «нелегальных», «потаенных» текстов. Кочубей использует «патриотическую думу» Мазепы как материал для «доноса на гетмана-злодея» и, соответственно, воспринимает ее как запретный, «неподцензурный» текст, имеющий открытую политическую антигосударственную установку. Другие «песни гетмана» — тоже «потаенные» от властей — «бренчит» «слепой украинский певец», цензуре неподвластный, и комментирует их соответствующим образом... Песня же на слова Дон Гуана, которую исполняет Лаура, тоже явно запрещенная: артистка поет ее как своеобразный вызов тому обществу, которое собралось на ужин, — поет специально для того, чтобы разозлить слишком «правильного» Дон Карлоса, своего «угрюмого гостя» (VII, 145).

Столь же «потаенным» сочинителем оказывается персонаж из «Бориса Годунова», называемый то «Григорием», то «Самозванцем» (он называется еще «Димитрием», но персонаж с последним — царским — именем к поэтическому творчеству непричастен). Отличительной чертой монаха Григория Отрепьева является как раз то, что Господь его «книжному искусству вразумил». При этом игумен Чудова монастыря, сообщая патриарху о бегстве монаха, подчеркивает: «...и был он весьма грамотен: читал наши летописи, сочинял каноны святым; но, зная, грамота далася ему не от Господа Бога...» (VII, 24; курсив мой. — В. К.). Сочинение *канонов*, т. е. религиозных гим-

¹³ Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М., 1900. Т. VIII. С. 38.

¹⁴ Ахматова А. А. «Каменный гость» Пушкина // Ахматова А. А. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 83, 93—94.

нов, церковных песнопений в похвалу святых или праздников, требовало немалого поэтического мастерства, закрепленного традициями литургического творчества. Поэтика канона отмечена торжественной статичностью, медлительной витиеватостью — сочинить такое произведение было очень непросто.¹⁵ Классиками канона были «старые книжники» — Андрей Критский, Иоанн Дамаскин, Косьма Маюмский...

Имя преданного церковной анафеме Григория Отрепьева на этом «фоне», естественно, выглядело «незаконным», а сочиненные этим «книжником» каноны, естественно, оказывались «безличными». Тем более что, ставши Самозванцем, тот же пушкинский персонаж обнаруживает совсем иные поэтические пристрастия, трудно совместимые с традицией православного словотворчества:

Поэт (*приближается, кланяясь низко
и хватая Гришку за полу*)

Великий принц, светлейший королевич!

Самозванец

Что хочешь ты?

Поэт (*подает ему бумагу*)

Примите благосклонно

Сей бедный плод усердного труда.

Самозванец

Что вижу я? Латинские стихи!

Стократ священ союз меча и лиры,

Единый лавр их дружно обвивает.

Родился я под небом полунощным,

Но мне знаком латинской Музы голос,

И я люблю парнасские цветы.

Я верую в пророчества пиитов.

Нет, не вотще в их пламенной груди

Кипит восторг: благословится подвиг,

Его ж они прославили заране!..

(VII, 53—54)

Л. М. Лотман рассматривает монолог Самозванца как «своеобразную интерпретацию» стиля «символов и эмблемат», как «образец украинского барокко, т. е. того литературного стиля, который был усвоен Отрепьевым в школе городка Гощи на Волини».¹⁶ Но этот комментарий имеет отношение не столько к пушкинскому персонажу, сколько к реальному Отрепьеву: в трагедии Пушкина нигде не поминается о первоначальном «украинском» обучении его.

Пушкинского же Самозванца привлек в «латинских стихах» Поэта прежде всего афоризм «Musa gloriam coronat, gloriaque musam» — «Муза венчает славу, а слава музу» (VII, 54). Этот «эмблемат» поэзии в рукописной редакции «Бориса Годунова» («Комедия о царе Борисе и Гришке Отрепьеве»)

¹⁵ См.: Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977. С. 221—243.

¹⁶ Пушкин А. С. Борис Годунов: Трагедия / Предисл., подг. текста С. А. Фомичева; коммент. Л. М. Лотман. СПб., 1996. С. 318—319.

предварялся показательным обменом реплик Хрущова и Пушкина (которые, в свою очередь, «перебивали» монолог Самозванца):

Хрущов (*тихо Пушкину*)

Кто сей?

Пушкин

Пиит.

Хрущов

Какое ж это званьё?

Пушкин

Как бы сказать? по-русски — виршеписец,
Иль скоморох.

(VII, 269)

Л. М. Лотман указала, что этот, исключенный из печатной редакции, обмен репликами обнаруживал «полное непонимание русским человеком XVII в. того, какое „званьё” пиит и какова его роль при дворе короля». ¹⁷ Но Пушкину эти реплики потребовались не только для подобного указания — и, возможно, «ушли» из печатного текста по соображениям автоцензуры. Чернец Григорий — «пиит». Но на Руси ему уготована участь «виршеписца», которая обеспечивает разве что гарантированное «небытие»: кто же знает имя автора «канонов», распеваемых в церкви в качестве «общего гласа»? Для него недействительна та диалектика «славы» и «музы», которая воспета в латинских стихах. Для него, наконец, недействительна способность к «пророчеству», которая отличает истинного «пиита», — какое же «пророчество» может исходить от «скомороха»?

Поэтому Григорий предпочитает стать *Самозванцем* — и переходит из разряда «пиитов», *ободряемых* властью, в стан властителей, *ободряющих* «пиитов». Неведомый поэт в позе униженного просителя, «хватящего за полу», символизирует эту перемену социальной роли. Но за полу-то он «хватает» всё-таки «Гришку», сохранившего память своей прежней социальной роли. «Гришка» примеряет на себя новую роль и потому готов видеть в сочинении поэта «пророчество» о том, о чем сам мечтает:

Когда со мной свершится
Судьбы завет, когда корону предков
Надену я; надеюсь вновь услышать
Твой сладкий глас, твой вдохновенный гимн.

(VII, 54)

Помимо всего прочего, это означает, что *сам* персонаж, ставши «Самозванцем», перестал быть *пиитом* — тем, кем был, когда был «Григорием»... Будучи на Руси в положении «виршеписца», поэт Григорий, ощущая абсолютную безысходность этого «звания», предпочел ему сомнительную и опасную роль Самозванца, зато оказался избавлен от необходимости «выпрашивать себе вспоможения» как представитель словесного творчества, неизбежно лстя сильному, от чего не избавлены даже лучшие европейские поэты.

¹⁷ Там же. С. 317.

Тот же парадокс судьбы был уготован и Мазепе, который испробовал поэтическое ремесло, «когда он беден был и мал». Поэтому все созданные Пушкиным «поэты», несущие в характере некий «авантюризм», не могут оставаться *только* поэтами. Более того, поэтическое творчество для них — отнюдь не «призвание». И плоды их творческих вдохновений так и остаются «неизвестными». «Патриотическая дума» Мазепы не приведена даже и в примечаниях к «Полтаве». В нарушение драматической традиции опущен романс на слова Дон Гуана, который поет Лаура. Отсутствуют и образчики литургического сочинительства чернеца Григория, будущего Самозванца.

В данном случае «нетрадиционный» поэтический дар становится некоей *характерообразующей данностью* трех похожих друг на друга пушкинских персонажей — Самозванца, Мазепы и Дон Гуана. Все они, безусловно, сильные натуры. Все они — носители цельной и искренней любви. Все они — бескомпромиссные «люди *идеи*», призванные «разрешить» некую «мысль». Это и определяет ту их модель поведения, которая влечет окружающих.

* * *

Парадоксальность исторического и человеческого облика Мазепы Пушкин почувствовал уже при первом «знакомстве» с этим образом — при чтении поэмы Рылеева «Войнаровский» (в начале 1824 г.). Позднее Пушкин так комментировал это «знакомство»: «Прочитав в первый раз в *Войнаровском* сии стихи:

Жену страдальца Кочубея
И обольщенную их дочь,

я изумился, как мог поэт пройти мимо столь страшного обстоятельства» (XI, 160).

И далее наметил собственное отношение к Мазепе — отношение отличного от Рылеева поэта, не игнорирующего «страшных обстоятельств». Это отношение выглядит парадоксальным: «Объяснять вымышленными ужасами исторические характеры и не мудрено и не великодушно. Но в описании Мазепы пропустить столь *разительную историческую черту* было еще непростительнее. Однако ж какой *отвратительный предмет!* ни одного доброго, благосклонного чувства! ни одной утешительной черты! соблазн, вражда, измена, лукавство, малодушие, свирепость... [Д(ельвиг) дивился мне, как я мог заняться таковым предметом]. *Сильные характеры* и глубокая, трагическая тень, набросанная на все эти ужасы, вот что увлекло меня» (XI, 160; курсив мой. — В. К.).

Но как могли сочетаться в «реальном историческом» лице несомненная сила характера и своеобразное благородство с теми «отвратительными» действиями, которыми отмечено его историческое бытие? Сложный и противоречивый исторический персонаж «той смутной поры» Пушкин представляет *многомерным* героем, в котором перемешаны самые разные и самые несхожие нравственные данности.

Это была сознательная установка, отделявшая воззрение Пушкина от позиции Рылеева. Те два стиха из «Войнаровского», которые процитировал Пушкин, присутствуют во второй части рылеевской поэмы:

То трепеща и цепenea,
Он часто зрел в глухую ночь
Жену страдальца Кочубея

И обольщенную их дочь.
 В страданиях сих превозмогая,
 Молитву громко он читал,
 То горько плакал и рыдал,
 То дикий взгляд на всех бросая,
 Он, как безумный, хохотал.
 То, в память приходя порою,
 Он очи, полные тоскою,
 На нас уныло устремлял.¹⁸

Сохранившиеся черновые рукописи Рылеева свидетельствуют о том, что в первоначальных набросках его замысла произведения о мятежном украинском гетмане (наброски трагедии «Мазепа» и др.) была намечена сюжетная линия, отражающая любовь Мазепы и Матрены Кочубей — та самая, которая легла в основу пушкинской «Полтавы».¹⁹ При использовании этой линии и характеристика Рылеевым гетмана была соответствующей: «Угрюмый семидесятилетний старец. Человек властолюбивый и хитрый; великий лицемер, скрывающий свои злые намерения под желанием блага к родине».²⁰

Но Рылеев предпочел от нее отказаться: слишком уж «очерняющей» облик вольнолюбивого героя оказывалась эта любовь, странная для восприятия человека XIX столетия.

В единственном опубликованном при жизни Пушкина фрагменте из его «Опровержений на критики» разбираются как раз критические высказывания о «Полтаве» — поэме, которая «не имела успеха» именно потому, что ее главный герой, Мазепа, оказался изображенным «точь-в-точь как и в истории» и высказывания героя «объясняют его исторический характер» (XI, 164). Подобное критическое отношение вроде бы невозможно — но случилось именно так.

В этом фрагменте Пушкин констатирует, что критика действовала по модели, выявленной еще Княжнинным в комедии «Хвастун»: «Хоть знаю, да не верю» (XI, 164—165). Дочь Кочубея влюбилась в 70-летнего старика-гетмана; это известный исторический факт, подробно изложенный в известной «Истории Малой России» Д. Н. Бантыша-Каменского (основного исторического источника и для Рылеева, и для Пушкина). Но этот факт лег в основу литературного произведения — и критика предпочитает усомниться в этой «своенравной страсти» и стремится «подправить» прошедшие уже события!.. Мазепу, помнящего про обиду, учиненную гетману царем Петром, называют «слишком злопамятным». Не верят его восприятию Карла XII как «мальчика, бойкого и отважного». Не верят даже тому, что Мазепа представлен «злым» — «добрым я его не нахожу (отвечает Пушкин), особенно в ту минуту, когда он хлопочет о казни отца девушки, им обольщенной». Откуда это странное желание литературной критики «опровергать» несомненные факты, представленные историей?

Критика оценила как литературно *немотивированные* именно те деяния мятежного гетмана, которые изображены в «Полтаве» — «точь-в-точь как и в истории». Литературно «неприемлемыми» оказались два «сплетенные» между собой его поступка: незаконное «соблазнение» старцем молодой красавицы, дочери генерального судьи, и столь же «незаконная» измена

¹⁸ Рылеев К. Ф. Полн. собр. стихотворений. Л., 1934. С. 228.

¹⁹ Там же. С. 358—360, 539—540. Об отзвуках «Войнаровского» в «Полтаве» см.: Сиповский В. В. Пушкин. СПб., 1907. С. 526—538.

²⁰ Рылеев К. Ф. Полн. собр. стихотворений. С. 358—359.

делу России и царя Петра, которому Мазепа верой и правдой служил не одно десятилетие. Оба эти деяния оказались объединены страшной сценой казни — именно эта сцена наложила отпечаток на восприятие всего остального.

Сцена казни Кочубея и Искры в «Полтаве» (ст. 384—429) иногда текстуально совпадает с аналогичной сценой в «Войнаровском» Рылеева (ст. 750—760). По свидетельству Н. А. Бестужева, Пушкин по просьбе Рылеева, сделал пометы на полях его новой поэмы (до нас не дошедшие); более всего ему понравилась именно сцена казни (что, между прочим, Пушкин отметил и в письме к П. А. Вяземскому — XIII, 184), и он даже просил Рылеева «продать» ему стих про палача: «Вот засучил он рукава...».²¹

Исследователями отмечено и почти дословное совпадение в поэмах Рылеева и Пушкина «объяснения» Мазепы его «измены»: и в том, и в другом случае гетман ратует о *вольности*:

«ВОЙНАРОВСКИЙ»

Но к тайне приступить пора:
Я чту Великого Петра;
Но — покоряся судьбине,
Узнай: я враг ему отныне!..
Но я решился: пусть судьба
Грозит стране родной злосчастьем;
Уж близок час, близка борьба,
Борьба свободы с самовластьем!

«ПОЛТАВА»

Без милой вольности и славы
Склоняли долго мы главы
Под покровительством Варшавы,
Под самовластием Москвы.
Но независимой державой
Украине быть уже пора:
И знамя вольности кровавой
Я подымаю на Петра (V, 36).

Но вполне сходные конструкции несут на себе различный идеологический смысл. В устах рылеевского Мазепы, как отмечает Н. В. Измайлов, призыв идти против царя Петра приближен к декабристским призывам выступить на «борьбу свободы с самовластьем». С другой стороны, «„милая вольность и слава”, „кровавая вольность” в устах пушкинского гетмана — это не декабристская „свобода”, „слава и польза родины”; это — исторически точное понятие „вольности”, каким оно сложилось в шляхетской Польше, воспитавшей Мазепу».²² И в патриотических призывах Пушкин остается последовательно историчен: в его представлении Мазепа захотел сделать Украину «независимой державой» исключительно ради *личного честолюбия*.

Рылеев в своей поэме тоже употребил «фигуру сомнения», мотивировав ее обликом героя-рассказчика, Войнаровского. Тот, например, подводит итог деятельности Мазепы:

Не знаю я, хотел ли он
Спасти от бед народ Украины,
Иль в ней себе воздвигнуть трон, —
Мне гетман не открыл сей тайны.

И вместе с тем Рылеев вполне принимает позицию изменившего Мазепы:

И Петр, и я — мы оба правы;
Как он, и я живу для славы,
Для пользы родины моей.

²¹ Бестужев Н. А. Воспоминание о Рылееве // Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. М., 1980. Т. 2. С. 77—78.

²² Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. С. 118.

Пушкин же безусловно снимает «героизацию» мятежного гетмана, «мученика свободы». В его истолковании эгоистическая, честолюбивая направленность рокового поступка Мазепы оказывается однозначной и даже усиливается той «любовной» интригой, которую Рылеев сознательно «приглушил». Но герой «Полтавы» от этого не перестает быть «одним из замечательных лиц той эпохи» (V, 335), ибо во всех проявлениях собственной многоцветной личности остается *поэтом*.

* * *

В набросках предисловия к последним главам «Онегина» Пушкин сформулировал очень важную для себя мысль: «(Если) век может идти себе вперед, науки, философия и гражданственность могут усовершенствоваться и изменяться, то поэзия остается на одном месте, не стареет и не изменяется. Цель ее одна, средства те же» (VI, 540—541).

Под словом *поэзия* в данном случае понимается не только «словесное творчество», но некая «высокая страсть», явленная не только в «звуках». Поэзия есть способ жизненной ориентации людей особенной духовной организации.

Тот «век», который пришелся на долю *поэта* Мазепы, не способствовал проявлению поэтической личности, которая бы ограничила свою деятельность «звуками». Стать присяжным «виршеписцем иль скоморохом» мятежный гетман не смог бы. Поэтому он принужден искать возможности проявления своей поэтической природы в иных сферах.

По своей природе *поэт* в представлении Пушкина — естественный *эгоист*. Все впечатления жизни он пропускает через собственное *я* и представляет их исключительно в собственном восприятии. Это позволяет организовывать его житейскую позицию, ориентируясь прежде всего на самого себя, — но подобная позиция становится возможной для «несловесных» сфер бытия только до известного предела.

Таким «пределом» в пушкинской поэме становится эпизод несправедливой казни Кочубея: именно после этой казни для Мазепы становится невозможным дольше утаивать свои замыслы: «Но тайна быть сохранена / Не может долее...» (V, 43). Именно после казни Мазепа оказывается отделен от возглавляемого им народа, причем отделение это внутреннее: в нем повинен сам Мазепа:

Он терзался
Какой-то страшной пустотой.
Никто к нему не приближался,
Не говорил он ничего...

(V, 49; курсив мой. — В. К.)

Позиция *молчания* в данном случае показательна: слово мятежного гетмана вступает в непримиримое противоречие с его *делом*. Роль «слова» в данном случае исполняет его «дума».

По своему содержанию дума гетмана представляет образец патриотических размышлений романтического поэта. Основной ее «персонаж» — страдающая и томящаяся родина, «матка» Украина. Родину должны оберегать и защищать мужчины, но те «не в еден гуж тягнуть» и готовы подчинить свою «матку» «соседним» сильным «хозяевам»: один готов туркам-«отаманам» отдать родины «аж по Днепр», другой — «ляхом за грош служить», третьи «голдуют» Москве... А родина стонет от того, что произвела подобных сынов, разбредаящихся «той направо, той наліво»: «Лепше було не ро-

дिति, / Нежли в таких бедах жити»... Завершается дума призывом воевать за «незалежную» родину-мать.

Сомнения, высказанные критикой, касались авторства думы («не достоверно, точно ли она сочинена Мазепой») и искренности ее автора («нельзя принимать за чистую монету»). В последнем сомнении М. А. Максимович шел от того, что отложившиеся в истории деяния гетмана «нисколько не показывают в нем самоотверженной любви к Малороссии; история представляет в нем хитрого, предприимчивого честолюбца и корыстника, который готов был ничем не пощадить *для себя*, обличает в нем характер, несовместный с высокою любовью к отечеству».²³

Пушкин элиминирует подобные «исторические» сомнения. Для него Мазепа, выступивший в своей думе страстным патриотом, в политике из-за личной выгоды принявший сторону Карла XII, а в личной жизни сыгравший весьма некрасивую роль в истории с «собращенной» им дочерью «страдальца Кочубея», во всех проявлениях своего «эго» оказывался *искренним*. Его «дума» в представлении Пушкина — это, несомненно, «чистая монета»: в ней Мазепа действительно сказал то, о чем мечтал... В каждый данный момент жизни *поэт* может быть различен — и каждый раз остается самим собою.

С этой установкой «дума» гетмана Мазепы вошла в идеологическую структуру пушкинской «Полтавы», осложнившись целым веером дополнительных смыслов.

В структуре песни гетмана организующая роль принадлежит идеологеме «Украина» — олицетворению страдающего женского начала. Это «женское» страдание усиливается тем, что родина выступает в разных обликах: то это «матка», которая ничего не может ответить «пчулке бедной», то это олицетворение пространства «от Жовтой Воды» «по Днепр», то олицетворение «многих людей», то — просто символ «прародительницы» многих «сынов» и «братьев», которых «лучше було не родити»... Эти «сыны» — «стирники», «панове енералы», «панство полковники» и т. д. — разбрелись в разные стороны и из-за того оставили «в таких бедах» свою родительницу...

Подобная же идеологема с самого начала восстанавливается и в «Полтаве». Единственное по-настоящему «страдательное» образное начало в поэме связано с *женщиной*. В начале повествования это женское начало воплощено в облике «пугливой Марии», «невесты», имевшей несчастье «навек однажды» полюбить *поэта* Мазепу: «Целые два дня, / То молча плача, то стена, / Мария не пила, не ела, / Шатаясь, бледная, как тень, / Не зная сна...» (V, 21). С самого начала Мария предстает в поэме в позе *страдания*. Это «страдание» сопровождает ее описание по всей поэме. То ее имя поносит «беспощадная молва». То возлюбленный гетман требует от нее бесчеловечного выбора между ним и отцом («Ему иль мне погибнуть надо, / А ты бы нам судьей была...» — V, 38) — выбора, смысла которого «бедная Мария» не понимает. То она, выслушав упреки матери, становится запоздалой свидетельницей «ужасной казни» отца. То — в самом финале — сойдя с ума, осознает страшное противоречие между возлюбленным *поэтом* и тем безобразным *стариком*, в которого этот поэт обратился: «Его усы белее снега, / А на твоих засохла кровь» (V, 62).

Следом за Марией в поэме является и другая женщина: ее мать, «гордая и высокоумная» (эту характеристику, выписанную из источника, Пушкин приводит в примечании — V, 65). Страдание матери осложнено позой *мщеницы*: именно «нетерпеливая жена», исполненная «гнева женского», умоляет

²³ Максимович М. А. О поэме Пушкина «Полтава» в историческом отношении // Пушкин в прижизненной критике. С. 185.

«супруга злобного» отомстить за «позор Марии»: «О мщеньи шепчет, укоряет, / И слезы льет, и ободряет / И клятвы требует...» (V, 27). В этой жажде мщения она, даже перед казнью мужа, у ложа дочери, остается столь же гордой хранительницей чести «скорбной семьи»:

Ужель еще не знаешь ты,
 Что твой отец ожесточенный
 Бесчестья дочери не снес,
 И, жаждой мести увлеченный,
 Царю на Гетмана донес;
 Что в истязаниях кровавых
 Сознался в умыслах лукавых,
 В стыде безумной клеветы,
 Что, жертва смелой правоты,
 Врагу он выдан головою...

(V, 46; курсив мой. — В. К.)

Даже приближаясь к «мраку изгнания», мать продолжает отстаивать истину своего «женского гнева» и собственной, исключительно «семейной» правды...

Рядом с этими двумя личностями женщин уже в начале поэмы появляется обобщенный символ «женского» начала: Украина, общая «мать» героев поэмы, представленная в позе *волнения* и *ожидания* своего достойного сына: «Украина глухо волновалась. / Давно в ней искра разгоралась» (V, 23). Этот символ, почерпнутый из «думы» Мазепы, организует лирическое пространство «Полтавы», но опять же осложняется дополнительной семантикой. Пушкинская «Украина» — так же как и «Украина» Мазепы — страстно ждет своего сына, который поймет ее нужды. И сын, «храня суровость обычайну», действует в соответствии с внутренними нуждами матери-родины. Но тут раздается «ропот» «юности удалой», обескураженной «бездействием» и «послушностью» старого гетмана и подыскивающей для этой «матери» другого «сына»:

Теперь бы грянуть нам войною
 На ненавистную Москву!
 Когда бы старый Дорошенко,
 Иль Самойлович молодой,
 Иль наш Палей, иль Гордеенко...

(V, 24)

Но старенькой «матери» Украине у Пушкина противопоставлена «Россия молодая» — совсем иное символическое образование, чем «ненавистная Москва». Украина просто не сможет ее «одолеть». И потому гетман, поддавшийся общему «ропоту», вынужден действовать тайком, «воровским» манером и хитрыми увертками:

Во тьме ночной они как воры
 Ведут свои переговоры,
 Измену ценят меж собой,
 Слагают цыфр универсалов,
 Торгуют царской головой,
 Торгуют клятвами вассалов...

(V, 29)

Поэтому свободолюбивые замыслы Мазепы открывают прежде всего его «коварную душу» и «волю злую». И в этих коварных замыслах он остается

поэтом. Во всех без исключения эпизодах поэмы он является в позе *поэта*: «тверд, спокоен и угрюм». Как любой истинный поэт,

...он умеет самовластно
Сердца привлечь и разгадать,
Умами править безопасно,
Чужие тайны разрешать!

(V, 25)

У него открываются те качества, которые являются идеальными свойствами именно поэтической природы: «дух его неукротим», «он не ведает святыни», «не помнит благостыни»... И даже то обстоятельство, «что нет отчизны для него», может быть понято только в поэтическом контексте его «думы». В сочинении Мазепы действительно нет места для «края отцов» — родимая земля воспринимается им единственно с *материнской* семантикой: «Мати моя старенькая! / Что ты вельми слабенькая?..»; «Не допустеть горькой муки / Матце своей болш терпети!..» и т. д. Он представляет родину как воплощение исключительно женского начала, которое само по себе нуждается в защите и опеке со стороны более сильного — в некоем «покровителе». На роль такого «покровителя» он прочит самого себя. Но даже находящаяся рядом Мария понимает устремления гетмана очень уж «выпрямленно», ощутив только его «высокое положение», но не осознавая тех обязанностей, которые налагает роль защитника «старенькой» матери:

О милый мой,
Ты будешь царь земли родной!
Твоим седидам как пристанет
Корона царская!

(V, 36—37)

Романтический «вольнолюбец», обрисованный в соответствии с историческими данными, обретал у Пушкина черты нравственного «злодея». В этом заключалось характерное противоречие «Полтавы», подмеченное еще В. Ф. Переверзевым: «В качестве злодея Мазепа, в сущности, переставал быть героем исторической поэмы. (...) Для исторической поэмы поэт писал знаменосца „вольности кровавой“, борца за независимость Украины, а накладывая на него густые краски „души свирепой и развратной“, он, в сущности, подготавливал героя для поэмы морально-психологического жанра».²⁴

На подобном противоречивом «стыке» исторического и морального начал может существовать только *поэт*. Радетель независимости «старенькой» матери-родины — и авантюрист, преданный анафеме за измену. «Старый совратитель» и искренний герой-любовник. Герой, думающий об общем благе, — и человек, руководствующийся исключительно личными мотивами корысти и мести. Такое единение противоположных качеств возможно только в поэте.

Поэтом Пушкин, в отличие от Рылеева, «спрямлявшего» облик мятежного гетмана, не мог «пройти мимо» ни поэтической сущности его природы, ни его поэтического сочинения, замечательного «не в одном историческом отношении».

²⁴ Переверзев В. Ф. Поэмотворческий путь Пушкина // Переверзев В. Ф. У истоков русского реализма. М., 1982. С. 241.

© ЕЛЕНА КРАСНОЩЕКОВА (США)

BILDUNGSROMAN: ИЗ ВОСЕМНАДЦАТОГО ВЕКА В ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ

(ТРИЛОГИЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО
И «БИБЛИОТЕКА МОЕГО ДЯДИ» РОДОЛЬФА ТЁПФЕРА)

Молодого Толстого недаром именовали «архаистом». Современная русская проза не привлекала начинающего автора: ни романтизм 30-х годов, задержавшийся у Тургенева, ни «натуральная школа» 40-х... Сердце и ум Толстого отзывались не на творчество отцов, а на традиции дедов. Философия и художественные открытия эпохи Просвещения стали питательной почвой для его развития.¹ Как писал Б. Эйхенбаум, «творчество Толстого имеет глубокое и чрезвычайно характерное для него родство именно с 18 веком. Здесь — традиция многих его приемов и форм... английская и французская литература этой эпохи составляет его главное и излюбленное чтение, тогда как немецкая романтическая литература, столь популярная в России 20—40-х годов, не интересует Толстого; Руссо и Стерн, духовные вожди эпохи Карамзина и Жуковского, оказываются его любимыми писателями».²

Эпоха «молодого Толстого» охватывает примерно десять лет (1852—1863) — от появления «Детства» до публикации «Казачков». Далее с работой над «Войной и миром» приходит зрелость с разными этапами пятидесятилетнего творческого пути. В оценке динамики первого периода нет единодушия. Высказывалось мнение об отсутствии у Толстого так называемой эпохи ученичества, трудных поисков, преодоления неудач... «Толстой сразу выступил на свой настоящий путь, без тех исканий, блужданий, уклонений в сторону, какими обычно начинают свою литературную деятельность крупные писатели-художники. У него не было ни подражательного периода, ни слабых опытов».³ Иное мнение: «Основы художественного метода определены Толстым уже в ранних дневниках. Но не сразу найдены формы — весь период до „Войны и мира“ есть период не столько достижений, сколько исканий».⁴

Действительно, интенсивным поиском отмечена работа над первым из толстовских грандиозных замыслов — романом «Четыре эпохи развития», которая по существу обнимает все творчество писателя первого десятилетия (исключение — военные очерки и несколько рассказов). В орбите этого проекта — трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность». Четвертая часть, именуемая «Юность. Вторая половина» («Молодость»), так и не была написана, но ее разработанные планы воплотились в той или иной степени в таких произведениях, как «Святочная ночь», «Записки маркера», «Утро по-

¹ См.: Берлин Исайя. История свободы. Россия. М., 2001. С. 269—299.

² Эйхенбаум Борис. Молодой Толстой. Пбг.; Берлин, 1922. С. 15—17.

³ Овсяннико-Куликовский Д. Н. Л. Н. Толстой. СПб., 1908. С. 6.

⁴ Эйхенбаум Борис. Молодой Толстой. С. 59.

мещика» («кусок» из задуманного «Романа помещика»), «Казачи» (начало так и неосуществленного «кавказского романа»), наконец, в романе «Семейное счастье».

Все эти создания несут, с разной степенью «чистоты» и полноты, приметы популярного европейского жанра, правда, в его специфическом изводе. Известно, что классический немецкий Bildungsroman, идущий от Х. М. Виланда («История Агатона») и И. В. Гете («Ученические годы Вильгельма Мейстера»), оставил свои следы в русской прозе («Обыкновенная история» И. А. Гончарова).⁵ Но Толстой предпочел иную ветвь этого же жанра, ориентируясь на французскую и английскую традицию, т. е. опыт Ж.-Ж. Руссо, Л. Стерна и Ч. Диккенса. Эти великие писатели остались влиятельными авторитетами для Толстого навсегда, но на их блистательном фоне не потерялась куда более скромная фигура, оказавшаяся неожиданно значимой для молодого Толстого. Это ныне забытый в России, а на родине перешедший в разряд детских авторов швейцарский прозаик Родольф Тёпфер (Rodolphe Töppfer, 1799—1846).⁶ Л. Н. Толстой в «Воспоминаниях» (1906) заметил в связи с «Детством»: «...во время писания этого я был далеко не самостоятелен в формах выражения, а находился под влиянием сильно подействовавших на меня тогда двух писателей Stern(a) (его «Sentimental journey») и Töppfer(a) («Bibliothèque de mon oncle»)).⁷ «Библиотека моего дяди» (1832—1838) была напечатана в российской периодике в 1848 году, но уже десятью годами ранее была прочитана в России множеством людей, владевших французским языком. «Тёпфер, объединивший, через Ксавье де Местра, художественные принципы Стерна и Руссо, пришелся особенно по вкусу и так вошел в оборот русской беллетристики пятидесятых годов, что имя его стало мелькать в разных повестях и рассказах — то как цитата, то как предмет чтения героини или ее бесед».⁸

Интерес к Тёпферу у Толстого был связан прежде всего с антиромантической установкой начинающего автора, обнаружившейся уже в дневниках и письмах еще до работы над «Детством». Родина Родольфа Тёпфера — провинциальная патриархальная Швейцария — пребывала в 30-е годы в иной культурной фазе, чем остальная Европа; в этой стране «не было романтизма в том виде, как он сложился в других странах. Романтический цветок так и не распустился на швейцарской почве».⁹ Франкоязычный житель Женевы, художник и писатель Тёпфер, не принимавший схематизма классицистов и рационализма просветителей, тем не менее именно в романтиках — с их не-

⁵ Об этом см. в кн.: Краснощекова Елена. И. А. Гончаров. Мир творчества. СПб., 1997. С. 49—57.

⁶ В связи с Толстым о Тёпфере подробно писали Б. Эйхенбаум в книге 1922 года (в последующих материалах существенно сокращен) и П. Попов («Стиль ранних повестей Толстого («Детство» и «Отрочество»)» — Лит. наследство. 1939. Т. 35—36). В работах более поздней советской поры связь Толстого с Тёпфером замалчивалась, а подчас и отрицалась. И. В. Чуприна («Трилогия Л. Толстого „Детство“, „Отрочество“, „Юность“» — Саратов, 1961) в главе «К вопросу о западных традициях в трилогии» утверждала, что «говорить о зависимости Толстого от Тёпфера нет оснований» (с. 131). Столь же категоричны ее суждения и о влиянии Руссо, Стерна и Диккенса: «Очевидно ошибочны утверждений исследователей о том, что „Детство“, „Отрочество“ и „Юность“ есть результат влияния на их автора некоторых западных писателей. Трилогия Толстого в своей идейно-художественной целостности является порождением идейной и литературной жизни России конца 40-х и начала 50-х годов» (с. 148).

⁷ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1952. Т. 34. С. 348. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

⁸ Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. München, 1968. С. 8.

⁹ Седельник В. Д. Родольф Тёпфер — новеллист и художник // Тёпфер Родольф. Женевские новеллы / Перевод М. Н. Черневич. М., 1982. С. 410. Далее ссылки на это издание даются в тексте. См. также: Данилевский Р. Ю. Швейцарская повесть в русской литературе // От романтизма к реализму. Л., 1978. С. 262—279.

переносимой и, по его мнению, обреченной на осмеяние ориентацией на все сверхобычное — видел своих настоящих противников. Тёпфер восхищался Руссо и Стерном, был введен в литературу Ксавье де Местром, т. е. соединил в своей судьбе имена уже отмеченного выше эстетического ряда. В России особенность Тёпфера была сразу подмечена А. В. Дружининым. Приветствуя появление переводов его прозы, критик подчеркивал «отсутствие (в ней) всякой натяжки. Он начинает рассказывать какую-нибудь простую повесть, на пути встречается он какую-нибудь мысль, развивает ее без церемонии, вводит один-два эпизода, но все-таки помнит о целом: он не ловит отступлений; он знает, что, со странностями или без странностей, рассказ его все-таки будет хорош и оригинален».¹⁰ Автор «Библиотеки моего дяди» оказался близок Толстому и по чисто человеческим качествам и влечениям. Исследователь творчества швейцарца пишет: «...Толстой и Тёпфер — величины несоизмеримые. И все же тут было определенное родство душ, сходство нравственно-этических убеждений, присущее обоим недовольство собой и стремление найти некие общие правила поведения. Оба они были педагогами, моралистами, имели одних и тех же духовных наставников. Оба тяготели к самораскрытию, даже к саморазоблачению — в разной, естественно, степени. По свидетельству биографов, в своих дневниках и письмах (...) Тёпфер был до резкости откровенен и нелюбезен. „Мой жизненный принцип — правдивость по отношению к себе и к другим“, — писал он».¹¹

Б. М. Эйхенбаум на вопрос, почему именно Тёпфер попал в поле зрения начинающего русского прозаика, отвечал: у второстепенного писателя «определеннее и чище выступают приемы школы».¹² Автору «Детства» и «Отрочества» оказались близки прежде всего стилистические и интонационные предпочтения автора «Библиотеки моего дяди», отталкивающегося от эстетики романтизма и тяготеющего к стилистике сентименталистов конца XVIII века. Отсюда опрощение стиля, естественность тона, освобожденного от всякой аффектации, и лиричность повествования, ведущегося от лица чуть наивного, но тонко чувствующего человека.¹³ Но для молодого автора важен был и выбор жанра, поскольку именно им определяется композиция, тип героя, система действующих лиц, характер сюжета (ослабленного или напряженного), в конце концов, и сами темы-мотивы, организующие всю структуру произведения. Очевидно, что «поиски жанра» (не только стиля) привлекли внимание Толстого к скромному по объему и авторским претензиям произведению швейцарца.

Работая над «Детством», Толстой видел в нем именно «роман» (первую часть «Четырех эпох развития»), а не повесть, как поименовал в письме это сочинение (к неудовольствию автора) Н. А. Некрасов, опубликовавший «Детство» в своем «Современнике». Справедливо замечено, что в тот момент роман как таковой был для Толстого «просто большая вещь»: «Особенности

¹⁰ Дружинин А. В. Письма иногороднего подписчика // Дружинин А. В. Собр. соч. СПб., 1865. Т. 6. С. 290—292. Любопытно, что отмеченные приметы стиля Тёпфера приписывались в России «стернианству» — явлению, весьма далекому от подлинного существа той «революции», что Стерн произвел в английской литературе. Его соотечественники видели в нем замечательного пародиста, насмешника, русские восхищались чувствительным гением, чистым сентименталистом. «На русской почве пародийность Стерна воспринималась либо как „недостаток“, как чрезмерная „болтовня“... либо как нечто специфически английское, не заслуживающее внимания» (Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. С. 84). См. также мою статью «„Сентиментальное путешествие“: проблемы жанра (Л. Стерн и Н. Карамзин)» (Русская литература. 2002. № 1. С. 191—206).

¹¹ Седельник В. Д. Указ. соч. С. 429—430.

¹² Эйхенбаум Б. М. Теория, критика, полемика. Л., 1927. С. 29.

¹³ Попов П. Стиль ранних повестей Толстого («Детство» и «Отрочество») // Лит. наследство. 1939. Т. 35—36. С. 78—116.

жанров и форм им, по-видимому, не ощущаются. Это обычно бывает в такие периоды, когда развитые и усовершенствованные прежними поколениями формы начинают терять свою действенность, осязаемость — становятся доступными, легкими... В творчестве Толстого перед нами происходит процесс нового затруднения этих канонизированных форм путем, с одной стороны, их разложения и смешения, с другой — путем возрождения старых, уже давно забытых традиций. Тут влечение Толстого к литературе 18 века находит новое историко-литературное подкрепление и приобретает характер еще большей закономерности.¹⁴

В «Библиотеке моего дяди» Тёпфера — наследника «забытых традиций» — легко обнаружить приметы именно Bildungsroman(a), на русскую почву «пересаженного» уже Карамзиным. Но Толстой, будучи близок к Карамзину по многим эстетическим предпочтениям, вернее всего, не был знаком с его романом «Рыцарь нашего времени» (1803)¹⁵ и открывал особый жанровый феномен, читая французскую и английскую литературу.

По М. М. Бахтину, рождение «романа воспитания» («романа становления») во второй половине XVIII века стало важнейшим моментом в истории бытования романа как такового. Принципиальное отличие «романа воспитания» от других разновидностей («роман странствований», «роман испытания») в том, что в нем «дается динамическое единство образа героя»: «Сам герой, его характер становится *переменной величиной* в формуле этого романа. Изменение самого героя приобретает *сюжетное значение*, а в связи с этим в корне переосмысливается и перестраивается весь сюжет романа». Частным вариантом этой разновидности является циклический (чисто возрастной) «роман становления», возможный, по мнению ученого, в чистом виде лишь у идилликов. Но Бахтин специально подмечает в скобках: «Очень силен он у Толстого, непосредственно связанного в этом отношении с традициями 18 века».¹⁶ О Тёпфере прямых упоминаний у Бахтина нет, но косвенно к его творчеству можно отнести размышления о влиянии идиллий, столь популярных в литературе Швейцарии, на «сентиментальный роман руссоистского типа».

«Библиотека моего дяди» — своего рода трилогия (представлено отрочество, юность, молодость: от пятнадцати до двадцати трех лет). Одно из предполагаемых названий маленького романа — «История Жюля» — проясняет авторский замысел. Популярное имя нацелено на расширение диапазона «истории». Ожидаемый роман — об одном из многих (история героя отнюдь не уникальна). Акцент — на всеобщности законов человеческого взросления, а не на сугубом своеобразии индивидуальной судьбы. Таковым видится и замысел Толстого, поэтому его столь возмутило поименование в «Современнике» без его ведома первой части задуманного романа «Историей моего детства», поскольку «заглавие (...) противоречит с мыслью сочинения» (1, 332).

У Тёпфера герой-повествователь пребывает в завершившемся возмужании и одновременно в трех ему предшествующих стадиях. Рассказчик — человек с седой головой (за сорок лет!), одолевший все этапы взросления и в итоге пришедший к «протрезвлению с той или иной степенью резиньяции» (М. М. Бахтин). Он с грустью вспоминает о годах, что определили навсегда сам состав его личности: «Ничто не может изгладить из моего сердца память

¹⁴ Эйхенбаум Борис. Молодой Толстой. С. 32.

¹⁵ Об этом — в моей статье «Bildungsroman на русской почве (Н. М. Карамзин. «Рыцарь нашего времени»)» (Русская литература. 2002. № 1. С. 4—21).

¹⁶ Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 200—201.

о прошлом. В настоящем я владею гораздо большим, чем желал в те времена, но я тоскую по возрасту, когда мы полны желаний». Это прошлое видится навсегда утерянным раем: «Свежее майское утро, голубое небо, тихое озеро, — вы и сейчас передо мной, но... куда девался ваш блеск, что стало с вашей чистотой? Где ваша неизъяснимая прелесть, полная радости, тайн, надежд? Вы ласкаете мой взор, но уже не трогаете душу; я холоден к вашему веселому зову; чтобы так нежно любить вас, как прежде, надо возвратить невозвратимое прошлое, повернуть время вспять. Какое грустное и горькое чувство!» (с. 28—29). Но этот меланхолический монолог перекрывается оживленными интонациями тех возрастов, «когда мы полны желаний», — отрочества, юности и молодости. Так создается подвижное двуголосье, определившее особый стиль этого произведения, позволяющий непосредственно выявить в самой лексике, тоне повествования динамику взросления и ее неминуемый итог.

У Толстого интонации юного Николеньки превалируют, но возмужавший герой (тридцатилетний!) периодически вносит в повествование эмоциональные «комментарии», наполненные ностальгией по тем годам, «когда мы были полны желаний», а мир детства (до смерти матери) с высоты опыта жизни выглядит для него тоже потерянным раем. Глава «Детство» обрамлена восклицаниями и вопросами. В начале ее: «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений» (1, 43). В финале главы: «Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве... Где те горячие молитвы? Где лучший дар — те чистые слезы умиления... Неужели жизнь оставила такие тяжелые слезы в моем сердце, что навеки отошли от меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?» (1, 45). Эмоциональный градус этих строк выше, чем у швейцарца. В памяти сироты Жюля нет воспоминаний о семье, о матери. Николенька весь погружен в мысли о ней: сладкие звуки голоса, чудесная нежная ручка, грустная очаровательная улыбка...

«О, сколь трудное дело воспитание!» — это признание можно принять за эпиграф ко всей книге Тёпфера, уроженца страны И. Г. Песталоцци. Слово «воспитание» стало ключевым при отборе эпизодов и их расположении. Естественное появление (и повторение) таких понятий, как «уроки» и «школа». В итоге в книге Тёпфера буквально реализуется основная примета Bildungsroman(a) по Бахтину — «изображение мира и жизни как опыта, как школы, через которую должен пройти всякий человек».¹⁷ Учитель (наставник, ментор) — по значимости вторая фигура (вслед за центральным персонажем) в такой разновидности романа. Слово «ментор», как известно, пришло из философско-педагогического романа аббата Фенелона «Приключения Телемака» (1693—1699), любимого чтения Тёпфера и его героя. Учитель Ратен, на попечение которого дядя Том оставил сироту Жюля, требователен по долгу службы, но добр по натуре: предпочитает ораторство наказанию. Отношение подростка к нему — снисходительное почтение: «Какой же, право, был чудак, как я вспомню, мой учитель! Человек высокой нравственности и педант; почтенный и смешной, важный и комичный, он одновременно внушал и уважение к себе, и желание подшутить над ним» (с. 16). Именно это желание претворяется в неудержимом смехе подростка над бородавкой учителя (очередная вариация знаменитого стерновского «конька» — единственная деталь портрета учителя). Тем не менее поучающее ораторство ментора, вскормленное немалой эрудицией, отпечатывается в душе

¹⁷ Там же. С. 201.

Жюля. Ратен был «целомудрен до крайности» и убеждал «загадочными и зловещими словами» ученика, увлеченного чтением, что любовь «самая пагубная, самая презренная и наиболее противная добродетели страсть», создавая «превратное впечатление о многих вещах». В «Детстве» Толстого первая глава так и названа «Учитель Карл Иваныч». Толстовский наставник — фигура куда более тщательно выписанная, чем Тёпферовская. Во внешности и привычках Карла Иваныча — масса деталей, многие из которых ироничны, поскольку он скорее «дядька», чем подлинный учитель. Ведущая примета Карла Иваныча — доброта (доброе немецкое лицо, добрый немецкий голос, совесть его чиста и душа покойна), за проступок он только угрожает линейкой и требует мольбы о прощении.

Молодой Толстой, судя по его дневникам, главной задачей художественного письма полагал умелое сочетание обобщений («генерализации») с детальностью психологического рисунка — «мелочностью». Искусство — это «микроскоп, который наводит художник на тайны своей души и показывает эти общие всем тайны людям» (53, 94), заметил он в более поздние годы. Подобный стилевой симбиоз издавна был принят в Bildungsroman(e) с его обязательным моральным посылом и пристальным вниманием к душе растущего человека. В первой части «Библиотеки моего дяди» — «Два узника» (слово «узник» — из словаря романтиков, но персонажи, в духе эстетики Тёпфера, лишены какого-либо романтического флера) — «мелочность» прокламируется со всей определенностью: «... я пускаю в ход лупу и микроскоп и... сколько любопытных мелких особенностей я открываю» (с. 10). Одновременно в размышлениях о жизни подростков налицо более широкий масштаб. Одни из них «проводили свои дни в маленьких комнатках, выходящих на тихие дворы и на пустынные крыши. Там они превращались в созерцателей, далеких от уличной суеты, но имели достаточно пищи для самостоятельных наблюдений над малым кругом соседей. Они получали знание людей менее обширное, но зато более углубленное» (с. 5). Сирота Жюль, предоставленный самому себе, отдается самопознанию и наслаждается созерцанием: он «в том возрасте, когда собственное общество так сладко, когда в сердце неумолчно звучат пленительные речи, а ум так легко находит наслаждение, когда воздух, небо, поля, стены — все о чем-то говорит, все чем-то волнуется, когда дерево акации представляется целым миром, а майский жук — сокровищем». Голос юного героя прерывается вновь восклицанием взрослого: «Ах, почему я не могу вернуть ту счастливую пору, не могу вновь пережить волшебные часы! Как тускло светит сейчас солнце! Как медленно тянется время, как безрадостен досуг!» (с. 28).

Николенька у Толстого тоже из породы созерцателей, погруженных в собственные наблюдения и мысли, недаром в семье его именуют «поэтом». Своеобразие психики таких натур раскрывается обоими авторами в сходных эпизодах (под знаком «мелких особенностей»). У Тёпфера герой на двух страницах занят игрой с майским жуком на столе: «Я сажаю удивительное насекомое на первую страницу моей тетради: хоботок его наполнен чернилами; затем, вооружившись соломинкой, чтобы руководить работой жука и, когда это нужно, преграждать ему путь, я заставаю его проглатывать таким образом, чтобы он самостоятельно написал мое имя. На это ушло два часа времени, но зато какой получился шедевр!» (с. 20). У Толстого (глава «Охота») в напряженный момент герой обнаружил, что около оголившихся корней дуба кишмя кишели муравьи, и забыл обо всем: «Я взял в руки хворостину и загородил ею дорогу. Надо было видеть, как одни, презирая опасность, подлезали под нее, другие перелезали через; а некоторые, особенно те, которые были с тяжестью, искали обхода...» (1, 25).

Такого рода созерцателям, по Тёпферу, противостоят подростки, выросшие «у порога отцовской лавки»: усвоившие вкус улицы, разделившие быстро мораль и предрассудки своего квартала, рано обретшие умение разбираться в людях... Из отрочества протягивается линия к эпохе зрелости, поскольку противостояние «сейчас» и «потом» типично для Bildungsroman(a): «... лет после двадцати, двадцати пяти — жилище уже не играет такой роли. Оно может быть мрачным или светлым, уютным или неубраным, но теперь это школа, где учение кончилось. В этом возрасте человек уже избрал себе поприще, достиг того туманного будущего, которое еще недавно казалось ему столь отдаленным. Душа его уже не столь мечтательна и послушна: предметы отражаются в ней, но не оставляют отпечатков» (с. 6). Но пока человек растет, от местопребывания («порог отцовской лавки» или «комнатка») зависит сам склад личности. Таким образом, среда обитания обретает метафорические смыслы. «Комнатка» до поры, до времени — это убежище для Жюля, погруженного в чтение и романтические мечты: «Я наслаждался там глубоким покоем и приятными досугами ранней юности, проводил мало времени со своим учителем, немного более с самим собой, а больше всего — в обществе (героинь книг) Эвхарисы, Галатеи и особенно Эстеллы» (с. 12). Жюль в том возрасте, «в сущности единственном и длящемся очень недолго», когда рождается «ребяческая любовь, первые искорки яркого пламени, которое лишь позднее охватывает, обжигает и опалает сердце... Но сколько прелести, радости, чистого света в этих невинных предвестниках чувства, столь чреватого бурями!» (с. 12). Романтическими аллюзиями окутано и первое обожание уже не книжных героинь, а прелестной девушки Люси: «Как ошибаются те, кто думает, будто любовь школьника, лишённая надежды и цели, не может быть пылкой и преданной... Такие люди никогда не были школьниками» (с. 46). Английская аристократка Люси — это «юная нимфа», «юная Антигона» в простом белом платье, «украшенная всем, что выгодно обрамляет красоту и грацию». В ней подросток «увидел воплощение своей смутной мечты о той, к кому влеклись неясные желания и безотчетные порывы, с недавних пор тревожившие мое сердце» (с. 45). Природный артистизм Жюля, будущего художника, сказывается в его чувствительности к поэтической прелести, красоте как таковой.

Восприятие мира Никольской в детстве и отрочестве в отличие от Жюля почти не подвержено книжным влияниям. Толстой разделял педагогические идеи высокопочитаемого им Руссо. В «педагогическом романе» «Эмил, или О воспитании» ментор настаивал на вредности книг для воспитанника, пока его индивидуальность не сформируется под наставническим присмотром. Правда, еще Карамзин в «Рыцаре нашего времени» отступил от этой рекомендации. Чувствительный Леон (по замыслу — русский вариант Сен-Пре из «Юлии, или Новой Элоизы»), проживая в глубинке, с упоением плавает в книжном мире с самого детства. Отстраненность Никольской от этого мира сменяется чтением популярных авторов только в юности.

Метафорика пространства у Тёпфера видоизменяется по ходу сюжета. Та же «комнатка» — обитель сладких мечтаний и тайных желаний Жюля — неожиданно становится местом заточения, а ее жилец — на два дня узником, вроде преступника, заключенного в настоящей тюрьме, за которой каждодневно наблюдает подросток из своего окна — самого притягательного места в комнатке-камере, поскольку его наличие «взрывает» подавляющую замкнутость пространства. «Окно» — это ведущий психологический (символический!) образ в книге Тёпфера. С ним связана мысль об открытии мира, прелести простора и богатстве жизненных возможностей: «Я должен

был попасть в заключение, чтобы впервые познать всю прелесть свободы» (с. 28).

«Окно» — сквозной образ и у Толстого. Известно, что в 1850 году он задумывал сочинение «У окна». С. А. Толстая, со слов Льва Николаевича, передает, «как появился первый толчок к „Детству“ еще в Москве»: «Прочитав „Voyage sentimental“ par Stern, он, взволнованный и увлеченный этим чтением, сидел раз у окна и смотрел на все происходящее на улице. „Вот ходит будочник: кто он такой, какова его жизнь?..“ А вот карета проехала: кто там и куда едет, и о чем думает, и кто живет в этом доме, какая внутренняя жизнь их... Как интересно было бы описать, какую можно было бы из этого сочинить интересную книгу».¹⁸ П. Попов так комментирует эти строчки: «Речь идет о наблюдении за всем происходящим с точки зрения лица, следящего из своего уголка за внешними событиями; прием заключается в том, чтобы смотреть на мир как бы из своего „окна“ и размышлять об этом. Вот это-то „окно“, из которого автор смотрит на окружающее, в значительной мере тётферовского происхождения. Тётфер дал Толстому первые приемы не только по *оббору материала*, но и по *методу наблюдения* при собирании материала».¹⁹

В первой главе «Детства» «окно» соседствует со столь же лейтмотивным образом «дороги». В отличие от другой разновидности жанра («романа странствований», где из дорожных приключений складывается сюжет) в *Bildungsroman(e)* «дорога», «путь» — метафоры психологического наполнения. С ними связаны перипетии духовного развития — открытие «большого мира», выход во взрослость. Николенька в учебной комнате, которая тоже воспринимается им как камера. Идут занятия, но внимание мальчика отдано трем окошечкам: «Из окна направо видна часть террасы, на которой сжигали обыкновенно большие до обеда... видишь черную головку матушки... и думаешь: „когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю“». Вид из окна не ограничен террасой (кругом семьи): «Прямо под окнами *дорога*... за дорогой — стриженная липовая аллея... через аллею виден луг... а напротив лес...» (1, 7). Это тот самый Калинов лес, что описан в главе «Охота», весь строй которой противостоит предшествующим шести главам, где помещичьим домом-усадебой ограничен белый свет для маленького узника защищенной территории. Лес недаром именуется «самым отдаленным, таинственным местом, за которым кончается свет или начинаются необитаемые страны» (1, 22—23). Охота — это причащение к природной (не усадебной!) идиллии: веселый свист перепелов, жужжание насекомых, запах полыни, соломы и лошадиного пота, синяя даль леса и бело-лиловые облака. «Все это я видел, слышал и чувствовал» (1, 23). Охота безусловно и *акт инициации*, приобщения к взрослому мужскому сообществу. Это подлинное испытание для робкого и застенчивого мечтателя («мне казалось, что не может быть решительнее этой минуты»). Но, признается Николенька, «воображение мое, как всегда в подобных случаях, ушло далеко вперед действительности: я воображал себе, что травлю уже третьего зайца, в то время как отозвалась в лесу первая гончая» (1, 24). Подвела и склонность к созерцанию-наблюдению. В итоге стыд, отчаяние...

У Тётфера не случайно через «окно» совершается смелый прорыв пятнадцатилетнего Жюля в неизвестность (из отрочества в юность). Эпизод сопровождается нагнетанием проступков, последствия которых достигают уровня

¹⁸ Гусев Н. Н. Толстой в молодости. М., 1927. Т. 1. С. 190.

¹⁹ Попов П. Указ. соч. С. 84.

катастрофы («разгром был ужасающий, сущее столпотворение»). Хотя ужас от содеянного, страх перед учителем на первых порах парализуют героя, он решается на побег из «комнатки» в открытый и тревожный мир. Налицо первый в жизни самостоятельный и решительный поступок («Сколько жизненной силы у юности!» — удивляется самому себе герой). Резкое нарушение нормы (покорного послушания) выглядит бунтом, почти непосильным для юного существа: «В любом возрасте грустно быть изгнанником, но какво это для ребенка, который находится так близко от отчих мест!» (с. 62). Случайное появление ангела Люси с ее добрым отцом и... «через несколько дней мы вернулись в Женеу, и дядя избавил меня от г-на Ратена. Так началась моя юность. В следующей главе я расскажу о том, как три года спустя она окончилась» (с. 69). Подобное завершение главы — в духе избранного жанра с его фиксацией внимания на переломных моментах — переходах от одной эпохи развития к другой. Конец отрочества — начало юности (и в перспективе приход молодости). Последняя фраза соединяет первую часть книги со второй (сюжетно они не связаны), создавая цельное повествование с тематическим «сюжетом» (взросление в «школе жизни»). К подобному приему соединения глав прибегает и Толстой, что не раз отмечалось в литературе.

Центральный эпизод «Отрочества» — тоже катастрофа, нарастающая исподволь и ставшая неминуемой. Ее итог — резкий сдвиг в психологии подростка. Стоит заметить, что, хотя вторая книга трилогии открывается переездом детей в Москву после смерти матери («Поездка на долгих» с открытием природы и мира простых людей через «окно» кибитки), на самом деле выход из детства совпадает с отъездом из усадьбы (глава «Разлука»). Синдром «комнатки» (камеры и убежища) разрушен вторжением новых сильных впечатлений. Младенческая невинность утеряна в главе «Стихи». А страшное горе — потеря матери — только завершает стадию перехода к отрочеству. Катастрофа — это уже испытание, нацеленное на подготовку к следующему этапу — юности.

Нагнетание несчастий у Толстого нарастает от одной главы к другой, и каждое осмысливается в категориях экстремальных: «величайшее несчастье», «новое преступление»... За всем этим следует «затмение» разума с непредсказуемыми последствиями: «Я читал где-то, что дети от 12 до 14 лет, т. е. находящиеся в переходном возрасте отрочества, бывают особенно склонны к поджигательству и даже убийству... без цели, без желания вредить; но так — из любопытства, из бессознательной потребности деятельности» (2, 40). Но Николенькины неожиданные поступки не без цели, его одолевает желание отомстить за унижение ненавистному гувернеру. Несчастный узник чулана, вообразив себя сиротой, под страхом наказания выбирает побег: «Я воображаю себя уже на свободе, вне нашего дома» (2, 46). И... побег состоялся: «Хотел ли я убежать совсем из дома или утопиться, не помню; знаю только, что, закрыв лицо руками, чтобы не видеть никого, я бежал все дальше и дальше по лестнице» (2, 48). Спасение приносит неожиданная встреча с отцом... Отзвук пережитого — в оценке отрочества как этапа жизни: «Редко, редко между воспоминаниями за это время нахожу я минуты истинного теплого чувства, так ярко и постоянно освещавшего начало моей жизни. Мне невольно хочется пробежать скорее пустыню отрочества и достигнуть той счастливой поры, когда снова истинно нежное, благородное чувство дружбы ярким светом озарило конец этого возраста и положило начало новой, исполненной прелести и поэзии, поре юности» (2, 58).

История юности Жюля во второй части книги — «Библиотека» (название вновь скромное, будничное, в стиле антиромантизма Тёпфера). Само по-

нятие «библиотека» трактуется расширительно: это клад мудрости, духовное наследство, переходящее от поколения к поколению (от отца к сыну, от дяди к племяннику). Ранее намеченное у Тёпфера противостояние «улицы» и «комнатки» изживается с возрастом, поскольку рано или поздно герою приходится выйти из-под опеки старших. Наступает момент в развитии, замечает умудренный жизнью повествователь, когда «исполненные самых благих намерений, следуя советам друга или книги», старшие «направляют ум и сердце сына к избранной цели, а в это время уличные сценки, уличный шум, соседи, неожиданные происшествия вступают в заговор против них, или же играют им на руку», и они «бессильны против враждебного влияния или непрошенного воздействия» (с. 6).

Признание условием возмужания неминуемой встречи с «улицей» объясняет строгость оценки Жюлем своего благодетеля: «Мой дядя знает все, чему учат книги, и не знает ничего, чему учит улица. Поэтому он больше верит наукам, чем жизни... он добр и наивен как ребенок, потому что никогда не жил среди людей» (с. 75—76). Так мимолетно обозначился в книге Тёпфера феномен инфантилизма — остановки на пороге подлинной зрелости. Это явление занимает романистов, в особенности русских (достаточно вспомнить «Обломова»). Но Тёпфера — наследника традиций классического Bildungsroman(a) — интересует норма (развитие по восходящей), а не отклонение от нее. Логично, что сам образ дяди Тома, заменившего Жюлю отца, изменяется по мере повествования: от наивного чудака до мудрого (в отличие от Ратена) наставника и, более того, праведного, почти святого человека (обратное движение у Толстого в отношении Николеньки к Карлу Иванычу и отцу).

Во второй части книги Тёпфера, как и в первой, четко обозначены временные координаты. В романе воспитания «время вносится вовнутрь человека, входит в самый образ его, существенно изменяя значение всех моментов его судьбы и жизни».²⁰ Жюлю 18 лет, он уже не школьник и готовится стать студентом, но остается по-прежнему созерцателем. Правда, с годами его «зрение» обострилось и углубилось, так что он может быть назван скорее наблюдателем («Что же делать, *глазая*, если не наблюдать?» — с. 71), который не только познает себя, но и пытается понять жизнь вокруг. Его постоянное место в квартире дяди то же самое — «окно — превосходное поле обзора»: «Смотреть в окно! Вот подходящее занятие для студента... В ожидании... будущего он не отходит от окна... ни мои учителя, ни Гроций, ни Пуффендорф не дали мне и сотой доли того, чему научился я, глядя на улицу» (с. 70). Сквозь «окно» теперь открываются не одни внешние приметы, но скрытые чувства и мотивы: «Я занимаюсь исследованием людских намерений, догадываюсь об их причинах и вникаю в их следствия» (с. 72). Вслед за этими эмоциональными признаниями *юноши* — осмысление самого процесса созревания ума уже *человеком с седой головой*, изучившим не один труд о воспитании: «Проводить время в безделии необходимо хоть бы раз в жизни, особенно в восемнадцать лет, когда ты только кончил школу. Это занятие освежает душу, иссохшую над книгами. Душа делает остановку, чтобы заглянуть в себя; она перестает жить чужой жизнью, чтобы начать жить своей собственной... Затем мало-помалу, сам того не ведая, ум усваивает привычку классифицировать, согласовывать, обобщать. И вот он самостоятельно вступает на путь философии...» В голову приходят новые идеи и сталкиваются со старыми, «рождаются открытия», юноша «сравнивает, выбирает и прямо на глазах становится умнее» (с. 71—72).

²⁰ Бахтин М. М. Указ. соч. С. 200.

В этих словах — программа самопознания—самовоспитания и по Толстому («Правила поведения»), которую выстраивает для себя Николенька в «Отрочестве»: «...все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души уже представились мне; и детский слабый ум мой со всем жаром неопытности старался уяснить те вопросы, предложение которых составляет высшую ступень, до которой может достигнуть ум человека, но разрешение которых не дано ему» (2, 56). Начало дружбы с Дмитрием и открытие всей полноты природной прелести (глава «Весна») «перерождают» колючего подростка: «Как я мог не понимать этого: красота, счастье, добродетель — одно и то же... как дурен я был прежде, как я мог бы и могу быть хорош в будущем!.. надо скорей, скорей, сию же минуту сделаться другим человеком и начать жить иначе» (2, 82).

Но все «отвлеченные вопросы», как показывает Тёпфер, отступают перед любовью: она именно та школа, «уроки» которой не перекрываются никаким другим жизненным опытом. Жюль говорит о первой девушке, заставившей биться его сердце: «Прекрасные глаза, которые привели меня в замешательство, наполнили стыдом и быстрой, как молния, радостью. Она покраснела и пошла дальше» (с. 79). Неопытность, наивность и робость юности — все это выявилось в краткой и трагичной *первой любви*: «Особая прелесть этого возраста заключается в том, что можно покраснеть от дуновения ветерка и шороха былинки, но покраснеть из-за меня казалось мне несказанной милостью, обстоятельством, круто меняющим мое положение; впервые между мною и ею что-то произошло» (с. 79—80). Встреча с прекрасной незнакомкой вселяла надежду на взаимность, она «не настолько богата и знатна, чтобы желания, зарождавшиеся в моем сердце, делали меня смешным в моих собственных глазах» (с. 80). Девушка, увиденная Жюлем из своего «окна» сквозь «окно» больничной палаты, «сияющая юностью и свежестью рядом с болезнью и старостью», — еврейка. «Красавица и еврейка! Мне она от этого показалась в десять раз красивее, и я полубил ее сильнее» (с. 82). Чувство питалось не только восхищением и богатым воображением, но и состраданием: «Быть может, она всеми покинута? Быть может, на нее косо смотрят добрые люди?.. В моих глазах это было ее преимущество и словно приближало ее ко мне» (с. 83).

Чувство, внушенное незнакомкой, ничем не напоминало отчужденное любование недоступной феей Люки. Это была юная страсть к прелестной, земной женщине, что и «проявляет» сновидение с его знаменательными мотивами леса, неожиданной встречи, томления сердца... В сновидении проступают как отзвуки литературных стереотипов, так и подлинное, глубоко скрытое сексуальное влечение к избраннице: «Печальный, но спокойный, проникнутый каким-то неведомым мне пленительным чувством, брожу по безмолвному лесу... наделенный красотой, изяществом и всем, о чем я мечтал наяву». Встреча с Ней выдает взаимное чувство: «Взгляд ее говорил языком, который затрагивал самые нежные струны моего сердца. Я видел, как ее головка склонилась ко мне, я почувствовал свежее дыхание, и, наконец, рука ее очутилась в моей руке» (с. 86—87). «Холодная действительность» в лице дяди сорвала предсказуемый финал.

Любовь преобразила Жюля: готовясь к признанию в любви, он осознал, насколько в свои 18 лет он был внутренне несвободен: «Моя страсть возвысила меня в собственных глазах; на некоторое время исчезло все, что отравляло мои мечты: неуверенность в себе, недовольство собой, вечные страхи. Я уже чувствовал себя почти равным моему божеству...» (с. 91). Переживались лучшие минуты жизни. «Бесценный дар судьбы» — безмолвная встреча в библиотеке: «О полные загадочности минуты! О минуты блажен-

ного покоя, когда сердце вновь обретает наяву то, что привиделось ему во сне!» (с. 97). Сама библиотека выглядит «чудесной рамкой, оттеняющей ее блистательную красоту. Мудрые книги на пыльных полках, запечатлевшие в себе вереницу веков, аромат старины, тишина ученых занятий, и среди всего этого — весенний цветок, полный свежести и жизни... Возможно ли это выразить словами!» (с. 98). Студент без средств готов соединить свою судьбу с девушкой, что завладела всей его жизнью. Произошла духовная метаморфоза: исчезли робость и страхи — «честолюбие, самоотверженность, неясное желание славы — все это поднимало меня в собственных глазах» (с. 104).

Неожиданная, непостижимая смерть девушки — страшное потрясение. Судьба Жюля переломилась. После потери возлюбленной наступила «другая юность»: «Я снова предался безделью. То было безделье, полное горечи и внутренней пустоты, ничтожных досугов, отвращения к миру, к людям, — даже к самой жизни, если бы не прелесть некоторых воспоминаний» (с. 106). Как признается сорокалетний мужчина, «я давно уже вернулся на землю и шагаю по дороге жизни под строгим присмотром здравого смысла и холодного рассудка; — но никто из этих непреклонных наставников не подарил мне ни одного мгновения, которое можно было бы сравнить с восхитительными волнениями прошлого. Зачем они так быстротечны, зачем нельзя их вернуть?» (с. 104—105). В духе Bildungsroman(a) вторая часть книги Тёпфера тоже венчается итогом: «Наконец, на помощь мне пришло время! Оно принесло мне покой и другие радости, но те, что были, уже никогда не возвращались: я похоронил свою юность» (с. 106).

У Толстого в соответствии с избранным жанром сердечные влечения героя (их «типология») непосредственно привязаны к возрастным фазам. Глава девятая «Детства» названа точно — «Что-то вроде первой любви». В эпизоде поцелуя (в плечико!) беленькой Катеньки превалирует умиление. «Страстное влечение» к Сереже Ивину столь же невинно, но «свежее, прекрасное чувство бескорыстной и беспредельной любви» так и умерло, «не излившись и не найдя сочувствия» (1, 58). Оно совсем испарилось с появлением Сонечки, пришло освобождение от нелегкого опыта тяжелой и несносной тирании со стороны обожаемого существа. «Чудесное создание» Сонечка с постоянным выражением на прекрасном личике веселости, здоровья и беззаботности оставалась любовью Николеньки много лет. Робкий, неловкий, неуверенный в себе мальчик увидел в ней искомое совершенство, душа его «была переполнена счастьем»: «Я не понимал, что за чувство любви, наполнявшее мою душу отрадой, можно было бы требовать еще большего счастья и желать чего-нибудь, кроме того, чтобы чувство это никогда не прекращалось. Мне и так было хорошо. *Сердце билось, как голубь*, кровь беспрестанно прилиwała к нему, и хотелось плакать» (1, 74; редкий случай романтического штампа). Феномен отрочества поразителен мучительным диссонансом между влечениями души и томлением тела. Чувствительное обожание прелестной девочки... и рядом «несчастливая страсть» подростка к горничной Маше. В ней Николенька вдруг «перестал видеть слугу женского пола, а стал видеть *женщину*, от которой могли зависеть, в некоторой степени, мое спокойствие и счастье» (2, 19). Ей было лет 25, «она была необыкновенно бела, роскошно развита и была женщина», а подростку было четырнадцать лет (2, 20). В «Юности» дружба с Дмитрием и его семьей, отношения с университетскими товарищами становятся главным опытом Николеньки, а его влюбленности уходят, чтобы обнаружиться в «этюдах» к четвертой эпохе развития — «Молодости» — и в произведениях, непосредственно связанных с этим замыслом.

Как и в «Юности» Толстого, в третьей части книги Тёпфера жанровые признаки Bildungsroman(a) отчасти размываются: моноцентричность сменяется множественностью персонажей, включение бытовых эпизодов уводит внимание от внутренней эволюции в эпоху молодости (Жюлью 21 год) и юности (Николеньке 16 лет). И подобная тенденция понятна. Bildungsroman по своей природе намеренно отстранен от собственно идеологической проблематики (этим, вернее всего, объясняется маргинальность этой разновидности жанра в России, где роман насыщался обычно общественными идеями). Обилие бытовых картин — эпизодов для создания фона времени (среды) — тоже не свойственно этому жанру. В его фокусе — душа растущего существа. Одновременно у обоих авторов в последних частях усиливается морализм (наличествующий уже и в первых) за счет исчезновения (у Тёпфера) мягкого юмора. Взрослеющий герой теряет наивность и непосредственность, «улица» с ее заботами все более поглощает его.

Молодость Жюля видится Тёпферу прежде всего в ее связи с ранними эпохами развития. И в молодости над душой Жюля, вопреки его самоуверениям, все еще тяготеет бремя трагической потери: «Трудно приходится человеку, когда изменяются его взгляды на мир... Как мало смысла он видит в том, что делал когда-то! Он становится беспокойным. Непривычная мысль о смерти тревожит его душу...» (с. 108—109). В ситуации кризиса Жюль теряет чувство *пути* (понятие, всегда фигурирующее в романе воспитания). Ранее связанное с мыслью о *призвании* (тоже значимое понятие!), изучение права становится неинтересным: «Я совсем перестал работать. Во мне не осталось ни тени честолюбия, ничто меня не увлекало» (с. 118). И вновь, как в отрочестве, спасительная рука дяди Тома, не доброго чудака, а подлинного Наставника жизни и Друга, приходит на помощь: «Ну, что ж, займись искусством... Ведь верно, надо любить свое дело... мы найдем тебе мастерскую... Ты начнешь учиться здесь, а закончишь в Риме. Так будет лучше всего. Хуже прозябать. А когда имеешь цель перед собой, работаешь, двигаешься вперед, растешь, женишься...» (с. 126). Это не краснобайское поучение учителя Ратена (по сути псевдонаставника). Добрый и простой дядя не способен на длинные проповеди, но он произносит те самые направляющие слова, которые мудрый учитель должен сказать ученику в минуту наступившей его депрессии. И в этот момент Жюлю впервые открывается тайна уникальной цельности характера дяди Тома: его побуждения органично смыкаются с принципами. В духе просветительских истин Жюль формулирует «урок», что преподнесла ему жизнь дяди: «Сколь недостаточно одних добрых побуждений, чтобы всегда идти по пути добра, и как часто они терпят поражение, вступая в борьбу с наклонностями менее добрыми. Отсюда и убежденность в необходимости принципов и верований, этих могучих руководителей человека, единственно способных обеспечить победу добру, отсюда и недоверие к тем, кто не признает подобных ручательств» (с. 120—121).

Жюль, намереваясь вослед дяде идти по пути добра, сосредоточивается на самоанализе и... обрушивает грозные тирады на врага всех проявлений искренности и доброты — *тщеславие*. Метафора «росток тщеславия» появилась еще в первой части — «Два узника» (помощь Жюля преступнику последовала за его похвальными словами в адрес наивного подростка). «Нет такой подлой руки, которая не сумела бы приятно пощекотать» росток (с. 22), что порожден «семенем тщеславия», обладающим редким даром выживания в человеческой среде. Оно «никогда не гибнет, питается чем угодно или ничем, дает всходы одним из первых и исчезает последним». «Семя тщеславия» — *«желание кем-то казаться, забота, как он выглядит, в какой позе лежит, что о нем думают люди»* (с. 11; курсив мой. — Е. К.). По-

вествующий о перипетиях взросления человека Bildungsroman всегда «вглядывается» в феномен тщеславия. Как полагает Тёпфер, на прорастание его «семени» «оказывают влияние не столько положение человека в обществе, его богатство или занятия, сколько его возраст. В младенчестве это семя дает росток не скоро; в юности этот росток развивается так же медленно, но после двадцати лет он превращается в почтенных размеров прожорливую опухоль, которая питается чем угодно» (с. 11—12).

Этим пугающим образом «предсказано» яростное негодование Толстого против порока и страх перед его властью над человеком. Тщеславие осмысливает писателем в сравнении со страшными моровыми эпидемиями и масштабными социальными бедами. Из дневника 1852 года: «Тщеславие есть страсть непонятная — одно из тех зол, которыми, как повальными болезнями — голодом, саранчой, войной, — Провидение казнит людей... Это какая-то моральная болезнь вроде проказы, — она не разрушает одной части, но уродует все, — она понемногу и незаметно закрадывается и потом развивается во всем организме...» (46, 94). Одновременно, по Толстому, тщеславие — это специфическое явление *его* времени. Из «Севастополя в мае»: «Тщеславие, тщеславие и тщеславие везде — даже на краю гроба и между людьми, готовыми к смерти из-за высокого убеждения. Тщеславие! Должно быть, оно есть характеристическая черта и особенная болезнь нашего века. Отчего между прежними людьми не слышно было об этой страсти, как об оспе или холере?» (4, 24).

Склонность Толстого к классификации (примета просветительского мышления) выявляется в разделении им всех людей на три вида по их отношению к этому всеобщему пороку: «одних — принимающих начало тщеславия как факт необходимо существующий, поэтому справедливый, и свободно подчиняющихся ему; других — принимающих его как несчастное, но непреодолимое условие, и третьих — бессознательно, рабски действующих под его влиянием» (4, 24). Герой трилогии может быть отнесен ко второму виду. Николенька улавливает в себе многие проявления тщеславия, горюет на этот счет, стремится одолеть порок, но в пределах четырех эпох развития терпит поражение. «Желание кем-то казаться, забота, как он выглядит, в какой позе лежит, что о нем думают люди», довлеет над героем, нерешительность в преодолении этого желания ощущается болезненно и постоянно, уступки слабости проклинаются... Николенька (в отличие от старшего брата) не одарен природной раскованностью (естественность поведения, уверенность в себе не даются робкому некрасивому мальчику-подростку — раннему юноше). Стремление обрести, казалось бы, недоступные качества становится стимулом к направленному самоусовершенствованию. Это усилие и определяет динамику душевного строя героя.

Сцены похорон матери в «Детстве» — ключевые для уяснения толстовской трактовки тщеславия. Беспощадность наблюдений естественна: страшное потрясение высвечивает само существо порока, не оставляя в тени ни одного из его нередкого ускользающих проявлений. Николенька у гроба обожимой мапап неожиданно в забытии испытывает «какое-то высокое, неизъяснимо-приятное и грустное наслаждение» от ощущения, что «прекрасная душа матери на крыльях любви... спустилась на землю, чтобы утешить и благословить меня». При появлении постороннего все изменилось: «Первая мысль, которая пришла мне, была та, что, так как я не плачу и стою на стуле в позе, не имеющей ничего трогательного, дьячок может принять меня за бесчувственного мальчика, который из жалости или любопытства забрался на стул: я перекрестился, поклонился и заплакал» (1, 85). Потом оказалось, что только «одна эта минута самозабвения была настоящим го-

рем». Слезы перед дьячком предсказали поведение и чувства в день похорон. В грусть «всегда примешивалось какое-нибудь самолюбивое чувство: то желание показать, что я огорчен больше всех, то заботы о действии, которое я произвожу на других, то бесцельное любопытство... Я презирал себя за то, что не испытываю исключительно одного чувства горести, и старался скрывать все другие, от этого печаль моя была неискренна и неестественна. Сверх того, я испытывал какое-то наслаждение, зная, что я несчастлив, старался возбуждать сознание несчастья, и это эгоистическое чувство больше других заглушало во мне истинную печаль» (1, 85—86). Голос взрослого человека — в итоговом «комментарии»: «Тщеславие есть чувство самое несообразное с истинной горестью, и вместе с тем чувство это так крепко привито к натуре человека, что очень редко даже самое сильное горе изгоняет его. Тщеславие в горести выражается желанием казаться или огорченным, или несчастным, или твердым; и эти низкие желания, в которых мы не признаемся, но которые почти никогда — даже в самой сильной печали не оставляют нас, лишают ее силы, достоинства и искренности» (1, 91).

Синонимами тщеславия выступают «самолюбивое чувство», «эгоистическое чувство», «низкие желания». Они не оставляют героя Толстого не только в печали, но и в дружбе, влюбленности... Они источник дискомфорта души светлой и чистой, поскольку порождают притворство и презрение к себе из-за исполнения «чужой роли», мучают сознанием собственной неискренности и неестественности при попытках «выказать себя совсем другим человеком»... Этот набор негативных чувств на всех стадиях взросления отвращает радость жизни, мешает Николеньке ощутить полноту бытия. В лоне тщеславия родилось «одно из самых пагубных, ложных понятий, привитых мне воспитанием и обществом», — понятие «*comme il faut*»: «Страшно вспомнить, сколько бесценного, лучшего в жизни шестнадцатилетнего времени я потратил на приобретение этого качества» (2, 172).

У Тёпфера к концу книги «тщеславие», не покидая сферы психологической, обретает философские обертоны. Поклонник женевского мудреца высказывается в духе руссоизма, столь близкого и Толстому («Рассуждение Руссо о нравственных преимуществах дикого состояния над цивилизационным... пришлось мне чрезвычайно по сердцу» — 2, 345).

Жюль, погруженный в меланхолию, сталкивается с картинным празднеством (в духе ушедших времен), видит естественность и добросердечие веселящегося простого люда Женевы. С неожиданным пафосом герой противопоставляет ему собственное окружение, где основательно пророс «росток тщеславия» — «дурной советчик и жалкий владыка!». Руссоистская антитеза «природа (натура)—цивилизация» проступает в гневных обличениях порока, явно исходящих от повествователя с седой головой и «холодным умом»: «Да, тщеславие правит человеком! Не этим манером, так иным оно забирает себе все большую власть, чем успешней человек делает карьеру. Тщеславие искажает радость, притупляет ум, развращает сердце... Одержимые единственным желанием — обогнать тех, кто опередил их, они отворачиваются от себе равных; на смену братству приходит равнодушие, на смену сочувствию — зависть; жить — это больше не значит любить, наслаждаться, это значит казаться... Как ничтожны эти люди без сердца, как опутаны они тонкими, но бесчисленными сетями самой мелкой из страстей человеческих — тщеславия!» (с. 130—131). Росток тщеславия, признает умудренный жизнью рассказчик, был и остается угрозой его личной жизни: «Кажется, мне иногда удавалось останавливать рост его побегов. Но могу ли я сказать о себе, что полностью сумел уничтожить свой росток тщеславия? Нет. Это было бы ложью. Я ощущаю его в себе...» Герой пытается уберечь от

тщеславия свои дружеские связи, «свои простые истинные радости». Наконец, «я хочу уберечь мой здравый смысл, и не только мой образ мыслей, но и мои суждения о людях: какие достоинства я в них ценю, за что их уважаю. Прочь от меня, росток! Ты отец глупости, если не сама глупость!» (с. 132—133).

Разительное единодушие Тёпфера и Толстого в приговоре тщеславию — квинтэссенция их общности в сфере философских и литературных традиций. Финалы двух произведений тоже указывают на эту общность. При публикации в «Современнике» третья часть книги Толстого была названа «Юность. Первая половина». В ее последней главе («Я проваливаюсь») Николенька в минуту раскаяния вновь обращается к написанию «Правил жизни»: «Долго ли продолжался этот моральный порыв, в чем он заключался и какие новые начала положил он моему моральному развитию, я расскажу в следующей, более счастливой половине юности» (2, 226). Но продолжение, именуемое Толстым «Юность. Вторая половина» («Молодость»), не состоялось, хотя было много планов и упоминания о книге встречаются вплоть до 1857 года.

Обрыв повествования на пороге очередного этапа взросления героя — в духе избранного Толстым жанра. Речь не идет о пародийном варианте Bildungsroman(a) (в «Жизни и мнениях Тристрама Шенди, джентльмена» Л. Стерна герой дорос лишь до пяти лет, когда рассказ неожиданно прервался). «Открытый финал» способен нести вполне серьезный посыл: процесс вырастания стадиялен по существу, но автор волен избирать для воспроизведения любые стадии (и необязательно все). «Рыцарь нашего времени» и «Нечочка Незванова» Ф. М. Достоевского с учетом признаков Bildungsroman(a) в них должны быть причислены к завершенным произведениям, хотя их журнальные публикации и были прерваны.²¹

Сохранились две черновые главы из второй половины «Юности»: [«Утешение»] и «Троицын день». В них герой, вернувшись в родную усадьбу, впадает в «пьянство гордой умственной деятельности»: «Ни семейные дела, ни прогулки, ни рыбная ловля — ничто меня не интересовало» (2, 344). «Неопытная гордость молодости» привела к разобщению с семейством, охлаждению к людям вообще. Занимала Николеньку лишь запись правил и отвлеченных суждений. Учителем жизни виделся Руссо с его презрением к людской лжи и верностью беспощадной правде. В этих же главах, правда, есть намек и на иной поворот сюжета, столь естественный в рассказе о молодости. Первая из глав обрывается на такой фразе: «Я любил не себя, не других, а чувствовал в себе силу любви и любил что-то так, in's blaue hinein (сам не зная что). Скоро, однако, эта потребность любви приняла более положительное направление» (2, 345). Во второй главе читаем: «Несмотря на увлечение, с которым я занимался умозрительными занятиями, я с величайшим вниманием следил всегда за каждым женским, особенно розовым, платьем, которое я замечал или около пруда, или на лугу и в саду перед домом» (2, 346).

Намек Толстого развертывается в главный сюжет у Тёпфера. Третья часть его книги названа именем женщины — «Генриетта». Молодость Жюля венчает женитьба, и этот новый «урок» в «школе жизни» рассмотрен автором столь же «микроскопически» и с поучительным оттенком, как и «уроки», ранее представленные. Сквозной образ — «окно» — вновь фигурирует и в этой части, теперь из «окна» студии Жюля открываются куда более привлекательные виды — готический собор и крыши домов. Но в пору моло-

²¹ Об этом — в моей статье «„Уязвленное юное сердце“ (Bildungsroman по Достоевскому)» (Новый журнал (Нью-Йорк). 2003. Т. 230. С. 184—199).

дого буйства чувств «окно» теряет свою прежнюю притягательность: «Я уже начал приближаться к возрасту, когда такие впечатления не производят столь могучего действия, и я все чаще обращался к моему сердцу, стараясь найти в нем источник и жизни, и волнений» (с. 138). «Безотчетная нежность» и бесконечные томительные мечтания — вот из чего складывалось душевное состояние зрелого юноши. «Эта внутренняя жизнь имеет свою прелесть и свою горечь: если сны ее сладки, то пробуждение печально и мрачно. Душа возвращается к действительности, ослабев или вовсе утратив свою энергию» (с. 139). Из состояния апатии вывела Жюль неожиданная встреча с замужней Люси, пробудившая былые нежные чувства: «Моя скорбь утратила свою горечь, и душа моя, словно освободившись от прошлого, снова устремилась к будущему и уже легко несла бремя воспоминания — по-прежнему милого и дорогого, но не столь мучительного» (с. 141). При «неподдельной доброте» «высокое положение, блеск и богатство» придавали Люси «еще большее очарование», но возмужавший герой теперь не поддался «прежним мечтам», их «несбыточность... я признавал уже сам» (с. 150).

Встреча имела иной эффект — «на этот раз мне прежде всего пришла мысль о браке, и с этой минуты она не покидала меня» (с. 150). Избранница — Генриетта (дочь землемера) — не обладает ни неотразимостью Люси, ни особой прелестью девушки-еврейки, имя которой так и осталось неизвестным. У Генриетты «недурная фигурка», «лицо скорее благородное, чем красивое», ее «лучшим украшением были молодость, свежесть и прекрасные гладко зачесанные волосы, обрамляющие лоб». Она робка, застенчива, ее «диковатая гордость» унаследована от отца, которому беспрекословно подчиняется все большое семейство. Девушка отдается полностью на волю родителей: «...я неопытна, а у них есть опыт. Я вас не отвергаю; пусть они решат, и я поступлю так, как они захотят» (с. 173). Препятствия «разжигали мои желания», признается Жюль, пребывающий в эйфории ожидания перемен. Через много лет — поучительный комментарий зрелого человека к этому состоянию молодого нетерпения: «Как прекрасны последние дни перед приходом возраста зрелости и опыта! Никогда не задумываясь прежде о той серьезной перемене в жизни, которую поэты рисуют нам, как могилу любви, а моралисты — как священное, но отягощенное цепями иго, я сразу заторопился к ней, словно к цветущему благоуханному берегу. Еще не имея понятия, чем живет молодая пара, создающая семью, я погружался в составление некоторых проектов, тем более легко выполнимых, что и желаниям моим они сулили близкое осуществление» (с. 150—151).

В этот момент выявилась вся злокозненность скучных «уроков целомудрия» учителя Ратена. Жюль признается, что «никогда не смел обращаться к женщине ни с одним нежным словом». Два возраста (два голоса) вступают в открытый спор. Человек с седыми волосами полагает, что «робость — большое благо»: она сдерживает порывы пламенных и нежных чувств, переполнявших сердце юноши, и он преподносит будущей подруге жизни нетронутым богатый дар чистой любви. Это суждение отвергается молодым, полным желаний Жюлем: «...тогда я рассуждал иначе. Я возмущался собой», страдая от неисправимой робости, сковывающей язык (с. 156—157). Торопясь к браку, Жюль угождает во всем рассудительной избраннице и ее требовательному отцу, но все же случайно проговаривается: он «не в ослеплении любовью к мадемуазель Генриетте», а глубоко уважает «ее добродетели». Генриетта в ответ «протянула руку движением, полным искреннего чувства» (с. 174—175). Наставник-дядя доволен: «Ты уже вышел на хорошую дорогу... Теперь нужно приучиться к порядку, вести себя разумно, трудиться, и все будет хорошо» (с. 163).

«Обыкновенная история» человеческого взросления, таким образом, завершилась: «Я вошел в семью, где царили единодушие, сердечная дружба и преданность каждому общему благу... я узнал, что такое простые, но истинные и неизменные радости, которых так часто чураются романтически настроенные умы и чрезмерно увлекающееся воображение» (с. 177). Но, хотя идеализм начальной поры почти изжит, «школа жизни» не исчерпана. Жюль никогда не знал полноценной семьи и уверен, что именно она способна «довершить образование» его характера.

Своего рода эпилог, привычный в Bildungsroman(e), — письмо Жюля, извещающее Люси о смерти дяди Тома. Полная зрелость героя (ему 23 года) приходит с потерей этого «незаметного человека, чуждого свету, неведомого даже его соседям, но которого я не могу не причислить к лучшим из смертных» (с. 181). Жюль только теперь в состоянии оценить уникальность книжного отшельника: «Я потерял в нем ясную душу, которая руководила моею жизнью, я потерял в нем светлый ум, который с тихой и кроткой веселостью облагораживал мои дни; я потерял его редкие достоинства, едва лишь я начал их постигать и ценить...» (с. 178). Эти строчки во славу подлинного Учителя завершают историю воспитания Жюля.

Таким образом, Тёпфер остался верен до конца «забытым традициям» — жанру Bildungsroman(a), перенесенному из восемнадцатого века в девятнадцатый.²² И вслед швейцарцу молодой Толстой, оживив «память жанра», на русской почве успешно осуществил подобный опыт.

²² Тёпфером была задумана, начата, но так и не написана четвертая часть книги — «Семейная жизнь Жюля». Судя по черновому наброску, Тёпфер собирался поведать об отсутствии «согласия сердец» в семейной жизни героя. Узнав из письма Люси, что и она несчастлива, Жюль едет в Италию для встречи, но, подчиняясь воле рассудка и чувству долга (у него есть сын), возвращается в Женеву. Текст обрывается на таких словах: «Ни слова не сказав Генриетте о том, что произошло, я постарался...» (с. 407). Благоразумие дается ценой подавления чувства, или, возможно, впереди Жюлю уготована «двойная» жизнь. Поскольку благополучный финал «Генриетты» слишком «замыкал» историю развития, этим обедняя ее, автор, по-видимому, предполагал «разомкнуть» судьбу героя, развернув ее во времени, и в итоге усложнить. Но продолжение потребовало бы иной разновидности жанра (семейного романа с любовной интригой). И, возможно, интуиция подсказала автору, что новый текст вряд ли жанрово «состыкуется» с уже написанным.

ПОЭТИКА ЛИТЕРАТУРНОГО СЕРИАЛА И ПРОБЛЕМА АВТОРА И ГЕРОЯ

(НА МАТЕРИАЛЕ СЕРИАЛОВ «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ СКАЗКИ»
И «ПУСЬКИ БЯТЫЕ» Л. С. ПЕТРУШЕВСКОЙ)

«На ночь я, как Шахерезада, рассказывала детям сказки. У нас были целые сериалы про Гепарда Кирюшу, Тигра Федю, Слона Наташу, Жирафу Аню и Антилопу Машу. Позже к ним присоединился поросенок Петр. Вам я и посвящаю с любовью эту книгу: Кириллу, Федору, Наташе, Ане, Машеньке и Петру», — так представляет самый востребованный свой жанр Л. С. Петрушевская, одновременно конкретизируя и его ведущие жанрово-образующие элементы — образы-персонажи, идентифицированные с реальной целевой аудиторией.¹ В творчестве Петрушевской явление серийности художественных текстов выражено особенно последовательно («Лечение Василия и другие сказки», «Сказки для всей семьи», «Дикие животные сказки», «Сказки для взрослых», «Пуськи бятые», «Настоящие сказки» и т. д.). Серийность текстов наиболее органично совмещается с жанром литературной сказки, потому что подчеркивает как бы коллективность постмодернистского авторства, сделанность по определенному образцу, жанровую конвейерность и одновременно архетипичность, разного рода стандартизацию образов-персонажей.

Понимание серийности как соответствующего структуре времени и мироздания принципа, аналогичного устройству человеческого мозга и сущности искусства (так как «группирование артефактов по структурным признакам имманентно восприятию художественного»), было выдвинуто Джоном Уильямом Данном еще в 30-х годах XX века.² Время, по Данну, пространственноподобно, поэтому серийность во времени практически неизбежно означает серийность и в любых других областях. Мир, согласно концепции этого философа, состоит из целостностей, менее фундаментальных по сравнению с их движением и развитием, т. е. самым важным, что обнаруживает структура сериала, являются *отношения* между членами серии.

Серия, по Данну, это совокупность индивидуально отличимых объектов, которые расположены или считаются расположенными в последовательности, определяемой каким-либо верификационным знаком.³ В качестве определяющего структуру сериала верификационного знака, некоего фокуса, скрепляющего серии в относительно упорядоченную конструкцию, могут выступать как автор, так и читатель, существующие в рамках сериала в усовершенствованных отношениях, выражающих контакты между наблюдателем и наблюдаемым, и, в конечном счете, объединяемые в понятие серийного Наблюдателя.

¹ Петрушевская Л. С. Дикие животные сказки. Морские помойные рассказы. Пуськи бятые. М., 2003. С. 5.

² Данн Дж. У. Эксперимент со временем. М., 2000.

³ Там же. С. 134.

Сериализм был положен в основу художественного направления «ABC — ART»,⁴ концепции «невозможного искусства»⁵ и искусства «Ready made» (готовых модулей)⁶ (1960-е годы), актуализирующих «естественный язык», под которым понималось пространственное моделирование естественных (природных) сред. Сериал здесь интерпретировался как серия однотипных модулей, продукт пространственной конфигурации расположения данных модулей относительно друг друга. Акцент делался на комбинационном потенциале членов серии, цель реализации которого — «экспликация первичных структур мироздания, программные поиски базовых его элементов». Представители этих направлений оперировали фактическими свойствами реальности, физическими свойствам среды. Комбинируя их, они получили возможность сконцентрироваться не на собственной креативности, а на качествах самого произведения-конструкции. Это искусство мыслилось как воспроизведение «дыхания металлов», своеобразный ответ природы постиндустриальному социуму: «Природа в отместку атакует современные технологии».⁷ Теорию серийных форм как художественных фактов массовой культуры и постмодернистской эстетики разрабатывал и У. Эко.

У. М. Тодд, ученый из США («„Братья Карамазовы” и поэтика сериализации», 1992), рассматривая факт печатания романа Ф. Достоевского в форме журнальной «серии» отдельных книг и глав, также заинтересовался прежде всего взаимодействием между романными отрезками и другими материалами этих номеров, их «нероманным» контекстом. Это взаимодействие, с точки зрения Тодда, подчеркивает, во-первых, противоречия контактирования литературного текста и его внелитературного контекста, и, во-вторых, выявляет приемы сериализации, вынуждающие читателей заниматься интегрированием, восстановлением целостности текста в первую очередь на формальном уровне и затем на уровне содержательном. Автор, как пишет ученый, специфическими мнемотехническими приемами сериализации намеренно провоцирует такую расшифровку.⁸

В свою очередь В. П. Руднев объясняет поворот искусства XX века к серийному мышлению как реакцию на новую усложнившуюся реальность в результате целого ряда открытий в области теории относительности, квантовой механики, киноискусства, психоанализа, аналитической философии. По Рудневу, основной прагматический смысл серийного мышления — в рецептивной адаптации: сериал дробит реальность на как бы простые составляющие, что упрощает коммуникативные механизмы текста.⁹

Е. М. Тюленева рассматривает серийность как специфический способ построения, характерный именно для постмодернистского текста.¹⁰ Образование серий, как считает исследователь, вызывает утрату (остановку) времени, в результате — утрату реальности, и способствует созданию образа-симулякра — бесконечно самокопирующегося объекта, позволяющего говорить о принципиальной *несобытийности* происходящего в постмодернистском сериале. «Серийность ведет к симуляции реальности», — пишет Тюленева. А «симуляция реальности в тексте выливается в особый конструктивный

⁴ Постмодернизм. Энциклопедия. Минск, 2001. С. 7—9.

⁵ Там же. С. 495—497.

⁶ Там же. С. 643—644.

⁷ Там же. С. 644.

⁸ Тодд У. М. «Братья Карамазовы» и поэтика сериализации // Русская литература. 1992. № 4. С. 32—38.

⁹ Руднев В. П. Энциклопедический словарь культуры XX века. М., 2001. С. 405—407.

¹⁰ Тюленева Е. М. Серийность как способ построения постмодернистского текста // Русская литература XX—XXI веков: проблемы теории и методологии изучения: Материалы Международной научной конференции: 10—11 ноября 2004 г. М., 2004. С. 260—262.

принцип — предотвращение совершаемого события, иначе говоря, установления смысла. <...> Соответственно, не-событие — не свершается, не имеет финала, законченности, однозначности; возможно, это анти-событие с противоположным эффектом, само себя отрицающее или абсурдное, а также мнимое событие». ¹¹ Результаты создания подобного эффекта не-события — это неразличение авторства и отсутствие развития художественного образа. Трансформация образа может отмечаться только в переходе между сериями.

Примерно в той же научной нише идет сегодня отчасти и процесс изучения структуры цикла, который западные ученые, например, практически сближают с понятием линейной серии, формального приема, наиболее характерного для эпохи неклассической художественности, нетрадиционной литературы и, в целом, для художественного творчества XX века, периода, когда другие внутритекстовые связи атрофируются. ¹² Эвристическое определение прозаических циклов Петрушевской как «романа с продолжением», пародийно ориентированного на мультсериал, предложил Ю. В. Серго. ¹³ Эту идею подхватывает и Т. Н. Маркова, впрочем, обращаясь к ней довольно эпизодически. ¹⁴

Таким образом, сериал в настоящий момент представляется как подвижная, децентрированная конструкция, состоящая из готовых, однотипных, относительно самостоятельных модулей, соотносимых между собой по тому же типу, что и организация Времени, Вселенной, любых физических объектов. Автор же при конфигурировании (воспроизведении) этого художественного образования опирается в первую очередь на некие инвариантные узлы, предобразы или родовые образы, ¹⁵ на которых покоится и которыми скрепляется ассоциативная сеть (конкретные образы) серийного текста. Таково, по Данну, свойство отношений человека со временем (свойство восприятия): игнорируя целое, человек вычленяет из него ряд конструкторов. Отсюда и проистекает рецептивная «охота за образами», ¹⁶ в роли которых чаще всего выступают архетипы, чья функциональность и определяет во многом строение микромодуля серийного текста. Архетипы обозначают собой искомую в сериале первоструктуру, возвращают тексту природные экзистенции, акцентируют идею серийности как происхождения всего сущего из единого первоисточника.

Архетипы (психологически «раскрученные» образы) прежде всего именно *структурируют* текст, так как, согласно представлениям К.-Г. Юнга, архетипы определяют не содержание, а *форму* мышления. Только наполняясь конкретным содержанием серии, «напитываясь» ее контекстом, эта форма (шаблон) приобретает и конкретное содержание. Например, из целого ряда свойств архетипа «медведь» (таких как праматерия, глубинная мощь, буйство инстинкта, неотвратимость расправы, грубость, жестокость, опасная сторона бессознательного, скрывающегося за внешней миловидностью страстного хищничества) ¹⁷ Петрушевская актуализирует в образе-персонаже мед-

¹¹ Там же. С. 261.

¹² Яницкий Л. Циклизация как коллективная стратегия в современной культуре // Критика и семиотика. Новосибирск, 2000. Вып. 1—2. С. 170—174.

¹³ Серго Ю. В. Поэтика сюжета и жанра в прозе Л. Петрушевской: Автореф. дис. канд. филол. наук. Екатеринбург, 2001. С. 13.

¹⁴ Маркова Т. Н. Жанровый феномен «Диких животных сказок» Петрушевской, «мультсериал» как новая модификация цикла // Маркова Т. Н. Современная проза: конструкция и смысл (В. Маканин, Л. Петрушевская, В. Пелевин). М., 2003. С. 205—206.

¹⁵ Данн Дж. У. Указ. соч. С. 36.

¹⁶ Там же. С. 77.

¹⁷ См.: Сельченко К. В. Архетипы коллективного бессознательного // Загадка чарующего образа. Минск, 1994.

веде, мл. лейтенанте милиционере Володе, в пределах одной серии обычно только одно архетипическое качество, накладывающееся на качество для него основное, совпадающее с его профессиональным статусом, — «неотвратимость расплаты». Аналогично в образе волка Семена Алексеевича, «лесного нахала» и изменщика, уваливающего от семейных обязанностей, из архетипического набора (неподкупный страж, злая сила, хаотическое деструктивное начало)¹⁸ в сериале реализовано прежде всего последнее свойство его многогранной натуры. И образ козла Толика (лазутчика, воплощения демонизма и перекладывания вины на другого, символа Отца)¹⁹ в «Диких животных сказках» актуализируется как в его семейном положении — роли мужа многодетной козы Машки, то есть тоже многодетного родителя, так и собственно в роли «козла отпущения». Архетипы, образы, где коренится генезис языка и поведения, органично вписываются в эстетику повседневно Л. Петрушевской, где, по мнению многих современных философов (М. де Серто, Э. Гофмана, Мафессоли), и протекают наиболее важные жизненные процессы, относящиеся к сфере культурного бессознательного.

Сквозные образы-архетипы в серийной художественной конструкции поддерживают природную организацию текста, естественность складывающихся на основе их функциональных свойств сюжетных линий не в последней очереди и своими говорящими номинациями и звукоподражательным ономастическим комплексом: клоп *Мстислав*, пиявка *Дуська Сосо*, оса *Иосип*, комар *Стасик*, овца *Римма*, муравей *Галина Мурадовна* и т. п. Природосоответствие сюжетообразования обуславливается в «Диких животных сказках» и «сцеплением» персонажей по функциям, группированием их по принципу возможности реализации инстинктов. Так, «главная цель и мечта всей жизни» карпа дяди Сережи — это червяк *Феофан*. Ромашка *Света* — «неспетая песня» козла *Толика*. «Безалаберный парень» собака *Гуляш* — место проживания и питания многодетной семьи блохи *Лукерья*. По темпераменту явно «лицо кавказской национальности» воробей *Гусейн* — перманентно пристаёт с «нехорошими предложениями» то к бабочке *Кузьме*, то к комару *Томке*, то к мухе *Домне Ивановне*. А «однажды воробей *Гусейн* стал очень интересоваться молью *Ниной* и встречал ее после работы, глядя огненным взглядом из-под куста».²⁰ Функциональность выступает здесь как составляющая экоэстетики, соединения собственно эстетического и неопрагматического аспектов постмодернистского искусства.

Типичная модель, по которой воспроизводятся сквозные сюжетные линии сериала Петрушевской «Дикие животные сказки», это: хищник + жертва = безответная «любовь». «Паук *Афанасий* решил в честь мухи *Домны Ивановны* сменить технологию, т. е. плести кружева особой плотности типа фриволь. Но мухе *Домне Ивановне*, известной скандалистке, такое дело не понравилось, когда скорость свободного полета сокращена и придется то и дело отплеиваться, снимать с бедра и усов что пристряло». «А ведь если ее одеть, — думал паук *Афанасий*, — во фриволите, в тюль, запеленать и посадить в угол как куколку. И обнять!».²¹ Получается, что «актеры» этого сериала все время играют сами себя, сюжетно реализуют свою собственную органическую природу, в каждой следующей серии заново повторяя стандартные природные сюжеты: «влюбляются», потому что действительно не могут выжить без предмета своих кулинарных желаний, и кон-

¹⁸ Там же.

¹⁹ Там же.

²⁰ *Петрушевская Л. С.* Указ. соч. С. 33.

²¹ Там же. С. 113.

фликтуют, потому что изначально «так устроены». По принципу взаимодействия с текстом образы-персонажи сериала являются инкрустированными в произведение «украденными объектами», «вставкой природы» в литературу.

Микросюжетика практически каждого члена серии (сказки) повсеместно отражает у Петрушевской этот первичный, природный баланс интересов образов-персонажей. Клоп Мстислав, любитель непрожаренных бифштексов и песни «Постель была расстелена», устраивается работать лаборантом на анализ крови. Пиявку Дуську Сосо берут буфетчицей в гипертоническое отделение. Гадюка Аленка работает в аптеке, моль Нина — парикмахер, а гиена Зоя, «вся пятнистая от переживаний», — солистка ночного хора. «Затем козла Толика дальняя родня из Акатуйской тайги маралы муж с женой, проездом, приехали сдавать рога мужа (а жена-то, жена, скромница, по виду и не скажешь, но рога выросли ветвистые)...».²² Из той же образной серии и самые динамичные петрушевские персонажи — блохи-махновцы.

Такие «природные» персонажные конструкции, снабженные как бы самодостаточным первоначальным смыслом, в контексте сериала начинают семантически «мерцать» в результате заложенной в образ неперменной «ошибки». Аккумуляция как принцип композиции сериала предполагает последовательное наращивание первоначального смысла модулей. Прибавочный смысл образуется либо за счет усиления качеств конструкций, либо в результате некоего сбоя в их первоначальной организации. Чтобы конструкция серийного модуля в рецепционном смысле была успешной, она должна стать гибкой системой — с устойчивыми законами, внятыми для реципиентов и одновременно пригодными для дальнейшего развития. Образ-архетип как раз и отвечает в наибольшей степени такой задаче, — имея устойчивую первоначальную семантику, архетип в то же время этически неоднозначен, аксиологически универсален, что очень удобно для ситуационной реализации и коррекции содержания «мультимедийного» в условиях сериала образа-персонажа.

«Муаровый» эффект образа-архетипа, его устройство, основанное на семантическом мелькании, вызывает у воспринимающего доминирование периферийной части внимания (бессознательного), ориентированной на восприятие формы текста, — в ущерб центральному вниманию (сознанию), ориентированному на содержание. В таком случае «мелькание» образа и оказывает квазигипнотическое влияние на читателя, происходит его постмодернистское «заколдовывание», подоснова читательской замороженности текстом, «влюбленности» в текст.

Эффект эволюционного движения образа дает в сериале и интертекстуальное удвоение (двоение) изначальной его информативности — ведущий принцип монтажа всех подчеркнуто «литературных» произведений Петрушевской. Эта двойная (а иногда и тройная) артикуляция по принципу кинематографического кода (по П. Пазолини) в свою очередь также обнажает «элементы перворечи», своего рода семиотику действительности — естественно множественное состояние человека, монтирующего свое поведение из уже существующих культурных образцов. По утверждению семиотиков, например, сам принцип кинематографического монтажа аналогичен параметрам вербального, лингвистического языка.

Практически любой из членов серии «Дикие животные сказки» — это аранжированный на современный лад *re-make* какого-либо известного произведения: 1) басенного текста (сказка «В дороге» — *re-make* басни И. Крылова «Лебедь, Щука и Рак», «Конец праздника» — крыловского текста

²² Там же. С. 140.

«Стрекоза и Муравей» и последующей его современной трансформации С. Михалковым в басне «Муха и Пчела»); 2) литературного текста из русской классики (сказка «Травма» — психоаналитическое прочтение «Мухи-цокотухи» К. Чуковского, «Двойная литературная история» — деконструкция тургеневской повести «Муму», «Сила театра» — рассказа «Сила искусства» И. Бабеля, «Дядя Степа эмигрант» — серии «Дяди Степы» С. Михалкова); 3) классических текстов — номинационных близнецов произведений самой Петрушевской (буффонадизация пьес «Дядя Ваня», «Отелло», «Три сестры»); 4) научного произведения (пародийное декодирование «По ту сторону удовольствия» З. Фрейда); 5) мультфильмов (сказка «Снимается кино» — это гибридно-цитатное сращение с мультфильмом Ю. Норштейна «Ежик в тумане»); 5) собственных произведений Петрушевской («День рождения пня Смирнова» — пастись на рассказ «День рождения Смирновой»; сказка «Сила искусства» — одновременно современный парафраз чеховской «Чайки» и пародия на постмодернистскую пьесу Петрушевской, ее комедийно-абсурдистский бриколаж «Мужская зона», где все женские роли играют мужские персонажи):

«Аркадина — козел Толик.

Нина Заречная — волк Семен Алексеевич. (В роли дохлой чайки — кукушка Калерия, ну ладно).

Маша — собака Гуляш, это уже вообще полная чума.

Мало того, что Аркадина у них с бородой и рогатая, а Нина Заречная зубастая, хвост поленом, глазенки желтые, грива дыбом, хорошо.

Но собака Гуляш, что это за Маша, которая всю дорогу выкусывает блох у себя в паху? — спрашивало женское население.

Дурость одна.

Далее вообще шла полная неразбериха, потому что Тригорина, все-таки знаменитого писателя, должен был играть лягушка Самсон, а Треплева (!) вообще улитка Герасим.

И как это улитка Герасим, спрашивается (не говоря ни о чем другом), сможет тащить на себе одновременно и ружье, и дохлую кукушку Калерию в роли чайки, и бросить все это к ногам волка Семена Алексеевича (якобы Нины Заречной)?»²³

Отсюда мораль: «Сила искусства такова, что не все ее выносят».²⁴ На самом деле мораль эта вовсе не отсюда. Мораль, как и большинство заглавий в сказках Петрушевской, как правило, искусственно «пришпиливается» к чужеродному для нее тексту, остающемуся в результате без морали и вне морали вообще. Этот художественный прием рассогласования сюжета и морали также добавляет члену серии атмосферы естественности, организуя его как открытую конструкцию, аналогичную мирозданию, не имеющему ни конца, ни начала и непознаваемому в принципе. Постмодернистский сериал не может исчерпываться моралью, он открыт в бесконечность означаемого, ведь у мироздания совсем иные причины, чем персонаж какой-либо одной изолированной сказки-серии способен себе представить. «Однажды несвершенолетняя амеба Ра (кличка Му) долго выла, прежде чем купить себе новые сандалии: не было денег. И ее сестра-близнец амеба Хиль (Му) повела несчастную к невропатологу. Врач, ветфельдшер кондор Аюп, на все вопросы получил только один ответ, „Му“, и в результате поставил диагноз „свинка“. Ему видней было».²⁵

²³ Там же. С. 149.

²⁴ Там же. С. 150.

²⁵ Там же. С. 167.

Иначе говоря, «психология психологией, а все решает питание».²⁶ То есть порождающую сериал модель, по Петрушевской, сценирует сама природа — «дикая», «животная», непредсказуемая, в масштабе истории мира бессюжетная, а персонажу, живущему стихийно и бессознательно, остается только постепенно расставаться со своими личными иллюзиями: «Об этом и хлопотал Лев Толстой, чтобы баб наказывала сама жизнь. Живет, порхает, а ей в трамвае вопрос: „Бабуля, как проехать”».²⁷ Пытаясь объяснить механизм бытия бытом, персонажи Петрушевской просто еще ярче иллюстрируют абсурдность сиюминутного существования в рамках отдельного текста-серии, не подпадающего декодированию вне всеобщего контекста, актуализируя тем самым совсем иные, внеположные тексту интерпретационные перспективы. «Вот когда плотва Клава оценила известный лозунг Карла Маркса: счастье — это когда дети сыты, обуты, одеты, здоровы и их нет дома. Карл Маркс сформулировал это дело не так точно, он сказал, что счастье — это борьба, но то же на то и выходит».²⁸ Тем самым в сериале Петрушевской в практике самого его строения реализуется идея У. Эко о гиперинтерпретации текста, диалектическом балансе прав текста (природы) и его интерпретаторов. Как считает Н. Маньковская, такого рода экологические хэппенинги постепенно вообще изменяют природу искусства, превращая его в комментарий к природе.

В сериале, где как бы сам мир означает текст, задвигая фигуру автора на задний план, кардинально трансформируется функциональное предназначение реципиента и его потенциально конституирующей в тексте модели — персонажа. По версии Руднева, онтологический смысл гиперриторической фигуры серийности в искусстве XX века, которую принято называть еще «текст в тексте», внушает нам, «что если вымышленные персонажи могут быть читателями или зрителями, то мы, по отношению к ним читатели или зрители, тоже, возможно, вымышлены».²⁹ Другими словами, аутентифицируя читателя и текст, структура сериала обнаруживает наличие фигуры Бога (природы, судьбы, рока) или, по Данну, — «заключительного образа», гипотетического сверхсущества, секущего пространство гипертекста «туда и обратно», эквивалентного Абсолютному времени и осуществляющего прогностическую функцию искусства.

В представлении Данна серийный универсум — это система зеркал, отражающихся друг в друге, или нечто вроде «китайских коробочек», устроенных таким образом, что маленький модуль серии (коробочка) заключен в другом, ему подобном, но большем по размеру модуле. Выстраивается иерархия, каждый уровень которой является архитекстом по отношению к уровню более низкого порядка. На это работает у Петрушевской, в первую очередь, система самоотсылок и, в не меньшей мере, конструктивный ряд персонажей «Диких животных сказок» — козлов, клопов, селедок и бактериофагов, у которых, однако, «Все как у людей».³⁰ Действующие «морды» сериала, нарисованные автором собственноручно в конце книги, — вполне человеческого вида, образа мыслей и стиля жизни. «Однажды микроба Гришку Экспоната потащили под микроскоп (...). Обратный путь он проделал тайно, сидя на студентке-гиде, причем у нее под ногтем, но зато явился в свой сингл в компании трех девиц, возбудителей чесотки, до того живших

²⁶ Там же. С. 53.

²⁷ Там же. С. 134.

²⁸ Там же. С. 106.

²⁹ Руднев В. Джон Уильям Данн в культуре XX века // Данн Дж. У. Эксперимент со временем. С. 9.

³⁰ Петрушевская Л. С. Указ. соч. С. 112.

в жидком мыле и потому сразу потребовавших пива». ³¹ «Он был вообще хороший микроб, кудрявый и умный, но квартирный вопрос его измучил. Вопрос такого рода: квартиру сдавать обсуждению не подлежит, но когда остановиться?» ³²

Иерархическая композиция персонажного социума, зеркальность миров персонажей-коробочек серийны у писательницы именно в данновской интерпретации. Система ее «коробочек» устроена в соответствии с природными схемами:

*человек ← крупное животное ← мелкое животное ← насекомое ←
← простейшие.*

В зубе волка Семена Алексеевича живет микроб Гришка Джомолунгма. Улитка Герасим — владелица поделившейся от стресса утопления амебы Рахиль Муму (Ра (Му) + Хиль (Му)). Собака Гуляш — историческая родина семьи блохи Лукерьи, все время эмигрирующей («парный прыжок тройной тулуп безо всякой регистрации») то под лопатку мл. лейтенанта медведя Володи, то на леопарда Эдуарда, то под левую ногу гиены Зои. Совсем «как настоящие», заводят двух милых домашних животных — карликовых муравьев мурбуль-терьеров Хну и Сенну — таракан Максимка со своей женой тараканом Сильвой. А однажды «кривой пастух муравей Ленька так, по выражению бабки Маланы, наглохтился, что упустил стадо тлей, прилег к мощному стволу земляники и в результате чуть не утоп в росе, но не проснулся». ³³ По Данну, такого рода иерархическое устройство заложено в фундаменте мышления вообще. В факте повторяемости фиксируется и воспроизводится инвариантность как неизменное качество сознания. ³⁴ Таким образом, сериал, фокусирующий фигуру реципиента, и оказывается архитектоником, по сути, воспроизводящим картину мира и карту человеческого восприятия.

Серийность, основанная на повторяемости, имеет характер связующего звена между логическим мышлением и условно-рефлекторной деятельностью, становится формой-медиатором между рациональным и бессознательным в актах творчества и чтения. Повтор — явление первопорядкового, естественного языка. Поэтому разные формы повтора (ге-таке, клише, штампы, стереотипы, архетипы, многосерийность) столь характерны для постмодернистской литературы, эксплуатирующей бессознательные, инфантильные слои личности читателя. Структура постмодернистского текста, много перенявшего у массовой культуры и фольклора — ее производящей модели, нередко повторяет строение фольклорной сказки, обладающей весьма эффективными средствами психологического воздействия благодаря повторяемости элементов поэтики. ³⁵ Именно фигуры повтора обеспечивают комфортабельность восприятия текста, являясь условием получения наслаждения от прочитанного, так как повтор несет с собой упрощение, регрессивные метаморфозы, к которым как бы всегда физиологически и стремится организм (язык-сознание) реципиента.

Структура повтора, начального элемента сознания, способствует более полной и сущностной идентификации реципиента с повторяющимся в се-

³¹ Там же. С. 138.

³² Там же. С. 128.

³³ Там же. С. 125.

³⁴ См.: Климов Ю. Е. О природе повторяющихся структур мифологического мышления // Рационализм и культура. Ростов-на-Дону, 2002. Т. 2. С. 387.

³⁵ Теплиц К. Т. Все для всех. Массовая культура и современный человек // Человек: образ и сущность (Гуманитарные аспекты). Массовая культура. М., 2000. С. 241—284.

риале образом. Реципиент в пространстве сериала выступает как бессознательный реагент (по Данну, реагент-прибор), существо, реагирующее в унисон с состоянием собственного мозга, видоизменяющееся в соответствии с его процессами. Как считает Данн, серийность автоматична, аналогично автоматической последовательности мозговых событий, имеющих ассоциативную природу. Ассоциативная структура сериала, эквивалентная течению сна и творческого процесса, не дает возможности наблюдателю удерживать фокус восприятия сконцентрированным, поэтому сюжет сериала, как и сюжет сновидения, разворачивается как серия разрозненных эпизодов и образов, скрепляемых воедино прежде всего интерпретационным потенциалом наблюдателя. Именно читатель связывает модули серии, наделяя их значением. Таким образом Данн и приходит к выводу о серийности как о суперконструкции, максимально усовершенствующей отношения между текстом и наблюдателем благодаря своей универсальной органической природе.

Весь вопрос в том, по замечанию Руднева, каким же образом в таком случае прибавить к сериалу фигуру автора? Возможно, путем постоянной коррективки:

читатель (автор) ← автор (автор) ← Бог (?) (автор).

Где высший Наблюдатель (конечный интерпретатор мироздания (рок, судьба, природа (?)), «член серии, чье мышление превосходит простое наблюдение за содержанием, наблюдатель, который, подобно конечному времени, остается необозначенным на любом графике серии», — это «конечный даритель способности к вмешательству»,³⁶ чье вмешательство и поможет избежать не удовлетворяющих нас текстовых конструкций. А роль автора текста в гипертексте сериала так же серийна, контекстуальна и промежуточна, как и функции реципиента. Так, например, биографический автор в первой серии, которая существенно отличается от всех последующих модулей, является внешним энергетическим толчком сериала.

Любой серийный процесс можно разложить на составляющие этапы по аналогичной схеме:

Мир № 1 (*мозг*) ← Мир № 2 (*сознание*) ← Мир № 3 (*принцип мироздания*).

Все «наблюдатели», за исключением последнего, автоматы. И все в конечном итоге — это единое Я, которое, прямо по З. Фрейду, наблюдает над самим собой. По концепции Данна выходит, что все три наблюдателя — одно и то же «лицо», которое формирует себя в процессе наблюдения за последовательно представленными состояниями собственного мозга, то есть *учится мыслить*. Смысл главных обучающих, адаптационных функций серийности в том, что, беря за образец собственный мозг, человек (как автор, так и читатель) вступает в борьбу с ним за обретение «собственной» структуры — индивидуальности. Или, как пишет Данн, «сериал выявляет существование души — индивидуальной души, имеющей конкретное начало в абсолютном времени».³⁷ Вполне постмодернистская и постиндустриальная задача.

И один из этапов этого процесса обучения — «совпадение» автора и читателя с органикой текста, прежде всего *с речью, с языком*, с целью выявления зависимости от них и затем «освобождения» от их власти. Для чистоты эксперимента наблюдатель должен сначала слиться с «природным сырьем»

³⁶ Данн Дж. Указ. соч. С. 218.

³⁷ Там же. С. 220.

текста, «простым как мычание». Петрушевская приходит к необходимости такого эксперимента в своей серии лингвистических сказок «Пуськи бятые», продолжая опыты академика Л. В. Щербы над его «Глокой Куздрой и Бокренком». В качестве актуализируемого серийностью контекста, выявляющего значение структур, здесь выступает суперестественная среда, сам язык, его порождающие грамматические и синтаксические схемы. «А ну, не шмерендеть! А то как стрямкаю!».³⁸ «А по клямсам? За некузавость? И — бздым! — Ляпупу по клямсам».³⁹ «— От нетюйной смычу! — бирит Ляпупа, — и от некузавой».⁴⁰ «Егды Бутявки волят некузавости, то и Калуши волят некузавости! За некузавость — некузавость! Блук за блук! Не псни, и не пснённый усяпаешь! Псня за псню!».⁴¹

Такова у Петрушевской наглядная иллюстрация генезиса неологизмов, процесса рождения живого современного арго. Это эксперимент, демонстрирующий «авторитет письма» (власть материала), семантическое давление, оказываемое даже его «голой формой». Вот, например, совершенно прозрачная сцена намечающихся супружеской измены и бытовой разборки, дополнительно проясняемая воспроизведенной структурой сказочного зачина: «Сяпали Пъс с Психой и псятами по напушке, а навстрызь хвиндиляет Калуша и волит:

— Оое, како кузаво! Пъс! Кузавенький! Калуша в изъюбе от Псъа! Шошляю Псъа!

И сяполкой Пъсу: воу, воу. И блумками: жум-жум.

— Калуша, тм, — волит Псъ. — Тм-тм. Эван эвоз: Психа. И эван эвоз: псята <...>.

Психа же, блуки вымзивиши, не волит ни-ни. На Калушу блуки вымзила и ни-ни».⁴²

И семейные роли персонажей здесь легко определяемы, и весь спектр их переживаний. Повторяющиеся из серии в серию «обнаженные» языковые структуры типа «Сяпала Калуша с калушатами по напушке и увазила Бутявку, и волит...»⁴³ актуализируют комбинаторность языка-контекста, его интерпретационную синонимичность. Эту фразу можно, исходя из контекста всех серий, «перевести» примерно так: «Шла (прыгала) (?) мамаша (лягушка, ежиха, утка) (?) с детишками (лягушатами, ежатами, уятами) (?) по опушке (?) и увидела козавку (?) (в общем, кого-то съедобного) (?), и говорит...» А можно, вероятно, и несколько по-другому. Это процессуальное состояние языка, раскрепощающее означающее, высвобождающее его креативные импульсы, Р. Барт называет «гулом языка». Гул языка во многом совпадает с феноменом сложности мира, развивающегося на базе внутреннего потенциала самоорганизации его множественных составляющих. Барт вообще рассматривает явление текстовой семантики исходя из процессуального варьирования языковых модулей, порождения смысла в результате их комбинирования и систематизации.⁴⁴ По его мнению, для современного человека само понятие языка синонимично понятию природы.

Подобный рассеянный фокус восприятия эквивалентен процессу читательского сотворчества и авторского творчества, то есть самой сущности

³⁸ Петрушевская Л. С. Указ. соч. С. 242.

³⁹ Там же. С. 236.

⁴⁰ Там же. С. 240.

⁴¹ Там же. С. 244.

⁴² Там же. С. 259.

⁴³ Там же. С. 235.

⁴⁴ Барт Р. От произведения к тексту // Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М., 1989. С. 413—424.

«работы с языком», которая всегда есть только «сотворчество» с ним. Инверсия, ошибка в его готовых модулях — необходимое условие развития реципиента («*путькиниста*»). Поскольку получается, что задачи сериала даже не воспитывающие-перевоспитывающие (можно ли улучшить природу?), а в том, чтобы сделать реципиента более творческим: гибче, интерпретативнее, индивидуальнее. Комбинирование природного и художественного развивает креативность и, что особенно актуально, демократичность. Формат сериала Петрушевской дегероизирует художественный образ-персонаж, так как выдвигает в каждой новой серии нового «главного героя», «героя на час» и, конвейеризуя их, в принципе нивелирует, стандартизирует «героическое». Так, например, английская писательница К. Брук-Роуз предлагает постмодернистскую концепцию уже вообще полного «*растворения характера в романе*» — из-за дефокализации персонажа в тексте вследствие мировоззренческой децентрации, представления о мире как о нестабильной системе.⁴⁵ Дефокализация обеспечивает и более полную читательскую идентификацию в связи с текстуальным равноправием всех образов-персонажей, своим разнообразием совпадающих с всегда диффузной фокус-группой произведения.

В этом и заключается расшифровка культурного кода жанра сериала, эколого-эстетического ноу-хау эпохи постмодернизма. Автор его, Петрушевская, экоэстет, одновременно дает и образцы совпадения с природой, и толчок к ее преодолению во имя индивидуальности читателя. Сериал репрезентирует важный постмодернистский закон сочетаемости как бы отдельных единиц: автора, читателя (персонажа) и природы.

⁴⁵ Ильин И. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм. М., 1996. С. 230.

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ. М. К. АЗАДОВСКИЙ

**«УДАТСЯ ЛИ ПРОРУБИТЬ ЭТУ СТЕНУ...»
(ИЗ ПИСЕМ М. К. АЗАДОВСКОГО К Н. К. ГУДЗИЮ 1949—1950 ГОДОВ)
(ПУБЛИКАЦИЯ © К. М. АЗАДОВСКОГО)**

О политико-идеологических кампаниях второй половины 1940-х годов в СССР, сказавшихся пагубным образом на судьбах тысяч советских ученых и деятелей культуры, написано в настоящее время достаточно много; опубликовано и значительное количество архивных документов, раскрывающих механизм внедрения в общественное сознание таких «ярлыков», как низкопоклонство, антипатриотизм, эстетство и, разумеется, космополитизм. Выявлены причины и цели сталинской репрессивной политики, названы имена палачей и жертв, описана атмосфера всеобщего страха и отчаяния, охвативших творческую интеллигенцию на рубеже 1940-х годов, изучены методы преследований и гонений («проработок»), официально осужден антисемитизм, возведенный в ранг государственной политики... Во всеуслышанье, и не раз, говорилось об огромных, порой невозможных утратах, которые понесли в то время наша наука и культура.

Архивные документы и воспоминания современников запечатлели не только события, но и поведение отдельных людей, коим довелось быть свидетелями или участниками той драматической эпохи. Этот аспект не может не привлечь к себе внимания. Как защищались (если вообще защищались) люди от несправедливых, облыжных и, как правило, абсурдных обвинений? Как сражались за свои гражданские права в условиях правового произвола? Как удавалось (если удавалось) сохранить свою общественную репутацию, свое человеческое достоинство? Степень сопротивляемости у каждого — своя, и реакция на репрессии — яркая характеристика человеческой личности. Не менее важен и другой аспект этой темы: как откликались те, кого не захлестнула волна гонений, на зов о помощи, просьбу о содействии и поддержке?

В первые послевоенные годы Марк Константинович Азадовский был, бесспорно, ведущей фигурой в отечественной фольклористике. Он заведовал кафедрой фольклора в Ленинградском университете, учрежденной в свое время по его инициативе, и возглавлял Сектор фольклора в Пушкинском Доме. Кроме того, он вел активную преподавательскую работу: читал лекции студентам, руководил аспирантами. Под его редакцией выходили в свет исследования других ученых, создавались коллективные труды, готовились к печати научные сборники (в частности — «Советский фольклор», 1934—1941). Однако работать становилось все труднее: идеологический климат второй половины 1940-х годов сковывал творческую энергию, требовал постоянной «оглядки»... Положение М. К. Азадовского усугублялось и эпизодическими нападками на него в печати — они начались еще до «антикосмополитической кампании».

Первый мощный удар по Азадовскому был нанесен в 1947 году статьей В. М. Сидельникова в «Литературной газете», озаглавленной «Против извращения и низкопоклонства в советской фольклористике». Московский фольклорист, написавший эту заказную (как выяснится спустя много лет) статью, резко критиковал Анну Ахматову, автора статьи об источниках пушкинской «Сказки о золотом пе-

тушке», и М.К. Азадовского, исследовавшего в работах 1930-х годов фольклоризм Пушкина.

«Анна Ахматова, — писал Сидельников, — (...) возводя пушкинскую „Сказку о золотом петушке“ к западноевропейскому источнику, обвиняет великого русского писателя в том, что он „простонародностью“ снизил лексику и все персонажи западноевропейского источника. Может ли быть более яркий пример низкопоклонства перед иностранщиной! Лженаучную, в корне порочную „теорию“ Ахматовой повторил на все лады ленинградский фольклорист М. К. Азадовский. Он возвел и другие сказки Пушкина к иностранным источникам, в частности к немецким».¹

В защиту Азадовского выступил тогда ряд известных ученых, обратившихся к академику Г. Ф. Александрову (начальнику Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) и главному редактору печатного органа Управления — газеты «Культура и жизнь») с письмом-опровержением. «В статье В. Сидельникова, — говорилось в этом письме, — путем выдернутых из контекста цитат, концепция проф. М. К. Азадовского предстает перед читателем как в кривом зеркале (...) редакция „Литературной газеты“ была введена в заблуждение и опубликовала статью В. Сидельникова, изобилующую принципиальными и фактическими ошибками».²

Это письмо (разумеется, не опубликованное) подписали восемь видных фольклористов, среди них — П. Г. Богатырев, В. Ю. Крупянская, С. И. Минц, Э. В. Померанцева, В. К. Соколова и др. Стояла в этом списке и фамилия Н. К. Гудзия.

С Николаем Калининвичем Гудзием (1887—1965), известным историком русской и украинской литературы, академиком Украинской ССР (1945),³ Азадовский познакомился лично, по-видимому, в середине 1930-х годов. Н. К. Гудзий был издавна связан с кругом ведущих московских фольклористов (П. Г. Богатырев, Ю. М. Соколов) — возможно, кто-то из них и оказался посредником в его знакомстве с Азадовским. Первое из сохранившихся писем М. К. Азадовского к Гудзю (от 20 ноября 1936 года) — свидетельство их добрых, дружеских отношений. В 1940—1941 годах оба ученых не раз встречаются в Москве и Ленинграде. Приблизительно с весны 1941 года между ними устанавливается постоянная (и весьма интенсивная в годы войны⁴) переписка, продолжавшаяся вплоть до последнего периода жизни Марка Константиновича.⁵

Критика Азадовского в «Литературной газете» была напрямую связана с «дискуссией о Веселовском», начатой А. А. Фадеевым в том же июне 1947 года. Выступая с докладом на XI пленуме Правления Союза советских писателей, генеральный секретарь и председатель правления СП СССР поставил вопрос о «школе Веселовского», якобы противостоящей русской революционно-демократической традиции Белинского, Чернышевского, Добролюбова и являющейся «главной прародительницей низкопоклонства перед Западом в известной части русского литературоведения в прошлом и настоящем».⁶ Фадеев призывал Академию наук СССР и Мини-

¹ Литературная газета. 1947. № 26. 29 июня. С. 3.

² Цит. по копии, хранящейся в личном архиве К.М. Азадовского.

³ См. о нем: Николай Калининвич Гудзий: К 70-летию со дня рождения и 45-летию научно-педагогической деятельности. М., 1957. Список литературы, посвященной Н. К. Гудзю, см. в статье Л. А. Дмитриева в кн. «Энциклопедия „Слова о полку Игореве“» (Т. 2. СПб., 1995. С. 72—73).

⁴ Семья Азадовских находилась с апреля 1942 по апрель 1945 года в Иркутске (родном городе М. К. Азадовского); Н. К. Гудзий был эвакуирован в Свердловск, где работал с ноября 1942 по май 1943 года (затем вернулся в Москву).

⁵ Сохранилось 56 писем Гудзия к Азадовскому за 1941—1953 годы (РГБ. Ф. 542. Карт. 60. Ед. хр. 25) и 50 писем Азадовского к Гудзю за 1936—1953 годы, из которых 31 письмо находится в РГБ (Ф. 542. Карт. 88. Ед. хр. 9) и 19 писем — в личном архиве К.М. Азадовского (С.-Петербург). Несколько писем Азадовского — о них упоминается в публикуемых ниже документах — обнаружить не удалось.

⁶ Литературная газета. 1947. № 26. 29 июня. С. 1 (раздел «О советском патриотизме и низкопоклонстве перед границей»).

стерство высшего образования СССР «поинтересоваться тем, что у нас в Институте мировой литературы им. Горького и в Московском и Ленинградском университетах возглавляют все дела литературного образования молодежи попугаи Веселовского, его слепые апологеты».⁷

М. К. Азадовский был, несомненно, одним из «апологетов». Он неоднократно писал о Веселовском, подчеркивая значение его трудов для изучения народного творчества;⁸ способствовал переизданию его работ.⁹ Естественно, что имя Азадовского постоянно мелькает в 1947—1948 годах в многочисленных журнальных и газетных статьях, авторы которых обличают и разоблачают Веселовского. Впрочем, поначалу ряд видных ученых еще пытается защищать Веселовского, подчеркивая его научные заслуги, огромный вклад в отечественную филологию и т. п. Так, во время «дискуссии», проводившейся в январе 1948 года на филфаке Ленинградского университета, общий тон высказываний о Веселовском был вполне умеренным, порою даже хвалебным. «В. М. Жирмунский и М. К. Азадовский, — читаем в газетном отчете, — вновь выступили с апологией Веселовского».¹⁰ Однако весной 1948 года — после «ударной» статьи в газете «Культура и жизнь»¹¹ — ситуация коренным образом меняется. Заседания, состоявшиеся в апреле 1948 года в ЛГУ и Пушкинском Доме, уже носят недвусмысленно «наступательный» характер; от ученых требуется признание их «методологических ошибок». В результате крупнейшим ленинградским ученым (М. П. Алексею, А. С. Долинину, В. Я. Проппу, В. Ф. Шишмареву, Б. М. Эйхенбауму и др.) приходится выступать в покаянном духе и, повторяя газетные штампы, обличать «низкопоклонство» и «буржуазную науку». Свою ориентацию «на старую домарксистскую науку о литературе» вынужден был осудить и М. К. Азадовский. «Я не заметил, — объяснял он свои «ошибки», — вернее — не сумел понять той борьбы, которая существовала и не могла не существовать в науке о фольклоре: борьбы буржуазной методологии с мирозерцанием революционной демократии. (...) Оттого-то мною, как и рядом товарищей, был не понят подлинный смысл развернувшейся дискуссии о Веселовском».¹²

Статья в «Литературной газете» и затянувшаяся «дискуссия» сделали свое дело: здоровье Марка Константиновича, подорванное ленинградской блокадой и трудными годами эвакуации (1942—1945), все более ухудшалось. Работа не приносила радости: каждую статью, публикацию, книгу требовалось многократно перерабатывать — в соответствии с «пожеланиями» рецензента, издательского редактора, цензора, не говоря уже об общих идейных установках. Все более тяготила учебного административная нагрузка в Университете и Пушкинском Доме. Из сохранившихся документов явствует, что часть сотрудников фольклорного сектора, верно уловив — еще до весны 1949 года — «дух времени», держалась по отношению к Азадовскому уклончиво и настороженно. «Томительной и нудной представляется и вся работа в нашем Отделе, — признавался Марк Константинович в письме к В. Ю. Крупянской¹³ 19 июня 1948 года. — Прежнего единства и дружбы прежней

⁷ Там же. С. 2.

⁸ См.: А. Н. Веселовский как исследователь фольклора // Известия АН СССР. Отделение общественных наук. 1938. № 4. С. 85—119; Литературное наследие Веселовского и советская фольклористика // Советский фольклор. 1941. № 7. С. 3—30; и др.

⁹ См.: *Веселовский А. Н.* Собрание сочинений. Т. 16. Фольклор и мифология. Статьи о сказке. 1868—1890 / Под ред. М. К. Азадовского и В. Ф. Шишмарева. Отв. ред. В. М. Жирмунский. М.; Л., 1938.

¹⁰ <Б. п.> За партийность литературоведения. О состоянии и задачах советского литературоведения // Ленинградский университет. 1948. № 3. 21 января. С. 3.

¹¹ <Б. п.> Против буржуазного либерализма в литературоведении. (По поводу дискуссии об А. Веселовском) // Культура и жизнь. 1948. № 7. 11 марта. С. 3.

¹² И. З. Заседание Ученого совета филологического факультета // Вестник Ленинградского университета. 1948. № 4. С. 134.

¹³ Вера Юрьевна Крупянская (1897—1985) — фольклорист, этнограф; научный сотрудник Института этнографии АН СССР. Близкий друг семьи Азадовских.

нет и помина, — или, если и есть, то только помин. Все время напряжение, все время нужно быть начеку, а я не умею этого — и то и дело срываюсь».¹⁴

Все эти отношения и оттенки, исподволь нараставшие в течение нескольких лет, открыто выплеснулись наружу весной 1949 года, когда в полную силу развернулась достопамятная кампания по борьбе с «космополитами», болезненно коснувшаяся и ленинградских учреждений (прежде всего Университета и Пушкинского Дома). Основными жертвами этой кампании стали, как известно, профессора М. К. Азадовский, Г. А. Гуковский, В. М. Жирмунский и Б. М. Эйхенбаум. Все они были подвергнуты публичным «проработкам», ошельмованы в печати, отстранены от своих должностей и уволены. Их статьи и монографии, уже совершенно готовые — сданные в печать, отрецензированные, сверстанные — спешно изымались из издательских планов. Свидетели и участники тех событий навсегда запомнили и открытое заседание Ученого совета филологического факультета ЛГУ, проходившее 4 апреля 1949 года в актовом зале главного университетского здания, и обличительные выступления докладчиков (Г. П. Бердникова, А. Г. Дементьева), и мужественное поведение тех, кто хоть как-то пытался защитить обвиняемых (Н. И. Мордовченко), и последовавший разгром филологической науки.¹⁵

Глубоко травмированный общественной экзекуцией и полностью отстраненный от науки и преподавания, Марк Константинович, однако, не предается отчаянию. Едва получив из Университета и Пушкинского Дома официальное извещение о своем увольнении,¹⁶ 15 мая 1949 года он пишет Н. К. Гудзию — рассказывает о допущенной в отношении него несправедливости и просит уточнить в московских инстанциях, возможно ли для него возвращение в Пушкинский Дом (см. письмо 1).

Обращение Марка Константиновича к Н. К. Гудзию объяснялось, с одной стороны, относительно прочным положением его московского коллеги и друга в неустойчивой и нервной общественно-политической ситуации того времени, когда многие авторитетные ученые подвергались оголтелой травле. С другой стороны, Николай Каллиникович более чем кто-то другой подходил на роль заступника и ходатая. «Он был очень добротолобив», — вспоминал о Гудзии П. Н. Берков.¹⁷ «Он был всегда на стороне обижаемых, — свидетельствует Д.С. Лихачев. — Он стремился к справедливости — в отношении живых и мертвых».¹⁸

Действительно, во второй половине 1940-х годов Н. К. Гудзий — его самого не затронули политические кампании поздней сталинской эпохи — держался достойно, даже бесстрашно. Он не скрывал своего критического отношения к происходящему, открыто проявлял свои симпатии к «обижаемым». Один из его учеников рассказывает:

«Мне пришлось быть аспирантом Николая Каллиниковича в 1946—1949 годы. Болезненно переживал Николай Каллиникович ту „разносную“, проработочную критику, которой подвергались В. В. Виноградов, П. Г. Богатырев. Он смело и принципиально выступал в их защиту, возмущался несправедливой и необоснован-

¹⁴ Личный архив К.М. Азадовского.

¹⁵ См. об этом подробнее: *Азадовский К., Егоров Б. «Космополиты»* // Новое литературное обозрение. 1999. № 36. С. 83—135.

¹⁶ От работы в Пушкинском Доме М. К. Азадовский был формально освобожден с 23 мая 1949 года (сохранилась копия официального уведомления от 9 мая 1949 года за подписью зам. директора Института русской литературы Б. П. Городецкого). Одновременно Азадовского отстранили от заведования кафедрой в Ленинградском университете «как не справившегося с работой и допуславшего крупные идеологические ошибки в своей научно-педагогической работе» (приказ № 238/УК от 29 апреля 1949 года по Главному управлению университетов Министерства высшего образования СССР; в Архиве ЛГУ в личном деле М. К. Азадовского хранится также приказ аналогичного содержания № 796 по ЛГУ от 3 мая 1949 года).

¹⁷ *Берков П. Н.* Несколько слов о Н.К. Гудзии // Воспоминания о Николае Каллиниковиче Гудзии. М., 1968. С. 123.

¹⁸ *Лихачев Д. С.* Впечатления от книги // Там же. С. 45.

ной критикой. С исключительной принципиальностью, честностью Николай Каллиникович доказывал, что нельзя огульно охаивать А. Н. Веселовского. „Веселовский — говорил он, — гордость нашей отечественной филологии, и нельзя мазать его черной краской”. С возмущением и иронией говорил он о том, что в Пушкинском Доме скульптуру Веселовского заставили шкафами». ¹⁹

Неудивительно, что Н. К. Гудзий быстро и озабоченно откликнулся на просьбу Марка Константиновича. «Все Ваши письма получил, — пишет ему Гудзий 18 июня 1949 года. — Они меня очень волнуют. В Москве случаи, аналогичные с тем, который произошел с Вами и с Гр(игорием) А(лександровичем) Гуковским, постепенно ликвидируются, и люди, гораздо меньше калибра, чем оба вы, возвращаются к работе. Убеден, что то же будет и с Вами обоими. Я говорил на этот счет с Дементьевым, ²⁰ и он также думает, что ненормальности ленинградские необходимо ликвидировать. Я намерен сам пойти в Министерство высш(его) обр(азования), на первый раз, б(ыть) м(ожет), к Жигачу, ²¹ и поговорить там откровенно обо всем том, что произошло с Вами и с Гр(игорием) Ал(ександровичем). (...) Не унывайте, дорогой друг, все непременно образуется». ²²

Разговор с Жигачем (правда, лишь телефонный) состоялся у Гудзиев 6 июля, и он в тот же день сообщил Марку Константиновичу о содержании беседы:

«Я сказал о том, как мы ценим Вас как ученого, сказал, что Отделение решило Вас восстановить, ²³ что Вы лекций читать не собираетесь и ориентируетесь главным образом на аспирантуру, почему не можете покинуть Ленинград, говорил о Ваших заслугах в изучении декабристской и револ(юционно)-демокр(атической) фольклористики. В ответ на все это Жигач сказал мне, что Ваше дело изучается, что он в курсе его. Я просил его быть максимально благожелательным к Вам, что он и обещал.

В конце замолвил слово и о Григ(ории) Александровиче. ²⁴ Но Жигач сказал мне, что Григ(орий) А(ексан)дрович, по своему желанию, получил уже назначение в Вильнюс». ²⁵

Еще один разговор Гудзиев с К.Ф. Жигачем (на этот раз — непосредственно, с глазу на глаз) состоялся через несколько недель в Кисловодске, где оба встретились в одном и том же доме отдыха. «На днях я беседовал с ним, — рассказывает Гудзий Марку Константиновичу 4 августа, — повторил свое суждение о Вас, которое высказал ему по телефону, но почувствовал, что он не является достаточно

¹⁹ Кусков В. В. На лекциях и в семинаре в МИФЛИ // Там же. С. 62—63.

²⁰ Александр Григорьевич Дементьев (1904—1986) — литературовед, критик. В 1949—1953 годах — зав. секцией (позднее — кафедрой) советской литературы ЛГУ. Одновременно — работник Ленинградского горкома ВКП(б) и один из руководителей Ленинградской писательской организации. Принимал активное участие в разгроме «космополитов» (в частности — на филологическом факультете ЛГУ). С 1953 по 1955-й и с 1959 по 1967 год — заместитель А. Т. Твардовского в «Новом мире». В 1957—1959 годах — главный редактор «Вопросов литературы».

²¹ Кузьма Фомич Жигач (1906—1964) — химик; профессор; начальник Главного управления университетов, член коллегии Министерства высшего образования РСФСР. С 1943-го по 1964 год — зав. кафедрой общей и неорганической химии в Московском институте нефтехимической и газовой продукции им. И. М. Губкина; с 1954-го по 1958 год — ректор этого института.

²² РГБ. Ф. 542. Карт. 60. Ед. хр. 25. Л. 50—50 об.

²³ 29 июня 1949 года Бюро Отделения языка и литературы АН СССР, согласившись с решением об отстранении Азадовского от должности заведующего Сектором фольклора, рекомендовало дирекции Пушкинского Дома «рассмотреть вопрос о возможности использования М. К. Азадовского в должности старшего научного сотрудника». Однако дирекция Института — прежде всего в лице Н. Ф. Бельчикова — уклонилась от «рассмотрения».

Николай Федорович Бельчиков (1890—1979) — литературовед; автор работ, посвященных Белинскому, Достоевскому, Г.И. Успенскому, Чернышевскому, Чехову и др. Член-корр. (1953). В 1949—1955 годах — директор Пушкинского Дома.

²⁴ Очевидно, ни Гудзий, ни его собеседник еще не знали, что Г. А. Гуковский был арестован в конце июня 1949 года и препровожден в Лефортовскую тюрьму в Москве.

²⁵ РГБ. Ф. 542. Карт. 60. Ед. хр. 25. Л. 51.

влиятельной инстанцией в решении вопроса о Вашей судьбе. Мне он сказал, что в Академии Вы встретили поддержку и восстановлены в Институте.²⁶ Что же касается Университета, то придется немного подождать, пока улягутся страсти. Тут же он мне сказал, что Гр(игорий) А(лексан)дрович получил кафедру в Риге.

Мне думается, что временная задержка с возвращением отчисленных профессоров на старые академические места объясняется прежде всего тем, что, создав бучу и склоку в вузе, из которого тот или иной преподаватель отчислен, считают неловким возвращать его в тот же вуз и тем самым дискредитировать и самих себя, и гонителей ушедших и предпочитают направлять изгоев на новые места, где у них не было никаких столкновений.

Я по-прежнему убежден в том, что университетские дела Ваши скоро обернутся для Вас в положительную сторону и Вам не следует волноваться. Не может быть, чтобы крупнейший советский фольклорист, точнее, — самый крупный фольклорист наш остался не у дел».²⁷

Однако добрым пожеланиям Николая Каллиниковича не суждено было сбыться. Все работы Марка Константиновича на фольклорные темы, в том числе и совершенно готовые, надолго останутся в рукописном или машинописном виде. Двухтомная «История русской фольклористики», opus magnum ученого, увидит свет лишь после его смерти (т. 1 — М., 1958; т. 2 — М., 1963). Созданная им кафедра фольклора ликвидируется вскоре после его изгнания из Университета (отсутствует и поныне). Вытеснение М. К. Азадовского из отечественной фольклористики шло полным ходом, и никакие усилия Н. К. Гудзия, как и других друзей и союзников, не могли изменить санкционированного свыше хода событий.

Впрочем, усилия такого рода продолжались и в 1949—1950 годах, и в дальнейшем. Не прекращал бороться за гонимого друга и Н. К. Гудзий, не упускавший возможности поговорить о нем с влиятельными коллегами или чиновниками, способствовавший появлению его работ в московских периодических изданиях (об этом, в частности, рассказывают публикуемые письма). Н. К. Гудзий искренне переживал не только за судьбу самого Азадовского, но и за русскую фольклористическую науку, лишенную своего ведущего деятеля. Об этом он разговаривал и с В. В. Виноградовым в 1950 году (см. письмо 7), и позднее, спустя два года, — в Министерстве высшего образования. «Сердечно тронут Вашей заботливостью, — пишет ему Марк Константинович 12 ноября 1952 года. — Вы — настоящий, подлинный друг. Конечно, Ваш разговор с Прокофьевым²⁸ должен иметь несомненное значение. Боюсь только одного: как бы он не привлек к консультации кого-нибудь из „авторитетных фольклористов” типа Иудушки Чичерова.²⁹ А ведь он и ему подобные более всего боятся, как бы я не вернулся вновь к активной деятельности».³⁰

Усилия Марка Константиновича, направленные на реабилитацию своего имени, а также действия, предпринятые его друзьями в Москве, оказались в конечном итоге безрезультатными. В течение 1950 года его положение медленно выправ-

²⁶ Имеется в виду Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (см. выше примеч. 23).

²⁷ РГБ. Ф. 542. Карг. 60. Ед. хр. 25. Л. 52 об.

²⁸ Михаил Алексеевич Прокофьев (1910—1999) — химик; советский партийный деятель. Член-корр. АН СССР (1966), член Президиума Академии педагогических наук СССР. В 1949 году — секретарь парткома МГУ. В 1951—1966 годах — первый зам. министра высшего (с 1959 года — высшего и среднего специального) образования СССР, в 1966—1984 годах — министр просвещения СССР. В июле 1952 года М. К. Азадовский был на приеме у Прокофьева, ходатайствуя об отмене приказа от мая 1949 года, фактически запрещавшего ему работу в вузах страны. О перипетиях его обращения к Прокофьеву и попытках содействия Марку Константиновичу со стороны В. В. Виноградова и Н. К. Гудзия см. в кн.: Марк Азадовский — Юлиан Оксман. Переписка 1944—1954 / Изд. подг. Константин Азадовский. М., 1998. С. 274, 332, 335.

²⁹ О В. И. Чичерове см. примеч. 26 к письмам.

³⁰ Личный архив К. М. Азадовского.

ляется; намечается — после длительного перерыва³¹ — возможность возвращения к научной работе (правда, лишь в качестве пенсионера, а не «научного сотрудника»). В конце 1950 года появляется «первая ласточка» — статья в «Известиях ОЛЯ» (см. письмо 6 и примеч. 47). Вытесненный из фольклористики, Азадовский создает в 1950—1953 годах ряд крупных декабристоведческих работ, признанных ныне классическими и недавно переизданных.³² С этой точки зрения его судьба оказалась менее драматичной, чем судьба Г. А. Гуковского, погибшего во время следствия в Лефортовской тюрьме. Марк Константинович избежал этой страшной участи. Но ни к преподавательской деятельности, ни к исследованиям в области русского народного творчества он так и не смог вернуться вплоть до самой смерти, последовавшей в ноябре 1954 года.

Ниже публикуются семь писем М. К. Азадовского к Н.К. Гудзию за 1949—1950 годы; их выбор определен содержанием. Шесть писем хранятся в личном архиве К. М. Азадовского (С.-Петербург); письмо 5 — в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (Ф. 542. Карт. 88. Ед. хр. 9. Л. 44). Явные опечатки в рукописном тексте исправлены без оговорок.

1

(Ленинград,) 15 мая (1949)

Дорогой Николай Калининкович,¹

Разрешите беспокоить Вас одной маленькой просьбой. Обращаюсь к Вам как к одному из немногих лиц, в неизменности дружбы которых я могу считать себя уверенным.

Ежели же Вам почему-либо мою просьбу выполнить трудно, ради Бога, не насилуйте себя; я великолепно заранее понимаю, что если Вы откажете, значит, у Вас имеются на то резоны.

Вы, конечно, знаете о той возмутительной истории, жертвой которой я стал. Вы, конечно, знаете, что я сейчас лишен всяких источников существования, опозорен и, по существу, — назовем вещи своими именами, — изгнан из науки. Вам, вероятно, Эрна Вас(ильевн)а² рассказывала подробности. Сам я вот уже третий месяц болен, два месяца провел в постели, а в это время, в мое отсутствие, на меня выливались потоки клеветы и лжи; отрицали всякое значение моих работ, извращали смысл написанного, приписывали то, чего никогда не утверждал, и — самое безобразное и опасное — клеветали политически. Когда оправлюсь, придется немало труда положить на реабилитацию, на восстановление своего научного достоинства и чести советского гражданина.

В пружинах этой истории для меня многое — неясно. Неясна роль, сыгранная Бельчиковым; неясно, почему именно я избран одной из немногих жертв в Л(енин)гра)де. Вы ведь, конечно, хорошо понимаете, что такие ошибки, как источники сказок Пушкина или статьи о Веселовском,³ — явление далеко не индивидуальное, — а вместе с тем не у многих имеются такие прямые и безусловные заслуги в деле создания и укрепления именно *советской* науки. Не случайно же ко мне с такой ненавистью относятся многие реакционные фольклористы на Западе — в том

³¹ В Указателе печатных работ М. К. Азадовского (Новосибирск, 1983) не зафиксировано ни одной публикации за 1949 год.

³² См.: Азадовский М. К. Страницы истории декабризма. Кн. 1 и 2. Иркутск, 1991—1992; Азадовский М. К. Воспоминания Бестужевых. СПб., 2005 (серия «Литературные памятники»; первое изд. — М., 1951).

числе сам Van-Genper,⁴ что выражено им и в его последнем труде (Manuel du folklore français...)⁵

Почему оказалось возможным все это, как и всю мою чуть ли не сорокалетнюю (36 лет) работу, зачеркнуть в один миг и обречь, повторяю, в будущем (меня) на полуголодное существование.

И вот в чем просьба: не можете ли Вы (от себя и по *своей* инициативе, отнюдь не упоминая о моей просьбе) переговорить по душам с Еголиным?⁶ Побеседовать в порядке личного любопытства с ним на тему о моем деле, узнать его мнение по сему вопросу, разузнать, как он представляет себе это и в настоящем, и в будущем. М(ожет) б(ыть), он намекнет, что следует мне предпринять ради реабилитации и где, по существу, истинные пружины?

Я не называю всех вопросов: они Вам самому понятны. Он же должен быть в курсе дела, ибо, полагаю, с ним в какой-то степени это согласовывалось.

Если моя просьба Вам не трудна и не противна, прошу быстренько мне ответить, так как скоро я начну выходить в свет и нужно начать действовать, — а для этого нужно иметь более открытые глаза и кое-что уяснить себе. И что Вы сами мне посоветуете?

Ну вот и все.

Если бы Вы знали, дорогой Н(иколай) К(аллиникович), чего стоила мне эта история, я совершенно разбит физически, — впрочем, не думайте, что я и духом ослабел.

Весь Ваш

МА

P. S. О глубоко огорчившем всех, кто любил и уважал Ник(олая) Кир(ьякови)ча,⁷ его выступлении Вы, конечно, знаете.⁸

P. S. Особенно извращались мои статьи на иностранных языках, причем нарочито умалчивалось, что они опубликованы в изданиях ВОКСа,⁹ т. е., стало быть, это уже не зарубежные статьи. Вот характерный пример: особенно меня обвиняли в сообщении зап(адно)-евр(опейским) читат(ел)ям эсхатологических легенд 20-х годов. Другими словами, я якобы пропагандировал в качестве народного творчества ф(олькл)ор, по существу, контрреволюционный, и пр. Но у меня прямо написано, что такого рода тексты отражают контрревол(юционные) тенденции кулаческих кругов деревни и в этой среде зародились.¹⁰ Писал я 18 лет тому назад. Т. е. уже тогда я *разоблачал*, а не пропагандировал, и разоблачал потому, что эти тексты были опубликованы Поливкой¹¹ и — в научной зап(адно)-евр(опейской) печати.

Другие факты такого же типа.¹²

Жму руку.

Ваш М. А.

2

(Ленинград,) 2 июля (1949)

Дорогой Николай Калининнич,

чувствую потребность поделиться с Вами своими переживаниями. На миг мне казалось, что дело проясняется, — оказывается, всё гораздо сложнее и труднее. Боже мой, что это за человек! Я имею в виду, конечно, Н(иколая) Ф(едоровича)!¹³

Ведь Вы помните, как обстояло дело со статьей о Гильфердинге.¹⁴ К тому же, он и сам Вам говорил о ней. Представьте же мое удивление (да не удивление даже,

этого слова мало), когда по приезде я узнаю, что на другой же день своего появления в Л(енингра)де он дал приказ писать статью Базанову,¹⁵ а Астаховой¹⁶ сделал почти что выговор за либеральную рецензию. Да, бедная, чуть ли не с мокрыми штанами и в страшном перепуге вылетела от него!

Можно ли хоть одному слову его верить!

Он же уверяет меня, что ничего не знает о решении Бюро Отд(елен)ия и сомневается, что таковое было вынесено. Очевидно, хочет его сорвать.¹⁷

И я, буквально, теряю голову. Что предпринять — не знаю, тем более что Ив(ан) Ив(анович) Мещанинов¹⁸ — в Берлине. В кармане путевка. Срок ее начался с первого июля; каждый день, т(аким) о(бразом), выбрасываю псу под хвост 40 руб. и выбрасываю чудный летний день к тому же. Не знаю, как у Вас, а здесь установилась чудная, настоящая летняя, июльская погода. Лидия Владимировна телеграфирует, что на взморье сказочно хорошо.

Бельчиков же, кажется, сегодня уже уезжает на 10 дней в Москву.

Пожалуй, вернее всего будет уехать. Но не уверен, что это правильно.

Вот каковы мои дела, дорогой друг! Все-таки, выходит, не так-то легко восторжествовать справедливости, не так-то легко бороться против подлости.

Были ли Вы у Жигача¹⁹ или говорили ли с ним по телефону? Меня это очень волнует. Начинаю думать, что, м(ожет) б(ыть), были правы те, кто советовал никуда не ходить, ни в какие организации не писать, а прямо обращаться в самую высокую инстанцию, т.е. писать только Иосифу Виссарионовичу. Но мне как-то всегда казалось странным обращаться со своим маленьким личным делом так высоко. Но, м(ожет) б(ыть), и придется.

Жму крепко Вашу руку и обнимаю как милого дорогого друга.

Весь Ваш

МА

3

Дзинтари, 14 августа (1949)

Дорогой Николай Калининлович,

Вашему письму был рад вдвойне, так как полагал, что мое письмо, отправленное в Кисловодск слишком рано, там затеряется; теперь же вижу, что оно все-таки до Вас дошло.

Хорошо ли отдыхаете, дорогой? Лично я, несмотря на превратности погоды и довольно отвратительные порядки (вернее, беспорядки) в нашем Доме отдыха,²⁰ своим пребыванием здесь доволен. Мои остаются здесь до 22, — я же дня через три-четыре «смываюсь». Последние дни отдыха были омрачены письмом из Министерства (оно было переслано мне сюда из Ленинграда), в коем сообщалось «учтиво», «с ясностью холодной»,²¹ что М(инистерст)во, ознакомившись со всеми материалами, не считает возможным пересматривать свое решение, выраженное в приказе от 26 мая. Подписано: Михайлов.²²

Вот Вам и всё. Небрежность и безответственное отношение к делу сказались и в этом постановлении, ибо в приказе от 26 мая ни одного слова об увольнении нет, — в нем дана только характеристика положения дела в ЛГУ и, т(ак) сказать, задним числом философское осмысление приказа, подписанного Жигачем, от 4 мая.

Жигач, вероятно, уже знал об этом постановлении, но не сказал Вам. Интересно только: посылали они мою «записку» в ЛГУ и получили оттуда новую порцию лжи или же просто-напросто решили не колебать авторитета власти местной и пр. Конечно, я хорошо понимаю, что мое возвращение в ЛГУ означало бы пощечину деканату, — но мне-то какое дело до этого? Удастся ли вообще прорубить эту стену

и что я должен для этого сделать и как, — не знаю точно. Пора уж бы за настоящую работу сесть — а не терять так понапрасну время на борьбу и писания разных опровержений против измышлений разных негодяев.

Неважно обстоит дело и с ИРЛИ. Вероятно, Вы кое-что знаете уже из разговоров с С. А. Рейсером²³ и М. Л. Тронской.²⁴ Из намеков А. И. Перепеч²⁵ (парторг ИРЛИ), отдыхавшей одновременно с ними в санатории, они поняли, что Бельчиков будет противиться моему возвращению в Ин(ститут)т и, во всяком случае, — это я уже от себя добавляю — создаст невыносимые условия для меня.

Когда пораздумашь обо всем, то поневоле приходишь в мрачное состояние духа. Меня буквально изгоняют из науки. Чичеров²⁶ включает в план Отдела фольклора И(нститута) Э(тнографии) коллективную работу по истории фольклористики, а сам пишет «Фольклористика XVIII в(ека)», зная хорошо, что это все мной уже сделано и выполнено.²⁷ Главу же о XVIII веке он хорошо знает в моей редакции, ибо слышал мои лекции. Теперь мне понятно, почему он всюду, где можно, старается «нейтрализовать» меня: он возражал против моего участия в готовящемся учебнике; он снимает мое имя из всех статей по фольклору, к(ото)рые присылаются в «Сов(етскую) Этнографию»; он же был сочувственным консультантом у Бельчикова «по моему делу», заняв позицию в этом вопросе прямо противоположную той, к(ото)рую, например, занимал и занимает Богомолов.²⁸ Это уже, можно сказать, «борьба за рынки» в прямом смысле этого слова. Однажды он зарезал мою статью для «Сов(етской) Этнографии», выставив совершенно нелепые причины. Полагаю, что и в casus'e со статьей Гильфердинга он сыграл некую роль, ибо Б(ельчиков) ссылался на мнение каких-то московских фольклористов. А помните, что он говорил Вам?

Да, ну их к...! Только, ведь, тяжело, что на седьмом десятке жизни, перед ее концом, очутился в таком положении. Как невольно об этом подумаешь, кипит негодование и навертываются слезы. И не одни только моральные переживания одолевают — вступает забота и иного плана. Моих ресурсов хватит еще месяца на два, м(ожет) б(ыть), при некоторой натуге, на три. А дальше? Продать всю библиотеку? Так ведь тоже весь остаток жизни ей не прокормишься, — а я, к тому же, мечтал, что это — ресурс для семьи после моей смерти.

Конечно, мне могут предложить место где-нибудь в библиотеке — но я не могу работать по восемь часов. Я могу работать только в тех условиях, к(ото)рые обычны для всех нас, для всех людей нашего типа и особенно возраста, и особенно при такой болезни. В своем кабинете и то я могу работать в день максимум четыре часа с перерывами, т.е. четыре часа писать. А сидеть в учреждении для меня невыносимо. Да и, наконец, хочется, — да и должен я это сделать, — завершить свой жизненный путь, закончив свою работу.

Простите, дорогой Николай Калининнич, что я своими «ламентациями» навещаю на Вас тоску и порчу отдых. Невольно все это вырвалось.

Всего лучшего, дорогой друг! Привет Татьяне Львовне.²⁹ Лидия Влад(имиров)на просит Вас поцеловать.

Ваш
МА

4

〈Ленинград,〉 26 октября 1949

Дорогой Николай Калининнич,

Мне просто стыдно произносить вслух Ваше имя. Так давно я получил Ваше милое и сердечное письмо — и до сих пор не собрался ответить. Не считайте это, дорогой Ник(олай) Калининнич, проявлением хамства и равнодушия. В ту пору

мне как-то трудно было еще написать Вам, а потом хотелось поделиться с Вами какой-либо приятной новостью, а таковых не было, нет — да, вероятно, и не скоро будет. Ну а за газетами и журналами Вы и сами следите.

Весеннее постановление Бюро Отделения как-то повисло в воздухе.³⁰ Мне было известно враждебно-отрицательное отношение к нему со стороны гегемонов. Поэтому я решил ждать и самому никуда не ходить. Никуда и не ходил, нигде не был, никого не видал, — ну а что слышал, о том речи нет. А слышал много.

Однажды получил офиц(иальную) бумагу, в к(ото)рой сказано, что Презид(и-ум) Акад(емии) Наук в заседании от такого-то числа (августа мес(яца)) постановил такого-то освободить от должности зав(едующего) Сектором...; такую-то в оной должности утвердить...³¹ Вот и все. Отменялось ли тем самым весеннее постановление или это не касалось рекомендации Отд(елен)ия, мне было неясно. А из Ин(ститу)та больше никаких вестей не было.

Я отношусь ко всему теперь уже совершенно спокойно и воспринимаю все, как

Гиппо(по)там с огромным брюхом

и т. д. Помните, конечно:

А он пасется или спит.³²

Грустно, что одну за другой возвращают мне статьи мои. А статьи, ей-богу, не плохие и не раз — и не так еще давно — рецензентами хвалимые. И, главное, некуда с ними податься. В «Известиях Отд(елен)ия» — там тот же Н(иколай) Ф(едорович); в «Сов(етск)ую Книгу» — он же,³³ и т. д. Словом, «Камо бегу от лица Твоего... Аще вниду во ад — и тамо...»³⁴

А в «Сов(етской) Этнографии» — там Иудушка Чичеров, к(ото)рый вычеркивает мое имя из всех статей. Так нечего и думать о сотрудничестве в оном журнале.

Впрочем, возможности историко-литературные вообще и помимо этого сузились как будто до предела. Даже в «Вестнике МГУ» я не вижу ист(орико)-лит(ературн)ых статей, а раньше — и не так давно — они частенько появлялись и довольно аккуратно.

В Университете подвизается в качестве лектора по др(евне)-рус(ской) лит(ерату)ре небезызвестный Вам Лапицкий,³⁵ к(ото)рый, кривляясь и паясничая, изгаляется над наукой и ее лучшими корифеями в прошлом и настоящем. Вот образец его стиля: «Об этом можно прочитать, с позволения сказать, (в) учебниках Орлова³⁶ или Гудзия»... Об очередной выходке Ник(олая) Кириаковича до Вас уже, вероятно, дошла весть...³⁷ И зачем это старику нужно? Получилось что-то вроде общественной пощечины ему... Ведь какую красивую старость мог бы иметь. Мог бы быть в полном смысле нашим патриархом.

Завтра защита диссертации Ирины Ник(олаевны) Медведевой (Томашевской)³⁸ — и... тревожно за нее. Нет уверенности, что и в данном случае Ник(олай) Кир(ьякович) не выкинет какой-либо непристойности. Он ведь ненавидит Бориса Викт(орови)ча.³⁹

У Вас, вероятно, нет желания побывать теперь в Ленинграде. А жаль... Так хотелось бы повидать Вас, побеседовать, поделиться, — просто провести вечерок с таким милым и чудным человеком и товарищем, как Вы.

Обнимаю, целую. Целует Вас сердечно и жена моя. От нас обоих сердечный привет Татьяне Львовне.

Ваш
МА

5

〈Ленинград,〉 30 апреля 1950

Дорогого друга, Николая Калининковича, сердечно поздравляю с весенним первомайским праздником. Хоть у меня на душе и не веет весной, но праздник этот люблю всегда, — в нем много поэзии и символических черт. И не могу же я разлюбить жизнь только потому, что существуют на свете гадины, вроде Бельчикова или Бердникова⁴⁰ с компанией.

От Вас давно нет вестей, и мы с Л〈идией〉 В〈ладимировной〉 соскучились по всем вам,

всего доброго

Ваш
МА

6

Ленинград, 16 сентября 〈1950〉

Дорогой Николай Калининкович,

было очень приятно получить весточку от Вас, переданную мне Иг〈орем〉 Петр〈овичем〉 Ереминым.⁴¹ Я был очень удивлен, узнав, что Вы отдыхали так близко, безо всякой экзотики. Я мнил видеть Вас на Кавказе или где-нибудь в другом аналогичном месте — т.е. видеть, конечно, очами духовными, ибо сам я совсем скромно жил в пригородной ленинградской зоне — и жили, надо сказать, очень приятно.⁴²

Если бы я знал, что Вы в Болшеве, давно сам бы, не ожидая Вашего почина, написал бы Вам. Вы, конечно, знаете о моих весенних похождениях в Москве.⁴³ Вот когда жалел-то, что Вас нет! Вот когда были нужны мне до смерти Ваш совет и Ваше содействие. Но, увь...

С тех пор прошло три месяца, а дело не подвинулось ни на иоту. Вы ведь в курсе всего, правда? Вам П〈етр〉 Гр〈игорьевич〉⁴⁴ все рассказал? Кроме того, вел еще разные разговоры с разными лицами о печатании. Говорил с А〈лександром〉 Мих〈айловичем〉 Еголиным и Сергиевским⁴⁵ о возможности публикации своихopus'ов в «Изв〈естиях〉 ОЯЛ».⁴⁶

А〈лександр〉 М〈ихайлович〉 был, как всегда, очень мил и внимателен. Охотно обещал принять статью, буде она подойдет. Выбрали мы совместно тему. Статью послал месяца полтора тому назад, но ни слуху ни духу...⁴⁷

Слышал вскользь о каких-то переменах в редакции и о назначении редактором Черных'а.⁴⁸ Последнее меня мало порадовало, ибо у нас с ним взаимные всякие несогласия бывали в Иркутске. Мне-то сейчас ни к чему бы вспоминать, ну а он — человек злопамятный.

Кроме того, расскажу Вам еще одно странное обстоятельство. Когда я был в Москве, встретил одного своего земляка, мы с ним разговорились о разных взаимно интересующих нас делах, — в частности, о последних изданиях путешествий Арсеньева, к〈ото〉рый был большим моим другом.⁴⁹ Узнав, что я последний год специально над ним работал,⁵⁰ он мне вдруг сказал: «Вы бы написали рецензию для „Сов〈етской〉 Книги”». — Я ему объяснил, что туда мне дороги нет, потому-то, мол, и потому. Тем и кончилось.

А затем вдруг получаю в Л〈енингра〉де уже предложение от зав〈едующего〉 редакцией В. К. Белоконь — прислать рецензию-обзор новых изданий сочинений Арсеньева. Я прислал согласие, — а затем и рецензию. Получил благодарность за быстрое исполнение просьбы. Рецензия должна была пойти в № 9.⁵¹

Что сей сон значит? У меня родилось подозрение, что, м(ожет) б(ыть), все предварительные заказы делает редакция без согласования с гл(авным) ред(актором) или его заместителем. А последний накладывает свое veto в последнюю минуту. Что Вы думаете о сием? Мне эти мысли потому стали приходить в голову, что в дальнейшем всякая переписка иссякла, и гранок, к(ото)рые обещали прислать, нет до сих пор. А ведь № 9, вероятно, уже целиком в производстве.

Словом, как видите, мои новости вокруг литературных дел, но еще не литературные. Более прочно дело у меня с Изд(ательством) Ак(адемии) Наук по линии Вавиловской Комиссии,⁵² для которой я готовлю переиздание воспоминаний Бестужевых.⁵³ Сижу над ними, выражаясь фигурально, денно и нощно. Но это только фигурально, ибо по вечерам я уже работать не могу, и день мой рабочий — очень ограничен.

Очень удручила меня заметка в БСЭ с ее похабной концовкой,⁵⁴ — боюсь, что эта заметка сыграет роль осинового кола.

Правда, некоторые друзья мои толкуют ее в благоприятном для меня смысле, но я лично оной удручен и предпочел бы, чтобы ее вовсе не было. Как видите, эта госпожа из редакции Вас очень обманула.⁵⁵

Были ли в последнее время заседания ВАКК? Как обстоит дело с одной моей ученицей Лебедевой Л. А.?⁵⁶ Не постигла ли ее судьба Шнеерсон⁵⁷ за то же самое?⁵⁸

Жму руку. Жду весточек, не забывают меня.

Весь Ваш
МА

7

⟨Ленинград,⟩ 3 октября 1950

Дорогой Николай Калининкович,

спасибо за быстрый отклик и даже вмешательство. Я получил письмо от зав(едующего) ред(акцией). Правда, он ничего не пишет о гонораре (60 %), но, конечно, меня этот вопрос весьма занимает, — и я напишу ему сам об этом. Жаль, конечно, что откладывается надолго публикация. Мне ведь очень существенно, чтоб где-н(и)б(удь) появилось мое преступное имя — это, по крайней мере, оздоровит провинцию. Мне только по-прежнему неизвестно, согласован уже вопрос о моей статье с зам(естителем) ред(актора),⁵⁹ вернее, санкционирован он им уже или это еще in spe?⁶⁰ Или, м(ожет) б(ыть), его шансы и там понижены?

Откровенно сказать, я думаю, что он и в П(ушкинском) Д(оме) еще не совсем изничтожен, а, м(ожет) б(ыть), кто знает, он еще выплывет наверх при ближайших выборах. У него могучие связи, которыми он умеет искусно пользоваться. А наши академики... Вы знаете, какое это аморфное вещество и какой каучук всегда во всех их действиях...

Но, признаться, я не знаю даже, будет ли какой для меня профит из всего этого «мнимого благополучия». Ведь даже если *его* и не будет, то мне вернуться в П(ушкинский) Д(ом) невозможно — до того насквозь уже загажена им там атмосфера и поскольку останутся там Ширяевы,⁶¹ Кравчинские,⁶² Бушмины,⁶³ Ковалевы⁶⁴ et tutti quanti.⁶⁵

Да, конечно, было ошибкой с моей стороны, что я в свое время не остался в Москве⁶⁶ — вероятно, работал бы я в Инст(итуте) Мир(овой) Лит(ературы) и чувствовал бы себя более ли менее покойно.

Вы говорите: уже скоро обо мне вспомнят на фольклористическом фронте. Не знаю, не чувствую этого. То, что происходит там, — страшно. Но я вижу, как

даже у Вас там П(етр) Гр(игорьевич)⁶⁷ и Эрн Ваc(ильевна)⁶⁸ не в силах справиться с Вас(иленком)⁶⁹ и Сид(ельниковы)м⁷⁰ и терпят от них поношения — даже в публ(ичных) заседаниях фак(ультетск)их комиссий. Говорят, Вас(иленок) и Сид(ельников) помещают направленные против меня ругательства в составляемую им(и) учебную хрестоматию, — и это опять пойдет под маркой МГУ.⁷¹

Горе и беда нашей науки в том, что за каким-н(и)б(удь) невеждой и мерзавцем типа Сид(ельнико)ва устремляются не только Ив(аны) Никаноровичи⁷² (с него взятки гладки, он уже рамолизирован), но и такие, как Варвара,⁷³ Скрипиль⁷⁴ и прочие. Ведь это сплошной ужас, что изобрела В(арвара) П(авловна) с изданием «Рус(ского) Ф(олькло)ра»!⁷⁵ И вот там изо всех сил втягивают живое и трепещущее, полнокровное тело народной поэзии на прокрустово ложе механических периодов, изобретенных искусной ловкачихой, которой нет никакого дела до подлинной науки и совершенно забывшей о честном отношении к жизни, науке и людям. А какая-нибудь жалкая, лишенная своей воли и потерявшая чувство собственного достоинства Астахова покорно лепит статьи о былинах в каком-то веке и только сокрушается, что некуда приспособить былины об Илье Муромце.⁷⁶ Остальное-то, мол, можно приткнуть куда-нибудь. А что делает В. И. Чичеров?!

Не стало науки о фольклоре. Недаром же никто не хочет заниматься ею.⁷⁷ В нынешнем году одна бывшая моя аспирантка защитила диссертацию и моментально переключилась на новую р(усскую) лит(ерату)ру, к(ото)рую и читает.⁷⁸ Другая, окончившая аспирантуру и в нынешнем году намеревающаяся защищать diss., уже включилась заблаговременно в работу кафедры сов(етско)й лит(ерату)ры, на которой в дальнейшем и намерена работать.⁷⁹ Все говорят: «Лишь бы не фольклор». Сбежал с фольклора и Базанов, которого еще недавно прочили в вожди фольклористики.

Пропп,⁸⁰ в прошлом году еще возражавший против программы Сид(ельникова)—Вас(иленка),⁸¹ в нынешнем году при обсуждении ее признал оную вполне удовлетворительной, поставив тем в тяжелое положение других своих коллег, не желавших подчиняться этой программе.

Одна из моих лучших учениц Колесницкая,⁸² хотя еще преподает фольклор, но как исследовательница давно ушла в 60-е годы. А ведь у ней была совершенно закончена докторская диссертация.

Вы очень мило утешаете меня по поводу заметки в БСЭ. Не знаю, м(ожет) б(ыть), Вы и правы, — так думаю и некоторые другие мои друзья. Я бы предпочел, чтоб лучше обо мне было умолчано. Конечно, эта заметка могла бы быть в 100 раз хуже, — это я понимаю. Но все же она дает повод для продолжения кампании против меня и притом с опред(еленной) ссылкой на максимальнейший авторитет редакции БЭ.

Вы порадовали меня сообщением о Вашем приезде в Л(енинград) в ноябре. Жалею, что не смогу присутствовать на Вашем докладе, но предвкушаю удовольствие видеть Вас у себя и всласть наговориться. Покажу Вам и свои картинки.⁸³

Должен еще поблагодарить Вас за Ваш разговор с Виноградовым.⁸⁴ Он, конечно, хочет выждать результатов обращения в ЦК Баранова,⁸⁵ — но вот смотрите, прошло уже три месяца, а движения никакого: никакого ответа ни мне, ни Б(аранов)у — по кр(айней) мере, я недавно получил от него письмо. Вероятно, дело пошло по старым каналам в Минист(ерст)во и Ак(адемии) Наук, — и потому все заглохло. М(ожет) б(ыть), оно попало Кружкову,⁸⁶ а последний, как Вы знаете, — ближайший друг и покровитель Н. Ф. Б(ельчикова) — ну а отсюда и все дальнейшее.

М(ежду) пр(очим), одно время, перед заметкой в Л(итературной) Г(азете),⁸⁷ здесь очень распространен был слух о примирении Н. Б(ельчикова) с Виноградовым. «Друзья» первого говорили так: они договорились, и В(иктор) В(ладимирович) обещал ему поддержку при выборах, — а «враги» передавали в такой редакции: «Псаломщик⁸⁸ валялся в ногах у В. В. В(иноградова) и вымолил прощение.

Кажется, будет ему поддержка на выборах». События последующие, как будто, явили дело в новом свете.

Ну, хватит болтовни.

Жму руку и обнимаю.

Ваш

МА

Р. С. Фамилия моей ученицы — Лебедева; диссерт(ация) ее, защищенная 31-ХП-1948, — о Ник(олае) Бестужева.⁸⁹

¹ М. К. Азадовский писал отчество Н. К. Гудзия с ошибкой. Каллиник — имя, восходящее к греческому καλλός (красивый, прекрасный) и принадлежавшее нескольким христианским мученикам и константинопольским патриархам.

² Эрна Васильевна Померанцева (урожд. Гофман; 1899—1980) — фольклорист и этнограф. Доцент МГУ; позднее — научный сотрудник Института этнографии АН СССР.

³ Азадовский имеет в виду свои статьи, которые «инкриминировались» ему в 1948—1949 годах: Источники сказок Пушкина // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. I. М.; Л., 1936. С. 134—161 (также в сб.: *Азадовский М. К.* Литература и фольклор. Л., 1938. С. 65—105); А. Н. Веселовский как исследователь фольклора // Известия АН СССР. Отделение общественных наук. 1938. № 4. С. 85—119; Литературное наследие Веселовского и советская фольклористика // Советский фольклор. 1941. № 7. С. 3—30; и др.

⁴ Арнольд ван Геннеп (1873—1957) — французский этнограф, фольклорист, исследователь первобытной религии; основатель ряда этнографических изданий. Автор многочисленных трудов по общей этнографии и этнографии Франции. В 1952—1957 годах — президент Общества французских этнографов.

⁵ Путеводитель по французскому фольклору... (*фр.*). Имеется в виду: *Gennep A. van. Manuel du folklore français contemporain*. Т. 1, 3, 4. Paris, 1937—1958 (все четыре тома, как и ряд других книг Геннепа, имелись в личной библиотеке М. К. Азадовского).

Слова о «ненависти» — явное преувеличение, вызванное ситуацией 1949 года. В своей аннотированной библиографии международных исследований по фольклору ван Геннеп указал статью Азадовского, помещенную в журнале ВОКСа (см. примеч. 9), и отозвался о ней весьма критически («прилагает к фольклору метод, называемый историческим материализмом»; «возвращает интерпретацию фольклора к понятиям истории и пережитков»; «отбрасывает теорию на сто лет назад»). См.: *Gennep A. van. Manuel du folklore français contemporain*. Т. 3. Paris, 1937. P. 100.

⁶ Александр Михайлович Еголин (1896—1959) — критик, литературовед, автор работ о Герцене, Некрасове и других писателях XIX века. В 1940—1948 годах — ответственный работник ЦК КПСС (в годы войны — заведующий Отделом литературы и науки). В 1946 году — ответственный редактор журнала «Советская книга». В 1947 году — главный редактор «Звезды». В 1948—1952 годах — директор Института мировой литературы. Член-корр. (1946).

⁷ Имеется в виду Николай Кириякович (Кириакович) Пиксанов (1878—1969) — литературовед, библиограф; исследователь биографии и творчества Грибоедова, Пушкина, Гончарова, Тургенева и др.; автор работ, посвященных проблемам методологии литературоведения, творческой истории литературного произведения и т. п. В 1917—1921 годах — профессор Саратовского университета, позднее — профессор Ленинградского и Московского университетов. Член-корр. (1931).

⁸ Имеется в виду публичное выступление Н. К. Пиксанова против Г. А. Гуковского в ходе «антикосмополитической» кампании весной 1949 года. См. подробнее: Марк Азадовский — Юлиан Оксман. Переписка 1944—1954. С. 117. См. также прим. 37 к письму 4.

⁹ Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС) издавало с 1929 по 1934 год иллюстрированный журнал на английском и французском языках. В издании ВОКСа (выпуск под названием «Этнография, археология и фольклор в СССР» на английском и французском языках) была напечатана в 1933 году статья М. К. Азадовского «Изучение фольклора в СССР в 1918—1932 гг.».

¹⁰ Действительно, в статье Азадовского «Ленин в фольклоре» читаем (по поводу эсхатологических народных легенд): «Социальная база этого фольклора совершенно ясна. Этот по преимуществу эсхатологический фольклор выражает, в основном, антиреволюционные настроения кулацких и близких к ним слоев крестьянства, еще не осознавшие своей социальной позиции и шедшего идеологически еще на поводу у контрреволюционных элементов старой деревни» (Памяти В. И. Ленина. (Сб. статей к десятилетию со дня смерти). 1924—1934. Л., 1934. С. 882). То же утверждается и в обзорной статье «Изучение фольклора в СССР в 1918—1932 гг.», опубликованной в журнале ВОКСа (см. примеч. 9).

¹¹ Йиржи Пóливка (1858—1933) — чешский филолог, фольклорист, лингвист, историк литературы. Профессор Карлова университета в Праге.

М. К. Азадовский был заочно знаком с Поливкой и переписывался с ним; ученые регулярно обменивались своими новыми работами. Фрагменты десяти писем Азадовского к Поливке за 1926—1931 годы напечатаны в кн.: Из истории русской фольклористики. Л., 1978. С. 216, 218—226, 228—230, 234. После смерти чешского ученого Азадовский напечатал посвященный ему некролог (*Азадовский М.К. Памяти Ю.И. Поливки (1858—1933)* // Труды Института славяноведения АН СССР. 1934. Т. 2. С. 377—382). Поливка, со своей стороны, не раз откликнулся в печати на труды М. К. Азадовского (см.: Марк Константинович Азадовский. Указатель литературы. Новосибирск, 1983. № 48, 62, 89, 126, 167, 168, 245).

Сообщение о новой народной легенде (рождение черта от крестьянки, муж которой был коммунист) Поливка поместил в журнале «Zeitschrift des Vereins für Volkskunde» (1925. Bd 35. H. 3. S. 48) со ссылкой на статью М. М. Пришвина «Голубиная книга» (Красная новь. 1924. № 2. С. 228—236).

¹² Ср. в письме к В.Ю. Крупянской от 12 мая 1949 года:

«За это время я узнал еще ряд новых, занятных подробностей. Как жаль, что я Вам не сумел тогда показать той французской моей статьи, о которой мы с Вами говорили. Я сейчас, наконец, удосужился разыскать ее. Более гнусной и отвратительной фальшивки, которую сделали из нее Ширяева и Кравчинская, трудно представить. Кравчинская вопияла: он пишет, что были распространены сказания с эсхатологическими мотивами, — а какова сущность этих сказаний?! И т.д. Стало быть, он пропагандирует и выдает под видом народного творчества то и то-то!! А у меня буквально сказано о них следующее: „Не трудно определить социальную среду и социальные условия, вызвавшие к жизни фольклор такого рода. Этот эсхатологический фольклор, в действительности, не что иное, как отражение контрреволюционной стихии; он выражает контрреволюционные тенденции, свойственные кулацким слоям крестьянства“. Кажется, ясно? Другими словами, в данном случае опять повторено то, что до них с успехом выполнил Сидельников: полудитация. Сид(ельников) в цитировал после двоеточия, Кравчинская отсекала вторую фразу, — и вот получилось „вкусное печенье“. Между прочим, это было самое опасное обвинение, выдвинутое против меня, произведшее сильное впечатление даже на лиц, ко мне расположенных, — и Вы видите, что оно состряпано по тому же методу, что и все остальное» (Личный архив К. М. Азадовского).

¹³ Имеется в виду Н. Ф. Бельчиков. Отвечая на эту реплику Марка Константиновича, Н. К. Гудзий замечает в письме от 4 августа 1949 года: «А о Бельчикове и говорить не стоит. Цену ему теперь хорошо знают и ленинградцы» (РГБ. Ф. 542. Карт. 60. Ед. хр. 25. Л. 52 об.).

¹⁴ Имеются в виду «Онежские былины, записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года». Тома второй и третий, составляющие 3-е издание, вышли под редакцией М. К. Азадовского в 1938-м и 1940 годах. Первый том предполагалось выпустить осенью 1941 года, но в условиях блокады издание не состоялось.

После войны началась подготовка 4-го издания; работу возглавлял М. К. Азадовский. 8 января 1949 года том был отправлен в набор, а 5 февраля Издательство Академии наук заключило с М. К. Азадовским договор. Вступительная статья («„Онежские былины“ А. Ф. Гильфердинга») была уже набрана, однако в июле 1949 года решением Ученого совета Института русской литературы снята и заменена другой (см. след. примеч.). Договор был расторгнут; редактором первого тома (как и всех последующих томов 4-го издания) назначена А. М. Астахова. Издание (в трех томах) было осуществлено Пушкинским Домом в 1949—1951 годах.

См. также: Марк Азадовский — Юлиан Оксман. Переписка 1944—1954. С. 136—137.

¹⁵ Василий Григорьевич Базанов (1911—1981) — историк русской литературы, декабрист-вед, фольклорист. В 1965—1975 годах — директор Пушкинского Дома. Автор статьи «А. Ф. Гильфердинг и его „Онежские былины“», написанной для 4-го издания (см. предыдущ. примеч.) взамен изъятой из тома статьи М. К. Азадовского.

¹⁶ Анна Михайловна Астахова (1886—1971) — фольклорист, этнограф. Доктор филологических наук. Научный сотрудник Пушкинского Дома. В 1943—1945 годах заведовала Отделом фольклора; была назначена на эту же должность в 1949 году (после увольнения М.К. Азадовского) и занимала ее до конца 1950 года.

¹⁷ О лицемерной и лживой позиции Бельчикова, его «игре» и двуличии, можно судить по его разговору с Н. К. Гудзием, состоявшемуся 5 июля 1949 года в Москве; содержание этого разговора Гудзий передал на другой день в письме к Марку Константиновичу:

«Вчера разговаривал с Бельчиковым. Он мне сказал, что до него дошли слухи о решении Бюро, но что он затрудняется определить, в какой форме Вам может быть предоставлена работа в И(нститу)те. По его словам, Вы отказались в беседе с ним работать в секторе фольклора, а хотели работать в секторе новой русск(ой) литературы, и вот он пока не может сообразить, какая может быть предоставлена Вам работа в каком секторе. Кроме того, как он мне сказал, он „бится“, как бы возможные недоразумения в новом секторе не отразились вредно на Вашем здоровье. Из его беседы можно было понять, что его больше всего волнует Ваше здоровье. По его словам, при свидании с Вами у Вас был измученный, болезненный вид. Не могу решить, в какой мере со мной разговаривал директор и в какой — человек, действительно желающий Вам помочь. Сами знаете, что в применении к нему тютчевское „мысль изреченная есть ложь“ весьма приложимо.

По поводу Вашей статьи о Гильфердинге он мне сказал, что Вы слишком радикализировали Гильфердинга и что отказались от переработки статьи.

В какой мере все это соотносится с действительности, Вам лучше судить» (РГБ. Ф. 542. Карт. 60. Ед. хр. 25. Л. 51 об.).

Независимо от того, в какой степени Бельчиков говорил правду (нежелание Марка Константиновича возвращаться в Сектор фольклора, отказ от переработки статьи — это, возможно, имело место), нельзя без грустной усмешки — с точки зрения всего, что известно ныне о Н. Ф. Бельчикове, — читать о трогательной его заботе относительно здоровья Азадовского, беспокойстве по поводу его «измученного, болезненного вида» и т. п.

¹⁸ Иван Иванович Мещанинов (1883—1967) — языковед и археолог. Профессор Ленинградского университета, заведующий кафедрой общего языкознания (1934—1943, 1952). Академик (1932). В 1934—1950 годах — академик-секретарь Отделения литературы и языка АН СССР.

¹⁹ См. примеч. 21 к вступит. статье.

²⁰ Летом 1949 года М. К. Азадовский с семьей отдыхал на Рижском взморье в Доме творчества Литфонда Латвийской ССР.

²¹ «Евгений Онегин» (6, IX).

²² Михайлов — работник Министерства высшего образования СССР.

²³ Соломон Абрамович Рейсер (1905—1989) — историк литературы, библиограф, текстолог. Профессор Ленинградского института культуры.

²⁴ Мария Лазаревна Тронская (урожд. Гурфинкель; 1896—1987) — историк немецкой литературы, профессор ЛГУ. Жена филолога-классика И. М. Тронского (наст. фамилия — Троицкий; 1897—1970).

²⁵ Анна Ивановна Перепеч (1902—ок. 1960) — научный сотрудник, в течение ряда лет — секретарь партбюро Пушкинского Дома.

²⁶ Владимир Иванович Чичеров (1907—1957) — фольклорист. Профессор Московского университета. В начале 1950-х годов — член редколлегии журнала «Советская этнография».

²⁷ В перечне опубликованных трудов В. И. Чичерова подобной работы не значится. См.: Померанцева Э. В., Мелетинский Е. М. Памяти Владимира Ивановича Чичерова // Советская этнография. 1957. № 3. С. 393—396 (некролог завершается списком основных печатных работ покойного).

²⁸ Борис Иванович Богомолов — фольклорист; в 1949 году защитил кандидатскую диссертацию «В. Г. Белинский и вопросы народного творчества». Впоследствии — сотрудник МГБ.

²⁹ Татьяна Львовна — жена Н. К. Гудзия.

³⁰ См. примеч. 23 к вступит. статье.

³¹ Имеется в виду А. М. Астахова (см. примеч. 16).

³² Из стихотворения Теофила Готье «Гиппопотам» в переводе Н. С. Гумилева (1911).

³³ Н. Ф. Бельчиков входил в редколлегию «Известий ОЛЯ» и был заместителем главного редактора в журнале «Советская книга».

³⁴ Слова псалма. В современном переводе: «Куда пойду от Духа Твоего, / и от лица Твоего куда убежу? / Взойду ли на небо — Ты там; / сойду ли в преисподнюю — и там Ты» (Псалтирь. 139 (138). 7—8).

³⁵ Игорь Петрович Лапицкий (1920—?) — доцент кафедры истории русской литературы. Главный «обличитель» М. К. Азадовского в 1949 году. См. о нем: Марк Азадовский — Юлиан Оксман. Переписка 1944—1954. С. 20—21.

³⁶ Александр Сергеевич Орлов (1871—1947) — литературовед. С 1931 года — заместитель директора Пушкинского Дома, в котором возглавлял Сектор древнерусской литературы, созданный им в 1933 году.

Упоминается монография А. С. Орлова «Древняя русская литература XI—XVI вв.» (1937; переизд.: 1939, 1945).

³⁷ См. примеч. 8. Впрочем, поскольку Марк Константинович пишет об «очередной выходке», имеется в виду, скорее всего, какое-то иное событие. Во всяком случае, Н. К. Гудзий не понял этого пассажа. «О какой очередной выходке Ник(олая) Кириак(овича) идет речь в Вашем письме? — спрашивает он Азадовского 10 ноября 1949 года. — Ни я, ни мои знакомые москвичи о ней ничего не знают. Кого еще он разоблачил? Очень интересно мне это знать» (РГБ. Ф. 542. Карт. 60. Ед. хр. 25. Л. 55). Видимо, получив разъяснение, Н. К. Гудзий пишет в следующем письме (от 5 декабря 1949 года): «Не понимаю, зачем Ник(олай) Кириак(ович) так невыгодно для себя ведет себя подчас» (Там же. Л. 56).

³⁸ Ирина Николаевна Медведева (урожд. Блинова; 1903—1973) — литературовед, специалист в области русской литературы начала XIX века (Баратынский, Гнедич, Грибоедов и др.). Автор нашумевшей книги «Стремя „Тихого Дона“», анонимно (под криптонимом Д*) изданной в Париже в 1974 году. Жена Б. В. Томашевского.

²⁷ октября 1949 года И. Н. Медведева успешно защитила в Ленинградском университете кандидатскую диссертацию на тему «Н. Гнедич в общественной и литературной борьбе первой четверти XIX в.».

³⁹ Б. В. Томашевский.

⁴⁰ Георгий Петрович Бердников (1915—1996) — литературовед, автор работ о Чехове. В 1949—1953 годах — декан филологического факультета ЛГУ, организатор погромных работ. Член-корр. (1974). В 1977—1988 годах возглавлял Институт мировой литературы.

⁴¹ Игорь Петрович Еремин (1904—1963) — исследователь древнерусской литературы. Профессор ЛГУ. В 1951—1963 годах возглавлял кафедру истории русской литературы.

⁴² В 1950—1953 годах семья Азадовских каждое лето жила на даче в пос. Сиверская Ленинградской обл.

⁴³ В июне—июле 1950 года М. К. Азадовский находился в Москве, занимаясь устройством своих научно-литературных дел.

⁴⁴ Петр Григорьевич Богатырев (1893—1971) — фольклорист, этнограф, переводчик. С 1943 года — заведующий Сектором фольклора Института этнографии АН СССР. В конце 1940-х—начале 1950-х годов подвергнут травле, изгнан из МГУ и Академии наук. В 1952—1959 годах преподавал в Воронежском университете. С конца 1950-х годов — научный сотрудник ИМЛИ, с 1964 года — профессор МГУ.

⁴⁵ Иван Васильевич Сергиевский (1904—1954) — историк литературы, пушкинист, автор работ о русских писателях XIX века. В 1946—1949 годах работал в аппарате ЦК КПСС. Многолетний член редколлегии «Литературного наследства».

В июле 1949 года Гудзий беседовал с Сергиевским по поводу судьбы Марка Константиновича. «Три дня назад говорил с Сергиевским, — сообщил он М. К. Азадовскому в письме от 6 июля 1949 года. — Он подтвердил мне, что Отделение высказалось за возвращение Вас в Институт, но что Бельчиков мог этого не знать, т. к. на заседании Бюро Отделения он не присутствовал. По-прежнему Сергиевский настроен к Вам благожелательно» (РГБ. Ф. 542. Карт. 60. Ед. хр. 25. Л. 51).

⁴⁶ А. М. Еголин был в то время членом редколлегии «Известий ОЛЯ»; И. В. Сергиевский — секретарем журнала.

⁴⁷ Речь идет о статье «Народная песня в концепциях русских революционных просветителей 40-х годов» (Известия ОЛЯ. 1950. Т. IX. Вып. 6. С. 455—475).

⁴⁸ Черных Павел Яковлевич (1896—1970) — историк языка, диалектолог; в 1928—1933 годах — профессор Иркутского университета. Академик (1958). В 1954—1961 годах — профессор МГУ. В начале 1950-х годов — главный редактор «Известий АН СССР. Отделение языка и литературы» (в 1954 году издание возглавил Д. Д. Благой).

⁴⁹ М. К. Азадовский действительно был дружен с В. К. Арсеньевым (1872—1930); их знакомство состоялось в Хабаровске в 1913 году. В письме к В. Ю. Крупнянской от 12 мая 1949 года Азадовский рассказывал:

«Вчера я получил чудесную посылку из Владивостока: все шесть томов сочинений В. К. Арсеньева, выпущенных в 1948—49 гг. Примориздатом. Мне было страшно приятно перелистывать эти томики, вспоминая давно читанное и кое-что читая совершенно впервые. Приятно было в напечатанном письме к В. К. (Лавдиевичу) Штернберга прочесть „поклон г. Азадовскому“. Было это ровно 35 лет тому назад. Вы, ведь, знаете, что мы с В. К. Арсеньевым были большими друзьями.

Но эти томики возбудили во мне и новый прилив бодрости и энергии. Я не мог не вспомнить, как в середине (или в конце?) 20-х годов В. (Лавмир) К. (Лавдиевич) был одно время совершенно затравлен: его сняли со всех мест, обвинили в продаже коллекций за границу и т. д., — вплоть до обвинения в шпионаже. Правда, не только он сам энергично боролся за восстановление своей чести и своего доброго имени, но за него встал горой целый ряд друзей (посильную лепту внес и я из Иркутска) — мне же в полной мере предстоит вести борьбу в одиночку, при попустительском молчании тех, от кого бы я вправе был потребовать поддержки. А немногие подлинно дружеские голоса и дружеские сердца, чьим вниманием и лаской я горжусь, бессильны что-либо сделать, — да я и боялся бы риска нечаянно собой принести им вред. Все это так, но все же арсеньевский пример для меня поучителен и ободряющ» (Личный архив К. М. Азадовского).

Письма В. К. Арсеньева к Азадовскому опубликованы в кн.: Лит. наследство Сибири. Т. 1. Новосибирск, 1969. С. 182—186 (публ. Л. В. Азадовского).

⁵⁰ В 1950 году М. К. Азадовский задумал составить сборник газетных статей В. К. Арсеньева 1908—1909 годов (вариант книги о путешествии 1909 года). Книга была предложена Географгизу, позднее, в 1951 году, — иркутскому Облиздату (работа осуществлена в первой половине 1952 года). Однако в задуманном виде книгу издать не удалось. Позднее, уже после смерти ученого, были осуществлены на основании написанной им статьи следующие издания: *Азадовский М. К.* В. К. Арсеньев — путешественник и писатель. Опыт характеристики. Чита, 1955 (то же в сокращенном виде — М., 1956). См. также: *Арсеньев В. К.* Жизнь и приключения в тайге. М., 1957 (вступит. статья и примеч. к отдельным письмам — М. К. Азадовского).

О замысле книги см. письмо М. К. Азадовского к Г. Ф. Кунгурову от 14 января 1951 года (Лит. наследство Сибири. Т. 8. Новосибирск, 1988. С. 286—288; публ. Н. Н. Яновского).

⁵¹ Рецензия (на сочинения В. К. Арсеньева, изданные во Владивостоке и Хабаровске) была опубликована в № 2 «Советской книги» за 1951 год (С. 46—50).

⁵² Имеется в виду Комиссия Академии наук по изданию научно-популярной литературы, председателем которой был академик С. И. Вавилов (1891—1951), тогдашний президент Ака-

демии наук СССР. На заседании Комиссии от 14 апреля 1947 года было принято решение об издании Академией наук СССР «классических памятников мировой культуры» — серии, получившей название «Литературные памятники» (см. подробнее: Литературные памятники. 1948—1998. Аннотированный каталог / Издание подготовили Т. Г. Анохина, М. Л. Гаспаров, А. Л. Гришунин, А. Д. Михайлов, И. Г. Птушкина. М., 1998. С. 9—11).

⁵³ Воспоминания Бестужевых / Ред., статья и комментарий М.К. Азадовского. М., 1951 (серия «Литературные памятники»). 2-е изд. — СПб., 2005.

⁵⁴ Имеется в виду заметка в первом томе Большой советской энциклопедии (М., (1950). С. 431), посвященная М. К. Азадовскому. Последняя фраза этой заметки имеет следующий вид: «В исследованиях А., особенно таких, как „Источники сказок Пушкина“ (в кн.: «Литература и фольклор», 1938) и „А. Н. Веселовский как исследователь фольклора“ (1938), сказалось влияние порочного историко-сравнительного метода Веселовского с его идеализмом и реакционным космополитизмом».

⁵⁵ Видимо, еще в конце 1949 года М.К. Азадовский просил Гудзия разузнать о готовящейся в БСЭ заметке, ему посвященной. 28 декабря 1949 года Николай Каллиникович отвечал ему:

«Я состою редактором-консультантом в БСЭ по литературе, но далеко не все проходит через мои руки, в частности, до моего сведения не была доведена и заметка о Вас, но, получив Ваше письмо, я тотчас позвонил штатному редактору по отделу литературы Денисовой, и она сообщила мне, что вначале, действительно, были какие-то колебания относительно того, вводить или не вводить Вашу фамилию в БСЭ и как ее вводить, но С. И. Вавилов распорядился о том, чтобы вводить, притом прилично.

Судя по словам Денисовой, о Вас сказано, что Вы являетесь крупнейшим советским фольклористом, и только в конце отмечено Ваше положительное отношение к Веселовскому. Меня уверили, что заметка ни в коей степени не дискредитирует Вас. Считаю поэтому, что все обошлось благополучно» (РГБ. Ф. 542. Карт. 60. Ед. хр. 25. Л. 57—58).

⁵⁶ Лидия Абрамовна Лебедева (1910—1968) — литературовед. В декабре 1948 года защитила в Иркутском университете диссертацию на тему «Литературная деятельность декабриста Н. А. Бестужева». См. также след. письмо.

⁵⁷ Мария Анатольевна Шнеерсон (род. в 1915 году) — фольклорист, критик. Ученица М. К. Азадовского. В 1948 году защитила в ЛГУ кандидатскую диссертацию «Фольклор в творчестве Пушкина» (не утвержденную ВАК — очевидно, по антисемитским мотивам); вторично защитила диссертацию в 1954 году на тему «Фольклор в творчестве А. М. Горького 1892—1917». В 1978 году эмигрировала в США, жила в штате Нью-Джерси; печаталась в журналах «Посев», «Грани», газетах «Русская мысль», «Новое русское слово», еженедельнике «Новый американец»; выпустила в издательстве «Посев» книгу о Солженицине. В 1981 году опубликовала в журнале «Грани» (№ 122) статью, посвященную памяти Г. А. Гуковского. «Я ведь была на этом совете нечестивых и по сей день помню все, вплоть до мелочей» (из письма к М. К. Азадовскому от 16 мая 1991 года; имеется в виду заседание Ученого совета филологического факультета ЛГУ 4 апреля 1949 года). См. о ней: *Мирич А. Мария Шнеерсон // Евреи в культуре Русского Зарубежья. Т. 5. Иерусалим, 1996. С. 122—131.*

О судьбе диссертаций Л. А. Лебедевой и М.А. Шнеерсон Азадовский запрашивал Гудзия еще в конце 1949 года. Первый ответ Николая Каллиниковича был успокоительный: «В мое присутствие на заседаниях Экспертной комиссии не фигурировала больше Шнеерсон и совсем не фигурировала Лебедева. Вообще же случаи отмены степени очень редки, и я не думаю, чтобы Вашим ученицам могла угрожать такая участь» (РГБ. Ф. 542. Карт. 60. Ед. хр. 25. Л. 56). Однако в следующем письме (от 28 декабря 1949 года) Гудзий сообщает Азадовскому, что дело Шнеерсон окончилось «не благополучно». Ссылаясь на слова одного из коллег, Гудзий так формулирует причину отклонения ее диссертации: «Смущает апология в диссертации поверженных авторитетов». «Сам ничего сказать не могу, — добавляет Гудзий, — т(ак) к(ак) диссертации не видел. Очень все это грустно!» (Там же. Л. 58).

⁵⁸ Имеется в виду еврейское происхождение обеих диссертанток.

⁵⁹ Т. е. с Н. Ф. Бельчиковым.

⁶⁰ В будущем (букв. в надежде, в расчете на что-либо) (*лат.*).

⁶¹ Пелагея Григорьевна Шляева (1903—1986) — сотрудница Сектора фольклора Пушкинского Дома с 1939-го по 1959 год (М. К. Азадовский активно способствовал ее трудоустройству).

⁶² Вера Александровна Кравчинская (1885—1957) — сотрудница Сектора фольклора Пушкинского Дома с 1938-го по 1942-й год и с 1945-го по 1954 год.

⁶³ Алексей Сергеевич Бушмин (1910—1983) — литературовед. Автор работ о сатире Салтыкова-Щедрина, творчестве Фадеева, методологии литературной науки и т. д. В 1955—1965 и 1977—1983 годах — директор Пушкинского Дома, где возглавлял также Сектор советской литературы (1950—1952) и Сектор теоретических исследований (1969—1981). Академик (1979).

⁶⁴ Ковалев Валентин Архипович (1911—1999) — историк литературы. Научный сотрудник Пушкинского Дома. С 1952 по 1984 год возглавлял Сектор советской литературы.

⁶⁵ Все прочие (*итал.*).

66 В 1942 году М. К. Азадовскому, эвакуированному из блокадного Ленинграда, предлагалась должность профессора в Московском университете. В интересах больной жены и шестимесячного ребенка Марк Константинович предпочел Иркутск, где жила его мать.

67 П. Г. Богатырев.

68 Э. В. Померанцева.

69 Сергей Иванович Василенок — фольклорист, составитель хрестоматий, программ и «тематических планов» по русскому народному творчеству. Активно участвовал в травле П. Г. Богатырева.

70 Виктор Михайлович Сидельников (1906—1982) — фольклорист. Автор статьи «Против извращения и низкопоклонства в советской фольклористике» (Литературная газета. 1947. № 26. 29 июня. С. 3), направленной против А. А. Ахматовой и М. К. Азадовского. Подробнее см. вступит. заметку.

71 См.: Устное поэтическое творчество русского народа. Хрестоматия / Составили С. И. Василенок и В. М. Сидельников. Ред. А. В. Кокорев и Н. И. Либан. М., 1954 (Издательство Московского университета).

72 Имеется в виду Иван Никанорович Розанов (1874—1959), исследователь русской литературы, книговед, библиофил, создатель уникальной библиотеки русской поэзии. Профессор МГУ с 1918 года. В 1941—1959 годах возглавлял Секцию фольклора в Союзе писателей СССР.

73 Варвара Павловна Адрианова-Перетц (1888—1972) — историк древнерусской литературы. С 1934 года — научный сотрудник Пушкинского Дома. В 1947—1954 годах возглавляла Сектор древнерусской литературы. Член-корр. (1943).

74 Михаил Осипович Скрипиль (1892—1957) — исследователь фольклора и древнерусской литературы. Профессор ЛГУ. В 1954—1957 годах — заведующий Сектором фольклора Пушкинского Дома.

75 Замысел коллективной монографии «Русский фольклор» принадлежит М. К. Азадовскому и восходит к середине 1930-х годов. «Перспектив, разработанный М. К. Азадовским, Н. П. Андреевым и Ю. М. Соколовым, прошел неоднократные обсуждения, а в 1939 г. даже начал воплощаться в жизнь, но наступившая война прекратила эти работы...» (Баскаков В. Пушкинский Дом 1905—1930—1980. (Исторический очерк). Л., 1980. С. 221). В 1950 году В. П. Адрианова-Перетц изменила первоначальный замысел: вместо первого и второго томов «Русского фольклора» были изданы два тома под заглавием «Русское народное поэтическое творчество» (1 т. — 1953; 2 т. — 1955); вместо третьего тома «Русского фольклора» — сборник «Очерки русского народнопоэтического творчества советской эпохи» (М.; Л., 1952). Проект, предложенный В. П. Адриановой-Перетц, предполагал иной подход к фольклору, чем тот, что был разработан в 1930-е годы (см. об этом: Баскаков В. Указ. соч. С. 221).

Первый том ежегодника «Русский фольклор» (продолжается поныне) вышел в 1956 году.

76 Со второй половины 1930-х годов А. М. Астахова специализировалась на изучении русских былин. Подготовленный ею цикл былин об Илье Муромце был издан в 1958 году в серии «Литературные памятники» (см.: Илья Муромец / Подготовка текстов, статья и комментарий А. М. Астаховой. Ответственный редактор Д. С. Лихачев. М.; Л., 1958).

77 Ср. в письме к В. Ю. Крупянской от 7 ноября 1951 года: «Более жалкое зрелище, чем то, в каком находится сейчас наша наука, трудно представить... Литературоведение в целом, и в частности история литературы, — находится во много раз в более благоприятных обстоятельствах. И в этой области появляются значительные труды: пусть иногда скучные, пусть порой не вполне честные, — но все же труды, книги, какие-то шаги вперед, вносящие что-то в развитие науки... А у нас: или топтание на одном месте, или...» (Личный архив К. М. Азадовского).

Н. К. Гудзий вполне разделял пессимистический взгляд и суждения Азадовского. «Не знаю, — писал он ему 6 мая 1950 года, — когда наступит просвет и оздоровление в фольклорной науке. Можно ли придумать больше надругательство над наукой, чем программа по фольклору, составленная Василенком и Сидельниковым, на которой красуется штамп филологич(еского) ф(акультета) МГУ? А вот послушали бы Вы, как я слушал, обсуждение хрестоматии по фольклору, составленной теми же авторами. Ругали их почти все, в том числе и я (но не Ив(ан) Н. Розанов), и тем не менее председательствовавший Н. А. Глаголев, подводя итоги прениям, благословил на сдачу в производство этого дилетантского издания.

Я говорил о том, что не мыслю по возможности исторического построения фольклорного материала не в пределах жанров. Иначе как хронологизировать пословицы, поговорки, сказки да и немалое количество песен? Ваш Пушкинский Дом также безоглядно пытается историзировать фольклор во что бы то ни стало, и Варв(ара) Павл(овна) даже рассердилась на меня за то, что я рассуждаю консервативно. Посмотрим, что выйдет у них из этой затеи» (РГБ. Ф. 542. Карт. 60. Ед. хр. 25. Л. 59 об.). Глаголев Николай Александрович (1896—1984) — литературовед, автор работ по истории рус. критики; профессор Московского университета. О «Хрестоматии» см. примеч. 71.

78 По-видимому, Ирина Петровна Лупанова (1921—2003), литературовед и фольклористка, защитившая в 1950 году в ЛГУ диссертацию на тему «Русская бытовая сказка». С 1951-го по 1980 год преподавала в Петрозаводском гос. университете им. О. В. Куусинена.

⁷⁹ Вероятно, имеется в виду Ольга Николаевна Гречина (род. в 1922 году), защитившая в мае 1952 года кандидатскую диссертацию на тему «Партизанские песни Великой Отечественной войны» и работавшая впоследствии на кафедре советской литературы ЛГУ.

«С грустью думаю о совершенно изничтоженной науке, с которой я был связан и которой вот так и не удастся подняться на ноги, — писал Марк Константинович Гудзию 18 июня 1952 года. — А новые работы, особенно диссертационные... — Вот в мае прошла совершенно позорная диссертация в ЛГУ — Гречиной (увы! моя бывшая ученица) о партизанских песнях. А сколько их еще будет!» (РГБ. Ф. 542. Карт. 88. Ед. хр. 9. Л. 45).

⁸⁰ Владимир Яковлевич Пропп (1895—1970) — фольклорист. Профессор ЛГУ. В 1963—1964 годах — заведующий кафедрой истории русской литературы ЛГУ.

⁸¹ Имеется в виду: Программа по русскому фольклору. (Для филологических факультетов государственных университетов). Автор С. И. Василенок. Ред. В. М. Сидельников. М., 1949.

⁸² Ирина Михайловна Колесническая (1917—1994) — фольклорист. Доцент кафедры истории русской литературы ЛГУ.

⁸³ Марк Константинович имеет в виду свое собрание русской живописи начала XX века.

⁸⁴ Виктор Владимирович Виноградов (1895—1969) — языковед и филолог-славист. Профессор ЛГУ, затем — МГУ. Академик (1946). В 1950—1963 годах — академик-секретарь Отделения литературы и языка. С 1950 года возглавлял Институт языкознания.

⁸⁵ Сергей Федорович Баранов (1895—1971) — литературовед. Профессор Иркутского университета. С весны 1950 года — депутат Верховного Совета СССР от Иркутской области.

В июне 1950 года М. К. Азадовский, встретившись с С. Ф. Барановым в Москве, просил его о содействии в реабилитации своего научного и гражданского имени. С. Ф. Баранов согласился. Марк Константинович составил подробное письмо на его имя — с изложением всех обстоятельств истории 1949 года (см.: Письмо М. К. Азадовского С. Ф. Баранову / Публ. К. М. Азадовского // Воспоминания о М. К. Азадовском. Иркутск, 1996. С. 196—206). К письму были приложены отзывы о научной деятельности М. К. Азадовского, написанные П. Г. Богатыревым, В. В. Виноградовым и Ф. П. Филиным, — все авторы подчеркивали вред, нанесенный советской науке отстранением Азадовского от преподавательской и научной работы (см.: К биографии М. К. Азадовского / Публ. И. З. Ярневского // Из истории русской фольклористики. СПб., 1998. С. 271—275). Эти материалы, вместе с собственным заявлением, С. Ф. Баранов направил члену Политбюро и секретарю ЦК ВКП (б) Г. С. Маленкову (об этом упоминается в письме М. К. Азадовского к Л. В. Азадовской от 22 июня 1950 года — Личный архив К. М. Азадовского). Официальный ответ из ЦК не известен, однако нет сомнений: обращение С. Ф. Баранова в ЦК ВКП (б) в значительной мере разрядило обстановку вокруг Азадовского.

⁸⁶ Владимир Семенович Кружков (1905—1991) — философ. В 1944—1949 годах — директор Института Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП (б). С мая 1949 года — первый заместитель заведующего Агитпропом ЦК; с декабря 1950 года — заведующий Отделом художественной литературы и искусства ЦК ВКП (б). Член-корр. (1953).

⁸⁷ Имеется в виду анонимная заметка под названием «Мнимое благодушие. О работе Пушкинского Дома Академии наук СССР» (Литературная газета. 1950. № 70. 7 сентября. С. 3), в которой работа Института русской литературы и его директора была подвергнута резкой критике. «За последние полтора года, — говорилось в этой заметке, — в Институте не было защищено ни одной диссертации — ни докторской, ни кандидатской. (...) сам руководитель Пушкинского Дома проф. Н. Бельчиков за последние годы не выпустил ни одного серьезного научного исследования. Отвечает ли научная деятельность Института русской литературы требованиям, которые предъявляются сегодня советскому литературоведению? В очень слабой степени».

⁸⁸ Прозвище Н. Ф. Бельчикова, закончившего в свое время духовную семинарию.

⁸⁹ См. примеч. 56.

ДВА ОТЗЫВА О НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М. К. АЗАДОВСКОГО

(ПУБЛИКАЦИЯ © Т. Г. ИВАНОВОЙ)

Предметом настоящей публикации являются два официальных отзыва о научной деятельности известного фольклориста Марка Константиновича Азадовского (1888—1954), на протяжении 1920-х—середины 1950-х годов бывшего одной из ключевых фигур отечественной науки о «живой старине». Оба отзыва, хранящиеся в личном деле ученого, вышли из стен Пушкинского Дома, где М. К. Азадовский в течение многих лет руководил Отделом фольклора, и относятся ко второй половине 1940-х годов.

Первый документ, не датированный, с полной уверенностью можно отнести к июню 1946 года. В это время Институт литературы (напомним, что таково название Пушкинского Дома в данный период) готовил в Президиум Академии наук представление на М. К. Азадовского в связи с его выдвижением на звание члена-корреспондента Академии. Представление датировано 12 июня 1946 года.¹ В документе говорится, что кандидатура фольклориста «обсуждена и единогласно утверждена Ученым Советом». Публикуемый ниже отзыв о научной работе, естественно, полностью положителен — отдает должное научному авторитету ученого, внесшего весомый вклад в развитие отечественной фольклористики.

Второй отзыв о научной деятельности М. К. Азадовского также не датирован, и носит он прямо противоположный характер. Все труды М. К. Азадовского, оценивавшиеся исключительно положительно в первом отзыве, здесь подвергаются идеологическому клеймению. Этот отзыв, мы полагаем, был составлен в первой половине 1949 года в связи с увольнением ученого из Пушкинского Дома вследствие развернувшейся печально памятной «антикомпаративистской» кампании, искоркавшей жизнь многим отечественным ученым-гуманитариям.

Сигнал к развязыванию «борьбы с космополитизмом» был подан докладом «Советская литература после постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года о журналах „Звезда“ и „Ленинград“» А. А. Фадеева, прозвучавшим на XI пленуме правления Союза писателей. 29 июня 1947 года доклад был опубликован в «Литературной газете». Критикуя книгу И. М. Нусинова «Пушкин и мировая литература» (1941), в которой говорилось о влиянии на творчество поэта восточной и западноевропейской культур, глава Союза писателей задался вопросом, кто является родоначальником тех идей, которые лежат в основе данной монографии. «Их родоначальник — Александр Веселовский, основатель целой литературной школы в России, последователи которой и до сих пор подвизаются в наших университетах, — утверждал А. А. Фадеев. — Я бы сказал, что школа Александра Веселовского, выкристаллизовавшаяся в конце прошлого и начале нынешнего века (он начал писать в начале шестидесятых годов) — это та школа, которая противостоит великой русской революционно-демократической школе Белинского, Чернышевского, Добролюбова. Она является главной прародительницей низкопоклонства перед Западом известной части русского литературоведения в прошлом и настоящем».²

Формула идеологических обвинений была произнесена («низкопоклонство перед Западом»), имя родоначальника «криминальных» идей названо (А. Н. Веселовский, от чьей фамилии была образована оскорбительная лексема «веселовщина»), оставалось только выявить круг современных ученых, чьи труды должны были стать предметом специальных нападок. Одно из имен А. А. Фадеев, кстати, назвал в своем докладе: это был В. Ф. Шишмарев — ученик А. Н. Веселовского, автор только что вышедшей книги «Александр Веселовский и русская литература» (Л., 1946). В том же номере «Литературной газеты», в котором был опубликован доклад А. А. Фадеева, была напечатана статья В. М. Сидельникова «Против извращения и низкопоклонства в советской фольклористике». Наряду с Анной Ахматовой, выявившей западноевропейские источники пушкинской «Сказки о золотом петушке», к исследователям, «низкопоклонствующим перед Западом», В. М. Сидельников причислил и М. К. Азадовского: «Лженаучную, в корне порочную „теорию“ Ахматовой повторял на все лады ленинградский фольклорист М. Азадовский. Он возвел и другие сказки Пушкина к иностранным источникам, в частности немец-

¹ Петербургский филиал Архива Российской Академии наук. Ф. 150. Оп. 2. № 649. Л. 6. Далее: ПФА РАН.

² Фадеев А. А. Советская литература после постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград» // Литературная газета. 1947. 29 июня. № 26. С. 1.

ким».³ Так был сформулирован первый пункт обвинений против М. К. Азадовского: объектом поругания стали блестящие статьи ученого об источниках сказок Пушкина, написанные в 1930-е годы.

В декабрьском номере журнала «Октябрь» была опубликована подборка статей, в которых обсуждалось научное наследие А. Н. Веселовского. В. Ф. Шишмарев, В. Шкловский, Н. Глаголев пытались защитить имя великого русского филолога.⁴ Совместная статья И. Дмитракова и М. Кузнецова, напротив, уличала его в «низкопоклонстве».⁵ Помимо предшественников, повинных в названном «грехе» (О. Сенковский, В. Стасов, Алексей и Александр Веселовские), объектом нападок здесь становится и В. Я. Пропп с его книгой «Исторические корни волшебной сказки» (Л., 1946). Выполнение идеологического заказа властей было подхвачено в статье В. Кирпотина.⁶ Основным объектом его критики стали ученые, которые когда-либо писали (естественно, положительно) о А. Н. Веселовском: В. Ф. Шишмарев, В. Шкловский, В. М. Жирмунский. В этом контексте В. Кирпотин называл и имя М. К. Азадовского, который в своих работах 1930-х годов о А. Н. Веселовском доказывал, что корифей русской филологии сформировался как ученый под влиянием передовых идей 1860-х годов, т. е. идей Н. А. Добролюбова и Н. Г. Чернышевского. Статьи М. К. Азадовского об А. Н. Веселовском позволили рьяным «борцам» с «космополитами» выдвинуть против выдающегося фольклориста второй пункт обвинений.

В течение 1948 года идеологи от науки обозначили круг филологов, намеченных в качестве жертв очередной политической кампании. Это уже не только В. Ф. Шишмарев и В. М. Жирмунский, но также М. П. Алексеев, И. П. Еремин, Б. В. Томашевский, Б. М. Эйхенбаум, А. С. Долинин и др. Из фольклористов и этнографов особым нападкам подверглись В. Я. Пропп,⁷ П. Г. Богатырев и М. К. Азадовский. В феврале в Москве в Институте этнографии АН СССР были организованы «дискуссии», на которых оголтелой критике были подвергнуты «порочные» методы этих ученых. Главными объектами разоблачения в Институте этнографии стали отмеченные «низкопоклонством перед Западом» труды П. Г. Богатырева (руководителя Сектора фольклора в московской части Института этнографии) и В. Я. Проппа (его книга «Исторические корни волшебной сказки» оказалась удобной мишенью для новой идеологической кампании). Однако в опасном контексте в Москве упоминалось и имя М. К. Азадовского. В. И. Чичеров в своем выступлении подчеркивал: «Говоря о Веселовском, нужно прежде всего выяснить, в каком отношении он стоял к передовым течениям русской общественной мысли своего времени, был ли он действительно предшественником революционного марксизма, как это хотели представить акад. Шишмарев, чл.-корр. В. М. Жирмунский, проф. М. К. Азадовский и некоторые другие ученые. На этот вопрос нужно со всей решительностью ответить отрицательно. Веселовский, как это уже убедительно доказано в ряде последних выступлений (в Академии общественных наук и других учреждениях), был всегда далек от революционных демократов».⁸ Таким образом,

³ Сидельников В. М. Против извращения и низкопоклонства в советской фольклористике // Там же. С. 3.

⁴ Шишмарев В. Ф. Александр Веселовский и его критика // Октябрь. 1947. № 12. С. 158—164; Шкловский В. Александр Веселовский — историк и теоретик // Там же. С. 174—182; Глаголев Н. К. вопросу о концепции А. Н. Веселовского // Там же. С. 182—186.

⁵ Дмитраков И., Кузнецов М. Александр Веселовский и его последователи // Там же. С. 165—174.

⁶ Кирпотин В. О низкопоклонстве перед капиталистическим западом, об Александре Веселовском, о его последователях и о самом главном // Октябрь. 1948. № 1. С. 3—27.

⁷ Кузнецов М., Дмитраков И. Против буржуазных традиций в фольклористике (О книге проф. В. Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки») // Советская этнография. 1948. № 2. С. 230—239; Тарасенков А. Космополиты от литературоведения // Новый мир. 1948. № 12. С. 124—137.

⁸ Соколова В. К. Дискуссии по вопросам фольклористики на заседаниях Сектора фольклора Института этнографии // Советская этнография. 1948. № 3. С. 43—44.

главный тезис, который лежал в основе статей М. К. Азадовского о А. Н. Веселовском,⁹ — научные труды А. Н. Веселовского есть порождение молодой демократической филологии 1860-х годов — был подвергнут идеологическому опровержению, за которым неизбежно должны были последовать опасные для автора выводы.

28 февраля в Институте этнографии прошло заседание Ученого совета, посвященное критическому обсуждению теоретических положений А. Н. Веселовского. С. П. Толстов, директор Института, в своем длинном выступлении коснулся и трудов М. К. Азадовского: «До сих пор в нашей фольклористике остаются нераскритикованными некоторые работы проф. М. К. Азадовского, например, его работы об восточниках сказок А. С. Пушкина, где совершенно в духе тенденций, которые развивались в литературоведении в начале 30-х годов, все фольклорное наследство Пушкина в области сказки сводится к сборнику Гриммов и к другим книгам зарубежных авторов».¹⁰

Это обвинение было подхвачено М. М. Кузнецовым: «М. К. Азадовский, вслед за А. Ахматовой, говорит, что источником знаменитой пушкинской сказки о золотом петушке послужил рассказ Ирвинга (...) Общность сказок Пушкина и Ирвинга можно обнаружить, однако, только при условии выхолащивания из них идейного содержания, при создании абстрактной схемы сюжета, т. е. встав на путь идеалистического формализма. Метод указания таких аналогий, какой находим в данной работе М. К. Азадовского, почти совершенно не раскритикован фольклористами».¹¹

Тезис о «низкопоклонстве» М. К. Азадовского перед Западом, аргументированный тем, что он указал на немецкие источники литературных сказок А. С. Пушкина, нашел развитие и в Ленинградском университете, где М. К. Азадовский возглавлял кафедру фольклора. 1 апреля 1948 года на Ученом совете филологического факультета заведующий секцией (позднее — кафедрой) советской литературы А. Г. Дементьев выступил с докладом «За большевистскую партийность в литературоведении», ориентированным на «программную» статью «Против буржуазного либерализма в литературоведении», опубликованную в газете «Культура и жизнь».¹² Доклад А. Г. Дементьева был напечатан в «Вестнике Ленинградского университета». Там провозглашалось: «Защитником и продолжателем Веселовского является и М. К. Азадовский. Именно ему принадлежит сомнительное „открытие“ немецких источников сказок Пушкина, по поводу которых не надо быть ученым, чтобы сказать, что „здесь русский дух, здесь Русью пахнет”».¹³ Через несколько дней после заседания Ученого совета на филологическом факультете прошло партийное собрание, где основным докладчиком выступил тот же А. Г. Дементьев, заклеивший ученых, которые создали «культ Веселовского».¹⁴

Логика критики истинных ученых лежала вне науки. Они оказались заложниками своего времени. Об уровне «научности» критики сталинской эпохи О. М. Фрей-

⁹ См.: *Азадовский М. К.* А. Н. Веселовский как исследователь фольклора // Изв. АН СССР. Отделение обществ. наук. 1938. № 4. С. 85—120; *Азадовский М. К.* Литературное наследство академика Веселовского (К 100-летию со дня рождения) // Резец. 1938. № 6. С. 23—24.

¹⁰ *Чичеров В. И.* Обсуждение на заседаниях Ученого Совета Института этнографии основных недостатков и задач работы советской фольклористики // Советская этнография. 1948. № 3. С. 148—149.

¹¹ Там же. С. 154.

¹² Против буржуазного либерализма в литературоведении (По поводу дискуссии об А. Веселовском) // Культура и жизнь. 1948. 11 марта. № 7.

¹³ *Дементьев А. Г.* За большевистскую партийность в литературоведении // Вестник Ленинградского университета. 1948. № 4. С. 85.

¹⁴ См. подробнее: *Азадовский К. М., Егоров Б. Ф.* 1) О низкопоклонстве и космополитизме: 1948—1949 // Звезда. 1989. № 6. С. 157—176; 2) «Космополиты» // Новое литературное обозрение. 1999. № 36. С. 83—135.

денберг однажды заметила: «...у нас логика вставляется в мозги в механизированном виде, и зависит не от объекта суждения, а от рук вставляющих».¹⁵ В данном случае «руки вставляющих» указали объект идеологического порицания, и научное сообщество искренне или подневольно принялось искать заранее определенные власть имущими «грехи» в трудах М. К. Азадовского.

Мрачным фоном кампании «борьбы с космополитизмом», которая все явственнее стала приобретать антиеврейский характер,¹⁶ очень скоро стало разворачивающееся «Ленинградское дело», направленное против партийной верхушки Ленинграда. В 1949 году поход против «космополитов» уже не мог ограничиться исключительно «критикой», устной или письменной, — требовались оргвыводы. И они не заставили себя ждать.

Судьба М. К. Азадовского была predeterminedena. В начале 1949 года он еще продолжал оставаться во главе Отдела фольклора Пушкинского Дома.¹⁷ В его индивидуальном плане на этот год значились работа над книгой «Фольклор в русской литературе» (ученый хотел переиздать некоторые из своих статей по данной проблематике) и подготовка 9-го выпуска сборника «Советский фольклор».

Сохранившиеся протоколы заседаний Отдела свидетельствуют, что на заседаниях 3, 10, 12 января и 21 февраля председательствовал еще М. К. Азадовский. 9 марта его заменила А. М. Астахова:¹⁸ глава Отдела фольклора был болен. 27 марта 1949 года дирекция Пушкинского Дома, в отсутствие М. К. Азадовского, обязала Отдел фольклора провести заседание, посвященное обсуждению работы М. К. Азадовского.¹⁹ Заседание вела А. М. Астахова, которая во вступительном слове акцентировала внимание на том, что в последние годы М. К. Азадовский много болел, не мог заниматься делами Отдела, но, несмотря на это, не принял единственно верного в таких обстоятельствах решения об уходе с должности.

Выступления других членов Отдела более точно отвечали требованиям «политического момента». В. А. Кравчинская указывала на то, что по вине М. К. Азадовского до сих пор не закончена работа над третьим томом «Русского фольклора»: ²⁰ «Предложение дирекции написать вводную статью к III тому „Русского фольклора“ с признанием ложности и политической вредности теории Веселовского и с марксистско-ленинским обоснованием принципов советской фольклористики было М. К. Азадовским отвергнуто. Ни в своих научных трудах, ни в периодической прессе М. К. Азадовский не отказался от своих ложных концепций, несмотря на ряд статей, разоблачающих его как апологета Веселовского. Не отказался М. К. Азадовский и от своих ошибочных работ об иностранных источниках сказок Пушкина».²¹ Аналогичным было выступление и П. Г. Ширяевой. А. П. Разумова, бывшая в это время аспиранткой М. К. Азадовского, упрекнула его в том, что он,

¹⁵ Пастернак Б. Пожизненная привязанность: Переписка с О. М. Фрейденберг. М., 2000. С. 205.

¹⁶ См. воспоминания: Штейн А. Как я был космополитом // Вопросы литературы. 1994. Вып. 3. С. 214—219; Евнина Е. Из книги воспоминаний: Во время послевоенной идеологической бойни // Там же. 1995. Вып. 4. С. 226—261.

¹⁷ Помимо М. К. Азадовского в это время в Отделе фольклора работали А. М. Астахова, В. А. Кравчинская, А. Н. Лозанова, М. Я. Парижская (Мельц), Г. Г. Шаповалова и П. Г. Ширяева. В Отделе с 1 октября 1948 года числился и В. Г. Базанов, который по совместительству продолжал также работать в Карело-Финской базе Академии наук (Петрозаводск). Коллектив Фонограммархива возглавлял Ф. А. Рубцов. Под его руководством работали С. Д. Магид и А. Г. Кудышкина. Заведующим гальванопластической и звукозаписывающей лабораторией являлся Н. И. Клочков; помогала ему В. А. Виноградова (см. индивидуальные планы: ПФА РАН. Ф. 150. Оп. 1—1949. № 9).

¹⁸ ПФА РАН. Ф. 150. Оп. 1—1949. № 22.

¹⁹ Там же. Оп. 2. № 649. Л. 34—36, 54—56 — два экземпляра протокола заседания.

²⁰ Речь идет о трехтомной коллективной монографии «Русский фольклор» — учебном курсе, работа над которым началась еще в предвоенные годы. См. прим. 15 к отзыву № 2.

²¹ ПФА РАН. Ф. 150. Оп. 2. № 649. Л. 38.

уже в ходе «антикомпаративистской» кампании, включил в список литературы для подготовки к ее кандидатскому экзамену работы А. Н. Веселовского.

В протоколе заседания Отдела фольклора записано следующее постановление:

«1) Считать, что руководство Отделом фольклора со стороны проф. М. К. Азадовского в последние годы было очень слабым, что и явилось причиной незавершенности ряда трудов Отдела и общей разлаженности работы коллектива.

2) Что главной, определяющей причиной такого положения в Отделе фольклора был методологический кризис, который до сих пор не преодолен М. К. Азадовским, что укрепило в нем его ошибочные научные концепции, а также имело свое влияние его тяжелое физическое состояние, вызванное длительными болезнями» (ПФА РАН. Ф. 150. Оп. 2. № 649. Л. 40—41).

Параллельно с Пушкинским Домом удар по М. К. Азадовскому и другим ученым готовился и в Ленинградском университете. 30 марта 1949 года состоялось собрание преподавателей филфака ЛГУ, а через несколько дней, 4 апреля, партийное собрание факультета, на котором в очередной раз идеологическому осуждению был подвергнут ряд профессоров университета. Газета «Ленинградский университет» сообщала: «В обстоятельном докладе секретаря партийного бюро факультета Н. С. Лебедева, а также в выступлениях (...) многих других на основе многочисленных фактов было убедительно доказано, что профессора В. М. Жирмунский, Б. М. Эйхенбаум, М. К. Азадовский и Г. А. Гуковский не только не включились в борьбу за чистоту марксистско-ленинской науки о литературе, но и до сих пор во многом остаются на объективистских позициях эстетствующего формализма, не освободились от компаративистской методологии».²² Если в 1948 году «критика», направленная против «космополитов», еще пыталась сохранить хоть какие-то очертания наукообразности, то в 1949 году в речах участников собрания звучали выпады, достойные печально известных судебных процессов 1930-х годов. М. К. Азадовского один из выступавших назвал «человеком с абсолютным отсутствием советской чести, чувства советского человека, с абсолютным отсутствием чувства патриота».

5 апреля 1949 года в большом актовом зале главного здания университета состоялось открытое заседание Ученого совета филологического факультета, ставшее позорной страницей в истории филологической науки. М. К. Азадовский, как и Б. М. Эйхенбаум, на заседании не присутствовал: оба они слегли с сердечными приступами. На Ученом совете в окончательном виде в выступлении И. П. Лапицкого²³ (по-своему «легендарная» фигура в отечественной филологии) были сформулированы обвинения в адрес М. К. Азадовского, которые вскоре нашли полное отражение в публикуемом ниже отзыве о научной деятельности ученого.

В свою очередь 8 апреля было проведено заседание Ученого совета Пушкинского Дома, на котором с докладом «Итоги и задачи работы Института в свете статей партийной печати об антипатриотической группе театральных критиков» выступил Н. Ф. Бельчиков, исполнявший обязанности директора после смерти П. И. Лебедева-Полянского. Для Н. Ф. Бельчикова, ожидавшего своего официального назначения на пост директора, доклад был поводом указать Пушкинскому Дому, что в его стенах «окопались» ученые, стоящие «и до сего времени на враждебных марксизму-ленинизму компаративистских, формалистических и буржуазно-объективистских позициях», — Б. М. Эйхенбаум, Г. А. Гуковский, В. М. Жирмунский и М. К. Азадовский.²⁴ 9 мая дирекция Института литературы известила М. К. Азадовского, все еще болевшего, что, согласно кодексу законов о труде, по

²² Против космополитизма и формализма в литературоведении (с партийного собрания филологического факультета) // Ленинградский университет. 1949. 7 апр. № 13.

²³ Подробнее см.: Азадовский К. М., Егоров Б. Ф. Космополиты. С. 110.

²⁴ ПФА РАН. Ф. 150. Оп. 2. № 649. Л. 42.

истечении двух месяцев со дня утраты трудоспособности с 23 мая он увольняется с работы. 4 августа Президиум Академии наук официально освободил М. К. Азадовского от должности заведующего Отделом фольклора.²⁵

1

**Отзыв о научной деятельности и ученых трудах
профессора М. К. Азадовского**

Заведующий Сектором фольклора Института литературы (Пушкинского Дома) Академии наук СССР, доктор филологических наук, профессор Марк Константинович Азадовский является одним из крупнейших советских ученых в области русского фольклора и русской литературы. Большое тематическое и фактическое значение трудов М. К. Азадовского стало уже достоянием учебных курсов, оно неоднократно отличалось (отмечалось? — Т. И.) за рубежом в специальных рецензиях и общих обзорах.

М. К. Азадовским написано свыше 200 научных работ, из них более 15 книг.¹ Под его руководством или при непосредственном его участии выполнено также большое количество научных трудов его многочисленными учениками-последователями.

Научно-исследовательская деятельность М. К. Азадовского, разносторонняя по своей тематике, сосредоточена вместе с тем вокруг нескольких основных проблем.

Имя М. К. Азадовского связано прежде всего с углубленной разработкой проблем сказковедения.

Восприняв от своих предшественников принцип изучения личного начала в передаче народными сказителями традиционных сказочных сюжетов, М. К. Азадовский впервые ставил вопрос об изучении сказочника в плане литературоведческом. Такой метод в исследовании индивидуального творчества сказочника был применен им еще в 1920-х годах в книге «Сказки Верхнеленского края» (Иркутск, 1925), явившейся в свое время событием в русской и западной фольклористике. В этой книге М. К. Азадовский всесторонне изучает творчество выдающейся современной сказительницы Винокуровой (открытой М. К. Азадовским) и является первым опытом издания всех сказок одного мастера полностью. В ней вскрыта и убедительно показана глубокая обоснованность художественного творчества народного сказителя социальными и психологическими факторами, намечены пути и методы подобных исследований. Книга вызвала тогда же ряд откликов в зарубежной печати, а вводное исследование о Винокуровой в виде отдельной монографии было напечатано в международном органе фольклористов «FF Communications» (№ 68; Helsinki, 1926).² В советской науке книга положила начало целой серии научных сборников, посвященных творчеству отдельных мастеров сказки («Сказки Карельского Беломорья, рассказанные М. М. Коргуевым», «Сказки Ф. П. Господа-

²⁵ С августа 1949 года по март 1950 года обязанности заведующего Отделом фольклора исполняла А. М. Астахова. А в середине года, 5 мая 1950 года, заведующим Отделом был назначен И. П. Дмитраков. Этот ученый относился к поколению, сформировавшемуся в 1930-е годы. По окончании войны, с апреля по октябрь 1946 года, он являлся аспирантом Института мировой литературы АН СССР, а с ноября 1946 по апрель 1950 года — аспирантом Академии общественных наук при ЦК ВКП(б). В 1949 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Проблема народного творчества в наследстве М. Горького». В мае 1950 года И. П. Дмитраков был направлен ЦК ВКП(б) на работу в Пушкинский Дом с возложением на него обязанностей заведующего Сектором устного народного творчества. На этой должности он проработал до 17 мая 1955 года.

рева», «Сказки Ковалева» и др.).³ Составители их исходят из положений, впервые выдвинутых и разработанных М. К. Азадовским.

Впоследствии все отдельные наблюдения над отражением в сказках творческой личности рассказчика и все теоретические заключения по данному вопросу были М. К. Азадовским суммированы и обобщены в его книге «Русская сказка, избранные мастера» (I—II т., Academia, 1932). Вводное исследование I тома «Русские сказочники» стало основным и отправным трудом для всех, исследующих сказку.

М. К. Азадовским впервые также осуществлен опыт изучения творчества сказочника в его развитии на протяжении многих лет — путем ряда повторных записей и наблюдений.

Проблема индивидуального творчества в его взаимодействии с традицией освещается М. К. Азадовским и на материале других фольклорных жанров. В этом отношении особенное значение имела книга «Ленские причитания» (Чита, 1922), оказавшая большое влияние на все последующие работы по народной причете (см., напр., «Русские плачи», изд. «Сов. писатель», 1937, «Русские плачи Карелии», Петрозаводск, 1940).⁴ Книга явилась первым после старого сборника Барсова⁵ значительным собранием русских народных причитаний. Сопоставляя группу сибирских воплениц с олонецкими мастерами (И. А. Федосовой, Н. С. Богдановой и др.), автор вскрыл черты общерусской традиции, проявления личного таланта и элементы местные.

Все работы М. К. Азадовского по русскому фольклору, представляя большое общетеоретическое значение, часто открывая собою новую страницу в изучении того или иного жанра, одновременно обогащают советскую науку новыми фольклорными материалами, полученными путем личной собирательской работы автора.

Будучи сам выдающимся и неутомимым собирателем, М. К. Азадовский в течение многих лет руководил собирательской работой в Союзе. Он сумел подготовить и воспитать целую плеяду квалифицированных собирателей-исследователей. Его книжка «Беседы собирателя» (1924 г.) была долгое время (как и книга бр. Соколовых «Поэзия деревни»)⁶ настольной для всякого собирателя фольклора. Ее принципиальная часть и методические указания не устарели и по настоящее время.

Одной из центральных линий в научно-исследовательской деятельности М. К. Азадовского явилось изучение взаимосвязей устного народного творчества и литературы. Им разработан вопрос о народных истоках творчества Пушкина,⁷ Лермонтова,⁸ Ершова,⁹ поставлен и освещен вопрос о роли книги в устной сказочной традиции.¹⁰ Во всех этих работах кроме их фактического значения как конкретных исследований важна их принципиальная сторона. В них дано новое понимание проблемы фольклоризма в тесной связи с общей проблемой народности в литературе. Книга М. К. Азадовского «Литература и фольклор» (ГИХЛ, Л., 1938), в которой сгруппированы главные его работы в данной области, включена во все вузовские и аспирантские программы в качестве одного из основных пособий по фольклору.

Проблема народности привела М. К. Азадовского и к пересмотру вопроса о месте в русской литературе Н. М. Языкова — деятельного участника коллективной собирательской работы по фольклору в середине XIX в., возглавленной П. В. Киреевским.¹¹ Результатом углубленной текстологической и литературоведческой работы над творчеством Языкова явилось научное полное издание сочинений Языкова.¹²

Другие работы М. К. Азадовского по истории русской литературы и русской культуры связаны с интересом его к сибирской теме. Из них особенно следует выделить серию очерка (очерков. — Т. И.) «О декабристах»,¹³ в которых освещена роль первых русских революционеров в этнографических изучениях Сибири.

Долголетняя деятельность М. К. Азадовского в области фольклора и литературы, интерес его к вопросам истории культуры и общественной мысли, в особенности к истории развития идей народности, привели его к постановке и разработке вопросов истории русской фольклористики. М. К. Азадовским написан ряд статей, посвященных деятельности в области изучения фольклора Добролюбова,¹⁴ Чернышевского,¹⁵ А. Н. Веселовского,¹⁶ С. Ф. Ольденбурга,¹⁷ Н. Я. Марра¹⁸ и др. Среди этих исследований особенно надо отметить работы по критическому освоению наследия А. Н. Веселовского и статьи о Добролюбове и Чернышевском, в которых впервые раскрыто все значение в деле изучения фольклора представителей революционной демократии. В обширной статье «Советская фольклористика за 20 лет»¹⁹ исследуется содержание и характер нового, современного этапа в развитии науки о фольклоре. Все эти работы уже получили общее признание и определение понимания и характера развития науки в исследованные периоды и роли отдельных деятелей. Наконец, в самые последние годы М. К. Азадовским создан большой труд (около 80 п. л.) «История русской фольклористики», в котором на основе разработки огромного материала рассматривается вся русская фольклористика на всем протяжении ее развития.²⁰ В этом труде подвергнуты пересмотру как все прежние работы по изучению деятельности отдельных исследователей фольклора, так и общие концепции развития науки о фольклоре. Все вопросы истории фольклористики заново разработаны и освещены с позиций советской исторической науки. Развитие русской науки о фольклоре также показано в связи с историей русской общественной мысли и русской литературы и на фоне общеевропейского литературного и общественного движения (работа печатается в Изд(ательст)ве Ак(адемии) наук СССР).

М. К. Азадовский много содействовал проникновению идей советской науки в Зап(адную) Европу опубликованием рецензий и обзоров в зарубежных изданиях (напр., «The science of folklore in the USSR» — VOKS. 1933. VI; то же на французском языке; «Le folklore révolutionnaire» — Humanité, 1933, 15. XII и др).²¹ Некоторые из работ М. К. Азадовского были переведены на иностранные языки.

Углубленная и разносторонняя научная деятельность М. К. Азадовского всегда сочеталась и сочетается с большой и успешной научно-организационной работой. Под его руководством Сектор фольклора народов СССР Института литературы (который М. К. Азадовский возглавляет с 1931 г.)²² стал центром научной работы по фольклору в Союзе. По инициативе и при непосредственном руководящем участии М. К. Азадовского проведен ряд фольклористических совещаний и конференций, в которых приняли участие представители разных фольклорных организаций Союза (антифашистская сессия в 1936 г., конференция в июне 1938 г. и др).²³ М. К. Азадовский является организатором и главным редактором периодических сборников «Советский фольклор» — руководящего фольклористического органа.²⁴ Он возглавляет работу по подготовке коллективного трехтомного труда Отдела фольклора «Русский фольклор»,²⁵ в котором участвуют все главные силы фольклористов Союза. Во время войны по его инициативе было проведено в Иркутске первое совещание по фольклору Великой Отечественной войны.²⁶

М. К. Азадовскому принадлежит также большая роль по подготовке научных фольклористических кадров. В течение многих лет М. К. Азадовский возглавлял кафедры по фольклору, сперва в Иркутском университете, потом в ЛГУ, и целый ряд его учеников уже завоевали себе имя в науке.

Вся более чем тридцатилетняя плодотворная научная и научно-организационная деятельность проф. М. К. Азадовского в совокупности всех ее проявлений, отнюдь не исчерпывающе охваченная настоящим отзывом, дает полное основание к выдвижению М. К. Азадовского в качестве достойного кандидата в члены-корреспонденты Академии наук по Отделению языка и литературы. С привлечением М. К. Азадовского как выдающегося ученого-фольклориста и талантливого орга-

низатора к непосредственному участию в руководящих работах Академии наук в качестве члена-корреспондента вопросы народного творчества будут более прочно включены в систему работ Академии.

Директор Института литературы АН СССР

член-корреспондент АН СССР

Ученый секретарь Института литературы АН СССР

П. И. Лебедев-Полянский

Б. П. Городецкий

(ПФА РАН. Ф. 150. Оп. 2. № 649. Л. 15—21).

¹ См.: Марк Константинович Азадовский (1888—1954): Указ. лит. / Сост. В. П. Томина. Новосибирск, 1983.

² *Azadovsky M. Eine sibirische Märchenerzählerin.* Helsinki, 1926 (Folklore Fellow Communications, № 68). См. русскоязычный вариант: *Азадовский М. К.* Сибирская сказочница Н. О. Винокурова // Азадовский М. К. Статьи и письма: Неизданное и забытое. Новосибирск, 1978. С. 62—110.

³ См.: Сказки М. М. Коргуева / Зап., вступ. статья и коммент. А. Н. Нечаева; Предисл. М. К. Азадовского. Петрозаводск, 1939. Кн. 1—2 (Сказки Карельского Беломорья; Т. 1—2); Сказки Ф. П. Господарева / Зап. текста, вступ. статья и прим. Н. В. Новикова; Общ. ред. и предисл. М. К. Азадовского. Петрозаводск, 1941; Сказки И. Ф. Ковалева / Зап. и коммент. Э. Гофман и С. Минц; Ред. Ю. М. Соколова. М., 1941.

⁴ Русские плачи (причитания) / Вступ. статья Н. П. Андреева и Г. С. Виноградова; Ред. текстов и прим. Г. С. Виноградова. Л.: Сов. писатель, 1937; Русские плачи Карелии / Подгот. текстов и прим. М. М. Михайлова; Статьи Г. С. Виноградова и М. М. Михайлова; Под ред. М. К. Азадовского. Петрозаводск, 1940.

⁵ Причитанья Северного края, собранные Е. В. Барсовым. Ч. 1: Плачи похоронные, надгробные и надмогильные. М., 1872; Ч. 2: Плачи завоенные, рекрутские и солдатские. М., 1882; Ч. 3: Плачи свадебные, заручные, гостибные, баенные и предвечные // Чтения в имп. О-ве истории и древностей российских при Моск. ун-те. 1885. Кн. 3. С. 1—160; Кн. 4. С. 161—256 (2-я пагинация).

⁶ См.: *Азадовский М. К.* Беседы собирателя: О собирании и записывании памятников устного творчества. Применительно к Сибири. Иркутск, 1924; 2-е изд. 1925; *Соколовы Б. М.* и *Ю. М.* Поэзия деревни: Руководство для собирания произведений устной словесности. М., 1926.

⁷ М. К. Азадовскому принадлежат более двух десятков работ о А. С. Пушкине (см.: Марк Константинович Азадовский (1888—1954): Указ. лит.). См. также прим. 4 к отзыву № 2.

⁸ См.: *Азадовский М. К.* 1) Фольклоризм Лермонтова // Лит. наследство. 1941. Т. 43—44. С. 227—262; 2) Статьи о литературе и фольклоре. М.; Л., 1960. С. 212—259.

⁹ См.: *Ершов П. П.* Конек-горбунок: Русская сказка / Подгот. текста М. К. Азадовского. Л.; М., 1933; *Ершов П. П.* Конек-горбунок / Ред. и коммент. М. К. Азадовского. М.; Л., 1935; *Ершов П. П.* Стихотворения / Ред. и коммент. М. К. Азадовского. Л., 1936. С. 5—38 (Б-ка поэта. Малая серия; № 28); То же. 1938; То же. 1961; *Азадовский М. К.* Конек-горбунок // О Коньке-горбунке: Сб. ст. Л., 1937. С. 23—42 и др.

¹⁰ *Азадовский М. К.* Сказительство и книга // Язык и литература. Л., 1932. Т. 8. С. 5—28.

¹¹ *Азадовский М. К.* Письма П. В. Киреевского к Н. М. Языкову // Изв. АН СССР. Отд-ние обществ. наук. Сер. VII. 1935. № 1. С. 1—44; № 2. С. 117—152; Письма П. В. Киреевского к Н. М. Языкову / Вступ. ст., коммент. и ред. М. К. Азадовского. М., 1935; *Азадовский М. К.* Киреевский и Языков (Страница из истории русской фольклористики) // Азадовский М. К. Литература и фольклор. Л., 1938. С. 133—153.

¹² *Языков Н. М.* Полное собрание стихотворений / Ред. и коммент. М. К. Азадовского. М.; Л., 1934.

¹³ Декабристской темой М. К. Азадовский занимался всю жизнь. Первая его публикация сделана в 1925 году (Автографы А. и М. Бестужевых в Читинском музее // Декабристы в Забайкалье: Неизданные материалы. Чита, 1925. С. 95—97), последняя — в 1954 году (Последняя статья Кюхельбекера («О терминологии русской грамматики») // Лит. наследство. 1954. Т. 59. С. 547—554). Всего ученому принадлежит более сорока трудов, посвященных декабристам: статей, публикаций, рецензий.

¹⁴ См.: *Азадовский М. К.* 1) Добролюбов и русская фольклористика // Изв. АН СССР. Отд-ние обществ. наук. 1936. № 1—2. С. 131—159; 2) То же // Советский фольклор: Сборник статей и материалов. М.; Л., 1936. Вып. 4—5. С. 3—27; 3) То же // Азадовский М. К. Литература и фольклор: Очерки и этюды. Л., 1938. С. 154—195 и др.

¹⁵ См.: *Азадовский М. К.* Н. Г. Чернышевский в истории русской фольклористики (Глава из курса по истории русской фольклористики) // Учен. зап. Ленингр. ун-та. Сер. филол. наук. 1941. Вып. 12. С. 5—18; То же // Азадовский М. К. Статьи о литературе и фольклоре. М.; Л., 1960. С. 376—394.

¹⁶ В списке трудов М. К. Азадовского имеется несколько работ, связанных с научным наследием А. Н. Веселовского. В 1938 году он подготовил к републикации статью А. Н. Веселовского «Сказки об Иване Грозном» (см.: *Веселовский А. Н.* Статьи о сказке. 1868—1890. М.; Л., 1938. С. 149—166, 309—312 (Собр. соч. А. Н. Веселовского. Т. 16)). Перу М. К. Азадовского принадлежит рецензия на «Избранные статьи» А. Н. Веселовского, подготовленные М. П. Алексеевым, В. А. Десницким, В. М. Жирмунским и А. А. Смирновым (*Азадовский М. К.* Избранные статьи А. Н. Веселовского // Литературное обозрение. 1939. № 20. С. 52—55). О А. Н. Веселовском М. К. Азадовский писал в 1938 году, когда отмечалось столетие со дня рождения ученого: А. Н. Веселовский как исследователь фольклора // Изв. АН СССР. Отд. ние обществ. наук. 1938. № 4. С. 85—120; Литературное наследие академика Веселовского (К 100-летию со дня рождения) // Реценз. 1938. № 6. С. 23—24.

¹⁷ *Азадовский М. К.* С. Ф. Ольденбург как фольклорист (К 50-летию его науч.-исслед. деятельности) // Советская этнография. 1933. № 1. С. 15—38; *Азадовский М. К.* Академик С. Ф. Ольденбург [Некролог] // Фронт науки и техники. 1934. № 3. С. 29—33; *Азадовский М. К.* С. Ф. Ольденбург и русская фольклористика // Сергею Федоровичу Ольденбургу: К 50-летию научно-общественной деятельности. 1882—1932. Л., 1934. С. 25—35.

¹⁸ *Азадовский М. К.* Памяти Н. Я. Марра. 1864—1934 // Советский фольклор: Сборник статей и материалов. М.; Л., 1936. Вып. 2—3. С. 5—20.

¹⁹ Имеется в виду статья: *Азадовский М. К.* Советская фольклористика за 20 лет // Советский фольклор: Сб. статей и материалов. М.; Л., 1939. Вып. 6. С. 3—53.

²⁰ Имеется в виду фундаментальное исследование М. К. Азадовского «История русской фольклористики», напечатанное после смерти ученого (М., 1958—1963. Т. 1—2). Рукопись первого тома успели обсудить на Ученом совете Пушкинского Дома перед самым началом Великой Отечественной войны. Она была утверждена к печати 30 апреля 1941 года. Во время блокады М. К. Азадовский работал над второй книгой. 21 сентября 1943 года, из Иркутска, куда он был эвакуирован, исследователь писал Н. К. Гудзию: «...целый ряд глав второго тома, а также общее предисловие и пр. писались и завершались в дни и вечера бомбежек, в ночные дежурства в Институте, писались холодеющими пальцами, писались на краешке стола, заваленного всем что попало в единственной оставшейся жилой (полужилой) комнате, при свете копилки или ёлочных восковых свечек» (Из писем М. К. Азадовского (1941—1954) / Публ. Л. В. Азадовской // Из истории русской фольклористики. Л., 1981. С. 227).

²¹ Имеются в виду обзорные статьи М. К. Азадовского к 15-летию Октябрьской революции: *Études du folklore en USSR (1918—1932)* // VOKS. Cahiers d'information. Moscou, 1933. Vol. 4. P. 40—65; *The science of folklore in the USSR* // VOKS. Bulletin. Moscow, 1933. Vol. 4. P. 39—60. VOKS — переданная латинскими буквами аббревиатура названия Всесоюзного общества культурных связей с заграницей, издававшего журналы идентичного содержания на французском и английском, а также (позднее) немецком и испанском языках. См. также: *Le folklore revolutionnaire* // L'Humanité. 1934. 20 dec. P. 4. Здесь дается обзор произведений, созданных после революции.

²² В 1930 году М. К. Азадовский переехал из Иркутска в Ленинград, где возглавил Фольклорный кабинет в Государственном институте истории искусств, который вскоре был преобразован в Государственную академию искусствознания. В начале 1931 года Фольклорный кабинет был переведен в только что созданный Институт по изучению народов СССР (ИПИИ), просуществовавший до февраля 1933 года, когда ИПИИ слился с Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамерой) и образовал Институт антропологии и этнографии АН СССР (ИАиЭ). Фольклорная комиссия (секция) была соответственно переведена в ИАиЭ. 1 марта 1939 года, при очередной реорганизации институтов Академии наук, Фольклорную секцию перевели в Пушкинский Дом.

²³ Первая конференция, организованная М. К. Азадовским, проходила 24—26 апреля 1936 года. Одной из ведущих тем здесь стала критика западноевропейской, в частности немецкой, фольклористики. Напомним, что конференция проходила в период, когда вся Европа переживала приход к власти Гитлера. Следует сказать, что в Германии, как и в Советском Союзе, в 1930-е годы была сделана небезуспешная попытка поставить фольклор и фольклористику на службу политическому режиму. Общеизвестен особый интерес Гитлера и его окружения к раннему средневековью Германии и к немецкому язычеству. В контексте этого интереса понятна включенность фольклора и немецкой фольклористики в идеологические схемы фашизма. Без сомнения, доклады советских фольклористов, в свою очередь, были отмечены идеологическим диктатом: немецкая фольклористика именовалась фашистской. Сообщение Ю. М. Соколова так и называлось — «Фашистская фольклористика в Германии». Объектом его критики стал известный немецкий ученый Ганс Науман и его теория о происхождении фольклора, близкая к «аристократической теории», сформировавшейся в дореволюционной русской науке. Е. Г. Кагаров, точно так же как и В. П. Петров, подчеркивал, что фашистская расовая теория нашла свое преломление в фольклористической мысли Германии. Э. Ф. Эмсгеймер выяснял отражение расовой теории в немецкой музыкальной этнографии. Э. В. Гофман (Померанцева) посвятила свое сообщение анализу образов германской мифологии и показала, как символическое истолкование мифов служит в фашистской Германии целям агитации и пропаганды. См.:

М. Ш. Первая сессия Фольклорной секции Института антропологии, археологии и этнографии Академии наук СССР // Советский фольклор: Сборник статей и материалов. М.; Л., 1936. № 4—5. С. 431; см. также: ПФА РАН. Ф. 150. Оп. 5. № 33. Л. 76—79.

Вторая конференция, о которой идет речь, состоялась 7—11 июня 1938 года. Ученые поделились информацией о работе фольклорных центров в Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Марийской АССР, Узбекистане, Чувашии и других точках страны (см. краткое изложение: Советский фольклор: Сборник статей и материалов. М.; Л., 1941. № 7. С. 251—263). Доклад М. К. Азадовского был посвящен научному наследию А. Н. Веселовского, чье столетие со дня рождения отмечалось в 1938 году, — «Вопросы происхождения былевого эпоса в концепции А. Н. Веселовского» (опубл. тезисы: Советский фольклор: Сб. статей и материалов. М.; Л., 1941. № 7. С. 247).

²⁴ Продолжающееся издание «Советский фольклор», ставшее лицом отечественной фольклористики в предвоенный период, было задумано М. К. Азадовским в бытность существования Отдела фольклора в Институте по изучению народов СССР (1931—1933). Однако первый выпуск «Советского фольклора» вышел в 1934 году под грифом Института антропологии и этнографии — уже тогда, когда Отдел был переведен в этот Институт. В предвоенное время вышли также выпуски 2—3 (1936), 4—5 (1936), 6 (1939) и 7 (1941). Выходу полностью подготовленного восьмого выпуска помешала война; девятый выпуск, над которым велась работа, также не состоялся в силу менявшихся идеологических установок сталинского режима. Наследником этого издания стал современный пушкинодомский «Русский фольклор», издающийся с 1956 года.

²⁵ См. прим. 15 к отзыву № 2.

²⁶ 21—25 марта 1943 года М. К. Азадовский организовал в Иркутске совещание фольклористов и сказителей. Конференция имела большой резонанс в культурной жизни Восточной Сибири. Ученый выступил с докладом «Итоги советской фольклористики» (см.: *Азадовский М. К. Итоги совещания фольклористов Сибири // Новая Сибирь: Альманах. Иркутск, 1943. Кн. 14. С. 69—76.*

2

Отзыв о научной деятельности зав. Сектором фольклора Института литературы, доктора филологических наук М. К. Азадовского

Основной работой профессора М. К. Азадовского, итогом всей его научно-исследовательской деятельности за 40 лет явилась историография русской фольклористики.¹ В этом труде отразилось буржуазно-объективистское мировоззрение М. К. Азадовского, его приверженность компаративистской школе Веселовского² и слепое преклонение перед западноевропейскими «авторитетами». М. К. Азадовский в этом труде полностью зачеркнул приоритет русской фольклористики. На этих ложных позициях он остался до настоящего времени и ни разу не выступил с признанием ложности своих концепций ни в устном заявлении, ни в печати, несмотря на ряд разоблачающих его статей. Насколько непоколебим М. К. Азадовский в своих порочных воззрениях, свидетельствует очерк, опубликованный в 1944 году в «Трудах Восточно-Сибирского государственного университета» (Т. II, вып. 4), где он признает теорию заимствования «безусловно прогрессивной» для шестидесятых годов и тем самым снимает значение революционно-демократической фольклористики.³ Вредное пристрастие к концепции Веселовского отразилось и в его исследованиях об источниках сказок Пушкина, как известно, приписываемых им западноевропейским заимствованиям.⁴

Политическую характеристику Азадовского завершает следующий факт: в 10-летнюю годовщину со дня смерти В. И. Ленина была опубликована статья Азадовского «Ленин и фольклор»,⁵ утверждающая, что в первые годы социалистической революции в советском фольклоре преобладали «эсхатологические мотивы», в подтверждение чего приводился антисоветский кулацкий фольклор и легенда «О рождении черта»,⁶ эти же «сведения» были приведены в работе Азадовского, опубликованной в издании ВОКС «Les études du folklore en USSR (1918—1933)», 1933, вып. IV, с. 40—61.⁷ В этой последней работе, опубликованной на француз-

ском языке, Азадовский особо подчеркивал массовость бытования эсхатологического фольклора и его большую научную значимость.

Попытки последних лет выйти из порочного круга буржуазно-космополитических взглядов отразились в тематике статей «О декабристской фольклористике»⁸ и о Белинском,⁹ но по существу и эти статьи несут на себе следы старого мировоззрения: статья о декабристской фольклористике, например, заканчивается панегириком французскому фольклористу Фориэлю,¹⁰ влиянию которого он приписывает первые шаги русской фольклористики.

Историография Азадовского, над которой он работал около 15 лет, так и осталась незавершенной. Совсем не написана историография 2-й половины XIX в.¹¹ Что касается статьи «Советская фольклористика за 20 лет» (Сов(етский) фольклор. № 6. 1939 г.),¹² она никоим образом не может считаться действительным итогом работ советских фольклористов, так как в ней автор отразил те же буржуазно-объективистские, эклектические взгляды.

Неопубликованная рукопись Азадовского «Проблемы народного творчества в трудах Маркса—Энгельса Ленина—Сталина» (последняя работа Азадовского, относящаяся к 1949 году)¹³ представляет собой сырой, не связанный какой-либо методологией материал и содержит ряд ошибочных положений.

Глубочайшей ошибкой в руководстве Азадовского Сектором фольклора является отсутствие подготовки кадров. За все 18 лет своего заведования Сектором фольклора Азадовский не подготовил ни одного аспиранта, кроме одного прикомандированного от Марийской республики.¹⁴

Работа Сектора фольклора находится в крайне тяжелом положении по вине Азадовского; сорвано издание 3-х томного университетского курса «Русский фольклор», подготовлявшегося с 1938 года.¹⁵ Задержан выпуск периодического издания «Советский фольклор», последний номер которого вышел в 1940 году.¹⁶

Подлинный за надлежащими подписями [подписи отсутствуют].¹⁷

Верно: Ученый секретарь Института литературы

(Пушкинский Дом) АН СССР Кандидат филологических наук (Д. С. Бабкин)

[Печать, подпись Д. С. Бабкина]

(ПФА РАН. Ф. 150. Оп. 2. № 649. Л. 54—56)

¹ См. прим. 20 к отзыву № 1.

² См. прим. 16 к отзыву № 1. М. К. Азадовский принципиально вписывал А. Н. Веселовского, академического ученого, в круг молодой русской филологии 1860-х годов (А. Н. Пыпин, Н. А. Добролюбов, И. А. Худяков, П. Н. Рыбников и др.), подчеркивая демократические посылы в его научном наследии. Одновременно он пытался определить методологию А. Н. Веселовского, трансформировавшего многие постулаты «мифологической школы» и «теории заимствования». Вслед за «мифологической школой», указывал М. К. Азадовский, А. Н. Веселовский воспринял и углубил учение о народных корнях поэзии и учение о мифе как первичной форме творчества. Однако если мифологи за современной оболочкой произведений народной словесности вскрывали черты эпического мифотворчества, то А. Н. Веселовский, как подчеркивает М. К. Азадовский, настаивал, что фольклорный памятник тесно связан с политической и социальной борьбой своего времени. Разграничивая теорию заимствования, как она сложилась у Теодора Бенфея и его последователей, и воплощение миграционной идеи у А. Н. Веселовского, М. К. Азадовский указывал, что если для Бенфея самодостаточным оказывается установление самого факта заимствования, то для А. Н. Веселовского главным является вопрос о путях заимствования. Не сюжеты, а идеи, которые в них вкладываются, формируют национальное своеобразие произведений, построенных на одних и тех же мировых мотивах. В «Истории русской фольклористики» статья «А. Н. Веселовский как исследователь фольклора» в переработанном виде стала разделом, посвященным А. Н. Веселовскому (История русской фольклористики. М., 1963. Т. 2. С. 180—195).

³ См.: *Азадовский М. К. О построении истории русской фольклористики* // Труды Восточно-Сибирского государственного университета. Иркутск, 1944. Т. 2. Вып. 4. С. 113—135. Здесь ученый изложил свою концепцию истории отечественной науки о «живой старине», реализованную в уже почти полностью написанной им книге «История русской фольклористики» (М.,

1958—1963. Т. 1—2). Для исследователя была важной идея, что «никакие фольклористические теории не живут какой-то отдельной самостоятельной жизнью, но их появление, развитие и отрицание обусловлено теми же социально-политическими процессами, которые обусловили и все развитие русской литературы» (С. 121). Придерживаясь марксистской теории, М. К. Азадовский, характеризуя то или иное направление в науке, пользуется терминами «прогрессивный» и «реакционный». По поводу миграционной теории, к представителям которой отчасти он относил А. Н. Веселовского, А. Н. Пыпина, Гастона Париса и др., ученый писал: «В 60-е годы теория заимствования имеет безусловно прогрессивный характер, и вокруг нее сплетались и мобилизовывались наиболее передовые элементы в русской и европейской науке» (С. 124). Соответственно в конце XIX века и позже, в предреволюционную эпоху, по мысли фольклориста, теория заимствования «становится орудием реакции и свидетельствует о регрессе в научном движении» (С. 124). Несмотря на последний тезис, в период «разоблачения» «веселовщины» и «низкопоклонства перед Западом» признание «прогрессивности» теории заимствования для 1860-х годов становилось безусловным пунктом обвинений против автора данного положения.

⁴ Основным объектом нападков в годы «антикомпаративистской» кампании стала статья М. К. Азадовского «Источники сказок Пушкина», опубликованная в 1936 году (Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1936. Вып. 1. С. 134—163) и переизданная в книге учебного «Литература и фольклор: Очерки и этюды» (Л., 1938. С. 65—105). Настоящим научным открытием М. К. Азадовского стало доказательство того, что одним из источников литературных сказок А. С. Пушкина был сборник братьев Grimm. Одновременно ученый указал на русские источники сказок поэта, а также продемонстрировал, как сплав разных источников помог поэту создать подлинно русские сказки. В 1930-е годы работа М. К. Азадовского оценивалась в основном положительно. А. Бабушкина по поводу публикации во «Временнике Пушкинской комиссии» совершенно справедливо писала: «Глубокое и серьезное исследование Азадовского прекрасно выясняет источники сказок Пушкина, показывает, что они возникли на основе мировой фольклорной культуры, вскрывает истинно национальный и демократический смысл пушкинских сказок» (*Бабушкина А.* Сказки Пушкина // Детская литература. 1937. № 1. С. 1). Ей вторит Р. Александров в рецензии на книгу «Литература и фольклор»: «В статье „Источники сказок Пушкина“ автор показывает, с каким мастерством поэт превращал образы иностранного фольклора в национально-русские формы» (*Александров Р.* [Рец. на кн.: Азадовский М. Литература и фольклор. Л., 1938] // Книга и пролетарская революция. 1938. № 8/9. С. 201). Полностью соглашается с выводами М. К. Азадовского об источниках пушкинских сказок и П. Калецкий (*Калецкий П.* [Рец на кн.: Азадовский М. Литература и фольклор. Л., 1938] // Звезда. 1938. № 6. С. 259—262). И лишь Ан. Волков проходит мимо непоколебимых текстологических аргументов исследователя: «Азадовский (...) старается доказать, — пишет он саркастически, — что источником сказок Пушкина является не устное народное творчество, как это принято думать, а... сборник сказок Grimm» (*Волков Ан.* О Пушкинском «Временнике» и о некоторых проблемах пушкиноведения // Новый мир. 1937. № 1. С. 260). Во второй половине 1940-х годов в отношении статьи «Источники сказок Пушкина» возобладала оценка последнего автора.

⁵ Имеется в виду статья: *Азадовский М. К.* Ленин в фольклоре // Памяти В. И. Ленина: Сборник статей к десятилетию со дня смерти. 1924—1934. М.; Л., 1934. С. 879—897. Основное содержание статьи — анализ просоветского фольклора, как русского, так и инонационального, в котором воспеваются вожди мирового пролетариата.

⁶ Текст легенды, опубликованной в статье В. И. Смирнова «Черт родился (Творимая легенда)» (Третий этнографический сборник. Кострома, 1923. С. 17 (Труды Костромского научного общества по изучению местного края; Вып. 29)), М. К. Азадовский приводит в сноске 1 своей статьи: «Не у нас это было, где-то тут близко в Ярославской губернии. Жили мужик да баба. Мужик, коммунист он был, изрубил иконы, побросал их в печку. Знала ли, нет про то баба, стала она растапливать печь — не топятя дрова, да и только. „Что, — говорит баба, — за чудо?“ А из печи голос: „Это чудо еще не чудо, вот через три дня будет чудо“. Испугалась баба, побросала все, а через три дня разразилась (ударилась, разбилась. — *Т. И.*), да и родила черта — мохнатый весь. Народ прослышал про это. Собираться стал смотреть на черта. Всполошились и власти, аресты пошли — не ходи смотреть черта. Что делать? Думали-думали мужик с бабой, взяли да и отнесли черта в лес, бросили там. Приходит домой, а черт сидит на лавке, смеется. — „Вот так чудо“, — говорят. „Нет, это еще не чудо, а вот через двадцать дней так будет чудо“, — говорит тот. Не знают мужик с бабой, что им делать; отказываются от черта и соседи, никто не берет. Узнало начальство и арестовало черта. А через двадцать дней — это в самую Троицу будет — черт родился» (*Азадовский М. К.* Ленин в фольклоре. С. 881—882).

Анализируя это произведение, ученый подчеркивал, что сюжет (женщина родила черта) сам по себе не нов, новым же является образ коммуниста, наказанного за уничтожение икон рождением вместо сына черта. М. К. Азадовский указывал также, что в фольклоре 1920-х годов активизировались рассказы о скором конце света, о пришествии антихриста, о грядущих бедствиях и т. д., и в связи с этим называл статью Г. С. Виноградова «Этнография и современность» (Сибирская живая старина. Иркутск, 1923. Вып. 1. С. 3—21). Обозначив данный пласт

произведений устной словесности, исследователь сразу же, в духе времени, характеризует и социальную среду, его породившую: «Социальная база этого фольклора совершенно ясна. Это по преимуществу эсхатологический фольклор выражает, в основном, антиреволюционные настроения кулацких и близких к ним слоев крестьянства, еще не осознавшего своей социальной позиции и шедшего идеологически еще на поводу у контрреволюционных элементов старой деревни» (Азадовский М. К. Ленин в фольклоре. С. 882—883). Однако критики М. К. Азадовского, которым «руки вставляющих» вставили логику «в мозги в механизированном виде», прохоят мимо этого пассажа ученого.

⁷ См. прим. 21 к отзыву № 1. В данной статье по поводу легенды о рождении черта, ставшей пунктом обвинения М. К. Азадовского, ученый отмечал: «Фольклорные записи, отражающие события Гражданской войны, представляют собой огромную ценность. Первые записи относятся к началу 1920-х гг., когда В. Смирнов записал интересную легенду, озаглавленную „Черт родился“, которая прекрасно известна науке, так как вскоре была опубликована в России (1923). Профессор Поливка перевел ее на немецкий язык и опубликовал в „Zeitschrift des Vereins für Volkskunde“ (1925) (см.: *Polivka G. Eine neue Teufels-Legende aus dem modernen Russland // Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. Berlin, 1925. Heft 1. S. 48. — Т. И.*), что представило легенду западноевропейской науке. Некоторое количество подобных легенд было записано другими собирателями в разных регионах СССР. Среди них важной составляющей являются эсхатологические мотивы (Ончуков, Виноградов и др.). Хотя все эти легенды обнаруживают в определенной мере процесс отражения в фольклоре революционных событий, не очень сложно назвать социальную среду и образ мысли, которые дали жизнь этому типу фольклора. Эсхатологический фольклор по своей сути есть отражение контрреволюционных сил и выражает антиреволюционные чувства, которые существовали в основном среди богатого крестьянства» (Азадовский М. *The science of folklore in the USSR // VOKS. Bulletin. Moscow, 1933. Vol. 4. P. 47; журнал на французском языке в Библиотеке Академии наук отсутствует*).

⁸ Имеется в виду статья М. К. Азадовского «Декабристская фольклористика» (Вестник Ленинградского университета. 1948. № 1. С. 74—91). Эта работа важна как свод сведений по выражению фольклористической мысли в трудах декабристов и их окружения (В. К. Кюхельбекер, А. С. Грибоедов, Н. Н. Раевский, Н. И. Гнедич, А. А. Бестужев, Н. А. Цертелев и др.). Ученый настойчиво разграничивает немецкую фольклористическую мысль первой четверти XIX века (гейдельбергские романтики) и фольклористические идеи декабристов. Если первые, согласно М. К. Азадовскому, воплощали национал-шовинистический дух, представляли собой ревизию наследия Французской революции, то декабристы, считал ученый, опирались на просветительские идеи Франции. Для них важны были темы героического прошлого и народных мятелей, в том числе и разинского восстания.

⁹ Имеется в виду статья М. К. Азадовского «Белинский и русская народная поэзия», опубликованная в первом из трех томов, посвященных В. Г. Белинскому, серии «Литературное наследство» (Лит. наследство. 1948. Т. 55. С. 117—150). Названные три тома «Литературного наследства» имели рецензии. Статья М. К. Азадовского была положительно оценена В. В. Ждановым (Жданов В. В. [Рец. на кн.: Литературное наследство. М., 1948—1951. Т. 55—57] // Советская книга. 1951. № 12. С. 84—89) и Я. Е. Эльсбергом (Эльсберг Я. Е. Материалы и исследования о В. Г. Белинском // Вестник Академии наук СССР. 1951. № 10. С. 134—142). Н. Онуфриев был настроен более критически по отношению к М. К. Азадовскому. Он считал, что М. К. Азадовскому не удалось правильно раскрыть систему взглядов В. Г. Белинского на устную народную поэзию: «Высказывания критика о фольклоре представлены в его (Азадовского. — Т. И.) статье в хаотическом виде, без должной, правильной оценки» (Онуфриев Н. Изучение литературного наследия Белинского // Новый мир. 1951. № 9. С. 221).

¹⁰ Фориэль (Fauriel) Клод Шарль (1772—1844) — французский историк и филолог, специалист по истории литературы и фольклора Франции, Италии и Греции. Издал «Народные песни Греции» («*Chants populaires de la Grèce moderne*»; 1824—1825), «Историю провансальской поэзии» («*Histoire de la littérature provençale*»; 1846), «Данте и возникновение итальянской поэзии» («*Dante et les origines de la langue et de la littérature italienne*»; 1854) и др. Для европейской фольклористики принципиально важна первая из названных книг, в центре ее находятся песни о греческих клефтах — разбойниках, своеобразных партизанах, грабивших турок, которые поработили Грецию.

В 1825 году Н. И. Гнедич частично перевел книгу К. Фориэля на русский язык — под названием «Простонародные песни нынешних греков». Во вступительной статье он отметил сходство новогреческих плачей с русскими причитаниями, а также подробно остановился на сходстве народных певцов у обоих народов. Журнал «Московский телеграф», пропагандируя литературу французского романтизма, положительно отзывался и о трудах К. Фориэля. Н. А. Полевой в рецензии на «Словацкие песни» И. Срезневского, указывая на необходимость собирания славянского фольклора, восклицал: «Но где Фориэль для наших славянских народов?» (Московский телеграф. 1832. Ч. 14. С. 561). Таким образом, идеи К. Фориэля были действительно хорошо известны в России и, без сомнения, оказали влияние на русскую фольклористику. В статье «Декабристская фольклористика» М. К. Азадовский говорит о К. Фориэле в связи с переводом его труда Н. И. Гнедичем (С. 87—90). Книга К. Фориэля и ее значение для

всей европейской, и в том числе для русской, фольклористики всесторонне рассмотрены и в монографии М. К. Азадовского «История русской фольклористики». Имея в виду происходившую в 1820-е годы борьбу греческого народа против турок, ученый подчеркивает, что работы К. Фориэля «связаны с мировым освободительным движением» (*Азадовский М. К. История русской фольклористики. М., 1958. Т. 1. С. 204*). «В отличие от господствовавших в то время в Западной Европе фольклористических теорий, выдвигавших на первый план вопросы архаики, для Фориэля на первом плане не поэзия старинных преданий, но (...) отражение живой действительности, или как он говорил, „*poésie vivante*” — живая поэзия живого народа. Его книга проникнута не только пафосом освободительной борьбы, но и пафосом живой народной поэзии» (Там же. С. 206). Ученый указывает на политическое значение труда К. Фориэля, привлекая, наряду с творчеством Дж. Байрона, внимание Европы к борьбе греческого народа против турецкого ига.

¹¹ Обвинение неоправданно: второй том «Истории русской фольклористики» завершается главами «Русская фольклористика в конце XIX—начале XX века» и «Маркс и Энгельс о фольклоре. Начало формирования русской марксистской фольклористики».

¹² См. прим. 19 к отзыву № 1.

¹³ Статья не опубликована.

¹⁴ Марийским аспирантом, по-видимому, являлся К. А. Четкарев, которому М. К. Азадовский помогал в подготовке сказочных сборников: *Марийские сказки. Т. 1: Ронгинский район / Записи К. А. Четкарева; Ред. М. К. Азадовский. [Б.м.]: Марийское кн. изд-во, 1941; Марийские сказки / Сб. К. А. Четкарева; Ред. М. К. Азадовский. Йошкар-Ола, 1948. Утверждение, что М. К. Азадовский не готовил молодых фольклористов в стенах Пушкинского Дома, игнорировало тот факт, что из руководимого им фольклорного семинара Ленинградского государственного университета вышли К. В. Чистов, Н. В. Новиков, А. Д. Соймонов, И. М. Колесническая, Л. М. Лотман и другие видные ученые.*

¹⁵ Речь идет о трехтомной коллективной монографии «Русский фольклор» — учебном курсе, работа над которым началась еще в предвоенные годы. После окончания Великой Отечественной войны Отдел фольклора продолжил работу над этим изданием. Рукопись была сдана в издательство. В начале 1947 года М. К. Азадовский писал украинскому фольклористу Ф. М. Колессе: «Сейчас в печати находится том первый нашего коллективного издания „Русский фольклор” (35 п. л.), куда вошла глава о календарно-обрядовой поэзии (покойный А. И. Никифоров), о заговорах (А. М. Астахова); о загадках, о причитаниях (обе написаны тоже, увы, покойным Г. С. Виноградовым), о свадебной поэзии (Э. В. Гофман — ученица Ю. М. Соколова, московская фольклористка). Открывается том статьей Н. П. Андреева „Проблемы фольклора”, а затем следует большая моя глава (12 п. л.: «История изучения русского фольклора»).

Сейчас подготавливаю к сдаче в производство второй том, куда войдут главы о былинах (А. М. Астахова), о сказках (В. Я. Пропп), о исторических песнях (П. И. Каледский — также скончавшийся уже), А. Н. Лозанова; народный театр (В. Ю. Крупянская) (...) В третий том войдут остальные жанры, в том числе лирическая поэзия и советский фольклор. Труднее всего организовать статью о лирических певцах...» (Цит. по: *Азадовская Л. В. Из научного наследия М. К. Азадовского (Замыслы и начинания) // Азадовский М. К. Статьи и письма: Неизданное и забытое. Новосибирск, 1978. С. 203—204*).

Но издание, как его задумал М. К. Азадовский, не состоялось. В отчете Отдела за 1950 год читаем: «Трехтомник „Русский фольклор” в первом своем варианте считался законченным еще до 1950 года. В 1949 году в связи со сменой руководства Института все три тома были подвергнуты рецензированию и признаны методологически неправильными, построенными на статическом жанровом изложении материалов и подлежащими написанию заново, на основе исторической периодизации явлений народного творчества» (ПФА РАН. Ф. 150. Оп. 1—1950. № 17. Л. 13). В конечном счете коллективная монография «Русский фольклор» концептуально трансформировалась, появилась новая монография «Русское народное поэтическое творчество» (М.; Л., 1953—1956. Т.1; Т. 2. Кн. 1—2). Первый том был посвящен истории народного творчества на протяжении X—начала XVIII века; первая книга второго тома — фольклору середины XVIII—первой половины XIX века. В соответствии с направлением, заданным уже в первом томе, предметом внимания здесь был не тот или иной жанр в целом, а состояние жанра на каждом конкретном историческом этапе, и самое главное — отражение эпохи в фольклорных произведениях. Вторая книга второго тома «Русского народного поэтического творчества» замыкалась на эпохе второй половины XIX—начала XX века. Специальный раздел был посвящен фольклору рабочего класса. Соответствующие главы были написаны П. Г. Ширяевой и В. М. Сидельниковым. Состоявшееся издание, повторяем, не имело ничего общего с проектом М. К. Азадовского.

¹⁶ См. прим. 24 к отзыву № 1.

¹⁷ Директором Института в 1949—1955 годах был Николай Федорович Бельчиков (1890—1979).

СТАТЬЯ М. А. СЕРГЕЕВА О М. К. АЗАДОВСКОМ

(ПУБЛИКАЦИЯ © М. Д. ЭЛЬЗОНА)

20 мая 1951 года М. К. Азадовский писал Ю. Г. Оксману: «Эти „Записки“ (В. Ф. Раевского. — М. Э.)¹ приобрел (за бесценок!) в одном из антикварных магазинов один частный любитель, антиквар-дилетант, геолог по профессии и большой чудак по характеру.² Я о нем не имел никакого понятия, но у нас оказался один общий приятель, которого, быть может, и Вы знаете (он одно время принимал участие в Academia³) Михаил Алексеевич Сергеев.⁴ По своим прямым интересам он сибиревед и этнограф, откуда и идет наша связь и дружба. По отношению ко мне в мрачные дни весны (19)49 года он проявил максимум дружеского участия и, главное, энергии. Не его вина (а, скорее, частично моя неопытность и, пожалуй, растерянность были причиной), что его демарши не привели к должным результатам».⁵

Содержательная архивная справка, открывающая скрупулезную опись фонда № 1109 в Отделе рукописей Публичной библиотеки (РНБ), сделанную Ниной Антоновой Зубковой, избавляет публикатора от необходимости разыскивать нужные сведения об авторе статьи.

«Сергеев Михаил Алексеевич (1888—1965), этнограф, географ, литературовед и издательский работник (добавлю: библиофил, собиратель эпиграмм XIX—1-й половины XX века; см. № 1735—1743, ок. 1000 л. — М. Э.). Михаил Алексеевич Сергеев — человек яркой судьбы. Еще при жизни его именем на Камчатке был назван ледник в долине реки Итковаям, а в 1966 году, через год после смерти, — вулкан в Северном вулканическом районе Среднего хребта. Это признание заслуг ученого-географа, много лет жизни отдавшего изучению Камчатки и северных областей Советского Союза. Северу, его экономике, культуре, этнографии М. А. Сергеев посвятил десятки книг и сотни статей.⁶ Человек щедрой души, он легко делился своими знаниями и большим жизненным опытом со всеми, кто к нему обращался. Жизнь его была богата событиями. Он знал многих замечательных людей своего времени. Встречался с В. И. Лениным, С. М. Кировым, М. И. Калининным, А. В. Луначарским, был близко знаком с А. М. Горьким, Ф. И. Шаляпиным, Б. М. Кустодиевым, К. Ф. Юоном, дружил с К. А. Фединым, М. Л. Слонимским, Г. С. Верейским».⁷ К сказанному остается добавить, что предварительный разбор архива (1823 ед. хр.) в полуосиротевшей квартире по просьбе вдовы осуществил известный краевед и литератор, основатель знаменитого клуба «Вятские книголюб», полковник медицинской службы в отставке Евгений Дмитриевич Петряев (1913—1987), посвятивший своему (едва ли не вдвое) старшему другу очерк «Ученый, на-

¹ См. прим. 26 к тексту публикуемой статьи.

² Подразумевается В. А. Крылов. О нем в комментарии к письму (см. прим. 5).

³ Петроградско-московское издательство (1921—1937).

⁴ В 1926—1929 годах М. А. Сергеев был представителем издательства в Ленинграде. Ю. Г. Оксман мог его знать также как директора издательства «Прибой» в эти же годы.

⁵ *Азадовский Марк, Оксман Юлиан*. Переписка: 1944—1954 / Изд. подгот. Конст. Азадовский. М., 1998. С. 175, 178 (примечания). Сведения о письменных «демаршах» (ходатайствах в защиту М. К. Азадовского) в фонде М. А. Сергеева (Рукописный отдел РНБ) не обнаружены. Несколько писем М. А. Сергеева к М. К. Азадовскому опубликовано в «Литературном наследстве Сибири» (Новосибирск, 1969. Т. 1. С. 365—370). 37 писем и 2 телеграммы М. К. Азадовского М. А. Сергееву за 1948—1954 годы см.: РНБ. Ф. 1109. № 596.

⁶ См.: 1) Писатели Ленинграда: Библиогр. справочник: 1934—1981 / Сост. В. С. Бахтин, А. Н. Лурье. Л., 1982. С. 279; 2) Труды М. А. Сергеева. Петропавловск-Камчатский, 1973. 32 с.; 3) «Сибирские огни»: Указ. содерж. 1922—[2000]. Новосибирск, 1967—[2002]. 431; 215; 224 с. (по указ. имен).

⁷ Сергеев Михаил Алексеевич: Опись фонда. Л., 1988. Л. 1.

ставник, книголюб».⁸ В фонде М. А. Сергеева находятся 185 писем и телеграммы Е. Д. Петряева (за 1951—1965 годы; № 1021—1024).⁹

24 ноября 1954 года стало черным днем для истинных друзей и преданных учеников М. К. Азадовского. Охотовед и этнограф Василий Николаевич Скалон (1903—1976) писал из Иркутска М. А. Сергееву: «Дорогой Михаил Алексеевич! Позавчера вернулся из Томска с конференции. Получил Вашу открытку от 20 ноября, а вчера (9 декабря. — М. Э.) узнал о смерти М. К. Азадовского. Ну что же, все там скоро будем. Чего же тут огорчаться. Человека у нас берегут, как на турецкой перестрелке; что же удивительного, что люди не доживают века. Ну за что травили старика, никому он не делал зла, а его просто сжигали со света».¹⁰ Конечно же, и В. Н. Скалон, и Е. Д. Петряев, и М. А. Сергеев — и не только они! — прекрасно понимали, за что. В первую половину 1950-х годов, и даже после смерти Сталина, имя М. К. Азадовского воспринималось весьма настороженно — с неизменной оглядкой на события 1948—1949 годов, когда Марк Константинович, наряду с другими учеными-филологами, профессорами филологического факультета ЛГУ (Г. А. Гуковский, В. М. Жирмунский, Б. М. Эйхенбаум и др.), был объявлен «безродным космополитом» и изгнан из Ленинградского университета, где он заведовал кафедрой фольклора, а также — из Пушкинского Дома, где он возглавлял Сектор фольклора. Его общественное положение в начале 1950-х годов оставалось трудным, так сказать, полулегальным. С одной стороны, кампания против «космополитов» пошла на спад и довольно быстро выдохлась; с другой стороны, антиинтеллигентский и антисемитский дух конца сороковых заметно окрашивал идеологию и культурную политику в СССР все 1950-е годы (и позднее). Имя М. К. Азадовского не попало под запрет: полностью отстраненный от преподавания, он не был лишен возможности публиковаться (и публиковался), хотя вынужден был отойти от основной сферы своих научных интересов — фольклористики (его труды, посвященные русскому народному творчеству, подверглись в 1949 году особенно жестокой критике); ученому пришлось обратиться к другой области своих научных занятий — декабристоведению. Но и эти его труды также подвергались в ту пору нападкам.

Поэтому, получив статью М. А. Сергеева, редакция «Сибирских огней», принявшая решение отдать должное памяти М. К. Азадовского, оказалась в двусмысленной ситуации. Не откликнувшись на смерть ученого, широко известного именно в Сибири, было бы явной несправедливостью. Во то же время сотрудники редакции, «бойцы идеологического фронта», не имели права игнорировать события еще недавнего времени: ведь официального «отбоя» по поводу «низкопоклонства» и «космополитизма» никто не давал. А XX съезд КПСС, изменивший весь общественный климат в СССР, состоится лишь три месяца спустя после появления статьи М. А. Сергеева об Азадовском. Таким образом, говорить об Азадовском «в полный голос» (как это пытался в своей статье М. А. Сергеев, стремившийся подчеркнуть многообразные заслуги покойного перед отечественной наукой) редакция в тот момент считала невозможным (попросту говоря, — боялась).

В этот переломный момент «Сибирские огни» избирают третий путь. Помещая статью М. А. Сергеева, они подвергают ее серьезному сокращению. Редакционная правка носила в основном тенденциозно-целенаправленный характер. Снимаются отрывки, фразы, отдельные слова, характеризующие размах деятельности М. К. Азадовского, его научный диапазон, широту интересов, пионерскую роль в разработке ряда проблем и т. п.

⁸ В кн.: *Петряев Евг.* Люди: Рукописи: Книги. Киров, 1970. С. 203—242. То же, под загл. «Наставник сибиреведов», в его же книге: *Живая память.* М., 1984. С. 260—270.

⁹ РНБ. Ф. 1139, Петряев Е. Д.

¹⁰ Письмо от 10 декабря 1954 года (РНБ. Ф. 1109. № 1114. Л. 37).

Касаясь откликов на смерть М. К. Азадовского, Е. Д. Петряев замечал в письме М. А. Сергееву от 8 апреля 1955 года: «Относительно некролога М. К. я часто думаю; то, что написал Берков в „Изв. АН“, меня разочаровало из-за отсутствия сибирского колорита.¹¹ Думаю, что без Сибири характеристика М.К. страшно мельчает. Очень хорошо, что Вы пишете для „Сиб. огней“. Мне, конечно, было бы очень лестно выступить с Вами, но ведь серьезного я ничего о М. К. написать не могу, а мои сентиментальности несовременны».¹² Ранее, 12 марта, Е. Д. Петряев писал: «Надо подумать о большом очерке жизни и деятельности М. К. Такую работу Вы бы блестяще выполнили. А она очень нужна (...). Кунгуров на мои вопросы о переиздании работ М. К. и о сборнике памяти М. К. ответил очень холодно. Он об этом и не думал».¹³

В двадцатых числах января 1955 года Сергеев отправил заявку своему давнему знакомому, историку сибирской литературы и литературному критику Николаю Николаевичу Яновскому (1914—1990), возглавлявшему отдел «Библиографии» журнала «Сибирские огни».¹⁴ 8 февраля 1955 года Н. Н. Яновский писал: «Статью о М. К. Азадовском жду непременно. Правильно! Такая статья нужна и именно наш журнал должен с ней выступить. Делайте сколь возможно быстро и сразу же высылайте».¹⁵ 4 мая он спрашивает: «А как со статьей о М. К. Азадовском? Жена М(арка) К(онстантиновича) обещает нам прислать кое-что из его последних работ. Ваша статья и последняя работа М. К. будут хорошим уголком памяти замечательному ученому в нашем журнале. Присылайте!»¹⁶

16 июня: «Об Азадовском — пишите обязательно. И, если можете, не задерживайте. Эта работа Ваша ни в коем случае не пропадет».¹⁷

Работа явно затягивалась. Судя по материалам в архиве М. А. Сергеева, он не только освежил в памяти публикации скончавшегося ученого, но и привлек материалы из его личных дел (автобиография, отзывы о литературной и научно-общественной деятельности и др.).¹⁸ Была у М. А. Сергеева также идея опубликовать дополнение к указателю, составленному Н. С. Бер,¹⁹ на что Н. Н. Яновский отреагировал 20 августа 1955 года: «Библиография для журнала — дело тяжелое. А „Лит(ературное) наследство“ печатает исчерпывающую библиографию о нем?»²⁰ В этот же день Н. Н. Яновский писал Л. В. Брун-Азадовской: «Мне очень жаль, что именно так получилось. Но нужно признать, что материалы, собранные Марком Константиновичем в статье „Во глубине сибирских руд“ — не журнального харак-

¹¹ См.: Берков П. Н. М. К. Азадовский // Известия АН СССР. Отд. лит-ры и языка. 1954. Т. 13. Вып. 6. С. 574. То, что «Группа товарищей» (Лит. газ. 1954. 11 дек.) — тот же автор, корреспондент знать не мог («Меня изумило молчание „Лит. газ.“»; письмо его же к М. А. Сергееву 5 декабря — РНБ. Ф. 1109. № 1021. Л. 93).

¹² РНБ. Ф. 1109. № 1022. Л. 6.

¹³ Там же. Л. 4 об. Гавриил Филиппович Кунгуров (1903—1981) — прозаик, ученик М. К. Азадовского. В письме к М. А. Сергееву 27 января 1955 года Петряев назвал его «самым близким другом» покойного (РНБ. Ф. 1109. № 898. Л. 1). 24 марта Г. Ф. Кунгуров сообщил, что не мог «протащить в план» переиздание «Очерков культ. и лит. Сиб.» (л. 3).

¹⁴ См. его письма к М. А. Сергееву за 1951—1965 годы (РНБ. Ф. 1109. № 1271—1273; 112 писем, отражающих литературно-общественную ситуацию этого дважды переломного времени — от диктатуры через «оттепель» к «застоя»).

¹⁵ РНБ. Ф. 1109. № 1271. Л. 28.

¹⁶ Там же. Л. 31.

¹⁷ Там же. Л. 33.

¹⁸ Л. 43—96. В том числе в связи с баллотировкой в чл.-корр. АН СССР и выдвижением на Сталинскую премию (л. 73—86).

¹⁹ См. прим. 3 к публикации. Доведен до 1943 года.

²⁰ РНБ. Ф. 1109. № 1271. Л. 35. В первой книге 60-го тома («Декабристы-литераторы») был помещен некролог (с фотопортретом) (с. 641—643) и «Хронологический список печатных работ М. К. Азадовского за 1944—1956 гг.» с дополняющим перечнем некрологов (с. 644—646). Оттиск с дарственной Л. В. Азадовской Борису Яковлевичу Бухштабу и Галине Григорьевне Шаповаловой в коллекции публикатора.

тера. По-моему, они очень интересны, но место их в каком-нибудь специальном литературоведческом издании. В таком же духе высказалось и большинство товарищей, прочитавших эту работу» (РГБ. Ф. 542. Сообщено К. М. Азадовским). Статья появилась в печати пять лет спустя, в однотомнике «Статьи о литературе и фольклоре» (М.; Л.: Гослитиздат, 1960). Месяц спустя Яновский пишет Сергееву: «Как Ваша статья об Азадовском? Хотелось бы ее получить от Вас, именно от Вас».²¹ Как бы отвечая на это письмо, М. А. Сергеев 20 сентября исповедовался перед вдовой своего друга: «Сейчас я пытаюсь (не в первый раз) написать статью о Марке Константиновиче для „Огней“. Это по многим причинам и во многих отношениях нелегко для меня. Статья не выходит такой, какой была задумана, не знаю, уместна ли она вообще, но тем не менее усиленно работаю (...) и надеюсь скоро кончить» (РГБ. Ф. 542. Сообщено К. М. Азадовским). Еще через месяц, 22 октября, после слов «Статью Вашу об Азадовском жду» Яновский делает приписку: «P. S. Статью об Азадовском получил. Н. Яновский».²²

Между тем статья могла поступить в редакцию уже в конце сентября. Задержка была более чем уважительна: М. А. Сергеев дал рукопись на просмотр Л. В. Азадовской. 7 октября 1955 года она писала: «Дорогой Михаил Алексеевич, все те некрологи, которые были до Вас,²³ были напечатаны на страницах специальных, научных журналов. Они были очень хороши — каждый по-своему, — но авторы были стеснены рамками издания; они не могли писать, что хотели. Сейчас же мы имеем такое счастливое положение вещей, что Вы выступаете на страницах литературно-художественного журнала и можете писать о нем как писатель. Я так представляла себе, что Вы будете писать о нем как о сибирском ученом и деятеле на страницах сибирского литературного журнала, и писать будете именно Вы — крупнейший сибирский писатель, ученый и деятель. И кроме того, я думала, что Вы, и только Вы, напишете о нем как о человеке. Покажете весь его внутренний облик, всю его духовную сущность. Ибо, кроме Вас, сделать это некому. Да никто и не сможет. Да и где писать об этом? У Вас же для этого все данные: Вы можете выступать не как ученый, а как писатель. Вы пишете на страницах литературно-художественного журнала, значит, над Вами не довлеет штамп казенного официального некролога. Вы можете писать и взволнованно, и эмоционально, и лирически; словом, в любом стиле и плане. Должна сказать, что Вы выбрали совершенно удивительную форму заголовка — „Памяти Марка Константиновича Азадовского (1888—1954)“. Это не некролог, не биографический очерк, а это именно „Памяти...“. И вот „Памяти“ этого человека Вы можете написать все, что угодно и в какой угодно форме и в каком угодно плане».²⁴ Полагая, что присланный ей текст — 20 машинописных страниц — составляет половину запланированного объема, Л. В. Азадовская поделилась с адресатом своими сведениями о жизненном пути покойного (от детских лет до последних дней). Мемуарная часть письма, работа над которой шла в течение четырех дней (7—10 октября 1955 года), появилась в печати (в отредактированном виде) сорок лет спустя.²⁵

10 октября Л. В. Азадовская продолжала: «Возвращаюсь к Вашей рукописи; я внимательно прочла всё и сделала в тексте поправки карандашом. Это ошибки машинописные. А сейчас я сделаю свои замечания и исправления по страницам; это всё, конечно, мелочи и детали.

²¹ Письмо от 17 сентября (РНБ. Ф. 1109. № 1271. Л. 37).

²² Там же. Л. 39.

²³ См. прим. 11 и 20.

²⁴ РНБ. Ф. 1109. № 1271. Л. 30.

²⁵ *Азадовская Л. В.* Сердце не знало покоя // Воспоминания о М. К. Азадовском. Иркутск, 1996. С. 15—25. *Подлинный* текст см.: РНБ. Ф. 1109. № 595. Л. 33—36 (л. 37—38: предваряющее воспоминания вдовы стихотворение А. С. Ольхона «Байкальское сердце», в печатном тексте с. 14), 39—44.

Итак:

Стр. 3, строка 11—12: „революционных демократов 30-х и 50-х годов”. Простите меня за мое невежество; я просто не знаю, разве этот термин применим к эпохе 30-х годов?

Стр. 5, строки 8—11: „Незадолго до кончины им подготовлено новое, выпускаемое Академией Наук издание одного из важнейших источников... Кирши Данилова” и т. д. Так категорично сказать нельзя. Дело в том, что договор на К. Данилова был подписан в январе 1954 г., на 4-м месяце его лежания в постели. Ни разу в библиотеках и в архиве он после этого не был. Он очень много думал о К. Данилове, он перечитал всю литературу по этому вопросу, что была у нас дома; я ему пачками таскала книги из библиотеки. У него были уже свои мысли, свои соображения, своя концепция, свои гипотезы на этот счет. Но, увы, всё это осталось в его голове. На бумагу он успел занести очень немного — кое-какие примечания и комментарии к тексту, отдельные выписки из литературы, какие-то предварительные, совершенно черновые мысли, не дающие даже ключа к его основной концепции («Сборник» имеет уральское происхождение. — М. Э.), ко всему плану задуманной им книги. После его смерти я передала все его записи, все блокноты Бор(ису) Ник(олаевичу) Путилову.²⁶ Сейчас Д. С. Лихачев (он, видимо, будет редактором книги) провел ее через РИСО,²⁷ она включена в план 1956 г. Делать ее фактически будет Б. Н. Путилов; вступительную статью он уже написал.²⁸ Я предупредила их при передаче материалов, что считаю участие М. К. в создании этой книги столь незначительным, что даже не знаю, как это можно отметить на титульном листе. Может быть, они оговорят это в предисловии, во вступительной статье, может быть, они посвятят ее его имени.²⁹ Кроме того, я сказала, что не считаю даже возможным для себя участвовать как наследница в получении гонорара. Может быть, какая-нибудь совершенно незначительная доля, какой-то ничтожнейший процент я и имею право потом получить.

Теперь в отношении „Антиклерикальной сказки” (это середина 5-ой страницы). Эта книга была им подготовлена и она существует в виде единственного экземпляра сверстанной и сброшюрованной книги. На тит(ульном) листе стоит: предисловие Н. М. Маторина и изд(ательство) „Прибой”.³⁰ Год это, вероятно, 1933—1934. Вы помните лучше меня, когда закрылся „Прибой” и когда произошло все прочее.³¹ Словом, эта книга лежала как раритет у него в шкафу. В январе этого года я сдала ее В. Д. Бонч-Бруевичу. Он хотел ее издать в своей серии и сам написать предисловие. Что будет сейчас с ней — не знаю.³² Я уже писала его секретарше, прося вернуть мне обратно». ³³

²⁶ Курсив мой. Ср. иное свидетельство о том же в статье: Азадовская Л. В. М. К. Азадовский: замыслы и начинания // Азадовский М. К. Статьи и письма. Новосибирск, 1978. С. 212. Б. Н. Путилов (1919—1997) — фольклорист. Основными темами исследований до этого были русские и южно-славянские баллады, героический эпос, исторические песни.

²⁷ Редакционно-издательский совет Издательства АН СССР (ныне «Наука»).

²⁸ См.: Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым / Изд. подгот. А. П. Евгеньева и Б. Н. Путилов. Отв. ред. Д. С. Лихачев. М.: Л., 1958. С. 514—565. (На перепл.: «Сборник Кирши Данилова»; статья «Сборник Кирши Данилова и его место в русской фольклористике» открывает раздел «Приложения».)

²⁹ Курсив мой. «Предупреждение» вдовы возымело действие: имя М. К. Азадовского в печати вообще не появилось. Местонахождение набросков неизвестно (сообщено К. М. Азадовским и Т. Г. Ивановой).

³⁰ Николай Михайлович Маторин (1898—1936) — этнограф, религиовед. См. о нем: Носова Г. А. Н. М. Маторин как исследователь религии: К 70-летию со дня рождения // Вопросы научного атеизма. М., 1969. Вып. 7. С. 366—386.

³¹ Т. е. события в Ленинграде, последовавшие за убийством С. М. Кирова.

³² Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич (р. 1873) — ученый, литератор, до 1917 года — исследователь старообрядчества; сподвижник В. И. Ленина; возглавлял Музей истории религии и атеизма. Осуществлению замысла помешала смерть 14 июля 1955 года.

³³ РНБ. Ф. 1109. № 595. Л. 44—45.

В результате фраза: «Незадолго до кончины им подготовлены новое, выпускаемое Академией наук издание одного из важнейших источников для исследования русского эпоса — знаменитого „Сборника Кириши Данилова“, составленного в XVIII в., и антология „Антиклерикальная сказка“» — приобрела следующий вид: «В последний год жизни он готовил новое издание одного из важнейших источников для исследования русского эпоса — знаменитого „Сборника Кириши Данилова“, составленного в XVIII в.».³⁴ Что касается «Антиклерикальной сказки» (с иллюстрациями Е. А. Кибрика; сообщено К. М. Азадовским), то ее экземпляр летом 1955 года поступил в Институт истории АН СССР (ныне РАН), и после значительной переработки, но с указанием: «Составитель М. К. Азадовский» — книга была издана осенью 1963 года под заглавием «Народные сказки о боге, святых и поэтах» (подготовка текста Н. И. Савушкиной, общая редакция и вступительная статья Л. Н. Пушкирева, художник И. П. Борисов). В указателе В. П. Томиной эта книга пропущена.

Получив рукопись, отредактированную Л. В. Азадовской, Н. Н. Яновский сообщил М. А. Сергееву 26 ноября: «Статья Ваша об Азадовском одобрена и пойдет в первом номере за 1956 год. В декабрьскую книжку она не влезла, к моему сожалению».³⁵

А затем произошло непредвиденное — смена редколлегии; в частности, в нее были кооптированы москвичи, С. В. Сартаков и Г. М. Марков. Между 14 и 20 февраля 1956 года Н. Н. Яновский «порадовал» адресата: «Об Азадовском Ваша статья опубликована в № 1 „Сиб(ирских) огней“. Правда, в *сокращенном* виде (курсив мой. — М. Э.) — не моем, а редакторском. Раздавались голоса, что она слишком информациона — пришлось „повоевать“. Поэтому я и пошел на такие сокращения, согласился с ними, а корректуру выслать не мог, т(ак) к(ак) сам в этот период был в Москве, затем в Томске. Извините, что так получилось».³⁶ Свои эмоции М. А. Сергеев выразил на последней странице вырезки из журнала: «Напеч. без авторской корректуры в *искаженном* виде» (курсив мой. — М. Э.).³⁷ Но он не «попомнил зла», откликнувшись на просьбу Яновского о дополнительной, третьей рекомендации в члены Союза советских писателей (две необходимые дали А. Г. Дементьев и С. Е. Кожевников). «Вы перехвалили, — писал Сергееву 18 марта 1956 года Н. Н. Яновский и продолжал: — Поверьте, Вашу статью об Азадовском я попросту спас. Я очень осторожноенько сократил ее стр(аницы) на 2—3, а когда приехал из Москвы — она была набрана уже в *неузнаваемом* виде».³⁸ Трудно сказать, поверил ли М. А. Сергеев в искренность своего корреспондента. Во всяком случае, внешне на их дальнейших отношениях этот неприятный эпизод не отразился.³⁹

Таким образом, в основу настоящей публикации положен *полный* текст статьи М. А. Сергеева, свободный от автоцензурных изъятий редакции, явно искаживших облик ученого, и с учетом авторской правки, сделанной по замечаниям Л. В. Азадовской.⁴⁰ Отдельные существенные изменения зафиксированы в текстологических фрагментах примечаний, куда вынесены *подстрочные* комментарии М. А. Сергеева, в каждом случае особо оговариваемые. Курсивом воспроизведен текст журнальной публикации.

³⁴ Там же. № 300. Л. 5. Ср.: «В последние годы М. К. Азадовский готовил новое издание одного из важнейших источников для исследования русского эпоса — знаменитого „Сборника Кириши Данилова“» (Сибирские огни. 1956. № 1—2. С. 172).

³⁵ Там же. № 1271. Л. 41.

³⁶ Там же. Л. 45 об. Не датировано; время написания установлено по первой фразе о смерти критика Анатолия Кузьмича Тарасенкова (1909—14 февраля 1956): «У меня большое горе. Умер мой друг (...) Он был рецензентом моей книги о Вс. Иванове» (подразумевается внутренний отзыв; монография вышла в том же году в Новосибирске). В левом верхнем углу карандашная запись: «получ. 11/III 56».

³⁷ Сергеев М. Марк Константинович Азадовский // Сибирские огни, 1956. № 1—2. С. 172—174 (РНБ. Ф. 1109. № 300. Л. 22—23 об.; запись на л. 23 об.).

³⁸ РНБ. Ф. 1109. № 1271. Л. 47 (конверт с датой), 49 об.

³⁹ См. прим. 14 (о корпусе писем Н. Н. Яновского в личном фонде М. А. Сергеева в РНБ).

⁴⁰ РНБ. Ф. 1109. № 595. Л. 32, 44—47.

ПАМЯТИ
МАРКА КОНСТАНТИНОВИЧА
АЗАДОВСКОГО
(1888—1954)

24 ноября прошлого года¹ скончался в Ленинграде, после тяжелой болезни, крупнейший советский ученый, фольклорист и литературовед, доктор филологических наук, профессор Марк Константинович Азадовский.

М. К. Азадовский родился 18 декабря 1888 г. в Иркутске, в семье чиновника горного ведомства, учился в местной гимназии, а затем на историко-филологическом факультете Петербургского университета. Научные взгляды его формировались под непосредственным влиянием выдающихся филологов — акад. А. А. Шахматова и проф. И. А. Шляпкина, этнографией он занимался у известного проф. Л. Я. Штернберга.²

После окончания курса в 1913 г. он был оставлен при Университете для подготовки к профессуре.

Научно-исследовательская деятельность М. К. Азадовского началась еще на студенческой скамье. В 1910—1912 гг. он исполнил несколько работ по этнографии и фольклору Сибири, а в 1913 г. опубликовал первую статью «Амурская частушка», написанную на основе материалов, лично собранных у русского старожильского населения Амура.³

В 1918 г. М. К. Азадовский приступил к педагогической работе сначала в Томском университете, потом в Институте народного образования в Чите. С 1923 по 1930 г. он занимал кафедру русской литературы в Иркутском университете.

Тяжелое заболевание горла заставило его прекратить временно преподавание. В 1930 г. М. К. Азадовский переезжает в Ленинград и отдается полностью научно-исследовательской деятельности. Он работает в Институте книговедения, Институте речевой культуры, в Академии искусствознания, а с 1931 г. руководит фольклорной работой в Академии наук — сначала в Институте этнографии, затем в Институте литературы (Пушкинском Доме). В 1934 г. он возвращается к педагогической работе, ведет курс лекций в Ленинградском Институте философии, лингвистики, истории, а с 1938 г. заведует кафедрой фольклора в Университете.

В марте 1942 г. М. К. Азадовский был эвакуирован из Ленинграда и до 1945 г. работал в Иркутске. Затем вернулся в Ленинград, к прежней деятельности в Академии наук и в Университете, продолжавшейся до его последнего заболевания.

Эти краткие биографические сведения не могут, разумеется, дать хотя бы приблизительное представление о богатом жизненном пути М. К. Азадовского как ученого и литератора, педагога и общественного деятеля. Печатное наследие его достигает 350 работ⁴ и свидетельствует о большом разнообразии и широте его научных интересов. И тем не менее нетрудно подметить основные направления исследовательской деятельности М. К. Азадовского. Это, прежде всего, русский фольклор и история его изучения, далее, русская художественная литература, и, наконец, история декабризма.

В области устной народной словесности М. К. Азадовский был, по словам академика С. Ф. Ольденбурга, «блестящим представителем русской школы фольклористов».⁵ Продолжая лучшие традиции передовой отечественной фольклористики, ведущие начало еще от Радищева и декабристов и получившие наиболее яркое выражение в трудах революционных демократов — Белинского, Герцена, Добролюбова, Чернышевского, М. К. Азадовский рассматривал памятники народного поэтического творчества как важнейший источник для познания мировоззрения и культуры трудового народа и исследовал их исторически в непосредственной связи с судьбами самого народа. Внимание его привлекали такие важные пробле-

мы, как сущность фольклора и специфика его как особого вида художественного творчества народа, изменения его идейного содержания и художественной формы в результате перемен в жизни и сознании народа. Вместе с тем он шел в своих изысканиях новыми путями, ставил новые задачи, привлекал новые области и методы изучения.

М. К. Азадовский был превосходным собирателем и исследователем фольклора. Уже ранние, наиболее значительные его публикации — «Ленские причитания» (1922) и «Сказки Верхнеленского края» (1925) — явились образцовыми по тщательности примененных методов собирания и записи текстов. Обратил на себя внимание специалистов и высоконаучный характер комментариев и всего исследовательского аппарата в целом. Вступительные статьи давали тонкий анализ процессов народного творчества, тех сюжетов, мотивов и образов, в которых нашли свое выражение мысли и чувства создателей причетов и сказок. Автор подчеркнул при этом значение в народной поэзии индивидуального начала и вскрыл характерные особенности творчества отдельных мастеров. Надо также заметить, что «Ленские причитания» были первым большим изданием этого жанра фольклора⁶ после известного сборника Барсова⁷ и вызвали появление в свет нескольких таких же начинаний. Не раз переизданные (на русском и иностранных языках), верхнеленские сказки явились в свое время первым опытом публикации и исследования полного репертуара отдельного сказочника. За ним последовал целый ряд аналогичных сборников, предпринятых учениками М. К. Азадовского: «Былины Севера» (1938), «Сказки Карельского Беломорья» (1939), «Русские плачи Карелии» (1940), «Марийские сказки» (1941), «Сказки Ф. П. Господарева» (1941) и др.⁸ По такому же принципу изданы и тексты найденного М. К. Азадовским замечательного сказочника Е. И. Сороковикова («Сказки Магая», 1940). Новшеством в этом собрании являются параллельные тексты одних и тех же сюжетов, записанные на протяжении нескольких лет.

К числу выдающихся публикаций, вышедших в свет по инициативе и с непосредственным участием М. К. Азадовского, относятся также двухтомное издание «Русские сказки. Избранные мастера» (1932) и переиздания известных «Русских народных сказок» А. Н. Афанасьева (1936—1941) и «Онежских былин» А. Ф. Гильфердинга.⁹ В последний год жизни он¹⁰ готовил новое издание одного из важнейших источников для исследования русского эпоса — знаменитого «Сборника Кириши Данилова», составленного в XVIII в.¹¹

М. К. Азадовский положил начало исследованию проблем советского фольклора. Он первым обратил внимание фольклористов и краеведов на необходимость собирания и изучения народного творчества гражданской войны и преподал соответственные методические указания. Работы его ставили важнейшие вопросы современного фольклора, исследовали его специфические особенности и качественные изменения в области тематики и художественности. Знакомил он нашу общественность и с успехами советской фольклористики. Такие статьи и доклады, как «Советская фольклористика перед XVII съездом ВКП(б)» (1934), «Советская фольклористика за 20 лет» (1939), «Итоги советской фольклористики за 25 лет» (1942), — явились первыми обобщающими исследованиями на эту тему. Он же первым проявил инициативу в изучении народного творчества Отечественной войны. По его почину состоялось в 1943 г. обширное совещание сказителей и фольклористов Сибири (Бурят-Монголии, Якутии, Хакасии, Красноярского края, Иркутской и Новосибирской областей), посвященное вопросам изучения военного фольклора и деятельности в этом направлении сказителей и фольклористов. В том же году он участвовал активно в московской конференции по фольклору Отечественной войны, созванной Всесоюзным Домом народного творчества им. Н. К. Крупской. Вскоре вышел в свет при непосредственном его участии первый сборник такого фольклора.¹²

*Исключительно ценный вклад сделан М. К. Азадовским в историю отечественной науки о народном поэтическом творчестве, и он справедливо считается лучшим знатоком историографии русского фольклора. Вопросы развития фольклористики исследовались им в неразрывной связи с историей освободительного движения в России, историей русской общественной мысли и литературы. М. К. Азадовскому принадлежит большая заслуга выяснения роли Радищева, декабристов и революционных демократов в развитии науки о фольклоре.*¹³ Роль эта оказалась настолько велика, что после исследований М. К. Азадовского в научный оборот прочно вошла специальная терминология, отражающая соответственные направления: «декабристская фольклористика» и «революционно-демократическая фольклористика». В недавно изданном учебном пособии для высшей школы¹⁴ одна из лучших глав «Из истории развития русской фольклористики» написана М. К. Азадовским.

*В суровую блокадную зиму 1941—1942 г. он завершил многолетний труд по истории изучения русского народного поэтического творчества, первая часть которого выпускается в настоящее время в свет Академией наук.*¹⁵ Исполненное на высоком теоретическом уровне, исследование прослеживает большой исторический путь отечественной фольклористики от ее зарождения в начале XVIII в. Взамен пресловутой «теории единого потока» и механической смены школ автор устанавливает путем тщательного анализа конкретного материала закономерное, социально-исторически обусловленное развитие науки и *дает — впервые в литературе — отчетливое и верное представление как о последовательных этапах, так и обо всем в целом процессе развития русской фольклористики.* В результате удачно показаны самостоятельный путь отечественной науки, ее передовая роль и прямое — и в идейном и в научном отношении — влияние на зарубежную фольклористику.

*Следует вспомнить и большую организаторскую деятельность М. К. Азадовского в излюбленной им области. Под его бесменным, в течение двадцати лет, руководством отдел фольклора Института литературы Академии наук превратился в мощный всесоюзный центр собирательской и исследовательской работы и предпринял выпуск руководящего органа «Советский фольклор» и ряда капитальных изданий, в подавляющем большинстве с непосредственным участием М. К. Азадовского. Ему же была поручена в свое время разработка плана и программы грандиознейшего собрания фольклора народов СССР, задуманного акад. А. Н. Толстым.*¹⁶

*Деятельное сотрудничество М. К. Азадовского в иностранной печати знакомило западноевропейских и американских ученых с успехами советской фольклористики. Статьи его освещали наиболее значительные труды наших ученых, новые, выдвинутые ими научные проблемы и исследовательские методы. Одна из его основных работ о русско-сибирской сказке вышла в немецком переводе в международной серии фольклорных публикаций.*¹⁷ *Изданные ВОКС'ом*¹⁸ *на нескольких языках обзорные работы его*¹⁹ *впервые познакомили зарубежных ученых с развитием фольклористики в советское время и вызвали с их стороны много специальных докладов и откликов в печати. Одна из таких статей была опубликована в органе французской Коммунистической партии «Humanité».*²⁰

Естественен поэтому тот большой авторитет, которым М. К. Азадовский пользовался в зарубежном ученом мире, у французских, немецких, голландских, бельгийских, болгарских и других исследователей. *Выдающийся чешский славист, академик Ю. И. Поливка, пристально следивший за трудами М. К. Азадовского, свидетельствовал, что именно эти труды показали ему замечательные художественные сокровища русского народного поэтического творчества и громадное методологическое значение советских исследований.*²¹

Значительным вкладом в советскую науку являются и многочисленные работы М. К. Азадовского по истории русской литературы XIX в. Сюда относятся

его исследования о творчестве Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Языкова, Ершова, Тургенева, Короленко, вступительные статьи и комментарии к собраниям сочинений, опубликованные им новые произведения и варианты уже известных произведений. Литературоведческие изыскания М. К. Азадовского в значительной степени связаны с его неизменным интересом к фольклору. Он впервые поставил в широком плане и систематически разрабатывал много лет проблему фольклоризма в отечественной литературе, прослеживая исторически роль фольклора в развитии классической литературы. Широко известные исследования его о влиянии народной поэзии на Радищева, Пушкина, Лермонтова, писателей-декабристов вскрыли идейные истоки и художественные формы такого влияния. Опубликованная недавно статья о «Певцах» Тургенева дает блестящий анализ фольклоризма в его творчестве.²² К рукописному наследию М. К. Азадовского в этой области относятся статьи «Фольклоризм И. А. Бунина» и «Проблема фольклоризма в исследованиях советского времени». Многочисленные исследования М. К. Азадовского в этой области должны были лечь в основу его большого труда «Фольклор и русская литература».²³

Широко известен М. К. Азадовский и как крупнейший знаток декабризма, исследования которого он начал еще в 20-х годах. Благодаря неустанным розыскам новых материалов, особенно в архивах, ему удалось совершить немало ценных находок считавшихся утраченными или совсем неизвестных документов, установить новые, невыясненные прежде эпизоды. Главные интересы его в этой области были устремлены на литературное наследие декабристов и общественную, культурно-просветительную и литературную деятельность их во время пребывания в Сибири. Общие итоги относящихся сюда изысканий вошли в большой, напечатанный в прошлом году, обзорный труд.²⁴ В десятках других работ были опубликованы дневники, воспоминания, переписка и литературные произведения Рыльева, Кюхельбекера, Штейнгеля, Завалишина, Якубовича и других декабристов. Особенно значительны труды М. К. Азадовского о братьях Н. и М. Бестужевых, завершившиеся изданной недавно большой монографией.²⁵ Незадолго до кончины им была подготовлена к печати работа о В. Ф. Раевском.²⁶

В обширном круге научных интересов М. К. Азадовского совершенно особое место занимала Сибирь — история и этнография, фольклор и диалектология, литература, культура и источниковедение, словом, весь цикл гуманитарных знаний о Сибири. Эрудиция М. К. Азадовского в этой области изумляла даже искушенных знатоков Сибири, постоянно прибегавших к его советам и помощи. Будучи крупнейшим сибиреведом в таком широком плане, он продолжал именно в этом отношении традиции таких выдающихся знатоков Сибири, как Потанин, Ядринцев, Щапов, Головачев, Клеменц, Макаренко.²⁷ С этим связана и судьба одной замечательной реликвии, переходящей от поколения к поколению в семье исследователей Сибири. Речь идет о резных из слоновой кости шахматах, принесенных в свое время Д. А. Клеменцом в дар А. А. Макаренко, а им подаренных М. К. Азадовскому как очередному преемнику.²⁸ Относящиеся к Сибири труды М. К. Азадовского весьма далеки от каких-либо областнических тенденций. Сибирь всегда интересовала его как своеобразная, но неразрывная часть России; судьбы ее, хотя и отличавшиеся многими особенностями, он рассматривал в тесной связи с историей России. Свои неустанные сибиреведческие изыскания и популяризацию знаний о Сибири он расценивал как «уплату своего долга воспитавшему его родному краю».²⁹ Долг этот он выплачивал всю жизнь и с лихвою уплатил.

Еще в Петербургском университете он пишет первые работы на сибирские темы и создает студенческий кружок для изучения Сибири. Первое печатное исследование его относится также к Сибири.³⁰ В последующее время он сотрудничает в Институте исследований Сибири (в Томске). Годы пребывания М. К. Азадовского в Иркутске (1923—1930) — были временем расцвета научной жизни в

Сибири. Он — один из энергичнейших деятелей Восточно-Сибирского отдела Географического общества, руководитель этнологической и литературно-краеведческой секции, член Совета и председатель Отдела, представитель сибирских краеведческих организаций в Центральном бюро краеведения. *Стараниями М. К. Азадовского к работе Отдела привлекается много новых сил, учителей и молодежи, применяются новые, коллективные формы работы, сильно оживляется издательская деятельность, устраиваются многочисленные экспедиции для всестороннего изучения края* и, что особенно характерно, предпринимается, едва ли не впервые, изучение современности. *Внимание этнографов, фольклористов, краеведов привлекает не столько старое культурное наследие, сколько происходящие в связи с революцией изменения в жизни и культуре народа.* В результате Восточно-Сибирский отдел занял в те годы одно из первых мест среди местных филиалов Географического общества. *Напомним еще, что М. К. Азадовский явился инициатором и редактором (совместно с Г. С. Виноградовым) известного этнографического издания «Сибирская живая старина» (вып. I—IX, 1923—1929).*³¹ Уже первые томики ее вызвали прекрасные отзывы таких крупных авторитетов, как Д. К. Зеленин, С. Ф. Ольденбург, Ю. М. Соколов.³² Ценность и новизна опубликованных материалов и исследований, высокая научная культура издания полностью оправдали название, сближавшее его с замечательной «Живой стариной», основанной В. И. Ламанским.³³ Не имея возможности оценить хотя бы вкратце разнообразнейшее содержание сборников, я ограничусь лишь указанием на новизну их направления, весьма показательную для проходившего в те годы крутого поворота в интересах научной общественности. Этнографические и фольклорные публикации, статьи по истории изучения Сибири явно свидетельствуют о начавшемся уже в те годы пересмотре старых научных позиций, новых подходах к задачам и методам исследовательской работы, значительному расширению ее тематики, в особенности относящейся к советскому времени. Печатавшиеся в сборниках программные, инструктивные и библиографические материалы преследовали цели популяризации краеведения среди широкого населения, воспитания новых кадров исследователей.

Особенно примечательно заметное перемещение центра этнографической и фольклористической работы. Надо сказать, что в дореволюционное время главные интересы были устремлены на изучение коренных сибирских народностей. Исследование быта и культуры русского старожильческого населения занимало весьма скромное место. Благодаря инициативе и энергии М. К. Азадовского этот существенный пробел в сибиреведении стал усиленно восполняться в советское время. Еще в 1919 г. он выступил в Томске со специальным докладом, призывавшим научную общественность к разносторонним исследованиям в этой области.³⁴ В последующие, иркутские годы он наметил обширную программу изучения русской народности в Сибири: языка, экономического быта, образа жизни, духовной культуры, подчеркнув значение таких кардинальных вопросов, как прогрессивная роль русского народа в Сибири, взаимоотношения и взаимовлияния его местных народностей. Программа эта легла в основу работ Этнологической секции Географического общества, руководимой М. К. Азадовским.

Усиленный интерес к этнографии русских в Сибири отнюдь не заглушил прежних устремлений к изучению коренного ее населения: ненцев, эвенков, тофаларов и других малых народов, а особенно бурятов и якутов, для исследования которых были созданы специальные секции, действовавшие с непосредственным участием представителей этих народностей.

Личные научные интересы М. К. Азадовского влекли его по-прежнему в область фольклора. Не останавливаясь на этой, освещенной выше, стороне его деятельности, напомним лишь о многочисленных записанных и опубликованных им памятниках русской народной словесности в Сибири: былинах, исторических

песнях, сказках, обрядовой поэзии, причитаниях, заговорах, частушках и пр. Упомяну также, что многие труды его по сибирско-русскому фольклору, представляющие большой краеведческий интерес, по своей научной ценности выходят далеко за рамки работ местного, областного значения.³⁵

Велики и заслуги М. К. Азадовского в исследовании русской художественной литературы, связанной с Сибирью. Вопросы эти рассматривались им в двух планах: изучения литературного движения в самой Сибири и отражения сибирской тематики в русской литературе. Взгляды М. К. Азадовского на сибирскую литературу вытекали из его общего отношения к сибиреведению и его задачам. Культурно-историческое прошлое Сибири являлось для него с этой точки зрения неотъемлемой частью общерусской национальной культуры. Разрабатывая вопросы об истоках сибирской литературы, ее зарождении и дальнейшем развитии, прослеживая ее судьбы на отдельных этапах, выясняя историко-литературные и общекультурные традиции Сибири, он исходил из тесной связи их с общерусской культурой и литературой.

Внимание М. К. Азадовского привлекали не только большие писатели, выступавшие с сибирскими темами и прочно вошедшие в отечественную литературу: Короленко, Ершов, Оммулевский,³⁶ Арсеньев, которым он посвятил несколько работ.³⁷ Изыскания в архивах и старых, малодоступных периодических и других изданиях помогли ему воскресить много совсем неизвестных или забытых имен, оставивших еле заметные следы своего творчества (М. Александров, Ф. Бальдауф, Е. Милькеев и др.).³⁸ В результате помимо отдельных этюдов на сибирские литературоведческие темы³⁹ М. К. Азадовский опубликовал первые и единственные до сих пор исследования общего характера о развитии литературного движения в Сибири с конца XVIII в. до советского времени.⁴⁰ Надо заметить, что в посвященных сибирской литературе работах М. К. Азадовский не ограничивался чисто литературоведческим материалом. Он поднимал общие вопросы развития культуры в специфических условиях Сибири, отмечал значение просветительной деятельности политической ссылки, в частности декабристов, особенно для формирования передовой местной интеллигенции, давал яркие характеристики культурных гнезд в сибирских центрах, духовных интересов сибирского общества и его отдельных лучших представителей.

В своем роде уникальный вклад сделан М. К. Азадовским в библиографию Сибири.⁴¹ Неустанным сорокалетним розыскным всяческих, относящихся к Сибири материалов, тщательное, в частности, обследование старой периодической, в том числе и газетной, печати сделало его буквально энциклопедистом в области источниковедения. Помимо программных докладов и статей о методологии и задачах сибирской библиографии ему принадлежит много текущих обзоров новых библиографических изданий. Особенную, полностью сохранившуюся до сегодняшнего дня, ценность представляют составленные лично им библиография библиографических работ о Сибири и целый ряд указателей по отдельным отраслям сибиреведения. Все эти публикации дополняют и продолжают известную «Сибирскую библиографию» В. И. Межова, заканчивающуюся, как известно, 1890 г.⁴² Замечательный «Обзор библиографии Сибири» (1920 г.) содержит исчерпывающий перечень источников, начиная от первых библиографических изданий 60-х годов. Отраслевые указатели относятся к народному хозяйству, этнографии, фольклору и темам «Декабристы в Сибири» (1925) и «Сибирь в русской художественной литературе» (1926). Интересны и многочисленные библиографические материалы о выдающихся ученых-сибироведах (Макаренко, Швецове,⁴³ Шапове и др.).

М. К. Азадовский был также одним из инициаторов и членом главной редакции «Сибирской советской энциклопедии».

Неизгладимые следы оставила в Сибири педагогическая деятельность М. К. Азадовского, подготовившего в Томске, Чите, Иркутске много прекрасно образован-

ных педагогов и ученых, успешно работающих в местных университетах и институтах. Особенно много внимания уделял он воспитанию новых исследователей фольклора. Памятником его трудов в этом направлении являются замечательные «Письма молодых фольклористов», опубликованные в 1945 г. в Иркутске.

Общественно-политическая деятельность его проявилась особенно ярко в военные годы, проведенные им в Иркутске. Он делает в это время много докладов в основном по его инициативе Обществе истории, литературы, языка и этнографии, на ученых сессиях Университета и Педагогического института, выступает с публицистическими статьями в местной печати, читает лекции на различных курсах и семинарах, созданных Обкомом ВКП(б) и командованием Забайкальского фронта. Темы его печатных и публичных выступлений⁴⁴ всецело продиктованы военным временем («Роль фольклора в патриотическом воспитании учащихся», «Задачи филологических исследований в дни Отечественной войны», «Народное творчество — орудие воспитания масс» и др.). Будучи одним из старейших членов Союза писателей,⁴⁵ он принимает горячее участие в работе Иркутского его отделения: консультирует писателей, редактирует альманах «Новая Сибирь», выступает на конференциях литераторов Иркутской области и Забайкальского фронта. Немало помощи оказал М. К. Азадовский в научной работе Институтам языка, истории и литературы в Улан-Удэ и Якутске.

Интересу к Сибири М. К. Азадовский был верен до конца своих дней. Тяжело больно последние годы, он не переставал интересоваться научной и литературной жизнью Сибири, пристально следил за всеми появлявшимися новинками, поддерживал обширную переписку с учеными, педагогами, писателями, печатался в местных изданиях — альманахах «Новая Сибирь» и «Забайкалье», в журнале «Сибирские огни», неизменным сотрудником которого он был с 1925 г.⁴⁶

¹ В журнале (с. 172): «Год тому назад».

² Илья Александрович Шляпкин (1858—1918) — филолог, палеограф, книговед, библиофил. Профессор Петербургского/Петроградского университета (1900), член-корреспондент Петербургской Академии наук (1907). Алексей Александрович Шахматов (1864—1920) — языковед, историк древнерусской литературы, летописания. Профессор Петербургского/Петроградского университета (1909). Академик Петербургской Академии наук (1894). Лев Яковлевич Штернберг (1861—1927) был профессором Петроградского/Ленинградского университета с 1918 года. Памяти учителя М. К. Азадовский посвятил анонимную статью в «Сибирской живой старине» (1928. Вып. 7. С. I—VIII).

³ Сведения о работах М. К. Азадовского приведены в изданном к 30-летию его научно-литературной деятельности указателе: «Библиография М. К. Азадовского. 1913—1943 гг.». Сост. Н. С. Бер. Под общей редакцией проф. В. Д. Кудрявцева. — Общество истории, литературы, языка и этнографии при Иркутском государственном университете. Иркутск, 1944. *Прим. М. А. Сергеева.*

⁴ По данным указателя Н. С. Бер. Ср. аналогичную работу В. П. Томиной (Новосибирск, 1983).

⁵ Источник цитаты не установлен. Ср. высказывание выдающегося индолога, академика Сергея Федоровича Ольденбурга (принца Ольденбургского, 1863—1934) в обзорной рецензии на «Сибирскую живую старину» (Вып. 1—6. Иркутск, 1923—1926): «Условия, в которых приходится работать такому крупному исследователю нашей сказки и этнографу вообще, как М. К. Азадовский, ненормальны» (Этнография. 1927. № 1. С. 235).

⁶ На полях журнальной вырезки (с. 173) карандашная оценка изъятия: «!» — характеристика явного преувеличения роли М. К. Азадовского.

⁷ Е. В. Барсов. «Причитания Северного края», т. I—II. 1872—1882. Сборник этот был в свое время высоко оценен В. И. Лениным и А. М. Горьким. *Прим. М. А. Сергеева.* Автор явно преувеличивает данную оценку классического труда выдающегося фольклориста Елпидифора Васильевича Барсова (1836—1917). Ср.: 1) *Бонч-Бруевич В. Д.* В. И. Ленин об устном народном творчестве // Сов. этнография. 1954. № 4. С. 120 (свидетельство Демьяна Бедного о положительной характеристике состава двухтомника и резком отзыве о предисловии); 2) *Горький М.* Вопленица // Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1953. Т. 23. С. 231 (зафиксирован факт издания плачей Ирины Федосовой).

⁸ Имеются в виду выпущенные под редакцией М. К. Азадовского сборники А. М. Астаховой (т. 2 вышел в 1951 году), А. Н. Нечаева, М. М. Михайлова, К. А. Четкарева, Н. В. Нюкова.

⁹ Александр Николаевич Афанасьев (1826—1871) — историк русской литературы, книговед, фольклорист. Александр Федорович Гильфердинг (1831—1872) — фольклорист, автор работ по истории прибалтийских славян.

¹⁰ В журнале (с. 172): «В последние годы М. К. Азадовский».

¹¹ Это самый ранний сборник русских былин, впервые опубликованный в 1804 г. и переизданный в 1818, 1901 и 1938 гг., является в настоящее время библиографической редкостью. М. К. Азадовскому принадлежит заметка о нем, напечатанная посмертно в журн. «Огонек» (1955, № 10). *Прим. М. А. Сергеева.* Подразумеваются следующие издания: 1) Древние русские стихотворения Кирши Данилова. М.: тип. С. Селивановского, 1804. 324 с.; 2) Древние российские стихотворения, собранные Киршей Даниловым и вторично изданные с прибавлением 35 песен и сказок, доселе неизданных, и нот для напева. М., 1818. XL, 425 с. с нот.; 3) Сборник Кирши Данилова. Изд. Публ. 6-ки / Под ред. П. Н. Шеффера. СПб., 1901. XLVIII, 284 с., 1 л. факс.; 4) Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым / Изд. подгот. С. К. Шамбинаго. М., 1938. XIX, 312 с. с заставками и концовками. О реализации Б. Н. Путиловым замысла своего учителя см. во вступительной статье к настоящей публикации (ср. его очерк «Постоянство целеустремленности» в сб.: Воспоминания о М. К. Азадовском. Иркутск, 1996. С. 160—168). Новейшее научное издание см.: Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым / Изд. подгот. А. А. Горелов, Е. И. Якубовская. СПб., 2000. 430 с. с илл., нот. (Полное собрание русских былин. Т. 1). Посмертная журнальная публикация М. К. Азадовского (с. 19) подписана «М. А.».

¹² Фронтовой фольклор. Записи, вступит. статья и комментарии В. Ю. Крупянской под ред. и с предисл. проф. М. К. Азадовского. Госуд. Литературный музей. М., 1944. *Прим. М. А. Сергеева.* Вера Юрьевна Крупянская (1897—1985) — этнограф, фольклорист; «близкий друг семьи Азадовских» (см.: *Азадовский Марк, Оксман Юлиан.* Переписка: 1944—1954 / Изд. подгот. Конст. Азадовский. М., 1998. С. 47).

¹³ См. работы его: Добролюбов-фольклорист (Советский фольклор, вып. II—III. Л., 1935); Добролюбов и русская фольклористика (Известия Акад. наук СССР, Отдел обществ. наук, т. I—II, Л., 1936); Н. Г. Чернышевский в истории русской фольклористики (Учен. записки Ленингр. Гос. ун-в-та, серия филолог. наук, XII, 1941); Белинский и русская народная поэзия (Литературное наследство, т. 55; М., 1948); Декабристская фольклористика (Вестник Ленингр. Гос. ун-в-та, 1948, № 1); Народная песня в концепциях русских революционных просветителей 40-х годов (Известия Акад. наук СССР. Отдел. литер. и языка, т. IX, вып. 6, 1950). *Прим. М. А. Сергеева.*

¹⁴ Русское народное поэтическое творчество. Пособие для вузов под общей редакцией проф. П. Г. Богатырева. Учпедгиз. М., 1954. *Прим. М. А. Сергеева.* Петр Григорьевич Богатырев (1893—1971) — фольклорист, этнограф, театровед.

¹⁵ Очерки по истории русской фольклористики (XVIII в.—перв. пол. XIX в.), 40 печ. л. *Прим. М. А. Сергеева.* Имеется в виду: *Азадовский М. К.* История русской фольклористики / Вступ. стат. В. Жирмунского. М.: Учпедгиз, 1958. Т. 1. 479 с.; 1 л. портр. (АН СССР. Отд-ние лит. и языка). В 1963 году вышел 2-й том (363 с.). Перемена заглавия явно связана с профилем издательства.

¹⁶ Свод фольклора народов СССР (Доклад М. К. Азадовского в Отдел. языка и литерат. Акад. наук СССР). Известия Акад. наук СССР. Отдел. яз. и лит. 1941, II. *Прим. М. А. Сергеева.* Писатель, общественный деятель Алексей Николаевич Толстой (1882/1883—1945), «третий граф» (по выражению И. А. Бунина), был избран в действительные члены АН СССР (по статусу Академии) в 1939 году.

¹⁷ Eine sibirische Märchenerzählerin. (Folklore Fellows Communications № 66—68). *Прим. М. А. Сергеева.*

¹⁸ Всесоюзным обществом культурных связей с заграницей.

¹⁹ Les études du folklore en USSR (1918—1933). «Voks», 1933, VI. The science of Folklore in the USSR, там же и др. *Прим. М. А. Сергеева.*

²⁰ Le folklore revolutionnaire. L'Humanité, 1933, 15 décembre. *Прим. М. А. Сергеева.*

²¹ Йиржи Поливка (1858—1933) — фольклорист, лингвист, историк литературы. Профессор Карлова университета. Действительный член Чешской Академии наук, член-корр. АН СССР. Адепт школы сравнительно-исторического изучения фольклора. Основополагающие работы посвящены славянской народной сказке. См. статью о нем П. Г. Богатырева (Краткая литературная энциклопедия. Т. 5. Стб. 844).

²² «Певцы» И. С. Тургенева. Известия Академии наук СССР. Отдел литературы и языка, т. XIII, вып. 2. 1954. *Прим. М. А. Сергеева.* Посвящение зачеркнуто по рекомендации Л. В. Азадовской: «Я бы сняла эти слова „Памяти Н. Л. Бродского“, т. к. здесь они совсем не нужны и страшно мешают при чтении» (РНБ. Ф. 1109. № 595. Л. 46). Николай Леонтьевич Бродский (1881—1951) — историк русской литературы и общественной мысли XIX века. Профессор МГУ. Научный сотрудник ИМЛИ. Академик АПН РСФСР. Высокое мнение о нем М. К. Азадовского и Ю. Г. Оксмана и скорбь по утрате отражены в письмах от 12 и 17 июня 1951 года. См.: *Азадовский Марк, Оксман Юлиан.* Переписка. С. 191—192, 195.

²³ Текст изменен по рекомендации Л. В. Азадовской (первоначально: «и большой, как бы завершающий многолетние изыскания, труд»): «Это был замысел, была какая-то концепция, какая-то тема. Все это нашло свое осуществление в исписанных страницах, но в каком это все виде? Ведь это всё еще самые первые редакции, первые черновые записи и наброски» (там же).

²⁴ *Затерянные и утраченные произведения декабристов*. Историко-библиографический обзор М. К. Азадовского. *Литературное наследство*, т. 59. 1954. Прим. М. А. Сергеева. В сокращении включено в текст статьи (с. 173).

²⁵ Воспоминания Бестужевых. Редакция, статья и комментарии М. К. Азадовского. Академия наук СССР. Литературные памятники. Л., 1951. 891 стр. с иллюстр. Прим. М. А. Сергеева.

²⁶ Из неизданного литературного наследия В. Ф. Раевского. «Воспоминания» В. Ф. Раевского. Публикация М. К. Азадовского. *Литературное наследство*, т. 60 (печатается). Прим. М. А. Сергеева. Место публикации — в тексте статьи (с. 173). См.: Воспоминания В. Ф. Раевского / Публ. М. К. Азадовского // Лит. наследство. 1956. Т. 60. Кн. 1. С. 47—128. Владимир Федосеевич Раевский (1795—1872) — поэт, публицист; по вошедшему в обиход выражению П. Е. Щеголева — «первый декабрист».

²⁷ Григорий Николаевич Потанин (1835—1920) — географ, этнограф, публицист, фольклорист. Об идентификации его с прозаиком Гавриилом Никитичем Потаниным (1823—1910) см.: *Макеев А. Ф. Г. Н. Потанин-писатель и Г. Н. Потанин-путешественник* // Рус. лит. 1968. № 3. С. 197—198. Николай Михайлович Ядринцев (1842—1894) — публицист, исследователь Сибири, археолог, этнограф; идеолог «сибирского областничества» (отделения от Российской империи). Афанасий Прокопьевич Шапов (1830—1876) — историк, публицист; «сибирский Плеханов» (первый пропагандист марксизма). Дмитрий Михайлович Головачев (1866—1914) — этнограф, правитель дел Читинского отделения Русского Географического общества. Дмитрий Александрович Клеменц (1848—1914) — народник, земледелец; географ, геолог, этнограф, археолог. Его знаменитое «Письмо к графу Д. А. Толстому» (министру народного просвещения) долгое время приписывалось М. Е. Салтыкову-Щедрину (см.: *Бессонов Б. Л.* Не Щедрин, а Д. А. Клеменц // Рус. лит. 1970. № 1. С. 171—173; публикация новонайденного письма к П. Л. Лаврову). Алексей Алексеевич Макаренко (1860—1942) — этнограф, сибиревед. См. его исследование: Д. А. Клеменц в этнографическом отделе Русского музея (1901—1909 гг.). Иркутск, 1917. 40 с. Отт. из т. 45 «Известий» ВСОРГО (Вост.-Сиб. отдела Рус. Геогр. о-ва).

²⁸ «Я беру коробочку, в которой они лежат, — писала Л. В. Азадовская М. А. Сергееву 30 сентября 1955 года, — под крышкой записка, на которой рукою А. А. Макаренко написано следующее: „Шахматы Д. А. Клеменца, подаренные А. А. Макаренко (в) 1909 г.; подарены проф. М. К. Азадовскому. 24. VIII. 1941 г. А. Макаренко. На добрую память о Клеменце и Макаренко“. Помню, что он подарил М. К. эти шахматы на нашей квартире на ул. Герцена. Шахматы эти вырезаны из слоновой кости, очень миниатюрные. Белого и красного цвета. М. К. считал (так он всегда говорил мне), что это китайская работа (...). Что касается характера фигур, то (...) они имеют обычный стандартный вид» (РНБ. Ф. 1109. № 595. Л. 27 об., 28). 24 ноября 1984 года «эстафетную шкатулку» торжественно вручил юбиляру наследник третьего владельца, добавив вторую записку: «Подарены профессору К. В. Чистову, ученику и продолжателю дела М. К. Азадовского (...) К. Азадовский»; см.: *Бахтин В. С.* Жизнь и труды моего учителя: Заметки и воспоминания // Воспоминания о М. К. Азадовском. Иркутск, 1996. С. 27. Решения о премии Кирилл Васильевич еще не принял (сообщено Т. Г. Ивановой).

²⁹ Очерки литературы и культуры в Сибири. Вып. 1. Иркутск, 1947, стр. 4. Прим. М. А. Сергеева. Ср. характеристику Н. М. Ядринцева (прим. 27).

³⁰ Амурская частушка. Приамурье, 1913, 22 декабря. Прим. М. А. Сергеева. Не отмечена подпись: М. А-ий (см. указатель В. П. Томиной, № 2; литературный дебют М. К. Азадовского состоялся в той же газете 2 апреля 1911 года — «Письмо в редакцию» о демонстрации фильма «Падение Трои» в Хабаровске и его рекламе в «Приамурье»).

³¹ Георгий Семенович Виноградов (1878—1954) — диалектолог, этнограф, фольклорист. Член-корр. АН СССР (1925).

³² Дмитрий Константинович Зеленин (1878—1954) — этнограф, фольклорист и диалектолог, член-корр. АН СССР (1925). О С. Ф. Ольденбурге см. прим. 5. Юрий Матвеевич Соколов (1889—1941) — фольклорист, литературовед, действительный член АН УССР (1939). Их отзывы см.: 1) *Zelenin D. K.* Die russische (Ostslavische) volkskundliche Forschung in den Jahren 1914—1926 // *Zeitschrift für slavische Philologie*. 1927. Bd. IV. Dop. 3/4. S. 420; 2) *Соколов Ю. М.* Работа по русскому фольклору за революционный период // *Этнография*. 1926. № 1/2. С. 175—176 (в оглавлении: Обзор работ по фольклору за революционный период).

³³ Журнал «Живая старина» (1890—1916) издавался Русским Географическим обществом. Владимир Иванович Ламанский (1833—1914) — историк, академик Петербургской Академии наук (1900).

³⁴ Об этнографическом изучении русского населения Сибири. Труды съезда по организации Института исследований Сибири. Томск, 1919. Прим. М. А. Сергеева.

³⁵ Здесь имеются в виду «Ленские причитания», «Сказки Верхнеленского края», статья «Eine sibirische Märchenerzählerin» и др. Прим. М. А. Сергеева.

³⁶ Псевдоним поэта и прозаика Иннокентия Васильевича Федорова (1836 или 1837—1883).

³⁷ Статьи о Короленко, Ершове, Омuleвском см. в названной выше «Библиографии М. К. Азадовского. 1913—1943». Позже появилась статья «Якутия в творчестве В. Г. Короленко» в сборнике «В. Г. Короленко в Амгинской ссылке», Якутск, 1947. Посмертная работа «В. К. Арсеньев — путешественник и писатель» выходит в Читинском издательстве. *Прим. М. А. Сергеева*. См.: 1) В. К. Арсеньев — путешественник и писатель: [Опыт характеристики]. Чита, 1955. 88 с. По свидетельству Е. Д. Петряева (письмо к М. А. Сергееву от 28 мая 1955 года; РНБ. Ф. 1109. № 1022. Л. 10 об.), подзаголовок был дан им для ускорения прохождения рукописи; 2) То же, в сокращении: В. К. Арсеньев: Критико-биограф. очерк. М., 1956. 79 с.; 3) То же в кн.: *Арсеньев В. К.* Жизнь и приключения в тайге. М., 1957. С. 7—72.

³⁸ Т. е. поэт и прозаик Федор Иванович Бальдаф (1800—1839), поэты Матвей Алексеевич Александров (ок. 1800—1850-е) и Евгений Лукич Милькеев (1815—ок. 1845).

³⁹ «Бурятия в русской лирике» (1925), «Рукописные журналы в Восточной Сибири в первой половине XIX века» (1933), «Раннее культурное и литературное движение в Сибири» (1940) и др. *Прим. М. А. Сергеева*.

⁴⁰ «Сибирская литература. К истории постановки вопроса» (1923); «Литература Сибирская» (1932). Ценность последней статьи увеличивается благодаря богатому библиографическому материалу. *Прим. М. А. Сергеева*.

⁴¹ Этой теме посвящена кандидатская диссертация: *Томина В. П.* М. К. Азадовский. 1888—1954: Библиографическая деятельность. Автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. пед. наук. Л., 1975. 22 с. (ЛГИК им. Н. К. Крупской). См. также: *Томина В. П.* Библиографическая деятельность М. К. Азадовского // Сов. библиогр. 1975. № 2. С. 45—57.

⁴² Владимир Измайлович Межев (1830—1894) — первый в России библиограф-профессионал. Упомянутый фундаментальный труд был издан в трех томах (СПб., 1891—1892).

⁴³ Сергей Порфирьевич Швецов (1858—1930) — историк, этнограф, краевед.

⁴⁴ Далее в журнале (с. 174): «проникнуты духом советского патриотизма».

⁴⁵ М. К. Азадовский стал членом Союза советских писателей с момента его основания (1934; см. краткую хронику жизни и деятельности в указателе В. П. Томиной, с. 10).

⁴⁶ Далее — подытоживающая (посредине листа) черта и зачеркнутое крест-накрест резюме: «В памяти всех соприкасавшихся с М. К. Азадовским навсегда останется замечательный облик выдающегося ученого и общественного деятеля, необычайно скромного и доброжелательного человека» (л. 20).

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

© С. В. Березкина

ВОСПОМИНАНИЯ А. Н. ВУЛЬФА И М. И. ОСИПОВОЙ О ПУШКИНЕ В ЗАПИСИ М. И. СЕМЕВСКОГО 1880 ГОДА

Михаил Иванович Семевский (1837—1892), историк, публицист, издатель (с 1870 года) журнала «Русская старина», вошел в пушкиноведение как автор нескольких биографических статей, причем наиболее значительной из них была «Прогулка в Тригорское».¹ До настоящего времени ни одна из биографий Пушкина не может обойтись без тех материалов, которые ввел в научный оборот Семевский, опубликовав эту статью в 1866 году на страницах «Санкт-Петербургских ведомостей». Всю свою жизнь Семевский был связан с Псковской губернией,² которая за горячую любовь к ней отплатила ему находками интереснейших документов, сюжетов, тем. Особый интерес Семевский проявлял к культурным «дворянским гнездам» Псковщины. Именно Семевский открыл в 1860 году у А. Н. Креницына в великолукском имении Мишнево целый «музей декабристов» с редчайшими экспонатами и документами, среди которых оказался и такой раритет, как верстка не вышедшего из печати альманаха А. А. Бестужева и К. Ф. Рылеева «Звездочка» на 1826 год. Семевский писал о «Звездочке» трижды, причем первая из его статей попала под запрет цензуры и вышла в 1862 году в сборнике «для служебного поль-

¹ Пушкину посвящены следующие статьи М. И. Семевского: 1) Прогулка в Тригорское (Заметки и материалы для биографии Пушкина, Жуковского, Языкова и бар. Дельвига) // Санкт-Петербургские ведомости. 1866. 24 мая, 31 мая, 11 июня, 17 июня, 22 июня, 29 июня; 2) К биографии Пушкина: Выдержки из записной книжки // Русский вестник. 1869. № 11. С. 60—107; 3) Заметки, поправки и дополнения // Русская старина. 1870. Т. 1 (1-е изд.). № 4. С. 404—405; 4) Могила Пушкина (Письмо в редакцию) // Новое время. 1880. 25 мая; 5) Собрание сочинений А. С. Пушкина, вышедшее в 1880 году [Рецензия] // Русская старина. 1880. Т. 28. № 7. С. 585—592; 6) Памятник А. С. Пушкину в С.-Петербурге 1881 г. // Русская старина. 1884. Т. 43. № 9. С. 654. Кроме того, новые сведения из биографии Пушкина сообщались Семевским в статьях «Н. М. Языков. 1803—1846 (Новые стихи его и письма)» (Русский архив. 1867. № 5—6. С. 712—748), «Князь Александр Михайлович Горчаков в его рассказах из прошлого» (Русская старина. 1883. Т. 38. № 10. С. 159, 164), некрологе «А. А. Краевский» (Русская старина. 1889. Т. 63. № 9. С. 709—710) и др. В поездках Семевский вел расспросы о Пушкине, общаясь с его знакомыми и родственниками. Их сообщения он записывал и использовал затем в своих работах (например, в статье о Горчакове). После смерти Семевского опубликована одна из его записей о Пушкине в изд.: Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина Б. Л. Модзалевского, Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского. Пг., 1924. С. 126—130 (сообщение С. М. Шпичера «Беседа М. И. Семевского с дочерью Пушкина графиней Н. А. Меренберг»).

² Из новейшей литературы о Семевском назовем следующие издания: *Филин М. Д.* О Пушкине и окрест поэта. М., 1997. С. 176—187 (фрагмент из путевого дневника Семевского 1881—1882 годов, хранящегося в РГАЛИ); *Порох В. И.* Офицер, историк, издатель: Все о М. И. Семевском. Саратов, 1999; «В этих книгах вся моя скромная труженическая жизнь»: Каталог книг библиотеки М. И. Семевского из собрания государственного учреждения культуры «Государственный музей политической истории России» / Сост. О. Б. Кох, С. А. Ходаковская. СПб., 2002. Особо следует выделить книгу В. И. Пороха, насыщенную свежими архивно-биографическими материалами (в основном по фондам Пушкинского Дома). В ней освещается вклад Семевского в развитие исторической науки и формирование прогрессивного общественного сознания в России. Автор показывает Семевского как неутомимого просветителя, горячо сочувствовавшего реформационной доктрине самодержавия. К сожалению, в книге, которая рассказывает «все о М. И. Семевском», нет даже упоминания имени Пушкина (см. именной указатель).

зования». Широкому же читателю Семевский сумел сказать об опальном альманахе лишь в 1866 году в одной из сносок статьи о Тригорском.³

«Прогулка» в Тригорское была предпринята Семевским летом 1865 года, причем сначала он посетил Голубово — имение барона Б. А. Вревского, женатого на Е. Н. Вревской, рожд. Вульф, а затем Тригорское — родовое имение Осиповых — Вульфов вблизи неразрывно связанного с именем Пушкина сельца Михайловское. В это время Семевский работал над статьей об Иоанне VI Антоновиче и «Брауншвейгском семействе» и, вероятнее всего, обратился к А. Н. Вульфу, тогдашнему владельцу Тригорского, в поисках документов о его предке, архангельском страже Иоанна VI. Документы эти были предоставлены Семевскому, но к ним в придачу, возможно не совсем неожиданно для себя, он получил доступ к еще более ценным материалам — это были письма Пушкина, Н. М. Языкова, А. А. Дельвига, а также тригорские альбомы с их автографами, среди которых были и неизвестные в печати тексты. В ближайшее после этого время в Петербург были доставлены копии с писем, сделанные Е. Е. Шокальской, рожд. Керн, причем с учетом тех вырезок, которые с самого начала сделал в них Вульф; таким образом, полных текстов писем Пушкина в распоряжении Семевского не было.⁴ 12 августа 1865 года Семевский писал Креницыну о цензурных вырезках из напечатанной им в том же году статьи о материалах креницынского архива: «Затем, что касается до выброшенных ныне цензурою... строк... — то будьте уверены, — осенью же — я их приведу в печати в одной из новых статей моих (у меня теперь великолепные материалы новые о Пушкине А. С. (26 неизданных его писем!), Языкова-поэта — 46 писем) и проч. Следовательно, по поводу чего-либо, а найду-таки случай привести и Ваши поэтические строчки на смерть Пушкина,⁵ те собственно строки, какие ныне уничтожены цензурою...»⁶ В письме от 12 августа 1865 года речь, несомненно, идет о замысле «Прогулки в Тригорское». В это же время Семевский начал переговоры о публикации статьи с редактором «Санкт-Петербургских ведомостей» В. Ф. Коршем. 6 октября Корш написал в ответ на какое-то из его писем: «За вторичное обещание о „Прогулке в Тригорское” приношу Вам мою искреннюю благодарность».⁷

В 1865 году у Семевского завязались прочные дружеские отношения с обитателями Тригорского и Голубова. Воспоминаниями о Пушкине с Семевским поделились дети Прасковьи Александровны Осиповой (1781—1859) — Алексей Николаевич Вульф (1805—1881), Мария Ивановна Осипова (1820—1896), Евпраксия Николаевна Вревская (1809—1883). Особенную ценность представляли рассказы Вульфа, который был приятелем Пушкина и много общался с ним. Пушкин отзывался о Вульфе с уважением и делился с ним своими размышлениями и творческими планами (все это отразилось в дневнике Вульфа — ценнейшем источнике сведений о биографии поэта). Знакомство 1865 года было закреплено приездом Семев-

³ О других публикациях Семевского, сообщавших о «Звездочке», см.: Степанов А. Н. О судьбе декабристского альманаха «Звездочка» // Сборник статей и материалов Библиотеки АН СССР по книговедению. Л., 1970. Вып. 2. С. 62—63.

⁴ В анонимном некрологе А. Н. Вульфа утверждалось, что автографы хранились им до конца жизни «как драгоценность и на время лишь были сообщены М. И. Семевскому», когда он работал над «Прогулкой в Тригорское» (Голос. 1881. 23 апр.).

⁵ Имеется в виду послание Креницына «Сестре Н. Н. К(реницыно)й, просившей у меня стихов в альбом» (1837). С изъятием девяти стихов послание Креницына было напечатано Семевским в 1865 году в статье «Библиографические заметки. А. Креницын, гр. Я. Ростовцев и В. Соколовский» (Отечественные записки. 1865. № 8. Кн. 2. С. 286—287). Семевскому пришлось изменить свое намерение относительно публикации не пропущенных цензурой стихов, и он привел их в некрологе Креницына (Санкт-Петербургские ведомости. 1865. 16 сент.). По автографу стихотворение напечатано в статье В. В. Данилова «А. Н. Креницын» (Русская литература. 1960. № 3. С. 152, 154).

⁶ Степанов А. Н. Указ. соч. С. 67.

⁷ ИРЛИ. Ф. 274 (М. И. Семевский). Оп. 1. № 208. Л. 7—8. В автографе письма год не обозначен, но это, несомненно, 1865-й.

ского в Голубово летом 1866 года: здесь им писались (или дорабатывались) и «Прогулка в Тригорское», и статья о Языкове для «Русского архива» (она заканчивалась пометой «Село Голубово / 1866 г. Августа 7»). Отдельные очерки «Прогулки» при публикации в газете сопровождалась датами — от 20 мая до 15 июня 1866 года — вероятнее всего, относившимися ко времени окончания работы над ними Семевского. Таким образом, «Прогулка в Тригорское» создавалась Семевским в 1865—1866 годах.

Тригорские материалы были столь обширны, что Семевскому хватило их на несколько журнальных публикаций. «Прогулка в Тригорское» печаталась на страницах нескольких номеров «Санкт-Петербургских ведомостей» по мере подготовки составлявших статью очерков (всего их было — по числу газетных выпусков — шесть). Задержка с написанием статьи, а также некоторые ее композиционно-содержательные неувязки были вызваны тем, что Семевский писал статью, не получив всех историко-литературных материалов, на которые рассчитывал. Заявленное в «Прогулке» обещание дать подробное описание тригорских альбомов не было им осуществлено. В руки Семевского не попала главная жемчужина тригорского собрания — «большой» альбом Прасковьи Александровны, к тому времени кем-то похищенный, и он приступил к публикации неизвестных в печати поэтических текстов по другим тригорско-голубовским копиям. Альбом же самой Осиповой Семевский смог получить после длительных разысканий, в которых принимал деятельное участие, лишь в 1869 году и тут же бросился писать новую статью о Пушкине, выполняя данное им в 1866 году обещание рассказать о нем подробнее, — это была статья «К биографии Пушкина», появившаяся на страницах журнала «Русский вестник».

В «Прогулке в Тригорское» Семевским было обнародовано множество новых историко-литературных материалов. Их представление в «Санкт-Петербургских ведомостях» носило популярный характер (так, лишь часть писем Пушкина к П. А. Осиповой Семевский смог опубликовать на языке оригинала, затем газета настояла на их публикации в переводе с французского);⁸ в более строгом стиле были осуществлены публикации статей Семевского на страницах первой книжки «Русского архива» за 1867 год — это «Письма А. С. Пушкина к П. А. Осиповой», «Письма А. С. Пушкина к А. Н. Вульфу» и «Н. М. Языков. 1803—1846 (Новые стихи его и письма)».⁹

Большой удачей автора «Прогулки в Тригорское» стала передача воспоминаний о Пушкине А. Н. Вульфа, М. И. Осиповой, Е. Н. Вревской. Семевский дал их в простой, разговорной манере, позволявшей ощутить подлинность живого воспоминания о поэте тригорских обитателей. Е. В. Петухов писал об авторе статьи, что ему «русская биографическая наука обязана сохранением фактов интимной жизни Пушкина в памятные годы его пребывания в Михайловском».¹⁰ Воспоминания, записанные Семевским, вошли в золотой фонд пушкинской мемуаристики.

В архиве Семевского сохранились многочисленные благодарные отклики на появление «Прогулки в Тригорское». Так, 26 мая 1866 года, прочитав номер

⁸ М. И. Семевский перевел письма Пушкина для публикации в «Прогулке в Тригорское», Е. Б. Зубова — для «Русского архива» (1867. № 1. С. 119—153 — письма Пушкина к П. А. Осиповой). См.: *Тимошук В. В.* М. И. Семевский, основатель исторического журнала «Русская старина»: Его жизнь и деятельность (1837—1892). СПб., 1895. Приложения. С. 77. Видимо, с этой работой было связано посещение в 1867 году Семевского Зубовой, оставившее след (с отнесением к ней в записи определения «Голубовская») в его альбоме (см.: Знакомые: Альбом М. И. Семевского, издателя-редактора исторического журнала «Русская старина». 1867—1888. СПб., 1888. С. 1).

⁹ Публикации Семевского о Языкове и поныне остаются первостепенным по значимости источником сведений о его жизни и творчестве.

¹⁰ *Петухов Е. В.* Два года из жизни А. С. Пушкина (1824—1826): Пушкин в селе Михайловском. Речь в торжественном собрании имп. Юрьевского университета 28 мая 1899 г. Юрьев, 1899. С. 5.

«Санкт-Петербургских ведомостей» с первым очерком статьи, Я. К. Грот написал Семевскому: «С большим интересом прочел в Пб. Вед. Ваш рассказ о посещении Тригорского». ¹¹ В письме от 7 октября 1866 года П. И. Бартенев, отвечая на присылку Семевским статьи о Языкове для «Русского архива», сетовал: «С истинным удовольствием читал ваши статьи „Тригорское” и всякий раз приобретал для себя эти номера „СПб. Ведомостей”; но последние два упустил купить и не могу достать». После просьбы о доставлении в редакцию «Русского архива» этих номеров Бартенев высказал пожелание о характере будущей публикации Семевского, связанной с тригорскими материалами: «Еще более был бы я вам признателен, если бы вы дозволили мне получить ненапечатанные места в письмах Пушкина к Осиповой и Вульфу». ¹² В письме от 14 октября 1866 года Бартенев сообщил, что статья Семевского о Языкове переносится на следующий год, и продолжал переговоры, касающиеся публикации писем Пушкина на страницах «Русского архива»: «Письма же Пушкина к П. А. Осиповой и к Вульфу были бы кстати и появились бы в ноябре, в подлиннике и переводе: в этом номере я их непременно помещу и буду ждать нетерпеливо. Само собою разумеется, что их надо напечатать вполне и со всею подобающею точностью». Статья «Н. М. Языков. 1803—1846 (Новые стихи его и письма)» появилась в майско-июньском выпуске «Русского архива» за 1867 год, и, отвечая на недоумения Семевского по поводу ее публикации, Бартенев писал ему в письме от 14 мая: «Сокращения в „Языкове” сделаны с Вашего предварительного позволения. Разумеется, поклонюсь Вам низко за вторую статью о Языкове (...). Вы должны согласиться, что письма и стихи Языкова однообразны и требовали выпусков и по другим уважениям (sic!)». Это письмо отражает лишь начало конфликта Семевского с Бартеневым, который принял открытую форму, когда дело дошло до оплаты публикаций. Прижимистый и лукавый Бартенев так ответил недовольному гонораром Семевскому в письме от 21 июня 1867 года: «За откровенность — откровенность. Я готов платить и по 50 р. с листа за обделанные статьи, в роде той, какая в 1-й кн(ижке) Вестника Европы. ¹³ Но в статье о Языкове что же вашего? Едва наберется на три столбца; неизданных же писем Языкова и у меня лежит в подлиннике до 50, но в них мало любопытного: не такой человек, чтоб дорожить каждым его письмом. Итак, прежде условия о цене мне надо видеть вторую статью о Языкове». Конечно же, находчивость редактора, по-видимому, за бесценок напечатавшего интереснейшие в историко-литературном отношении документы, так поразила автора, что от намерения опубликовать следующую статью о Языкове он вообще отказался. На письме Бартенева Семевский оставил красноречивую помету: «Не отвечал». Неудивительно, что издание «Русской старины» Семевский решил начать с критики материалов «Русского архива», о чем предварительно известил Бартенева, а тот в свою очередь ответил ему на это в письме от 28 января 1870 года: «Печатайте, пожалуйста, те три заметки о „Р(усском) Арх(иве)”, о которых пишете. ¹⁴ Я постараюсь ими воспользоваться для улучшения дела. С моей стороны о раздражении не может быть речи. Я искренно радуюсь вашему делу». Так на материалах из Тригорского завязался конфликт между Семевским и Бартеневым, который в дальнейшем развивался как соперничество издателей двух исторических журналов.

¹¹ ИРЛИ. Ф. 274 (М. И. Семевский). Оп. 1. № 132.

¹² Там же. № 70. Вся последующая цитация писем Бартенева к Семевскому сделана по этому архивному делу.

¹³ Имеется в виду статья Семевского «Материалы к русской истории XVIII века (1788)» (Вестник Европы. 1867. Кн. 1. С. 297—330).

¹⁴ Неясно, какие заметки, полемические по отношению к публикациям «Русского архива», имеются здесь в виду. Мы можем назвать лишь одну из них в первых двух книгах «Русской старины» — это редакторское примечание с установлением авторства записки о юности Александра I, которая была напечатана Бартеневым без имени А. Я. Протасова (см.: Русская старина. 1870. Кн. 1 (2-е изд.). С. 153—154).

О последующих (после 1866 года) посещениях Семевским имений Голубово и Тригорское известно немного. Его переписка с владельцами этих имений не сохранилась, хотя она, несомненно, была. Голубовское семейство считало Семевского своим другом и почтило его приглашением на пятидесятилетие счастливого супружества Б. А. и Е. Н. Вревских. О состоявшемся торжестве в письме к Семевскому от 8 августа 1881 года рассказала Е. Б. Зубова. Из этого письма становится известно, что в Голубово получили от издателя в подарок комплект журнала «Русская старина» и с интересом его читали. О празднестве в семействе Вревских Зубова писала Семевскому: «Одним словом, был пир на весь мир, и был даже Пушкин, сын бессмертного. Все мы съездили потом на могилу дяди Ал(ексея) Ник(олаевича). Тригорское, с его могилой, представляет теперь вид унылый; даже пребывание молодых Фок¹⁵ не способно оживить его. В бумагах дяди нашли мы, к общему нашему удивлению, его записки молодости и Турецкой кампании».¹⁶ Неизвестно, заинтересовал ли Семевского дневник Вульфа (впервые опубликован в 1900 году и затем неоднократно переиздавался, полностью и в отрывках) и был ли он с ним ознакомлен. Между тем Зубова не случайно упомянула в письме к Семевскому об Алексее Вульфе: из всего голубовско-тригорского сообщества именно с ним издатель «Русской старины» был связан теснее всех. О посещении его Вульфом сохранилась запись в альбоме Семевского «Знакомые», сделанная 5 января 1868 года («на память сегодняшней беседы»). Постоянно живя в Тригорском, Вульф часто бывал в Петербурге. В его некрологе (не подписан) сообщалось: «Хотя преклонные года и расстроенное здоровье давно уже сказались на Вульфе, задолго до его кончины, тем не менее, он продолжал всегда интересоваться отечественною словесностью и всеми проявлениями нашей общественной жизни и каждую зиму являлся в Петербург, где его можно было встретить постоянным посетителем спектаклей, чтений, концертов».¹⁷

Работы Семевского о Пушкине опирались большей частью на сообщения Вульфа. Странным образом не сохранились записи бесед с ним Семевского, относящиеся к 1860-м годам и легшие в основу «Прогулки в Тригорское» и следующих его статей. То же самое можно сказать и о рассказах М. И. Осиповой и Е. Н. Вревской; последняя вообще не захотела быть названной в «Прогулке в Тригорское», и ее свидетельства, в отличие от свидетельств Осиповой, не маркированы: их можно идентифицировать лишь по содержанию. Ее воспоминания в более полном виде появились в статье «К биографии Пушкина», при этом Семевский сделал ссылку на «доставшуюся» ему «заметку баронессы В(ревской)». Между тем ныне эта заметка неизвестна. Обратим внимание и на то обстоятельство, что статья «К биографии Пушкина» имеет в подзаголовке указание на записную книжку автора, которая (увы!) также до нас не дошла.

Итак, весь массив подлинных записей Семевского середины и конца 1860-х годов в настоящий момент нам не известен. В свете этого обстоятельства становится ясна ценность вновь обнаруженных в Рукописном отделе Пушкинского Дома записей Михаила Семевского с ранее неизвестными воспоминаниями Алексея Вульфа. Они были сделаны незадолго до смерти мемуариста и сохранились в фонде журнала «Русская старина»; три отрывочных сообщения в конце этого текста записывались Семевским со слов М. И. Осиповой. Новое обращение Семевского к Вульфу и затем к Осиповой с просьбой рассказать о Пушкине было связано с задуманным им переизданием статьи «Прогулка в Тригорское». План этот не осуществился, и га-

¹⁵ Имеется в виду потомство Екатерины Ивановны Фок, рожд. Осиповой. У Фок была усадьба в двух верстах от Тригорского.

¹⁶ ИРЛИ. Ф. 274 (М. И. Семевский). Оп. 1. № 175. Письмо частично напечатано в изд.: *Лукина Н. В.* Сей напиток благородный (жженка Зизи) // Михайловская пушкиниана. М., 2000. Вып. 6. С. 124.

¹⁷ Голос. 1881. 23 апр.

зетная публикация «Прогулки» 1866 года осталась при жизни Семевского единственной.¹⁸ Тем не менее определенную работу над текстом статьи для исправленного и дополненного издания автор проделал, и она представляет собой значительный интерес как новая, еще неизвестная страница Пушкинианы XIX века. Для работы Семевский использовал писарскую копию «Прогулки в Тригорское», изготовленную по публикации «Санкт-Петербургских ведомостей»; архивный шифр рукописи — ИРЛИ. Ф. 265 (Фонд журнала «Русская старина»). Оп. 2. № 4593. Рукопись не датирована, но на ее архивной обложке рукой хранителя проставлена дата «[1880 г., июль]», определенная, по-видимому, по месту нахождения рукописи в фонде «Русской старины» или же по другим, нам, к сожалению, неизвестным, косвенным данным. Дата эта представляется вполне вероятной, поскольку сама рукопись не могла появиться позднее последовавшей в апреле 1881 года кончины Алексея Николаевича Вульфа. Правомерность отнесения рукописи к 1880 году подкрепляется и тем обстоятельством, что Семевский в этом году посещал Святогорский монастырь и, вероятнее всего, имение Тригорское или же Голубово. В статье «Могила Пушкина (Письмо в редакцию)», напечатанной в газете «Голос» за 25 мая 1880 года, Семевский сообщал о себе: «26-го апреля я имел случай быть на могиле А. С. Пушкина». Здесь же, описывая путь из Петербурга в пушкинские места, он упомянул о владельце Тригорского А. Н. Вульфе, «бывшем друге поэта Н. М. Языкова и частом собеседнике Пушкина», и его сестрах М. И. Осиповой и Е. И. Фок, которые «хорошо помнят Пушкина»; и далее: «Владелец и обитательницы Тригорского — лица весьма любезные и радушные». Вполне вероятно, что в апреле 1880 года, когда Семевский побывал в Псковской губернии, он встречался с Вульфом с целью внести дополнения и исправления в «Прогулку в Тригорское».

Рукопись «Прогулки в Тригорское» сохранила не только весьма интересную в отношении уточнения реалий пушкинской биографии правку Семевского, но и, главное, запись воспоминаний А. Н. Вульфа, которая была начата карандашом на полях л. 3 и 4 об. и продолжена на отдельных листах, в нее затем вложенных, — это л. 5—8 об.; на л. 8 об. находятся три сообщения, записанные со слов М. И. Осиповой. О том, что листы были именно вложены в готовую писарскую копию, свидетельствует расхождение архивной нумерации (карандашом) с первоначальной, писарской, проставленной чернилами на первых половинах больших писчих листов, согнутых вдвое.

Остановимся сначала на правке, внесенной Семевским в рукопись «Прогулки в Тригорское». Она была разноплановой. Прежде всего Семевский попытался убрать то, что связывало «Прогулку в Тригорское» с газетной публикацией (например, обращения к читателю с сообщением о характере материалов, которые появятся в следующем номере газеты). «Прогулка в Тригорское» соответствовала уровню пушкиноведения середины 1860-х годов (автор ориентировался на издания П. В. Анненкова 1855—1857 годов и Г. Н. Геннади 1859—1860 годов), но затем она стала отставать, и произошло это по вполне объективным причинам. Семевский попытался привести статью в соответствие с более полными и авторитетными изданиями Пушкина; подобной доработки требовали и ссылки в статье на произведения других русских поэтов. Правку такого рода, до конца автором не доведенную, настоящая публикация не отражает, поскольку особого историко-литературного интереса она не представляет. Переработка «Прогулки в Тригорское» требовала больших усилий, и у издателя «Русской старины», по-видимому, не нашлось для нее времени.

¹⁸ Статья была перепечатана (с исключением ряда сносок) и снабжена комментарием в кн.: Вульф А. Н. Дневники (Любовный быт пушкинской эпохи) / Ред. и вступ. ст. П. Е. Щеголева; Прим. И. С. Зильберштейна. М., 1929. С. 29—122. В настоящей публикации ссылки на «Прогулку в Тригорское» даются по этому изданию (за исключением тех случаев, когда цитируется текст рукописи 1880 года).

Очень интересны вычеркивания и поправки Семевского, позволяющие почувствовать, что в статье не устраивало семейство П. А. Осиповой. Исправления в «Прогулке в Тригорское» делались на основании разъяснений и пожеланий А. Н. Вульфа (отсюда совпадения отдельных исправлений с воспоминаниями Вульфа в записи Семевского). Среди исправлений этой группы отметим следующие:

1. В сообщении о принадлежавшем некогда Пушкину экипажу, который в Голубово был подан отправляющимся в Тригорское паломникам, Семевский «коляску» исправляет на «карету»; далее им начата правка на полях: «каreta та же самая, в которой был Пушкин по всему СПб» (л. 3); именно о карете речь идет и в записанных Семевским воспоминаниях Алексея Вульфа (см. ниже). Смысл исправления состоит в том, что карета, в отличие от коляски, представляет собой высокий и закрытый со всех сторон экипаж.

2. На л. 9 вычеркивается игривое упоминание юной спутницы Семевского (по-видимому, это одна из дочерей Вревских): «...одну, весьма еще юную, тем не менее с весьма выразительным личиком особу, которая также ехала с нами в коляске *поэта*; до авангарда нашего мне уже не было никакого дела».

3. Семевский не был удовлетворен данным им в 1866 году описанием дома в Тригорском. Отчеркнув его, он написал на полях: «ну-ну-ну» (л. 15). Историю тригорского дома ему прояснил в беседе Вульф (см. ниже).

4. Вычеркнута следующая характеристика М. И. Осиповой (от слова «хотя»): «Марья Ивановна О(сипова), нынешняя хозяйка Тригорского, хотя несколько и недовольна, что компания нагрязнула, не предуведомив, именно „в самый адмиральский час“, и она не успеет распорядиться угостить все общество таким обедом, каким бы хотелось хлебосольной хозяйке, но, будьте уверены, лишь только начнет она вспоминать о Пушкине, явится и доброе расположение духа, и любезность, и приветливость...» (л. 15). Смысл этого вычеркивания понятен, поскольку упоминание «адмиральского часа», связанного с «пропусканьем» перед обедом рюмки водки, вносит в характеристику Осиповой некоторую двусмысленность. Впрочем, и само по себе замечание о недовольстве хозяйки, видимо, не устраивало тригорско-голубовское семейство.

5. В сноске на л. 16 Семевский уточняет текст газетной публикации, а именно — он ставит ударение во втором названии сельца Михайловское: «Зуёво», т. е. «Зуёво». Здесь же исправляется «двух» на «трех» в словах: «Сельцо это находится в верстах двух от Тригорского».

6. В рукописи на л. 17 Семевский, наконец, исправил оплошность газетной публикации, причислившей А. И. Беклешову, рожд. Осипову, к дочерям П. А. Осиповой¹⁹ (в действительности она была ее падчерицей), приписав на полях: «от одного отца, но от другой матери» (это по отношению к сестрам — дочерям П. А. Осиповой от второго брака). Здесь же, предваряя дальнейшую характеристику Алины, Семевский сделал еще одну приписку: «славная музыкантша».

7. Рядом со словами М. И. Осиповой «все сестры мои были в то время невестами» Семевский ставит вопросительный знак (младшая сестра Марья Ивановны Е. И. Осипова (1823—1909), в замужестве Фок, была в период ссылки поэта совсем крошкой).

8. В отзыве о Е. Н. Вревской («...из них особенно хороша была Евпраксия») вычеркнуты последние три слова (л. 17). Почему Семевский сделал это вычеркивание? Здесь можно высказать два предположения: или Вревская из скромности попросила убрать этот отзыв о себе, или же он не соответствовал действительности, и самой красивой из Вульф-Осиповых была не она. Следует отметить, что сестры Осиповы — и Александра, и Мария, и Екатерина — были очень привлекательны

¹⁹ Та же ошибка сделана Семевским в статье «Н. М. Языков. 1803—1846 (Новые стихи его и письма)» (Русский архив. 1867. № 5—6. С. 720).

(особенно последняя, хотя Пушкин расцвета ее красоты не увидел). Если Семейский решил вместо Евпраксии вписать какую-то другую особу, то это могла быть только Алина, героиня послания Пушкина «Я вас люблю, хоть я бешусь...» (1824). Это тем более вероятно, что для поправок в «Прогулке в Тригорское» 1880 года характерно именно стремление выдвинуть на передний план Осиповых — и несколько ступешать Вульфов.

9. В словах о Пушкине «приезжал он обыкновенно верхом на прекрасном аргамаке» вписано «верном» вместо «прекрасном» (л. 17). Это исправление очень уместно, поскольку в Михайловском не было хорошей ездовой лошади. Та, на которой приезжал Пушкин в Тригорское, названа аргамаком ради «красного словца» в посланиях Языкова П. А. Осиповой «Аминь, аминь! Глаголю вам...» (1826) и «Благодарю вас за цветы...» (1827). По поводу этих стихов Семейский писал со слов Вульфа в статье 1870 года «Заметки, поправки и дополнения»: «Но, увы! в прозе действительности Пушкин восседал не на вороном аргамаке, а на старой кляче».²⁰

10. К самохарактеристике М. И. Осиповой «подросточек» Семейский приписал, имея в виду ее возраст во время ссылки Пушкина: «пять лет род(илась) в 820 году» (л. 17).

11. Начата любопытная переработка фрагмента о посещениях Пушкиным Тригорского: «...подберется к дому иногда совсем незаметно; если летом, окна бывали раскрыты, он шасть и влезет в окно... Что? Ну уж, батюшка, в какое он окно влезал, не могу вам сказать; мало ли окон-то? он, кажется, во все перелазил... Все у нас, бывало, сидят за делом: кто читает, кто работает, кто за фортепиано... Я это, бывало, за уроками сажу» (л. 18) — вместо «шасть» вписано «в детскую» (что, кстати, не вяжется с утверждением мемуаристики о том, что Пушкин во все окна «перелазил»), а затем вычеркнуто «за уроками сажу» (видимо, Семейский посчитал, что М. И. Осипова была слишком мала для «уроков»).

12. В словах «тут же портрет Александра Ивановича Тургенева, бывшего также другом Прасковьи Александровны» вместо вычеркнутой «Прасковьи Александровны» вписано «М. И. Осиповой» (л. 24). Поправка не совсем справедливая, поскольку А. И. Тургенев после приезда в Тригорское по случаю похорон Пушкина стал другом обеих.

13. Начата переработка примечания о трех соснах: «Кстати: теперь уж их *не три*, а только *две*; одну лет пять назад срубил староста села Михайловского и продал ее за 5 руб. на мельницу. (...) Осиротелые две сосны стоят еще: одна из них разветвлением своих стволов совершенно походит на лиру». Реальность 1880 года была уже совсем иной, и Семейский попытался отразить ее: «Кстати: теперь уж их *не три*, а только одна и та посохла; мужики украли и продали» (л. 34).

14. В характеристику «Николая Ивановича Вульфа, человека мало чиновного (умер коллеж(ским) ассессором), но почтенного, умного и весьма достаточного» Семейский, несомненно, по просьбе его сына Алексея, вставляет (после «почтенного») «всеми знавшими его любимого» (л. 47).

15. Справедливо вычеркнуто Семейским «в совершенстве» в характеристике П. А. Осиповой: «...она в совершенстве знала языки французский и немецкий» (л. 47). Недостатки французского и немецкого правописания Прасковьи Александровны отмечались в исследовательской литературе.²¹

16. Полностью вычеркнута, что очень важно, негативная характеристика П. А. Осиповой:²² «Но — следует ли из этого, чтоб женщина эта была чужда недо-

²⁰ Русская старина. 1870. Т. 1. С. 404—405.

²¹ Например, М. Л. Гофман, комментируя дневник А. Н. Вульфа, писал, что французский П. А. Осиповой «напоминал нижегородский» (Пушкин и его современники. Пг., 1915. Вып. 21—22. С. 205).

²² Жалобы на П. А. Осипову довольно часто встречаются в переписке членов ее семейства. Алексей Вульф, вспоминая свое детство, писал в дневнике: «...уже один голос моей матери

статков? Недостатки в ней были и недостатки большие; она была довольно холодна к своим собственным детям, была упряма и настойчива в своих мнениях, а еще более в своих распорядках, наконец, чрезвычайно самоуверенна и, вследствие того, как нельзя больше податлива на лесть. Все эти недостатки особенно развились в Прасковье Александровне под старость, когда на сцену выступили и физические недуги; явилось и ханжество, а вместе с тем явились люди, которые, окружив оригинальную старуху, сделали закат ее жизни поистине крайне печальным. Притом, тогда же начались у нее неприятности по хозяйству. Хозяйство у нее вообще шло всегда довольно плохо, а пред ее кончиной до того дурно, что, если б не энергия и не находчивость Алексея Николаевича Вульфа, то знаменитое Тригорское пошло бы за бесценок в чужие руки... Но, позволяя себе в качестве правдивого летописца Тригорского не скрывать недостатков покойной его помещицы, мы тем с большею искренностью должны заявить, что...» (л. 49—50). О резкости характеристики П. А. Осиповой, не согласующейся с письмами Пушкина, в которых нет «ни малейшего намека» на ее недостатки, писал Н. Н. Кашкин.²³ Если смотреть с этой точки зрения, то статья о Пушкине вполне могла обойтись без негативной характеристики Осиповой. Тем не менее Семевский ее обнародовал и, вероятнее всего, с одобрения Алексея Николаевича, в последние годы жизни матери серьезно с ней не ладившего. Предпринимавшиеся родственниками усилия по их примирению не дали результата,²⁴ и Осипова умерла, как намекал Н. Н. Кашкин, не примиренная с сыном.²⁵ Конфликт принял вопиющий характер, когда П. А. Осипова, вызвав Алексея Николаевича из тверского имения для поправления дел в Тригорском, попыталась затем его выгнать оттуда и продать имение, причем вместе с землей, принадлежащей ее падчерице и дочерям от второго брака.²⁶ Алексей Вульф винил в этом тригорского управляющего А. М. Чоблокова (или Чеблокова) и его жену, близких к П. А. Осиповой в конце ее жизни. А. П. Керн писала П. В. Анненкову в 1859 году о Вульфе и его матери: «...они оба зашли очень далеко, — и мое заочное влияние было бессильно при других... недоброжелательных. Каково все поколение, происшедшее от г-на Осипова, и его собственная дочь, та самая Алина, к которой относятся нежные стихи Александра Сергеевича».²⁷ В семейной переписке 1850-х годов встречаются и другие свидетельства того, что в это время между детьми Прасковьи Александровны — Вульфами, с одной стороны, и Осиповыми, с другой — прошла трещина (в последние годы жизни ей были ближе последние). В тяжбе с матерью Вульф сумел сохранить Тригорское за собой, однако дело получило огласку, поскольку разбиралось в губернском правлении. В силу этих обстоятельств Вульфу было невыгодно появление статьи о Тригорском с письмами Пушкина к Осиповой, ставящими ее на огромную высоту, и напротив — выгодно обнародование ее негативной характеристики, некоторым образом оправдывавшей его в глазах скандализированного псковского общества. Этими выгодами Вульф и поспешил воспользоваться, когда Семевский в 1865—1866 годах писал

наводил на меня трепет. Я не был спокоен, когда ее знал вблизи» (Любовные похождения и военные походы А. Н. Вульфа: Дневник 1827—1842. Тверь, 1999. С. 23 — далее дневник Вульфа цитируется по этому, наиболее авторитетному в настоящий момент изданию). Горькие упреки в адрес матери высказывала в письмах к сестре Евпраксии Анна Вульф. Сестры считали, что отношения внутри семейства Осиповых—Вульфов в те годы, когда рядом жил Пушкин, были облагорожены его присутствием. Подробнее о сложностях характера П. А. Осиповой, досаждавших ее домашним, см.: Пушкин и его современники. Вып. 21—22. С. 206—208 (прим. М. Л. Гофмана).

²³ Кашкин Н. Н. Род Вындомских // Старина и новизна. СПб., 1909. Кн. 13. С. 253.

²⁴ См.: Пушкин и его современники. СПб., 1906. Вып. 1. С. 162—164, 173.

²⁵ Кашкин Н. Н. Указ. соч. С. 255.

²⁶ См.: Окулич-Казарин Н. Обитатели Тригорского в 1850-х годах // Труды Псковского археологического общества 1911—1912 г. Псков, 1912. Вып. 8. С. 79—109.

²⁷ Керн (Маркова-Виноградская) А. П. Воспоминания. Дневники. Переписка. М., 1989. С. 329.

«Прогулку в Тригорское». К 1880 году положение изменилось: скандал забылся и Вульф решил стереть нелестные строки о своей матери из получившей популярность статьи.

17. В словах о том, что Прасковья Александровна «любила Пушкина едва ли не более своего сына», сделана поправка: «как своего сына» (л. 51).

18. Вычеркнуто: «Пушкин, как известно, почти не знал ласки родной матери, не видал любви и попеченья о себе и от отца, пустого и довольно ничтожного человека» (л. 51).²⁸ Эта фраза могла показаться семейству П. А. Осиповой слишком резкой.

19. Вычеркнута характеристика Языкова как «плохого студента в деле учения, но славного характером, дорогого собутыльника» (л. 55).

20. Вычеркнуты далекие от действительности строки о взаимоотношениях Пушкина с А. П. Керн летом 1825 года: «Пушкин страстно в нее влюбился, она — отвечала взаимностью. Минуты счастья были коротки» (л. 77).

21. Исправлено название «элегии» Языкова — вместо «Подите прочь» «Подите прочь» (л. 79).

22. Исправлена должность дворового человека Арсения, который привез в Тригорское известие о бунте 14 декабря. Оказывается, он был лакеем (л. 83), а не поваром, как это следовало из газетной публикации «Прогулки в Тригорское».²⁹

23. Вычеркнуты слова «из-за женщины» в сообщении о гадании, предсказавшем Пушкину еще в молодости его судьбу: «Ворожея внимательно и долго их рассматривала и, наконец, объявила, что владелец этой ладони умрет насильственной смертью, его убьет из-за женщины белокурый молодой мужчина...» (л. 85).

24. Исправлена ошибка в следующем фрагменте газетной публикации: «Некоторые черты жизни Пушкина в Михайловском до приезда Языкова, как справедливо замечает его биограф, во многом напоминают жизнь Евгения Онегина: то же купанье утром, переплыванье реки, протекающей под горой пред домом, прогулки пешком и верхом, прихотливый обед». Обед у Пушкина в Михайловском, конечно же, был «неприхотливым» (л. 88).

25. «Сквер перед домом — во время Пушкина тщательно поддерживался, точно также не совершенно был запущен тенистый небольшой сад» — в этом месте «Прогулки в Тригорское» Семевский вычеркнул слово «небольшой» (л. 96).

Нетрудно убедиться, что поправки Семевский делал со слов Вульфа и кого-то еще из семейства П. А. Осиповой (возможно, Марьи Ивановны). Автор «Прогулки в Тригорское» был готов убрать все, что смущало их в этой статье. Деликатность, конечно, похвальная, но нельзя не признать, что предполагаемые вычеркивания обедняли работу. Поскольку Семевским правка статьи завершена не была, нет необходимости при современном переиздании «Прогулки в Тригорское» отражать ее всю, хотя некоторые авторские исправления, в особенности же те из них, которые относятся к ошибкам газетной публикации, несомненно, должны быть при этом учтены.

26. Особый интерес представляют поправки Семевского, касающиеся «политической» биографии Пушкина. Известно данное Семевским со слов М. И. Осиповой описание попытки поэта уехать из Михайловского сразу же после получения вести о бунте 14 декабря: «На другой день, слышим, Пушкин быстро собрался в дорогу и поехал; но, доехав до погоста Врева, вернулся назад. Гораздо позднее мы узнали, что он отправился было в Петербург, но на пути заяц три раза перебежал ему дорогу, а при самом выезде из Михайловского Пушкину попало навстречу духовное

²⁸ В статье «К биографии Пушкина» также сообщалось, что «нежности материнской... он не знал» до последней болезни матери (Русский вестник. 1869. № 11. С. 89).

²⁹ В качестве повара Арсений из Тригорского попал в справочник Л. А. Черейского «Пушкин и его окружение» (Л., 1988. С. 19).

лицо». В этом фрагменте на л. 84 Семевский сделал одну поправку, а именно — он вычеркнул слова «три раза»; значит, Пушкину, спешившему в Петербург на встречу с восставшими друзьями, заяц перебежал дорогу только один раз.³⁰

27. Другая поправка касается рассказа о царской аудиенции, которая дана была Пушкину в день его приезда в Москву 8 сентября 1826 года: «Между тем, в тогдашнем обществе... ходили о Пушкине и о разговоре его с государем самые разноречивые, самые нелепые толки. Так, например, уверяли, будто бы государь в разговоре с Пушкиным пожелал узнать, нет ли при нем какого-нибудь нового стихотворения. Тот будто бы вынул из сюртука несколько бумаг, впопыхах захваченных им при отъезде из Михайловского, перерыл их, но никакого нового стихотворения не нашел. Выходя из дворца и спускаясь по лестнице, Пушкин вдруг заметил на ступеньке лоскуток бумажки: подымает его и с ужасом будто бы узнает в нем собственноручное небольшое стихотворение к друзьям, сосланным в Сибирь.³¹ Он стал вспоминать, как оно попало сюда и, наконец, вспомнил, что, подымаясь по той же лестнице, вынимал из кармана платок, при чем будто бы и вывалился этот лоскуток бумажки, который мог наделать ему больших хлопот. Придя в гостиницу, Пушкин немедленно сжег *это* (?) стихотворение.

Вот один из рассказов того времени, который ходил в обществе и донныне передается многими из знакомых Александра Сергеевича; мы, разумеется, убеждены, что это не более, как басня, хотя и довольно характеристичная.³² Некоторые дамы уверяют, однако, что слышали ее от самого Пушкина,³³ причем Пушкин будто бы упоминал о той смелости и спокойствии, с какими он говорил с государем».

³⁰ Попытка Пушкина выехать из Михайловского при известии то ли о смерти императора, то ли о начавшемся бунте упоминается в мемуарах И. П. Липранди, А. Мицкевича, С. А. Соболевского, М. П. Погодина, П. А. Вяземского, Н. И. Лорера (М. А. Цявловским событие датировано 1—2 декабря 1825 года — см. в кн.: *Летопись жизни и творчества Александра Пушкина: В 4 т. М., 1991. Т. 2. С. 100*). В сноске к статье «Прогулка в Тригорское» Семевский справедливо указывает на самую раннюю из обнародованных версию события — это публикация лекций по славянской литературе, прочитанных Мицкевичем в 1840—1844 годах в Collège de France и напечатанных во Франции отдельным изданием в 1848—1849 годах (до этого издания лекции были известны по стенограммам во французских газетах); о выезде Пушкина в Петербург в декабре 1825 года Мицкевич говорил в лекции 7 июня 1842 года (см.: *Мицкевич А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1954. Т. 4. С. 388*). Из всех мемуаристов только М. И. Осипова связывала выезд Пушкина в Петербург с известием о бунте (а не о смерти Александра I). Анализ свидетельств об этом эпизоде пушкинской биографии, позволивший назвать сообщение М. И. Осиповой наиболее достоверным, см.: *Гессен С. Я. Пушкин накануне декабрьских событий 1825 года // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1936. Вып. 2. С. 361—384*.

³¹ Эпизод, рассказанный Семевским, связан с историей стихотворения Пушкина «Пророк». При приезде из Михайловского в Москву 8 сентября 1826 года Пушкин располагал какой-то рукописью «Пророка» в его первой, политически заостренной редакции. По словам С. А. Соболевского, «„Пророк“ приехал в Москву в бумажнике Пушкина» (Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартевым. М., 1924. С. 34). М. П. Погодин в письме к П. А. Вяземскому от 29 марта 1837 года утверждал, что «Пророка» Пушкин «написал, ехавши в Москву в 1826 году» (*Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962. С. 405*). В ответ на «Прогулку в Тригорское» была написана статья «Квартира Пушкина в Москве» (1867), в которой С. А. Соболевский рассказал о своем доме, куда вечером 8 сентября он привез поэта после встречи с ним у В. Л. Пушкина: «Вот то место, где он выронил (к счастью — что не в кабинете императора) свои стихотворения о повешенных, что с час времени так его беспокоило, пока они не нашлись!!!» (Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 13). «Стихотворения о повешенных» — это, по-видимому, первая редакция пушкинского «Пророка», но никак не «стихотворение к друзьям, сосланным в Сибирь», о которой говорит в «Прогулке...» Семевский (напомним, что «Во глубине сибирских руд...» создано в конце 1826-го — начале 1827 года). Судя по знаку вопроса, которым Семевский снабдил в своей статье упоминание послания в Сибирь (см. ниже), он и сам в этом сомневался.

³² Это замечание могло быть данью цензурным условиям.

³³ Говоря это, Семевский вполне мог иметь в виду воспоминания А. Г. Хомутовой о Пушкине, которые вскоре были напечатаны П. И. Бартевым (Русский архив. 1867. С. 1068). Следует отметить, что об эпизоде с утерянными и затем найденными стихами рассказывали не только дамы, как сообщает Семевский, но и приятели Пушкина.

Далее в статье изображается реакция на этот рассказ Вульфа: «На это я только одно скажу, — скептически заметил мне Вульф, когда я передал ему приведенное повествование, — что в Пушкине был грешок похвастать в разговорах с дамами. Пред ними он зачастую любил порисоваться; так, быть может, и в этом деле, из желания порисоваться перед прелестными слушательницами, Пушкин поприбавил такие о себе подробности, какие разве были в одном его воображении». Следующий абзац Семевский начинает со слов: «От *басен* обратимся к *истории*».

Этот фрагмент в рукописи «Прогулки в Тригорское» подвергнут весьма любопытной правке. Семевский вычеркивает из него скептические слова, которые произнес по поводу московского происшества Вульф, — все от слов «когда я передал ему» и до «от *басен* обратимся к *истории*» включительно. Это вычеркивание можно оценить как начало правки большого фрагмента статьи. Видимо, Вульф не был согласен со словами, которые Семевский вложил в его уста. В которую сторону качнулась бы оценка московского происшества в новой редакции — в сторону усиления скептицизма Вульфа или же, напротив, его уменьшения? Думается, правильнее будет последнее предположение.

Наиболее ценной частью рукописи «Прогулки в Тригорское» является запись Семевским воспоминаний А. Н. Вульфа (они занимают основной объем) и М. И. Осиповой о Пушкине. Что нового нам открывается в этих воспоминаниях? В освещенные истории дома в Тригорском они делают неожиданный и почти сенсационный вклад. Новыми эпизодами украсилась история взаимоотношений Пушкина с Вульфом. Так, мы не знали, что Пушкин познакомился с ним во время своего первого приезда в Михайловское в 1817 году (вся справочная литература относит их знакомство к 1824 году). «Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина» не связывает время пребывания поэта в Михайловском в 1817 году с работой над «Русланом и Людмилой», как это делается в воспоминаниях Вульфа. Биографам Пушкина доныне не было известно, что во время пребывания в Тригорском в 1825 году Вульф лечился от раны, полученной им на дуэли. Мемуарист дал самое полное описание петербургского пристанища Пушкина в гостинице Демут, причем указал, что бывал там у поэта летом 1827 года (неизвестный факт биографии Пушкина). Его воспоминания проясняют вопрос о том, на каком участке пути Вульф сопровождал Пушкина, когда он в 1836 году вез в Святые Горы гроб с телом своей матери. Считалось, что Вульф ехал с Пушкиным, начиная с Тригорского. Оказалось же, что он сопровождал Пушкина от самого Петербурга, причем рассказ об этой поездке в записи Семевского полон очень интересных, трогательных деталей. Наконец, именно запись 1880 года доносит до нас ускользавшее от современников и биографов сообщение о том, что сказал Пушкин Е. Н. Вревской перед своей последней дуэлью.

Таковы важнейшие из уточнений, которые можно внести в биографию Пушкина на основании публикуемых нами воспоминаний Вульфа (подробнее об этих и других уточнениях биографического характера см. в примечаниях). Помимо фактических новаций записи Семевского содержат целый ряд любопытных характеристик и отзывов Вульфа и Осиповой о Пушкине и членах его семейства. Они корреспондируют с теми сведениями, которые ранее Семевский излагал от их имени в своих статьях о Пушкине второй половины 1860-х годов. Записи Семевским делались в конспективной форме в ходе беседы с Вульфом и Осиповой. Причем даже если бы он не поставил в двух записях из трех, которые связаны с М. И. Осиповой, уточнение («М. И.») и «М. Ив. —», мы все равно сумели бы отличить ее женский голос от голоса Вульфа в отзыве о выбранном Пушкиным месте для своей могилы — «хорошеньк(ий) песочек». Таким образом, Семевскому, несмотря на краткость записей, в ряде случаев удалось передать индивидуальные речевые особенности своих собеседников. Записи очень трудны для чтения: это скоропись с большим количеством сокращений, многие слова, чаще всего глаголы, пропущены, во многих словах пропуски букв, к тому же они не дописаны. Манера письма Се-

мевского имеет ярко выраженную особенность: один и тот же элемент у него зачастую представляет собой две смежные буквы, т. е. одновременно это и завершение предыдущей и начало следующей буквы (например, в слове «Анна» удвоенное «н» состоит не из четырех вертикальных элементов, а из трех, поскольку первый является одновременно и второй палочкой прописной буквы «А»). Очень своеобразно Семевский писал предлог «на» — как букву «ю», причем верхний конечный элемент этой конструкции, зачастую соединявший предлог со следующим словом, писался полностью горизонтально и в таком виде представлял собой вертикальную часть строчной буквы «а». Такая манера письма была выработана Семевским сознательно — для скорости.

При публикации авторская пунктуация сохранена, но ее пришлось дополнить, поскольку иначе воспоминания Вульфа и Осиповой останутся во многом непонятны читателю. Конъектуры носят тот же вынужденный характер и призваны облегчить восприятие содержательной стороны воспоминаний. Пунктограмма «...» носит авторский характер. Семевский ставил многоточие в тех случаях, когда пропускал слова с намерением их впоследствии вписать (кое-где это было им сделано). Воспоминания Вульфа и Осиповой 1880 года относятся к позднему периоду, когда пополнение пушкинианы за счет мемуаров близко знавших поэта людей было уже на излете. Время наложило на записи свой отпечаток, и это определило звучание некоторых не привычных для пушкинской мемуаристики оборотов. Таково, например, утверждение, что у Языкова «Вульф имел авторитет». И наверно, только на закате XIX столетия историк мог спросить у Алексея Вульфа, не было ли у его предков еврейских корней, как это запечатлелось в записях Михаила Семевского. Конечно, записи эти в дальнейшем были бы Семевским отредактированы, но что-то он спрашивал и не для печати. При этом Вульф в 1880 году был крайне осторожен и не позволял себе той откровенности, которая сделала «Прогулку в Тригорское» одним из самых интересных памятников пушкинской мемуаристики.

ВОСПОМИНАНИЯ А. Н. ВУЛЬФА И М. И. ОСИПОВОЙ

А. Н. Вульф:

⟨Родился⟩ в 1805 г. 17 декабря в с. Тригорском.

в Дерптскую ⟨науку⟩ ⟨?⟩ не поступ⟨ить⟩ ⟨?⟩ ⟨без знания немецкого языка⟩ ⟨?⟩¹

в 1817 г. — пансион...²

в 1822 в Университ⟨ет⟩³

в 1826 оконч⟨ил⟩ курс д⟨ействительным⟩ студентом.⁴

Дуэль — эскадром в грудь ранен — лечился дома в 1825 г.⁵ — Черта мелом, с секундантами — три дуэли, и с свидетелем, клинок сломился.⁶

Языков поступил в 1823 г. в Универс⟨итет⟩, и В⟨ульф⟩ ⟨у него⟩ ⟨?⟩ имел авторитет. Языков уехал в 1830 году, не кандидат,⁷ он был студентом дипломатич⟨еских⟩ наук...⁸ Вульф уехал ⟨со⟩всем 1827 года окончательно.⁹ — В 1828 г. поступил в деп⟨артамент⟩ подлостей и вздоров (податей и сборов).¹⁰ — Барон⟨есса⟩ Софья Мих⟨айловна⟩ Дельвиг.¹¹ — Тут свидан⟨ия⟩ ⟨?⟩ — в 1829 году¹² (дом близ часовни на Владимирской)¹³ ⟨с⟩ ⟨?⟩ Дельв⟨иг⟩ — над ней же и Анна Петров⟨на⟩ Керн — с отцом (маслобойн⟨и⟩) устраив⟨ал⟩ Петр Маркович Полторацкий из молока,¹⁴ с Елизав⟨етой⟩ Петр⟨овной⟩ Решко.¹⁵

Гусар(ский) (принца) Оранско(го) полк,¹⁶ в 1833 году имел от Турец(кой) и Пол(ьской) кампаний 5 руб(лей) ассигн(ациями) на пож(алованный) чин:¹⁷ (нрзб.) де-умных (?) — и в холер(ной) (?) Польш(е), но не дождался.¹⁸

В 1817 г. первая встр(еча) с Пушкиным в Мих(айловском).¹⁹ «Рус(лана) и Людм(илу)» тогда писал.²⁰ С того времени (встречи с Пушкиным) 2 раза в год — 1824—1826 г.²¹ —

1827²²—1828 г. в СПб. — в гостинице Демут²³ постоян(но) (жил) (?) Пушкин, покуда холостой был, дом был хор(ошим) (?) местом, во 2м этаже во дворе, во флигеле,²⁴ 2 комнаты пустые, 2—3 дерев(янных) стула, — лучше сказать, одна комната, переборка, постель, за ней столик, свой человек один — Михайло.²⁵ Никогда jour fixe²⁶ не было. Раз сижу, является в(д)руг (?) в гостиниц(у) Бараты(нский),²⁷ зна(ком) (?) был, (нрзб.) был Перец.²⁸

Карета Пушк(ина) куплена у Наталь(и) Николаев(ны) — после смерти Пуш(кина) — крепостью чудо, и так у меня (?) (оставалась) (?) в деревне, карету... в 1838 или 1839 г.²⁹

Плотина связывает две горы.³⁰

Дом Тригорский. — Осипов служил в Почтамт(е), (нрзб.) на манеж (?), (нрзб.),³¹ ().

а) [там] куплен в Велье дом,³² когда на (?) рем(онт) (?) закрыла парусну(ю) фабрику.³³ — А в Тригорском — выстрои(ли) по образцу фабрики. — Дом и не начинали строить, материал булыж(ник), им был [дворец] флигель в саду, а на его месте (т. е. на месте флигеля) Александр Максимович Вындомский его (дом) выстроил...³⁴

Ив(ан) Сафонович Осипов † 1823 г.³⁵

Дом пытались отстроить в 1821 или 1822 году.³⁶

Все старое строение сгорело в 1859 — 6 Августа Алексей Викторович Фок по голубям (стрелял).³⁷

Есть родословная.

Вульф не евреи, а Саксонцы, общий герб с баронами Вульф.³⁸ Родословную пополнить.

Дип(л)омат(ический) (?) листок³⁹ приобрела (?) у А. Н. В(ульф)⁴⁰ о Вындомск(их), о Пр. Ал. Осиповой.

Вельяшева⁴¹ ни разу не была в Тригорск(ом), а только знал (ее) Пуш(кин) в Малинниках⁴² — в 40 вер(стах) от Торжка, 30 в(ерстах) от Старицы и 30 от Ржева.

Пушкин съездил из Торжка в Ярополец, Гончаровск(ое) имение, это уже после 1830 г.⁴³

А в 1828 он своротил из Торжка [в деревню] зимой,⁴⁴ Пр(асковья) Алекс(андровна) (жила там) с Змя дочь(ми), не было Фок...⁴⁵ Прогостил с неделю.⁴⁶ Вульф в 1828 г. был тогда в СПб: я съехался с Пуш(киным) в Малинниках⁴⁷ — я объявил, что (поступаю в) в(оенную) службу... Мы поехали с Пушкиным в СПб,⁴⁸ про синие глаза Вельяшев(ой).⁴⁹

В янв(аре) 1829 ехал в Малинники, Святки в Старице — (Пушкин) с нами разъезжал, (со) мно(ю) были двоюродные сестрицы, Вельяшева.⁵⁰ —

Кат(ерина) Вас(ильевна) вышла за Жандра,⁵¹ сына убитого Жандра в 1830 поляк(ами) (?),⁵² никогда не была в Тригорском. Умерла в 1850х годах.⁵³

Вульф Netty (Анна Иван(овна)),⁵⁴ Екат(ерина) Ив(ановна) Гладкова⁵⁵ [были] уроженками (?) с. Берново, где центр был всей жизни.⁵⁶ Он (Пушкин) возвращался из Москвы.⁵⁷

...Как рыба посинеет...⁵⁸

в Яжалбицах — уху⁵⁹

Всякая станция свои черты... В Яжалбицах — форель, Валдай бублики и красавицы.⁶⁰

Как до Яжалбиц дотянет —
Колымагу мужичок
[Тут спросить]
Закажи уху с форелью
И как рыба посинеет,
Влей в нее стакан шабли...⁶¹

В Выш(нем) Волочке свежие сельди,⁶² а в Торжке знаменит(ый) трактир Пожарской.⁶³ Гостиница в Твери итальянца Молинари,⁶⁴ а кухарка, которая готовила, была дочь ямщика Новоторжского. Когда Молинари умер, то [вдова] кухарка перешла в Торжок [из Твери] и открыла (трактир) и 20 лет — по всей России распросы, слава — История, а она дочь ямщика Пожарского.⁶⁵

У нее и вся ц(арская) армия останавлив(алась). — Порой людей 200, 300 потчив(ала) (?), караванов 10, 12 тракт(ир) принимал (?) разом...

Дерев(янная) мостовая, колотило бока ужасно, в болот(истых) местах (?) Новг(ородской) губернии.

б) Инструм(ент) куплен в 1817 году.⁶⁶

Дельвиг в Миха(йловское в) 1826 г.⁶⁷

В Михайло(вском) ()

Написать в Опочку.⁶⁸

Две сосны на дороге к Михайловскому: одну буря сломала, а другую продал на вал мельничный управитель,⁶⁹ это после его смерти, Пуш(кина), когда перестали приезжать господа.⁷⁰

Раза 2 заходил к нему в Демута...⁷¹ О новостях дня... В постели, на досуге и за бумага(ми); новости дня(?).⁷² — Рисоваться не любил...⁷³ У Дельви(га) раз в две недели бывал.⁷⁴ —

В 1833—1834 году (зимой) на *Пантелеймоновской* (я в отстав(ке) штаб(с)-ротмистром) с женой, против церкви, 2й дом от угла, чей и кому он принадлежал, не знаю.⁷⁵ Тут больш(ая) квартира, 2 belles seuars,⁷⁶ виз(иты), знаком(ы) со всем городом. Заходя, не видал ее.

Не поражала красотой своей Нат(алья) Ник(олаевна),⁷⁷ всег(да) была холд(но) горд(а), но без чопорности — не было (ее).

(Он все боле ее целова(л)).

Халстух без нер(я)шест(ва) (?)... В одеж(де) неразборчив. Частная жизнь была очень раскрыта, теперь в счет (?) дуэли живут. Озабоч(ен), мало денег — не мало, но и умения не было. Матушка така(я) хозяйка, что и дочерям не в чем было обуться.⁷⁸

1836 г. я ехал в Мате(ринское) (?), им(ение).⁷⁹ (В) Апреле умер(ла) его мать,⁸⁰ (я) ехал из Тверской губ(ернии) в) СПб — и вдвоем (с Пушкиным) поехали хоронить и похорон(или) (?).⁸¹

Ваш портрет 1828 года — в материн(ском) (?) Альбоме в СПб рисовал.⁸²

1836 г. пробыли (в Голубово) с неделю, тут много (?) Пушкин говорил о (том), как журнал издавать,⁸³ о матери (?)⁸⁴ говорил, о выкуп(е) (?) Екатер(и-ны),⁸⁵ о и(м)ператоре (?),⁸⁶ при нашей цензуре все лежит, но умеючи (можно) сказать. [Жа(лел)] Горевал (?) без превеличения, в *Синьской* станции — на 2ой ст(анции) от Острова,⁸⁷ шоссе не было.⁸⁸

Был поглощ(ен) расстройств(ом) дел, я передал ему управителя немца (был учит(елем) М(арья) И(вановны), Е(катерины) И(вановны) и сделался управит(елем) из Малинников и рекомед(овал) на им(ение) Болдино, Нижего(родской) губ(ернии), — (нрзб.). Он только неделю прожил в Болдино,⁸⁹ было в управ(лении) дворово(го) человек(а) Серг(ея) Львович(а), им(ение) и все управ(лялось) дворовым(и) людьми.⁹⁰

У отца дом в 5—6 т(ысяч) (нрзб.), он (Пушкин) и думал, показ(ав) счет, из города выманить (родителей) (?); — (остались) опять в Петербурге (?), не имея сред(ств) к жизни.⁹¹

Набирали рифмы.⁹²

В 1828 г. у С.⁹³ [бы(л)] был задан обед Гриб(оед)ову), несколь(ко) (?) по его приезде.⁹⁴ Гриб(оедов) рассказыв(ал) о (награждении) (?) за мир,⁹⁵ белые штаны (нужно было надеть для визита) к Государю, все утро хмур(ился), (затем) в чулки и башма(ки), штаны (?), а в Тиф(лисе) (нрзб.) (нрзб.) (нрзб.).⁹⁶ За этим обедом был *Приклонский* (поэт, музык(ант), бедняк⁹⁷ — отец его был управл(яющим) у

Ольденб(ургского) отца),⁹⁸ сам А. С. <Пушкин> был... в 3 часа собирались, пошли в каб(инет) курить и стихи набирать, принесли кофе, и все за *cofé*:

(мифолог.)⁹⁹

За столом сидел Фаон
Думая о Сафе,
Вдруг увидел Сафу он
В перьях и в Жирафе а)

а) прическа — волоса в три букли, приколоты на темя и сколоты гребнем, в Париже в ней первая Жирафе (?), и ст(али) (?) говори(ть) (?) <нрзб.>.

Между тем Испанок двор
Делал ау-то дафе,¹⁰⁰
Дамам, рыцарям, кругом (?) —
Подносили — кафе <sic!>.

Вот такие шутки отпуск(али) (?), сходясь. Гриб(оедова) первый раз увидал. Наизусть знал «Горе от Ума»...

[<Знакомство> (?) Вронченко и Языкова]¹⁰¹

[И чаша жизни мне горька]¹⁰²

Было лето 1828 г.,¹⁰³ держал себя Гриб(оедов) очень просто. Тут же Жандра встретил.¹⁰⁴

Вместе не на дол(гих) (?)¹⁰⁵ примч(али), перевода <sic!> Надежду Осиповну Пуш(кину),¹⁰⁶ труп — в *Апреле* теплынь, теплынь (?)...¹⁰⁷ Не перевозили (?) <через Великую>, на жеребце <прискакал> Михайло из Голубова,¹⁰⁸ оба <т. е. Пушкин и Вульф> приехали в Голубово.¹⁰⁹

Из его родни Пушк(ина) знако(мых) не было,¹¹⁰ тольк(о) Б. А. Вревский, Е(впраксия) Н(иколаевна), я и М(арья) Ив(ановна). [Он] Отец не ездил после в СПб¹¹¹ и знаком(ства) (?) порвал и стал ухаживать за молодежью...¹¹² после него.

М. И. Осипова:

А. С. Пуш(кин) тогда же купил себе место <для могилы>, он и поселился, <там> (?) хорошеньк(ий) песочек...¹¹³

Отец не гордился, <хоронить его> (?) привезли летом,¹¹⁴ тут же под камнем Ганибаличе(вы)м <положили> (?) — я (М. И.) и <нрзб.>, чтоб на нем не оста(лся) (?) незаписанны(м).¹¹⁵

М. Ив. — мечтал (?) на дуели (?) в <нрзб.>, тогда из Тригорско(го) свал(ся),¹¹⁶ письмо (?) [из]...¹¹⁷ с фельд(ъег)ерем.¹¹⁸

А. Н. Вульф (продолжение):

Поехал <из Голубова> в Тверь в 1836, а он в СПб, я уж Пушкина не видал. — Я был в Москве, когда извест(но стало) о † Пушкина,¹¹⁹ там и брат Пушк(ина) < >.¹²⁰

А с Евпр(аксией) Никол(аевной) <Пушкин> собирался ехать в деревню, он рассчитыв(ал), что убьет Дантеса и вышлют его...¹²¹

¹ Смысл сообщения восстанавливается предположительно. Из биографии Вульфа известно, что он с 1819 года жил в Дерпте и учил немецкий язык, готовясь к поступлению в университет. Это было необходимо, поскольку в Дерптском университете лекции читались на немецком языке. Прежде чем стать студентом университета, Н. М. Языков также проходил предварительный курс изучения немецкого языка.

² Вероятнее всего, имеется в виду пансион Горного кадетского корпуса, где Вульф обучался в 1818—1819 годах. Тот же путь прошел Языков, который перед поступлением в Дерптский университет был полупансионером, а затем пансионером Горного кадетского корпуса.

³ В Дерптском университете Вульф обучался на экономическом отделении философского факультета по кафедре военных наук. См.: *Бурченкова Р. В.* Комментарии к фрагментам личного дела Алексея Вульфа, дерптского студента 1822—1825 гг. // Михайловская пушкиниана. М., 2000. Вып. 6. С. 76.

⁴ Курс обучения был закончен Вульфом в декабре 1826 года. Степень «действительный студент» была введена в Дерптском университете в 1819 году и давала право на чин 14 класса. Ее присвоение являлось свидетельством об удовлетворительном окончании студентом полного университетского курса (см.: *Петухов Е. В.* Дерптский университет в первый период его существования (1803—1820) // Журнал Министерства народного просвещения. 1901. № 12. С. 348).

⁵ Видимо, именно с этим ранением был связан зафиксированный в деле студента А. Н. Вульфа перерыв в его университетских занятиях с 17 января по 20 августа 1825 года (см.: *Бурченкова Р. В.* Указ. соч. С. 80). Когда именно Вульф приезжал в Тригорское для лечения, неизвестно. Возможно, его проезд на зимние вакации в 1824—1825 годах, который определяется в летописи предположительно периодом с 15 декабря по 15 января, был несколько более продолжительным.

⁶ Запись Семеновского дает наиболее полное описание дуэлей Вульфа в студенческие годы. 6—8 сентября 1828 года Вульф писал в своем дневнике: «Вчера мать моя говорила, что ее встретила... молва о дуэлисте Вульфе, — итак, моя удалая слава еще не замолкла и, все трубя, носится передо мною. Меня зовут дуэлист, — того, который именно во все пребывание свое старался только о истреблении гибельного сего предрассудка и ежели не убежал клинка, то для того, чтобы доказать, что не из робости я исповедовал миролюбие» (Любовные похождения и военные походы А. Н. Вульфа. С. 35—36). В письмах Н. М. Языкова встречаются описания дуэлей на саблях и пистолетах, которые для дерптских студентов были повседневным занятием (см.: Языковский архив / Под ред. и с объяснит. прим. Е. В. Петухова. СПб., 1913. Вып. 1. Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822—1829). С. 65, 106).

⁷ Кандидат — это первая ученая степень для выпускника университета (следующие — магистр и доктор). С января 1827 года Языков готовился к кандидатскому экзамену, но сдавать его не стал. Весной 1829 года он покинул Дерпт «бездипломным студентом».

⁸ Языков учился на этико-политическом отделении философского факультета. Его специальность формулировалась латинским термином *Humaniora* (т. е. филология и связанные с ней дисциплины как основа классического образования).

⁹ Университетский учебный курс Вульф закончил, сдав экзамен в декабре 1826 года. Весной 1827 года он приезжал в Дерпт для получения аттестата.

¹⁰ Вульф служил в Шестом отделении Департамента разных податей и сборов Министерства финансов. Департамент занимался делом по взиманию прямых и косвенных налогов, а также повинностями населения.

¹¹ Софья Михайловна Дельвиг (1806—1888), рожд. Салтыкова, жена бар. А. А. Дельвига. О романе с ней Вульфа рассказывается в его дневнике 1828—1829 годов (Любовные похождения и военные походы А. Н. Вульфа. По указ.).

¹² О свиданиях с С. М. Дельвиг на квартире А. П. Керн в канун своего отъезда в армию Вульф писал в дневнике: «...Софья совершенно предалась своей временной страсти и, почти забывая приличия, давала волю своим чувствам, которыми никогда, к несчастью, не училась она управлять (...) Я не имел ее совершенно потому, что не хотел, — совесть не позволяла мне поступить так с человеком, каков барон...» (Там же. С. 75—76). Вульф покинул Петербург для службы в армии 7 февраля 1829 года.

¹³ Квартира Дельвига в 1827—1829 годах находилась на Загородном проспекте (продолжение Владимирской улицы) в доме Кувшинникова (Московская часть, № 167 и 168), а с осени 1829 года по январь 1831 года — в доме Тычинкина против Владимирской церкви и часовни (Московская часть, № 185 и 186). Этот дом сохранился, его современный адрес — Загородный проспект, № 1. В воспоминаниях Вульфа речь идет о первой из этих квартир.

¹⁴ Выражение «маслобойни устраивал... из молока» употреблено, по-видимому, в значении «биться неустанно, из последних сил». П. М. Полторацкому, хозяйственная деятельность которого подробно описана в воспоминаниях его дочери А. П. Керн, Б. М. Модзалевский дал следующую характеристику: «Прожектер и фантазер, он пускался в коммерческие предприятия и спекуляции, устраивал фабрики, но неизбежно прогорал, постоянно нуждался в деньгах и бедствовал» (*Пушкин А. С.* Письма: В 3 т. М.; Л., 1928. Т. 2. С. 314). В 1828 году Полторац-

кий, приезжая в Петербург, останавливался не только у дочери, но и у Вульфа, который писал о его делах в дневнике, — это были посещения опекунского совета, попытки продажи, причем неудачные, имени, ожидание денег из ломбарда и т. д. Впрочем, замечание Вульфа 1880 года о масляной подражательности и какое-то позднейшее хозяйственное предприятие Полторацкого. В 1843 году А. В. Марков-Виноградский записал в своем дневнике, что в 1842 году П. М. Полторацкий уезжал «в Петербург сбивать крупянное (!) масло» (*Керн (Маркова-Виноградская) А. П. Воспоминания. Дневники. Переписка. С. 353*).

¹⁵ Вульф называет Анну Петровну Керн (1800—1879), рожд. Полторацкую (ей посвящено стихотворение Пушкина «К***» («Я помню чудное мгновенье...», 1825), а также цикл шуточных стихотворений в альбоме 1828—1829 годов), ее отца П. М. Полторацкого и сестру Елизавету Петровну Полторацкую (род. ок. 1802), в замужестве (с 1834 года) Решко (ей посвящен пушкинский экспромт «Когда помилует нас Бог...», 1828). Керн и Полторацкая приходились Вульфу двоюродными сестрами. С первой из них у Вульфа была любовная связь, а второй он нешуточным образом вскружил голову, и она считала себя целиком принадлежащей ему. Взаимоотношения с ними описаны в дневнике Вульфа. Сведения о том времени, когда Керн жила в одном доме с Дельвигами, содержатся как в ее воспоминаниях, так и в воспоминаниях А. И. Дельвига.

¹⁶ О службе в 1829—1833 годах в Гусарском его величества принца Оранского полку подробно рассказывается в дневнике Вульфа.

¹⁷ Имеется в виду плата за патент при производстве в очередной офицерский чин. Вульф вышел в отставку с производством в чин штабс-ротмистра; указ о его отставке, называющий ее «дела и походы», в которых он участвовал в ходе турецкой (в 1829—1830) и польской (в 1831—1832) кампаний, напечатан М. Л. Гофманом в изд.: Пушкин и его современники. Вып. 21—22. С. 308—310. Вульф несколько колебался перед подачей прошения об отставке: «После долгой нерешимости и внутреннего борения между убеждением невыгоды продолжать мне службу и заманчивыми надеждами на будущее, которые некоторым образом подкреплялись вероятностью в непродолжительности получить несколько чинов (у нас вышло в короткое время много офицеров из полка, и лучшие, к сожалению), рассудок мой одержал верх, и декабря 1-го дня (1832 года) я подал прошение об отставке»; к этому шагу Вульфа подтолкнуло хроническое безденежье (Любовные похождения и военные походы А. Н. Вульфа. С. 206).

¹⁸ Смысл записи не ясен.

¹⁹ В научной литературе (см. вступ. статью) знакомство Пушкина с Вульфом относится к августу 1824 года, когда прибывший в Михайловское поэт встретился с Вульфом, находившимся на каникулах в имени своей матери (см., например: Летопись жизни и творчества Александра Пушкина: В 4 т. Т. 1. С. 433); среди тех лиц, которые составляли семейство П. А. Осиповой летом 1817 года, когда в Михайловское впервые приехал поэт, Вульф в летописи и других справочно-биографических изданиях не называется. Публикуемые воспоминания являются первым источником, свидетельствующим о знакомстве поэта с Вульфом в 1817 году.

²⁰ М. А. Цявловский в летописи жизни поэта не дает указаний на его работу над поэмой «Руслан и Людмила» в Михайловском в июле-августе 1817 года (см.: Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 1. С. 117—118). Воспоминания Алексея Вульфа — единственное тому свидетельство.

²¹ Т. е. в Святки и летом, во время студенческих каникул Вульфа.

²² Примечательно, что Вульф начинает период своего общения с Пушкиным в Петербурге с 1827 года. До публикуемых воспоминаний о том, что Вульф бывал у Пушкина в гостинице Демут в 1827 году, известно не было (см.: *Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. С. 84*). Дневник Вульфа 1827 года начинается с августа, и в нем рассказывается о встречах с приехавшим в Михайловское Пушкиным (см.: Любовные похождения и военные походы А. Н. Вульфа. С. 21 и след.). Появление Вульфа в Петербурге в 1827 году, по-видимому, было связано с его весенней поездкой в Дерпт для получения аттестата. Судя по упоминанию далее Баратынского, Вульф был в Петербурге и в начале июля 1827 года.

²³ Гостиница Демут, где останавливался Пушкин в 1827—1831 годах, считалась одной из лучших в Петербурге. Она находилась на набережной Мойки, возле Невского проспекта (дом № 40, перестроен). Пушкин остановился в этой гостинице, приехав в Петербург из Москвы 23 мая 1827 года. Гостиница принадлежала Е. Ф. Демут.

²⁴ В других мемуарных источниках, где рассказывается о проживании Пушкина в гостинице Демут, нет упоминаний о том, что его номер находился во флигеле. Впрочем, возвращаясь в Петербург после своих поездок, Пушкин мог останавливаться в разных гостиничных номерах.

²⁵ Речь идет о слуге Пушкина. Кто этот Михайло, неизвестно — в справочнике Л. А. Черейского «Пушкин и его окружение» среди крепостных крестьян Пушкиных подобного человека нет. Никита Козлов (1778—не ранее 1851), давний, с детских лет «дядька» поэта, не служил при нем в гостинице Демут. На это обстоятельство Черейский указывал предположительно («Следующие несколько лет Козлов, по-видимому, пробыл в Кистенево, у С. Л. Пушкина» — Там же. С. 198). Воспоминания Вульфа подтверждают это предположение и называют имя слуги Пушкина в 1827—1829 годах.

²⁶ журфикс, буквально: определенный день (фр.). Т. е. в гостинице Демут у Пушкина не было установленных для приема гостей дней — журфиксов.

²⁷ Неожиданный визит в гостиницу Демут Е. А. Баратынского можно датировать первой половиной июля 1827 года. До настоящей публикации единственным свидетельством того, что Баратынский в это время приезжал в Петербург (см.: *Летопись жизни и творчества Е. А. Баратынского* / Сост. А. М. Песков. М., 1998. С. 196), была агентурная записка М. Я. фон Фока о гр. А. П. Завадовском от 13 июля 1827 года из секретного архива III Отделения — в ней имеется упоминание о Пушкине и Баратынском как одном из посетителей его в «демутовом трактире» (ГАРФ. Оп. 1. № 1886. Л. 39—40, с припиской А. Х. Бенкендорфа; впервые напечатано: *Модзалевский Б. Л.* Пушкин в донесениях агентов тайного надзора. 1826—1830 // *Былое*. 1918. № 1. С. 35—36). Публикуемые воспоминания предоставляют второе свидетельство присутствия Баратынского летом 1827 года в Петербурге.

²⁸ Имеется в виду Эраст Петрович Перцов (1804—1873), поэт, переводчик, публицист, в 1827—1828 годах чиновник канцелярии статс-секретаря. 15 июня 1830 года Вяземский сделал о нем в записной книжке запись, которая свидетельствует о том, что у Перцова, известного своими сатирическими и фривольными стихами, было прозвище, фигурирующее в воспоминаниях Вульфа, — «Перец»: «Был у меня поэт, литератор молодой, Перец или Перцов, принес свою книжку: „Искуство брать взятки“. В шутке его мало перца, соли и веселости» (*Вяземский П. А.* Записные книжки. М., 1963. С. 170). Публикуемые воспоминания — первое свидетельство того, что Пушкин познакомился с Перцовым, большим его поклонником, сразу же после своего приезда в Петербург в 1827 году и что Перцов бывал у него в «демутовом трактире». До настоящей публикации считалось, что знакомство Пушкина с Перцовым состоялось в конце 1820-х годов (см.: *Перцов П. П.* Что я слышал о Пушкине // *Тридцать дней*. 1937. № 2. С. 79; *Пушкин*. Письма последних лет: 1834—1837. Л., 1969. С. 444—445 (справка Н. Н. Петруниной); *Черейский Л. А.* Пушкин и его окружение. С. 327). Судя по контексту, упоминание Перцова в воспоминаниях Вульфа относится к тому же времени, что и упоминание Баратынского, т. е. к лету 1827 года.

²⁹ Видимо, речь идет о продаже кареты Н. Н. Пушкиной во время одного из ее пребывания в Михайловском. Однако это могло произойти не в 1838-м или 1839 году, как утверждает Вульф, а позднее — в 1841-м или 1842 году. В «Прогулке в Тригорское» Семевский сообщает, что в Голубово путешественникам была подана «высокая, прочная, несколько старомодная коляска». Далее в статье устами Вульфа давалось следующее объяснение: «Это коляска Пушкина, он ее купил в 1830 годах у лучшего в то время мастера, ездил в ней, а затем, после смерти поэта, я купил коляску у вдовы его» (*Вульф А. Н.* Дневники (Любовный быт пушкинской эпохи). С. 31—32).

³⁰ Уточнение следующего сообщения в «Прогулке в Тригорское» о местонахождении усадьбы: «...наверху третьей горы, стоит село Алексея Николаевича В(у)льфа» — знаменитое *Тригорское*. Глубокий овраг, по дну которого идет дорога в село, отделяет его от Вороныча» (*Вульф А. Н.* Дневники (Любовный быт пушкинской эпохи). С. 34). В 1880 году Вульф указал Семевскому на то, что связывало две горы.

³¹ Речь идет о втором муже П. А. Осиповой Иване Сафоновиче Осипове (1773—1824). После его женитьбы на П. А. Осиповой все семейство переехало в Петербург, где статский советник Осипов служил на почтамте. Неразобранная и не поддающаяся прочтению часть записи, по-видимому, связана с описанием места, где жило семейство Прасковьи Александровны, скорее всего, на казенной квартире (неподалеку от Петербургского почтамта находился Конно-гвардейский манеж).

³² Прокомментировать эту запись трудно, поскольку нет сведений в других источниках о покупке П. А. Осиповой какого-то дома в селе Велье Опочецкого уезда Псковской губернии. Большое село Велье, расположенное на берегу одноименного озера в тридцати верстах севернее Опочки, в прошлом было старинным псковским пригородом. По сообщению начала XIX века, в этом селе была одна церковь деревянная и такие же «обывательские дома», причем среди населения «до 70 душ» было из купечества и мещан (Географический словарь Российского государства: В 6 т. М., 1801. Т. 1. С. 783—784). Поскольку покупка дома в Велье приурочена мемуаристом к началу ремонта парусиновой фабрики, ее можно отнести к 1813 году. О том, как в дальнейшем Осипова распорядилась домом в Велье, сведений не имеется. Возможно, дом был куплен ею для того, чтобы перевести туда полотняную фабрику.

³³ Полотняная фабрика находилась в Тригорском с 1780-го по 1813 год. Она была заведена при А. М. Вындомском, отце П. А. Осиповой, и закрылась сразу же после его смерти.

³⁴ Вульф был недоволен тем, что сообщил Семевский об усадебном доме в статье «Прогулка в Тригорское»: «Архитектура его больно незамысловата; это не то сарай, не то манеж, оба конца которого украшены незатейливыми фронтонами. Дело в том, что эта постройка никогда и не предназначалась под обиталище владельца и владельцев Тригорского; здесь в начале настоящего столетия помещалась парусинная фабрика, но в 1820(-х) еще годах тогдашняя владелица Тригорского задумала перестроить обветшавший дом свой, бывший недалеко от этой постройки, и временно перебралась в этот „манеж“... да так в нем и осталась» (*Вульф А. Н.* Дневники (Любовный быт пушкинской эпохи). С. 34). Рассказывая в 1880 году Семевскому об

истории Тригорского, Вульф упоминает своего деда по матери, вложившего много сил в обустройство усадьбы, — Александра Максимовича Вындомского (1750—1813). Запись Семейского об истории тригорского дома непонятна без следующих пояснений. П. А. Осипова, в то время еще Вульф, переехала в Тригорское со всем своим семейством, в котором было уже пятеро детей, после смерти отца. В том же 1813 году ею была закрыта полотняная фабрика. Дом же усадебный, в котором жил Вындомский и который Семейский противопоставил другому, «незамысловатому», был, судя по плану 1784 года, невелик по размерам — 14 x 14 м (см.: *Емелина О. В.* Тригорское. Новые данные о его истории // Михайловская пушкиниана. М., 2000. Вып. 6. С. 13). Именно это обстоятельство, как полагает О. В. Емелина, и побудило Прасковью Александровну переехать в переоборудованное для жилья здание бывшей парусиновой фабрики. Однако перемена жилища могла произойти и по другой причине. Поскольку вслед за началом ремонта на парусиновой фабрике был куплен какой-то дом в Велье (см. выше), можно полагать, что дом А. М. Вындомского был не просто тесен, а вообще не годился для жилья. По сравнению с дедовским, новый дом был во всех отношениях лучше. В отстаивании этой позиции смысл уничижительных отзывов Вульфа о старых тригорских постройках, которые были незаслуженно превознесены автором «Прогулки», по-видимому, как следует не рассмотревшим в 1865 году остатки старого дома. Новый усадебный дом «внутри... был очень удобно спланирован и полностью отвечал требованиям времени и уж совсем не выглядел лишь приспособленным для жилья на время ремонта старого дома» — так, дискутируя с Семейским, оценивает состояние тригорского усадебного дома О. В. Емелина (Там же. С. 17). Что же касается утверждения Вульфа о том, что в Тригорском дом был выстроен «по образцу фабрики», то оно имеет подтверждение в материалах статьи Ю. Б. Бирюкова «Итоги филологического исследования построек усадьбы Тригорское» (Михайловская пушкиниана. Псков, 1998. Вып. 5: Тригорский сборник. С. 24), где указывается, что неподалеку от господского дома при раскопках был обнаружен совпадающий с ним по размерам фундамент какого-то строения, вытянутого к тому же по общей с ним оси. История тригорского дома в изложении Вульфа расходится с тем, как она представляется на основании статьи Семейского в современных путеводителях по Михайловскому заповеднику. Свидетельство Вульфа более авторитетно, и отныне именно оно должно стать исходной точкой в освещении истории тригорского усадебного дома.

³⁵ Осипов умер 5 февраля 1824 года.

³⁶ По-видимому, пояснение, относящееся к сообщению в «Прогулке в Тригорское» о том, что П. А. Осипова «в 1820(-х) еще годах» имела намерение «перестроить обветшавший дом» своего отца (*Вульф А. Н.* Дневники (Любонный быт пушкинской эпохи). С. 34).

³⁷ Алексей Викторович Фок — третий сын Екатерины Ивановны Фок (1823—1909), рожд. Осиповой. Запись уточняет сообщение о судьбе старого господского дома в статье Семейского: «Перестройка же дома откладывалась с году на год, едва ли не до тех пор, пока года четыре тому назад от неосторожного выстрела одного юноши сгорело в Тригорском несколько построек, и в том числе погибли руины дома, состоявшего „в вечном подозрении”» (*Вульф А. Н.* Дневники (Любонный быт пушкинской эпохи). С. 34). Впоследствии о времени пожара, уничтожившего старый тригорский дом, высказывались различные суждения: это происшествие относили и к 1820-м годам и даже к 1817 году (см.: *Емелина О. В.* Указ. соч. С. 16). Проанализировав хозяйственные записи Вульфа, Емелина пришла к выводу, что пожар произошел между июнем 1859-го и январем 1860 года. Настоящая публикация подтверждает этот вывод — остатки старого тригорского дома сгорели в праздник Преображения Господня 6 августа 1859 года.

³⁸ Других высказываний о происхождении Вульфов и их гербе в мемуарно-эпистолярных текстах, вышедших непосредственно из семейства П. А. Осиповой, нет. О. Н. Вульф, внучка И. П. Вульфа, принимавшего в Берново Пушкина, решительно отметала гипотезу о шведских корнях рода и настаивала на англосаксонском происхождении своих предков, младшая ветвь которых — бароны Вульф — закрепились и жила в Лифляндии (ИРЛИ. Ф. 244. Оп. 17. № 11 («Берновские воспоминания о Пушкине» О. Н. Вульф); цит.: *Кочнева Т. П.* Лишь три звезды скрывают тайну, Ее и нужно разгадать // «Я ехал к Вам...». Тверь, 1997. С. 102—103). Видимо, поэтому на гербе, которым были украшены сохранившиеся вещи из дома П. А. Осиповой (печатка Н. И. Вульфа, серебряный поднос), изображена баронская корона, отсутствующая в гербах других российских Вульфов, не связанных родством с этим семейством (см. об этом: *Вульф Д. А., Космолинский П. Ф., Лукина Н. В.* О гербах Вульфов и Вревских // Михайловская пушкиниана. М., 2000. Вып. 6. С. 105—113). В записи Семейского речь идет о «саксонцах», но, вероятнее всего, имеются в виду англосаксы как предки Вульфа.

³⁹ Т. е. листок, имеющий отношение к дипломам, удостоверяющим древность рода Вындомских; слово «дипломатический» — производное от «дипломатики», вспомогательной исторической дисциплины, занимающейся определением достоверности исторических документов («дипломов»).

⁴⁰ Анна Николаевна Вульф (1799—1857), старшая дочь П. А. Осиповой. Смысл связанной с ней записи не ясен.

⁴¹ Екатерина Васильевна Вельяшева (1813—1865), двоюродная сестра Вульфа, дочь старичского исправника В. И. Вельяшева и Н. И. Вельяшевой, рожд. Вульф.

⁴² Малинники — имение Осиповых—Вульфов в Старичком уезде Тверской губернии.

⁴³ Эпизод относится к августу 1833 года. О поездке в имение Н. И. Гончаровой Ярополец Волоколамского уезда Московской губернии сообщалось в письме Пушкина к жене от 21 августа 1833 года из Торжка. Письмо было напечатано в «Вестнике Европы» в 1878 году. Оно содержало «отчет» Пушкина Наталье Николаевне о посещении «Вульфовых поместий».

⁴⁴ Едва ли к этой поездке можно отнести слово «своротил», поскольку 19 октября 1828 года Пушкин, отправившись из Петербурга, ехал прямо в тверскую деревню П. А. Осиповские по ее же приглашению. В Малинниках, откуда Пушкин выезжал в Старицу и «вульфовские» имения родственников Осиповой, он прожил с конца октября до начала декабря 1828 года.

⁴⁵ «Три дочери» — это Анна Николаевна Вульф, Евпраксия Николаевна Вульф и Мария Ивановна Осипова. То, что в 1829 году младшая дочь Маша была с матерью в Малинниках, видно из дневниковой записи (на «Месяцеслове») П. А. Осиповой (Пушкин и его современники. СПб., 1903. Вып. 1. С. 142). О том, что, находясь в тверском имении в 1828—1829 годах, М. И. Осипова общалась с поэтом, Л. А. Черейский писал в книге «Пушкин и Тверской край» (М., 1985. С. 58), но затем почему-то не ввел эти сведения в справочную статью о ней в издании «Пушкин и его окружение» (С. 313). Что же касается самой младшей дочери П. А. Осиповой Екатерины, названной в комментируемом фрагменте воспоминаний по фамилии мужа Фок, то ее, действительно, в тверском имении в 1828—1829 годах не было — она оставалась в Тригорском.

⁴⁶ По-видимому, речь идет о пребывании в Тверской губернии самого Вульфа. Однако пробыл он там намного больше недели.

⁴⁷ Вульф приехал в Малинники из Петербурга 18 декабря 1828 года.

⁴⁸ Пушкин и Вульф отправились из Тверской губернии в Петербург 19 января 1829 года. Эту поездку Вульф описал в своем дневнике (см.: Любовные похождения и военные походы А. Н. Вульфа. С. 72—73).

⁴⁹ Речь идет о стихотворении Пушкина «Подъезжая под Ижоры...», посвященном Е. В. Вельяшевой. В письме от 16 октября 1829 года к Вульфу Пушкин назвал его «нашими общими стихами» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1937. Т. 14. С. 50). Какая-то часть этого стихотворения, в которую входило первое четверостишие, была сочинена во время возвращения Пушкина с Вульфом из Тверской губернии. Вульф цитирует одну из его строк: «И вспомнил ваши взоры, / Ваши синие глаза».

⁵⁰ После поездки в Москву, которая заняла начало декабря 1828-го—первые числа января 1829 года, Пушкин вернулся в Тверскую губернию. Разъезжая, Пушкин и Вульф побывали в имениях Берново (И. И. Вульфа), Павловское (Павла И. Вульфа), Соколово (Петра И. Вульфа). Святки 1828/29 года описаны в дневнике Вульфа.

⁵¹ Александр Александрович Жандр (1812—1865), офицер Владимирского уланского полка, был помолвлен с Е. В. Вельяшевой в 1833 году, женился на ней в 1834 году. См. о нем: Пушкин А. С. Письма. Т. 2. С. 349. Полный послужной список Жандра приведен в картотеке Б. Л. Модзалевского (ИРЛИ).

⁵² В других источниках нет указаний на то, что отцом мужа Е. В. Вельяшевой был, оказывается, генерал-лейтенант Александр Андреевич Жандр (1776—1830), адъютант вел. кн. Константина Павловича. Он стал первой жертвой восставших поляков и был убит 17 ноября 1830 года. Сообщение об этом напечатала «Северная пчела». С Жандром были знакомы супруги Павлищевы, которые, по словам их сына Л. Н. Павлищева, очень о нем сожалели (см.: Мир Пушкина: Семейные бумаги Пушкиных—Ганнибалов. СПб., 2003. Т. 3. Семейные предания Пушкиных. С. 174). Мемуаристы крайне отрицательно характеризовали Жандра — любимца Константина, вора, взяточника, «охотника до болтовни и до карт» (Веригин Н. В. Записки // Русская старина. 1893. № 3. С. 579); негативно отзывались они и о его жене Д. И. Жандр, любившей крупную и, как говорили, нечистую игру (см.: *Canega J.* Мемуары. Пг., 1915. С. 78). Нелицеприятный отзыв об их сыне, муже Катеньки Вельяшевой, дал и Вульф: «...муж ее страсть имеет особенную ездить на козлах и неприлично ревнив» (Пушкин и его современники. Вып. 1. С. 108). Д. И. Жандр была крестной матерью единственной дочери Е. В. и А. А. Жандров Варвары (сообщено в картотеке Б. Л. Модзалевского, ИРЛИ).

⁵³ Е. В. Жандр скончалась в 1865 году.

⁵⁴ Анна Ивановна Вульф (не ранее 1801—1835), в замужестве Трувеллер, дочь хозяина Берново И. И. Вульфа, двоюродная сестра Алексея Вульфа. Пушкин познакомился с ней в Тригорском в 1825 году. Ей посвящено стихотворение Пушкина «За Netty сердцем я летаю...» (1829).

⁵⁵ Екатерина Ивановна Гладкова (1805—ум. не позднее 1846), рожд. Вульф, старшая дочь И. И. Вульфа. Общалась с Пушкиным во время его приездов в Тверскую губернию.

⁵⁶ По-видимому, имеется в виду «центр жизни» многочисленного семейства Вульфов. Первым владельцем имения Берново был прадед Алексея Вульфа П. Г. Вульф. Затем Берново унаследовал И. П. Вульф, шестеро из детей которого дали многочисленное потомство.

⁵⁷ Речь идет об одном из посещений Пушкиным тверского имения И. И. Вульфа Берново (где жили А. И. Вульф и Е. И. Гладкова, последняя с семейством), а именно — о заезде на пути из Москвы в Петербург поздней осенью 1829 года, после арзрумского путешествия. В письме от 16 октября 1829 года Пушкин писал Вульфу об А. И. Вульф: «...Netty, нежная, томная, исте-

рическая, *потолстевшая Netty* — здесь. (...) Вот уже третий день как я в нее влюблен». Письмо было впервые напечатано Семевским в «Прогулке в Тригорское».

⁵⁸ Ср.: «Поднесут тебе форели! / Тотчас их варить вели, / Как увидишь: посинели...» — отсюда начинаются цитаты, причем весьма неточные, и комментарий стихотворения «У Гальяни иль Кольони...» из письма Пушкина к С. А. Соболевскому от 9 ноября 1826 года с описанием в «гастрономическом» духе путешествия из Москвы в Петербург (от одной крупной станции к другой). Интерес Семевского к письму понятен, поскольку с 1857 года — и вплоть до начала XX века — оно печаталось в виде фрагмента. С посланием к Соболевскому 1826 года перекликается дневниковая запись Вульфа от 16 января 1829 года, в которой описывается его поездка с Пушкиным из Тверской губернии в Петербург: «Пользовавшись всем достопримечательным по дороге от Торжка до Петербурга, т. е. купив в Валдае баранков (крендели небольшие) у дешевых красавиц, торгующих ими, в Вышнем Волочке завтракали мы свежими сельдями, а на станции Яжелбицах ухую из прекраснейших форелей, единственных почти в России, приехали мы на третий день вечером в Петербург...» (Любовные похождения и военные походы А. Н. Вульфа. С. 73). Поскольку переклички этого текста с посланием Пушкина очевидны, вполне естественно предположить, что по дороге Пушкин читал Вульфу свое послание к Соболевскому 1826 года.

⁵⁹ Имеется в виду описание ухи в «Яжелбицах» (таково написание у Пушкина) в его стихотворении «У Гальяни иль Кольони...»

⁶⁰ Ср. в стихотворении Пушкина «У Гальяни иль Кольони...»: «У податливых крестьянок / (Чем и славится Валдай) / К чаю накупи баранок...»

⁶¹ Контаминация двух строф из стихотворения Пушкина «У Гальяни иль Кольони...»:

Как до Яжелбиц дотащит
Колымагу мужичок,
То-то друг мой растарашит
Сладострастный свой глазок!

Поднесут тебе форели!..

Далее см. в прим. 58.

⁶² Ср. ремарку «В Валдае спроси: есть ли свежие сельди?», которой прерывается стихотворный текст послания из письма Пушкина к Соболевскому от 9 ноября 1826 года.

⁶³ В стихотворении Пушкина «У Гальяни иль Кольони...» давался такой совет: «На досуге отобедай / У Пожарского в Торжке...»

⁶⁴ Лицо неустановленное. Вероятнее всего, Вульф ошибочно называет трактир Молилари вместо известного тверского трактира Галлиани, упомянутого Пушкиным в послании к С. А. Соболевскому «У Гальяни иль Кольони...» Ошибка тем более вероятна, что последующий рассказ Вульфа о Д. Е. Пожарской весьма неточен.

⁶⁵ Сообщение Вульфа о Дарье Евдокимовне Пожарской (1798—1854) неточно. Она, действительно, была дочерью потомственного торжковского ямщика, но в Твери у содержателя трактира, насколько известно, не служила. Ее отец Е. Д. Пожарский имел в Торжке гостиницу и при ней сафьяновую лавку, которые унаследовала дочь после его смерти в 1834 году. Задолго до этого Д. Е. Пожарская начала служить в заведении своего отца (см.: *Кашкова В. Ф.* «У Пожарского в Торжке». Тверь, 1996). Говоря о двадцати годах, в течение которых слава Пожарской гремела по всей России, Вульф, по-видимому, имеет в виду то время, когда она была полновластной хозяйкой своего заведения, в особенности после постройки новой гостиницы. С каким-то итальянцем или французом в легендарных рассказах о Пожарской связывали переданный ей секрет приготовления куриных («пожарских») котлет.

⁶⁶ Имеется в виду фортепиано, на котором играла в Тригорском Александра Ивановна Осипова (1808—1864), в замужестве Беклешова, падчерица П. А. Осиповой. О нем Семевский упоминал в «Прогулке в Тригорское»: «Подле зала большая гостиня. В ней не только вся мебель, но даже мелкие вещи... все те же... какие были во время Пушкина; тут же стоят и фортепиано; я дотронулся до них — они задрезбужали и зашипели; между тем по этим самым клавишам более тридцати лет тому назад играла Александра Ивановна Осипова» (*Вульф А. Н.* Дневники (Любовный быт пушкинской эпохи). С. 37). Вновь об этом инструменте, оставшемся в Тригорском, сообщалось в изд.: *К—н* (Княжнин В. Н.?). Еще о пушкинских местах // Исторический вестник. 1909. № 11. С. 592. И. С. Зильберштейн писал в 1929 году, что фортепиано сохранилось, «несмотря на то что дом в Тригорском и все, что в нем было, сожжено во время революции» (*Вульф А. Н.* Дневники (Любовный быт пушкинской эпохи). С. 388). После 1929 года инструмент был вывезен в Ленинград по распоряжению А. В. Луначарского. Тем не менее есть основания считать, что не на нем играла Алина Осипова. Е. М. Пыпина, дочь последнего арендатора Тригорского, вспоминала, что после пожара 1917 года сохранилось «концертное пианино» (она говорит о нем: «наше»), которое «кто-то увез и поставил на открытом воздухе» (*Никифоров В. Г.* О последнем владельце Тригорского // Михайловская пушкиниана. Вып. 6. С. 37). Едва ли она могла назвать «нашим», да к тому же еще «концертным», тот инст-

румент, который в 1865 году приветствовал Семевского в Тригорском дребезжанием и шипением.

67 Дельвиг побывал в Михайловском в апреле 1825 года, а не в 1826 году. Во втором выпуске «Прогулки в Тригорское» Семевский писал: «Дельвиг приезжал к другу своему в Михайловское гостить зимой 1825 года». В примечании к четвертому выпуску статьи Семевский исправил свою ошибку: «Кстати заметим здесь, что Дельвиг гостил в Михайловско-Тригорском не зимой 1825 г., как о том сказано во II главе нашей статьи, а весной того же года» (Вульф А. Н. Дневники (Любовный быт пушкинской эпохи). С. 44, 56).

68 Михайловское и Тригорское находились в Опочецком уезде.

69 Три сосны упомянуты Пушкиным в письме к жене от 25 сентября 1835 года и в стихотворении «...Вновь я посетил...» (1835): «На границе Владений дедовских, на месте том, / Где в гору подымается дорога, / Изрытая дождями, три сосны / Стоят...» В сноске к «Прогулке в Тригорское» Семевский сообщал: «Кстати: теперь уж их *не три*, а только *две*; одну лет пять назад срубил староста села Михайловского и продал ее за 5 руб. на мельницу. Он уверял, что имел на это полное право, так как дерево стояло на самой меже земли сел Тригорского с Михайловским; при чем будто бы *подерева* стоит на земле сельца Михайловского. Осиротелые две сосны стоят еще: одна из них разветвлением своих стволов совершенно походит на лиру». На основании сообщения Вульфа 1880 года Семевский начал правку в рукописи «Прогулки в Тригорское» (см. выше). Последняя из трех сосен погибла во время грозы в июле 1895 года.

70 Т. е. после 1842 года. С середины 1860-х годов в Михайловское стал приезжать новый хозяин — младший сын поэта Г. А. Пушкин.

71 По-видимому, имеется в виду время после приезда Пушкина и Вульфа из Тверской губернии в январе 1829 года. Три дня после этого Вульф прожил у Пушкина в номере. В феврале он уехал в армию.

72 По-видимому, ответы на вопросы Семевского о занятиях Пушкина, за которыми Вульф заставлял его, приходя в гостиницу.

73 Запись перекликается с тем текстом, который Семевский вычеркнул, редактируя фрагмент о царской аудиенции (см. выше). В «Прогулке в Тригорское» устами Вульфа утверждалось, что Пушкин любил порисоваться перед дамами.

74 У А. А. Дельвига друзья собирались два раза в неделю. Судя по воспоминаниям Вульфа, Пушкин не был там частым гостем.

75 С 1 сентября 1833 года до середины августа 1834 года Пушкины жили на Пантелеймоновской улице (ныне ул. Пестеля, д. 5). Дом принадлежал Александру Карловичу Оливио (Оливье) (ум. не ранее 1837 года) и его жене Марии Петровне (1797—1839). Через Пантелеймоновский мост, которым заканчивалась улица, можно было попасть в Летний сад, раскинувшийся на другой стороне Фонтанки. В «Прогулке в Тригорское» Семевский сообщал: «В 1834 же году Пушкин жил на набережной у Летнего сада, в доме Оливьера». В воспоминаниях Вульф упоминает церковь св. Пантелеймона, которая фигурирует в адресованных Пушкинку письмах этого времени («На Пантелеймоновской улице против церкви, в доме Оливье»). Судя по дневнику Вульфа, он был в Петербурге и заходил к Пушкину в январе—первой половине февраля 1834 года (Любовные похождения и военные походы А. Н. Вульфа. С. 223).

76 Две свояченицы (*фр.*) — Александра Николаевна Гончарова (1811—1891), в замужестве Фризенгоф, и Екатерина Николаевна Гончарова (1809—1843), в замужестве Дантес, которые жили с семейством Пушкина с осени 1833 года.

77 18 сентября 1834 года Вульф писал в дневнике о Н. Н. Пушкиной: «...удостоился я лицезреть супругу А. Пушкина, о красоте коей молва далеко разнеслась. Как всегда это случается, я нашел, что молва увеличила многое» (Любовные похождения и военные походы А. Н. Вульфа. С. 223).

78 Последняя фраза записи показывает, что Вульф винил Наталью Николаевну в нехватке средств в семействе Пушкина. Упрек этот в адрес хозяйки дома не лишен оснований в том смысле, что при наличии огромных долгов она тратила большие средства на свой туалет. Вульф объяснял это воспитанием Натальи Николаевны, поскольку ее матушка Наталья Ивановна Гончарова плохо вела дом и держала дочерей так, что им «не в чем было обуться». Кн. Е. А. Долгорукова рассказывала П. И. Бартеневу о сестрах Гончаровых, что «на балы они иногда приезжали в изорванных башмаках и старых перчатках. Долгорукая помнит, как на одном балу Наталью Николаевну вводили в другую комнату и Долгорукая давала ей свои новые башмаки, потому что ей приходилось танцевать с Пушкиным» (впервые напечатано в кн.: Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым. М., 1924. С. 62). Видимо, эти подробности жизни Пушкиной в доме матери были довольно известны, и Вульф упоминает о них в рассказе Семевскому задолго до их появления в печати.

79 В Тригорское.

80 Надежда Осиповна Пушкина скончалась 29 марта 1836 года.

81 Публикуемые воспоминания являются единственным свидетельством того, что Вульф, когда Пушкин вез гроб с телом своей матери в Святогорский монастырь, ехал с ним от самого Петербурга, — это новый факт, который становится достоянием биографии поэта благодаря настоящей публикации. Дата отъезда Пушкина из Петербурга (8 апреля) сообщается в письме

П. А. Вяземского А. И. Тургеневу от 8 апреля 1836 года (Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1913. Т. 3. С. 312). Из записи Б. А. Вревского известно, что в Голубово Пушкин приехал вместе с Вульфом 11 апреля 1836 года (см.: Пушкин и его современники. Вып. 21—22. С. 395). Из этого биографами поэта делался вывод, что Пушкин встретился с Вульфом, заехав в Тригорское, откуда затем они отправились в Голубово (см.: Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 4. С. 423—424). В действительности же дело обстояло иначе, и предполагаемого заезда Пушкина в Тригорское не было. Похороны Н. О. Пушкиной состоялись в Святогорском монастыре 13 апреля 1835 года.

Вспоминал о поездке с Пушкиным из Петербурга в деревню Вульф и ранее, когда рассказывал Семевскому о поэте в 1865—1866 годах. Однако в «Прогулку в Тригорское» это сообщение попало с искажением даты: Пушкин, по словам Вульфа, имевшего в виду известное пророчество Карлгоф, «еще осенью 1835 года, едуци со мной из Петербурга в деревню, вспомнил об этом эпизоде своей молодости и говорил, что ждет и над собой исполнения пророчества колдуньи» (Вульф А. Н. Дневники (Любовный быт пушкинской эпохи). С. 69). Следует отметить, что в 1835 году подобной поездки из Петербурга в деревню у Вульфа с Пушкиным не было. Значит, речь могла идти только о поездке весной 1836 года.

⁸² Имеется в виду акварель Александра Ивановича Григорьева (1794—1852), о которой Вульф писал в своем дневнике 28 сентября 1828 года: «Сегодня... кончил мой портрет Григорьев. Желая, чтобы мать моя была довольна им: мне кажется он не совсем похож» (Любовные похождения и военные походы А. Н. Вульфа. С. 38). Это известный портрет Вульфа, на котором он изображен в халате.

⁸³ Журнал «Современник», издававшийся Пушкиным с 1836 года.

⁸⁴ В рукописи написано с ошибкой: «о матери». В статье «К биографии Пушкина» Семевский привел воспоминания Е. Н. Вревской, относящиеся ко времени приезда поэта в Голубово в связи с похоронами Н. О. Пушкиной: «После похорон он был чрезвычайно расстроен и жаловался на судьбу, что она и тут его не щадила, дав ему такое короткое время пользоваться нежностью материнскою, которой до того времени он не знал» (Русский вестник. 1869. № 11. С. 89).

⁸⁵ Смысл записи неясен. Возможно, речь идет о монументальной бронзовой статуе Екатерины II, которая принадлежала семье Гончаровых. О ее продаже Пушкин начал хлопотать по просьбе А. Н. Гончарова в 1830 году. В 1832 году статуя была привезена в Петербург, и ее владельцем стал Пушкин. В. Я. Рогов полагал, что поэту удалось ее продать в 1836 году (см.: Рогов В. История «статуи медной» // Простор. 1971. № 4. С. 108; об истории статуи см. также: Эйдельман Н. Я. Медная и негодная... // Статьи о Пушкине. М., 2000. С. 224—248). В настоящий момент появились сведения о том, что Пушкин продал статую владельцу литейного завода Ф. К. Берду еще в 1833 году (см.: Шуйский В. К. Огюст Монферран: История жизни и творчества. СПб.; М., 2005. С. 47 — за указанием на эту книгу благодарю А. Ю. Балакина). Между тем известно, что в самом конце 1835 года в переписке Н. Н. Пушкиной с братьями Гончаровыми встречаются упоминания о намечающейся сделке по продаже какого-то памятника (см.: Яшин М. Пушкин и Гончаровы // Звезда. 1964. № 8. С. 181). Это обстоятельство не позволяет с полным доверием отнестись к сообщению о судьбе статуи в книге В. К. Шуйского, тем более что архивный документ, на который ссылается автор, в ней не цитируется. Семевский мог заинтересоваться отрывочными сообщениями об этой статуе, которые содержались в письмах Пушкина, к 1881 году уже опубликованных (отсюда краткость сделанной им со слов Вульфа записи).

⁸⁶ По-видимому, речь шла о Николае I.

⁸⁷ Остров — уездный город Псковской губернии. Синьская станция (Синск) была, по-видимому, последней почтовой станцией, на которой Пушкин и Вульф задержались в ожидании лошадей из Голубово (об этом рассказывается ниже). Эта задержка запомнилась Вульфу особенно выражением горестных переживаний Пушкина.

⁸⁸ «Довольно порядочное» шоссе, которое впоследствии прошло через Остров, упомянуто Семевским в статье «Могила Пушкина» с описанием дороги из Петербурга в Святогорский монастырь (Новое время. 1880. 25 мая).

⁸⁹ Речь идет о попытке Пушкина назначить в Болдино нового управляющего. В июне 1834 года им был отправлен туда Карл Рейхман (ум. 1835), в прошлом учитель младших дочерей (от второго брака) П. А. Осиповой, а затем управляющий имением Малинники. Рейхман пробыл в Болдино с 30 мая по 9 июня 1834 года и уехал оттуда, найдя хозяйство в беспорядке, а крестьян в нищете.

⁹⁰ Вульф неточен. В момент, когда Рейхман приехал в Болдино, его управителем был Осип Матвеевич Пеньковский (ум. 1885(1886)). Ранее им управлял М. И. Калашников, крепостной Пушкиных.

⁹¹ Спасая от разорения отца, мать, сестру и брата, Пушкин в 1834 году взял на себя управление имением и ведение денежных дел семьи. В деньгах, которыми Пушкин распоряжался, он должен был давать отчет. С этой целью он завел специальную тетрадь «Щета по части управления Болдина и Кистенева», в которой делал записи с апреля 1834 года по июнь 1835 года (Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты / Комментар. М. А. Цявловского, Л. Б. Модзалевского, Т. Г. Зенгер. М.; Л., 1935. С. 364—374). Видимо, об этих счетах Пушкин

говорил Вульфу, когда объяснял ему, почему он взялся за дела нижегородского имения. Пушкин предлагал своему отцу переехать на жительство в деревню, но получил отказ.

⁹² Вульф говорит о доходах Пушкина от литературных трудов.

⁹³ «С» в тексте Семевского можно было бы отнести к П. П. Свиныну, у которого 25 марта 1828 года был устроен большой пасхальный обед в честь Грибоедова (его все поздравляли с царскими наградами). По воспоминаниям К. А. Полевого, на обеде присутствовало «много людей замечательных», среди которых он назвал Пушкина, Крылова, Греча (см.: А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980. С. 160—161). Вульф не был знаком со Свиныным и едва ли мог быть приглашен на обед, собравший весь литературный мир столицы. В воспоминаниях Вульфа описано более скромное литературное собрание. Вероятнее всего, он имел в виду Ореста Михайловича Сомова (1793—1833), писателя, критика, журналиста. О знакомстве с Сомовым автора «Горя от ума» вспоминал Д. И. Завалишин, утверждавший, что он познакомился с Грибоедовым на рубеже 1824—1825 годов благодаря «одному из его почитателей, Оресту Михайловичу Сомову»; Грибоедов у него «часто бывал и потому, что у Сомова жил тогда Александр Бестужев» (Там же. С. 129). В 1828 году на обеде у Сомова по случаю приезда Грибоедова вполне мог быть Вульф, поскольку он был хорошо знаком со всеми членами литературно-дружеского кружка, собиравшегося в доме Дельвига. Упоминания Сомова на страницах дневника Вульфа говорят о приятельских отношениях между ними.

⁹⁴ Грибоедов приехал в Петербург 14 марта 1828 года.

⁹⁵ Имеется в виду заключенный 10 февраля 1828 года Туркманчайский мирный договор, которым закончилась русско-персидская война 1826—1828 годов, причем самым выгодным для России образом. 15 марта 1828 года Грибоедов был награжден за успешную дипломатическую деятельность чином статского советника, орденом Анны 2-й степени с алмазами и четырьмя тысячами червонцев. 25 апреля он был назначен полномочным министром в Персию.

⁹⁶ В нечитаемой части текста (она написана на нижней кромке листа) речь идет, по-видимому, также о «штанах», но в связи с принятым в Тифлисе обычаем.

⁹⁷ Неустановленное лицо.

⁹⁸ Если смотреть с позиции 1828 года, то «отцом» мог быть назван только принц Георгий Ольденбургский (1784—1812). Если же иметь в виду 1880 год, то тогда речь идет о другом представителе династии, а именно — о Петре Ольденбургском (1812—1880).

⁹⁹ В четверостишии использованы имена древнегреческой поэтессы Сафо (VI в. до н. э.) и ее возлюбленного Фаона.

¹⁰⁰ Аутодафе — сожжение еретиков по приговору инквизиции.

¹⁰¹ Михаил Павлович Вронченко (1801 или 1802—1855) — переводчик, военный геодезист, автор географических сочинений. В 1824—1828 годах был командирован в Дерптский университет для углубленного изучения астрономии.

¹⁰² Источник цитаты установить не удалось.

¹⁰³ По-видимому, Вульф ошибочно называет дату обеда, поскольку в начале июня Грибоедов, назначенный послом в Персию, покинул Петербург.

¹⁰⁴ По-видимому, речь идет об Андрее Андреевиче Жандре (1789—1873), приятеле Грибоедова, чиновнике Морского министерства. Следует отметить, что фраза «Тут же Жандра встретил», написанная сверху листа после его поворота, присоединена к рассказу о Грибоедове по смыслу. В рукописи она примыкает к следующему сообщению о поездке Пушкина и Вульфа в Псковскую губернию.

¹⁰⁵ Т. е. Пушкин и Вульф ехали на почтовых лошадях.

¹⁰⁶ Продолжение рассказа о поездке Вульфа с Пушкиным при перевозе останков Н. О. Пушкиной в Святогорский монастырь.

¹⁰⁷ С момента смерти Н. О. Пушкиной до ее похорон (см. прим. 80) прошло полмесяца.

¹⁰⁸ Выше Вульф упомянул о «Синьской станции» (Синске). Станция эта располагалась на двух сторонах Великой. Из того, что рассказал Семевскому Вульф, следует, что в 1836 году он с Пушкиным оказался на правом (северном) берегу реки, откуда была прямая дорога на Голубово. Переправа через реку была бы необходима, если бы Пушкин направился в Михайловское. Упоминание о прискакавшем в Синск из Голубово слуге говорит о том, что после этой станции они уже ехали на своих лошадях. Вполне возможно, что переправляться Вульф и Пушкин не стали из-за ледохода или разлива реки. Семевский хорошо понял Вульфа, поскольку прекрасно знал Псковщину.

¹⁰⁹ Запись Б. А. Вревского в голубовском «Вседневном журнале» гласит: «Апрель... 11 приехали А. С. Пушкин и А. Н. (Вульф)»; здесь же сообщение о похоронах Н. О. Пушкиной (13 апреля) и отъезде в Петербург (14 апреля) поэта вместе с Вревским (Пушкин и его современники. Вып. 21—22. С. 395).

¹¹⁰ Смысл записи неясен. Возможно, имеется в виду родня С. Л. Пушкина.

¹¹¹ Вульф ошибается: С. Л. Пушкин довольно часто бывал после смерти сына в Петербурге.

¹¹² Об ухаживаниях влюбленного С. Л. Пушкина Семевскому могли рассказать на основании личного опыта бар. Е. Н. Вревская, М. И. Осипова, Е. Е. Шокальская, рожд. Керн; ухаживал отец поэта и за А. П. Керн. П. В. Анненков, вероятнее всего, ошибочно называл еще и Али-

ну — А. И. Беклешову, рожд. Осипову, которая якобы «возбуждала поздние восторги Сергея Львовича» (*Анненков П. В. А. С. Пушкин в александровскую эпоху.* СПб., 1874. С. 281). Чувство Сергея Львовича к Марии Ивановне Осиповой было довольно серьезным, и он мечтал о браке с ней. Его стихи к ней напечатаны Семевским в 1869 году в статье «К биографии Пушкина». Здесь же Семевский писал об ухаживаниях С. Л. Пушкина «за молодежью»: «Предметами его песнопений бывали обыкновенно юницы, только-только что выходявшие из коротеньких платьиц, и чем старше делался Пушкин-отец, тем охотнее „точил он слезы умиления и любви пред юнейшими из юных отроковиц“. Небольшого роста, толстенный, беззубый, плешивый и вечно прилизывавший скудные остатки волос фиксатуаром, он был чрезвычайно слезлив и весьма рано обрекался. Влюблялся он в десятилетних девочек и пресмешно ревновал их. Так рассказывали мне предметы его поклонения, ныне солидных лет дамы и девицы» (*Русский вестник.* 1869. № 11. С. 86).

¹¹³ Речь идет о приобретении Пушкиным места для себя на кладбище Святогорского монастыря в апреле 1836 года. Связанные с этим записи в бумагах монастыря не обнаружены. Однако едва ли можно считать, что приобретение Пушкиным в 1836 году места для своей могилы не более чем «версия» (см. статью «Могилы А. С. Пушкина» в изд.: *Пушкинская энциклопедия «Михайловское»:* В 3 т. М., 2003. Т. 1. С. 276). Пушкина повезли в Святогорский монастырь хоронить не только потому, что жена знала о его желании. Из семейства П. А. Осиповой вышли два свидетельства на этот счет. В статье «К биографии Пушкина» Семевский привел следующее сообщение из имевшихся у него воспоминаний Е. Н. Вревской: «Он сам привез ее тело в Святогорский монастырь (апрель 1836 г.), где она похоронена, и тут же купил и себе место» (*Русский вестник.* 1869. № 11. С. 89). Второе сообщение принадлежит М. И. Осиповой и записано Семевским в публикуемых воспоминаниях.

¹¹⁴ С. Л. Пушкин скончался 29 июля 1848 года.

¹¹⁵ Сергей Львович, как и Надежда Осиповна, погребены в Святогорском монастыре у алтарной стены Успенского собора под надгробными плитами, довольно большими по размерам, И. А. и М. А. Ганнибал, родителей Н. О. Пушкиной. Отдельных плит над прахом С. Л. и Н. О. Пушкиных нет и никогда не было. Указание Осиповой на то, что Сергея Львовича (а она присутствовала на его похоронах) положили «под камнем Ганибаличе(вы)м», говорит о том, что он, по-видимому, был похоронен со стороны И. А. Ганнибала. Свидетельство М. И. Осиповой очень ценно, поскольку указывает на точное место захоронения С. Л. Пушкина: он был положен рядом со своим тестем под поднятую могильную плиту с его именем. По-видимому, так же, но со стороны своей матери была захоронена в 1836 году и Н. О. Пушкина. В итоге могилы Н. О. и С. Л. Пушкиных оказались не рядом, а по сторонам захоронения родителей Надежды Осиповны. В литературе указаний на это до настоящей публикации не было.

То, что над прахом Надежды Осиповны не было никакой надписи, тревожило М. И. Осипову, и после того, как Сергей Львович был положен «под камнем Ганибаличе(вы)м», она, судя по записи Семевского, напоминала родным, чтоб он «на нем не оста(лся) (?) незаписанны(м)». Видимо, с самого начала предполагалось, что надгробные плиты родителей Надежды Осиповны будут то ли заменены на другие, то ли просто дополнены новыми надписями. Об имени Надежды Осиповны должен был позаботиться муж, переживший жену на двенадцать лет, а об его имени — сын Лев Сергеевич или же дочь Ольга Сергеевна Павлищева. Однако сделано это не было, и могилы родителей великого русского поэта остались безымянными, породив споры о том, где они лежат и каким образом захоронены. Повинен в этой путанице элементарный недостаток попечения о родных могилах.

¹¹⁶ Записи Семевского отражают не только вольное течение рассказов мемуаристов, но и те наводящие вопросы, которые он им задавал. В этом месте беседы Семевский возвратил М. И. Осипову к воспоминанию о ссылке поэта. Он пытался уточнить некоторые из сообщений об этом периоде в «Прогулке в Тригорское». Так, в этой статье устами Вульфа повествовалось о предстоящей поэту дуэли с гр. Федором Ивановичем Толстым (1782—1846), прозванным «Американцем»: «А чтобы сравняться с Байроном в меткости стрельбы Пушкин вместе со мной сажал пули в звезду. Между прочим надо и то сказать, что Пушкин готовился одно время стреляться с известным, так называемым американцем Толстым... Где-то в Москве Пушкин встретился с Толстым за карточным столом. Была игра. Толстой передернул. Пушкин заметил ему это. „Да я сам это знаю, — отвечал ему Толстой, — но не люблю, чтобы мне это замечали“. Вследствие этого, Пушкин намеревался стреляться с Толстым, и вот, готовясь к этой дуэли, упражнялся со мною в стрельбе...» (*Вульф А. Н. Дневники (Любовный быт пушкинской эпохи).* С. 41). Рассказ Алексея Вульфа о ссоре Пушкина с «Американцем» негочен. Пушкин и Федор Толстой расстались в Петербурге в 1819 году приятелями, однако вскоре поэт узнал о толках вокруг его имени, пущенных в ход Толстым. Намерение отомстить ему поэт пронес через годы своей ссылки, вплоть до 1826 года, когда ссора была улажена друзьями. Усиленные упражнения Пушкина в стрельбе были вызваны тем, что Толстой был отчаянным дуэлянтом, застрелившим на дуэли около десяти человек. Анекдот о Толстом, рассказанный Вульфом, известен также в передаче П. Х. Граббе и С. Л. Толстого, но без связи с именем поэта (см.: *Востриков А. В. Книга о русской дуэли.* СПб., 1998. С. 147); с воспоминаниями Граббе Семевский был знаком по публикации в «Русском архиве» (1873). В рассказе Вульфа отразилась репутация

Толстого как профессионального игрока. В романе Ф. В. Булгарина «Иван Выжигин» (1829) Толстой выведен под именем графа Тонковорина как «нечистый на руку» игрок, знающийся с дном игорного мира. Если верить рассказу Вульфа, то можно предположить, что своими сплетнями о Пушкине Толстой-Американец отомстил ему в 1819—1820 годах за какое-то замечание во время карточной игры.

¹¹⁷ Возможно, имеется в виду эпизод из «Прогулки в Тригорское», где устами М. И. Осиповой рассказывалось о попытке поэта выехать из Михайловского при известии о смерти Александра I (см. во вступ. статье прим. 30). Н. И. Лорер со слов Л. С. Пушкина сообщал, что незадолго до выступления декабристов из Москвы в Михайловское было послано письмо, в котором И. И. Пущин «извещал» Пушкина о том, что «едет в Петербург и очень бы желал увидеться там с Александром Сергеевичем» (*Лорер Н. И. Записки моего времени // Мемуары декабристов / Сост., вст. ст. и комм. А. С. Немзера. М., 1988. С. 469*). С воспоминаниями Лорера Семевский был знаком по изданиям П. И. Бартенева. Обсуждение вопроса о письме декабриста носило в пушкиноведении активный характер, при этом был упущен один аргумент в пользу его позитивного решения: в одном из своих произведений Пушкин с уверенностью написал о том, что его непременно «позовут» для расправы над «заступниками кнута и плети» (см. эпиграмму «Заступники кнута и плети...», сочиненную в 1825 году вскоре после приезда в Михайловское Пущина).

¹¹⁸ Имеется в виду отъезд Пушкина из Михайловского в Москву в ночь с 3 на 4 сентября 1826 года. В дороге его сопровождал фельдъегерь.

¹¹⁹ О получении А. Н. Вульфом в Москве известия о смерти Пушкина П. А. Осипова писала А. И. Тургеневу 17 февраля 1837 года (см.: Пушкин и его современники. СПб., 1908. Вып. 6. С. 80).

¹²⁰ Известие о смерти брата Л. С. Пушкин получил на Кавказе.

¹²¹ Е. Н. Вревская приехала в Петербург в середине января 1837 года. Пушкин был у Вревской 18 января, затем 22-го, 25-го (в этот день он сказал ей о предстоящей дуэли) и, наконец, 26 января. На следующий день Пушкин стрелялся с Дантесом и через два дня умер от раны. В статье «К биографии Пушкина» Семевский писал об этих встречах поэта с Вревской: «Пушкин, лишь только узнал о приезде друга своей молодости, поспешил к ней явиться. С этого времени он бывал у них почти ежедневно и долго и откровенно говорил с баронессой о всех своих делах. Все это время он был в высшей степени в возбужденном и раздражительном состоянии. Сплетни и интриги тяжкими путами связала его, и он изнемогал под бременем клевет, не оставлявших в покое самую святыню его семейной жизни; к тому же прибавилась крайняя запутанность материальных средств. Между тем жена его, не предвидя последствий, передавала мужу все, что доводилось ей слышать во время ее беспрестанных выездов в свет. Все это подливало масло в огонь. Пушкин видел во всем вздор, до него доходившем, посягновение на свою честь, на свое имя, на святость своего семейного очага и, давимый ревностью, мучимый фальшивостью положения в той сфере, куда бы ему и не следовало стремиться, видимо искал смерти... Встретившись за несколько дней до дуэли с баронессой В(ревской)... Пушкин сам сообщил ей о своем намерении искать смерти. Тщетно та продолжала его успокаивать, как делала то при каждой с ним встрече. Пушкин был непреклонен. Наконец, она напомнила ему о делах его.

— Ничего, — раздражительно отвечал он, — император, которому известно все мое дело, обещал мне взять их под свое покровительство...» (*Русский вестник. 1869. № 11. С. 90—91*).

Говоря о царе, Вревская имела в виду аудиенцию, которую получил Пушкин у Николая I 23 ноября 1836 года и на которой обсуждался его вызов (первый) Дантесу. Тогда Пушкин дал царю слово не драться на дуэли. Конечно же, ни о каком обещании позаботиться о детях Пушкина речи на этой встрече быть не могло — Вревская ошиблась, объясняя ноябрьским разговором с царем его благодеяния осиротевшему семейству (см. об этом: *Абрамович С. Л. Пушкин в 1836 г. (Предыстория последней дуэли). Л., 1989. С. 184*).

Статья Семевского о Пушкине 1869 года в той части, где говорится о дуэли с Дантесом, полна умолчаний, сделанных не по воле автора. Подробностей о последних беседах с Пушкиным Е. Н. Вревская не сообщила никому за пределами своей семьи. Ими очень интересовался А. И. Тургенев, который писал П. А. Осиповой 24 февраля 1837 года: «Умоляю вас написать мне все, что вы умолчали и о чем только намекнули в письме вашем, — это важно для истории последних дней Пушкина. Он говорил с вашей милой дочерью почти накануне дуэли; передайте мне верно и обстоятельно слова его; их можно сообразить с тем, что он говорил другим, — и правда объяснится» (*Пушкин и его современники. Вып. 1. С. 59*); ответ на эту просьбу неизвестен, и, вероятнее всего, его не было. П. Е. Щеголев полагал, что в семействе П. А. Осиповой молчали, поскольку подробности разговора Пушкина с Вревской негативно характеризовали Наталью Николаевну; отсюда он выводил резко отрицательное отношение к ней со стороны всех членов этого семейства (см.: *Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина: Исследование и материалы. [4-е изд.]. М., 1987. С. 113—114*).

В 1870 году в статье «Заметки, поправки и дополнения» Семевский писал со слов Вульфа: «Перед дуэлью Пушкин не искал смерти; напротив, надеясь застрелить Дантеса, поэт располагал поплатиться за это лишь новою ссылкой в село Михайловское, куда возьмет и жену, и там-то на свободе предполагал заняться составлением истории Петра Великого» (*Русская ста-*

рина. 1870. № 4. С. 404—405). О тех же надеждах Пушкина на высылку его из Петербурга идет речь и в комментируемой записи Семевского 1880 года. Нет сомнения, что эти утверждения Вульфа основывались на сведениях о последней беседе с Пушкиным Е. Н. Вревской. Ссылку на нее Вульф сделал именно в воспоминании 1880 года. Стремление поэта покинуть Петербург и обосноваться с семьей в деревне наталкивалось на множество преткновений: нежелание жены (в конечном итоге она, несомненно, покорилась бы и уехала с мужем в деревню), отказ отца предоставить сыну Михайловское (и это препятствие, думается, не было непреодолимым), угроза царской опалы в ответ на просьбу об отставке (это было уже намного серьезнее, и Пушкин в 1834 году отступил, испугавшись царского недовольства). И лишь одно обстоятельство, как казалось поэту, могло способствовать его переезду в деревню, причем им сметались все другие препятствия, — это убийство на дуэли человека (каким бы плохим он ни был)... Только осуществив его, поэт приобретал личную и творческую свободу. Между тем еще в 1830 году Пушкин изрек: «Гений и злодейство — две вещи несовместные»; наверно, именно поэтому мы говорим об убитом гении, а не наоборот. Эта оценка, естественно, не всеми может быть принята, но нельзя не признать, что версия, прозвучавшая из уст Вульфа в 1870-м и затем в 1880 году, бросала негативный отблеск, причем не столько на жену Пушкина, сколько на него самого. Становится понятно, почему Вревская не спешила предать огласке свои разговоры с Пушкиным в январе 1837 года. Если бы сразу же после смерти поэта распространился слух о том, что он шел к барьеру с намерением убить Дантеса, дабы освободиться от тягостной царской службы и, как он говаривал, «свинского Петербурга», то это могло бы негативным образом повлиять на судебное расследование и хлопоты по материальному обеспечению осиротевшего семейства.

© О. Л. Фетисенко

ИВАН АКСАКОВ И «ФАНАТИКИ-ФАНАРИОТЫ». II. И. АКСАКОВ И К. ЛЕОНТЬЕВ. ЦЕНЗОРСКИЙ ДОКЛАД К. ЛЕОНТЬЕВА О СБОРНИКЕ «ВЗГЛЯД НАЗАД»

В декабре 1880 года К. Н. Леонтьев поступил на службу в Московский цензурный комитет. «Цензировать», как тогда выражались, ему приходилось самые разные издания — от «Русской мысли» до календарей и брошюр по медицинским вопросам (видимо, как бывшему врачу). Через полгода службы ему было поручено дать отзыв о подготовленном Ив. Аксаковым сборнике «Взгляд назад», в который вошли статьи недавно появившейся газеты «Русь». Эта книга должна была всколыхнуть многие, и приятные, и весьма неприятные (последних было даже больше), воспоминания в душе цензора.

«...Он меня не знал, но я его знал давно. Я его знал, во-1-х, в Калуге, когда он в 40-х годах (...) служил там в Уголовной Палате. Он нанимал флигель в доме родных моих Унковских и бывал у них часто. Я тогда был гимназистом, но уже интересовался литературой и смотрел на него с большим почтением, хотя ничего не прочел из его сочинений. Потом мы случайно встретились в Крыму в Тамаке, имени Иосифа Ник(олаевича) Шатилова, и провели вместе там дня три. Аксаков был ополченцем, а я военным врачом; он участвовал тогда в комиссии Васильчикова для исследований всех злоупотреблений, совершившихся во время кампании, и рассказывал много интересного. Гимназистом он меня не помнит, но наша встреча в Крыму пришла ему на память».¹

Осенью 1874 года при возобновлении знакомства в Москве Леонтьев почему-то не напомнил Аксакову о других эпизодах их общения. Правда, оно было эпистолярным и достаточно случайным. Тем не менее и эти редкие эпизоды, относящиеся

¹ *Леонтьев К. Н.* Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. СПб., 2003. Т. 6. Кн. 1. С. 90. Далее сокращенно: *Леонтьев*. Комментарии к этому фрагменту см.: Там же. Т. 6. Кн. 2. С. 327—328. После встречи в Крыму в сентябре 1856 года Аксаков был оценен Леонтьевым как «положительно умный человек, но с классическими манерами» (Там же. С. 327).

к 1860-м годам, думается, подготовили негативный фон, который и дал о себе знать в середине следующего десятилетия.

7 марта 1862 года Леонтьев, живший в Петербурге в бедности и возненавидевший навсегда образ жизни «честного труженика», обивающего пороги журнально-газетных редакций, пишет Аксакову с просьбой направить его в качестве корреспондента газеты «День»² в Герцеговину, где произошло восстание, возглавленное Лукой Вукаловичем (1823—1873) (позднее Леонтьев помянет его в своем романе «Одиссей Полихрониадес»). Он с горечью рассказал о гнетущей его жизни «литературного пролетария» среди «петербургской пошлости и прозы» и о желании отправиться «туда, где есть жизнь и поэзия», рекомендовал себя как «искреннего и добросовестного исполнителя», не исключал возможности совмещения деятельности корреспондента и оказания медицинской помощи повстанцам (Леонтьев лишь недавно «оставил медицинскую службу») и честно признавался, что не знает славянских языков, но уверен, что сможет «легко и скоро начать как следует изъясняться с бедными Славянами».³ Осторожно была затронута в письме тема «морали» (объясняя позднее, почему он упустил возможность, живя в Москве в юности, познакомиться со старшими славянофилами, Леонтьев говорил: «...они мне казались такими *моральными* людьми, а я *морали* тогда не любил»⁴). Предлагая в качестве образчика своей писательской манеры роман «Подлипки» (1861), он предупредил Аксакова: «Я знаю, что дух моего романа Вам не понравится, по Вашему образу мыслей, я думаю, он должен Вам показаться несколько растленным, несмотря на отречение в конце; но с этой стороны мы можем не сходитьсь; Вы можете порицать меня, это как Вам угодно; — я указал Вам на него только для того, чтобы Вам легче было решить, могу ли я наблюдать и писать оттуда» (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Ед. хр. 335. Л. 4).

Аксаков отвечал через три недели в праздник Благовещения:

Простите меня, Милостивый Государь, что я так долго не отвечал на Ваше письмо, требовавшее немедленного ответа. Я вообразил себе, что уже отвечал Вам, — я помнил в голове свой ответ — не написанный. Если б Вы знали всю суету, неразлучную с обязанностями Редактора, Вы бы, конечно, извинили меня. Я вполне сочувствую Вашему желанию ехать в Черногорию или Герцеговину, где до сих пор нет ни одного русского, хотя их много перебивало у Гарибальди, но, к сожалению, не могу Вам доставить для поездки туда никаких средств. Вам нужно не менее 1000 р. сер(ебром) в год. Моя газета не дает мне возможности делать такие расходы. Очень бы желал я иметь корреспондента с театра войны, хотя и получаю письма из Рагузы, которая недалеко от места действий Вукаловича, но должен умерять свои желания сообразно средствам своего издания. Мне приходится платить корреспондентам из всех концов России и из разных Славянских земель, и это поглощает почти всю прибыль, доставленную мне «Днем». Я объясняюсь с Вами так же откровенно, как и Вы со мною.

Позвольте также заметить, что я не вижу из вашего письма, чтобы Вас влекло в Герцеговину особенное сочувствие к *славянам*. Желание окунуться в тревоги жизни действительной, в здоровые немечтательные ее интересы может быть удовлетворено Вами в Италии и в других местах: там еще более найдете Вы поэзии (в Италии), чем в Герцеговине, где мало энтузиазма, мало блеска, и дело размеров

² Леонтьев был внимательным читателем газеты «День»; через много лет он помнил публикации этой газеты и ссылался на них в своих статьях. Знакома была ему и аксаковская газета «Парус» (1859).

³ Письмо хранится в фонде Аксаковых в ИРЛИ (Ф. 3. Оп. 4. Ед. хр. 335. Л. 3—4); с неточностями опубликовано Д. В. Соловьевым в книге: *Леонтьев К.* Избранные письма. СПб., 1993. С. 38—40.

⁴ *Леонтьев.* Т. 6. Кн. 1. С. 34.

не крупных. Нужно особенное сочувствие к Славянскому делу и некоторое знакомство с Славянским миром, чтобы решиться туда ехать.

А мир этот совершенно особенный...

Извините меня за мое долгое молчание.

Покорный слуга Ваш
Ив. Аксаков

1862. Марта 25

Москва

(ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 1—2 об.)

К Гарибальди Леонтьев отправит героя своего романа «В своем краю» (1864) Милькеева, наделенного многими чертами автора. Так найдет воплощение аксаковский совет. А самого Леонтьева «желание окунуться в тревоги жизни действительной» привело к решению поступить на службу в Министерство иностранных дел. На следующий год, когда Леонтьев уже служил в Азиатском департаменте, он повторил попытку войти в сношения с редактором-издателем «Дня». Он каким-то образом откликнулся на объявленную Аксаковым подписку в пользу пострадавших в Польше и, по-видимому озадаченный молчанием Аксакова, попросил одного из своих сослуживцев по департаменту посетить редактора «Дня» в Москве и напомнить о своих предложениях. Этот сослуживец, Извеков, оказал Леонтьеву медвежьей услугу, неловко отрекомендовав его как сотрудника либерального «Голоса» да еще и как автора статьи о Н. С. Кохановской. А ведь Кохановскую Аксаков безмерно ценил и печатал ее повести в своей газете. Извеков (очевидно, «Голос» не читавший) смешал две статьи — леонтьевскую «Наше общество и наша изящная литература»⁵ и чью-то рецензию, в которой отнюдь не расточались похвалы писательнице-славянофилке.⁶ Чтобы понять, как эта ошибка задела Леонтьева, нужно знать, что он ценил прозу Кохановской не меньше, чем Аксаков, а в упомянутой выше статье даже подчеркнул, что в современной русской литературе «все, кроме двух женщин — М. Вовчка и Кохановской, или в выборе сюжета, или в приемах платят дань гоголевскому влиянию...»⁷ Желая объяснить недоразумение, 16 июля Леонтьев написал Аксакову еще раз и послал ему две рукописи. Поскольку из этого письма опубликован лишь отрывок,⁸ приведу его здесь целиком:

16 июля, 1863.

С<анкт>П<етер>б<у>рг

Милостивый Государь
Иван Сергеевич!

Г. Извеков во время своей поездки взялся передать Вам обо мне и, не зная все моего образа мыслей, сказал Вам, что я пишу в «Голосе» и, кажется, писал о Кохановской. — Ошибка эта была так забавна, что и я не спешил даже *оправдываться*.

Действительно, я напечатал одну статью в «Голосе» (которой половину и прилагаю, чтобы Вы могли видеть, о чем там речь); — напечатал я просто потому, что Краевский аккуратен в расчетах, и потому, что негде ее было напечатать больше. — Статья же о Кохановской заказывалась случайно при мне какому-то бесцветному писаке и, конечно, с всевозможными прибаутками здешнего цинизма.

⁵ Голос. 1863. 14 марта. № 62. С. 245—246; 15 марта. № 63. С. 249—250; 20 марта. № 67. С. 265—266.

⁶ «Начала мира» Жуванселя; Повести г-жи Кохановской // Голос. 1863. 12 марта. № 60. С. 237—238.

⁷ Голос. 1863. 20 марта. № 67. С. 265.

⁸ Леонтьев К. Избранные письма. С. 43.

Если б Вы знали, как я смотрю на Кохановскую — Вам бы показалось все это как нарочно выдуманное *qui-pro-quo*. — И, сами посудите, чем должен быть человек, который, написавши статью Голоса «о Кохановской» — вдруг предложил бы писать в «Дне». — Да и несмотря на ту скромность, с которой принято относиться к себе, — я не могу не сказать, что я не так плоск и бесцветен, как автор этой статьи. — Итак, довольно об этом.

Теперь посылаю Вам готовую статью «О Войне».⁹ — Не знаю, пригодится ли она Вам; и начало другой о национальной одежде: для войска, ополчения, общества и гражданских деятелей.¹⁰ — Если Вам начало по вкусу — я на следующей неделе пришлю Вам все остальное. — Ни за первую, ни за вторую заметку — вознаграждения мне не нужно — я, кажется, писал уже Вам, что я предлагаю его для тех подписок в пользу пострадавших в Польше и в пользу Западной России, которые Вы открыли. — Распределение этих денег зависит от Вас. — Я желал бы только, если не теперь, так позднее, иметь «День» с начала его издания.

В статье «Голоса» я подчеркнул те места, в которых, я думаю, мы особенно расходимся, то, что Вам будет верно неприятно; но зачем бы мне не помещать то, что мне по душе, в «Дне», который я так искренно люблю и уважаю?¹¹ — Я знаю, что люди с крепким направлением часто предпочитают самых безличных союзников; — но, как я уже говорил Вам, едва ли теперь время быть слишком исключительным и строгим. — *Остатку* моему я найду место; и *остаток* этот состоит не в равнодушии к национальной религии или к народному быту (избави меня Боже!), а в *большем, нежели у Вас, расположении к пышной стороне жизни* (напр<имер>), Потемкин или Пушкин столько же мне по сердцу, как и Ваш покойный брат; те экстензивнее; Кон<стантин> Серг<еевич> Акс<аков> был интензивнее, но они все трое *наши*; и т. д. в этом роде!). Неужели из-за этого Вы отвергнете искреннего друга вашего направления?

Остаюсь покорный слуга
Ваш К. Леонтьев

НВ. — Конца статьи «Голоса» некогда было искать; но если угодно, я и конец пришлю.

Адрес мой — в Азиатский департамент.

НВ. — Вследствие служебных условий мне необходимо пока писать под *псевдонимом*.

(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Ед. хр. 335. Л. 1—2 об.)

Письмо осталось без ответа,¹² что не помешало Леонтьеву послать из Адрианополя в аксаковскую газету осенью 1865 года две статьи — «Раскол Пантелеймона во Фракии»¹³ и «Записки о Кандии»,¹⁴ но газета прекратила свое существование,¹⁵

⁹ Эту тему Леонтьев предлагал как одну из возможных и журналу «Заря» (в письме Н. Н. Страхову от 20 мая 1863 года).

¹⁰ Этот замысел был реализован Леонтьевым лишь в конце жизни — в статье «Не к стати и к стати» (1889).

¹¹ Леонтьев действительно *любил* эту газету. Он вложит в уста Матвееву из романа «Две избранницы» высказывание-воспоминание о времени польского восстания, т. е. как раз о 1863 году: «Я читал „День“ и чувствовал, что становлюсь с каждым часом (да! с каждым часом) больше и больше русским» (Леонтьев. Т. 5. С. 168).

¹² Вероятно, Аксаков намеревался ответить: на л. 1 в верхнем углу есть его помета синим карандашом «Конст<антин> Николаевич». Для сравнения: на первом письме Леонтьева (1862) есть аксаковская помета: «Ответ<ил> 25 марта» (Там же. Л. 3).

¹³ Об этом священнике, которого считали «ересиархом», Леонтьев вспоминал в 1878 году: «...простой болгарский священник, который хотел как-то по-своему очистить Православие и возвратиться к первым векам Христианства» (Леонтьев. Т. 6. Кн. 1. С. 205).

¹⁴ Названия статей известны из писем М. В. Леонтьевой. См.: Леонтьев. Т. 3. С. 718.

¹⁵ «День» закрылся совершенно», — сообщила племянница Леонтьеву 31 января 1866 года (Там же. С. 718). Точно так же не повезло Леонтьеву в 1863 году, когда он послал через

а рукописи Леонтьева снова пропали. Позднее (в 1867 году) и уже в другой редакции второе произведение было опубликовано в «Русском вестнике» под названием «Очерки Крита».

К 1867 году относится эпизод, казалось бы, незначительный для стороннего взгляда, но характерный, если смотреть на него глазами Леонтьева: Леонтьев, будучи тогда вице-консулом в Тульче, пытался привлечь Аксакова к сбору средств на Львовский театр. В 1889 году он перебирал старые письма и нашел свою расписку от 17 августа 1867 года, приписав на ней: «Должно быть, сбор на Театр в г. Львове. От Аксакова ответа не было. 1889. Опт(ина) П(устынь)». Слова «ответа не было» вызывают в памяти горькое размышление Леонтьева в записках «Моя литературная судьба» о том, что Аксаков, много рассуждавший о христианстве, не увидел в 1874 году, что его собеседник просто-напросто нуждался в материальной поддержке.¹⁶

Мы подошли к кульминационному эпизоду, подробно изложенному в записках Леонтьева, созданных, так сказать, по горячим следам летом 1875 года. Напомним его канву. По возвращении из Турции в Россию в 1874 году Леонтьев искал издание, в котором он мог бы опубликовать свои произведения (это время расхождения с М. Н. Катковым, считавшим, что в своих последних статьях Леонтьев «договорился до чертиков»). Посольские друзья снабдили его рекомендательными письмами к кн. В. А. Черкасскому и кн. Н. Б. Трубецкой. Эти рекомендации должны были ввести Леонтьева в славянофильский круг. Ими он и воспользовался в начале «сезона», но еще летом Д. П. Голохвастов посоветовал ему не очень полагаться на кн. Черкасского и на Аксакова, но обратиться к «старикам» — О. М. Бодянскому и М. П. Погодину. Погодин, участливо отнесшийся к Леонтьеву, дал ему рекомендательную записку к Аксакову. Леонтьев запомнил одну из фраз: «Это человек примечательный; он мог бы, я думаю, стать редактором славянофильского журнала; но мне кажется, *его необходимо придерживать за полу*».¹⁷ С этой запиской Леонтьев отправился к Аксакову. Едва скрываемое раздражение от прихода непрошенного визитера сменилось повышенной любезностью, когда Аксаков узнал, что перед ним «Н. Константинов», автор понравившихся ему статей о панславизме. Аксаков пригласил Леонтьева «бывать у него по четвергам, вечером».¹⁸ «Дня через два после моего первого посещения Аксаков сам заехал ко мне, не застал меня дома и оставил карточку с надписью, что четверги его начинаются с будущей недели».¹⁹ Вот текст этой записки:

Милостивый Государь
Константин Николаевич

Рукопись Вашу получил и очень благодарен, книжку Архива,²⁰ к сожалению, *сегодня* не могу дать, но если Вы пришлете за ней завтра или послезавтра, то она к Вашим услугам. Четверги у меня с *будущей* недели.

В(аш) Ив. А(ксаков)

(ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 3)

В «Моей литературной судьбе» описано первое посещение аксаковских «четвергов» — разговор с хозяином дома до прихода гостей и вечер, на котором Леонть-

А. А. Григорьева две статьи в журнал «Время», который вскоре был запрещен. Рукописи, естественно, к автору не вернулись. После той неудачи он и попытался в июле 1863 года обратиться к Аксакову.

¹⁶ См.: Леонтьев. Т. 6. Кн. 1. С. 111.

¹⁷ Там же. С. 89.

¹⁸ Там же. С. 95.

¹⁹ Там же.

²⁰ Речь идет о журнале «Русский архив», где в то время печаталась книга Аксакова о Ф. И. Тютчеве.

ев познакомился с кн. В. А. Черкасским, Д. Ф. Самариним, кн. П. А. Васильчиковым, Н. А. Поповым и другими.²¹ Через неделю, когда Аксаков почти закончил чтение оставленной ему рукописи книги «Византизм и Славянство», его благожелательное отношение сменилось негодующе резким и неприязненным.²² Парадоксальным образом новое отношение Аксакова к Леонтьеву несколько напоминает то, как сам Леонтьев относился к Достоевскому и Л. Толстому (ценил художественные произведения, но не принимал «публицистики»). Аксаков высоко оценил роман Леонтьева «Одиссей Полихрониадес» (впрочем, об этом мы знаем только в пересказе самого автора романа²³), был готов печатать его «описательные вещи» и «не раз (...) восторженно отзывался»²⁴ о них в разговорах с автором, «идеи» же Леонтьева вызывали у Аксакова раздражение. На рукописи «Византизма...» он сделал много помет, в которых продолжил свой спор с Леонтьевым. Некоторые затронутые в аксаковских маргиналиях темы названы в письмах Леонтьева к М. П. Погдину и О. М. Бодянскому (издателю «Византизма и Славянства»).

«Особенно меня смущают заметки И. С. Аксакова, которые он сделал на черновой моей рукописи карандашом. — Некоторые из них касаются самых общих выводов насчет *прогресса, демократии* и т. п. Те не беда и в этом я смущаться не намерен. — Но есть заметки его, касающиеся *русской истории*, — вот чего я опасуюсь! (...) *Я нарочно и в чистой рукописи пометил карандашом эти самые места, помеченные Аксаковым.* — Если Вы найдете, как и тогда при чтении находили, что я правее его, то я буду покоен, заручившись Вашим авторитетом. — В противном случае я буду Вам искренно признателен за всякую поправку. — У Аксакова есть, кажется, некоторые общественные *догматы*, с которыми он не в силах расстаться. — Напр(имер), с *либерализмом*, с ненавистью противу всяких сословных и юридических привилегий. Там, где у Аксакова были только *NB* карандашом без объяснений, и я так сделал; не знаю, что он хотел этим сказать. — А там, где есть *целые слова или фразы* его, — я тоже списал их» (письмо к О. М. Бодянскому от 10 мая 1875 года: Институт литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины. Отдел рукописей. Ф. 99. Ед. хр. 113. Л. 63—65).

«Возражения Ив(ана) Серг(еевича) Аксакова мне показались, признаюсь, очень слабыми. — Может быть, я и ошибаюсь. — Но на все это можно ответить без труда, мне кажется. — Напр(имер), „что я забываю действие *живых, личных сил* человеческой души”.²⁵ — Я их не забываю, я их *устраняю* здесь, как устраняет математик *ширину* линии, которую, однако, в действительности имеет каждая линия. — И Реальная наука и религия наша (благодаря, злой дух и т. д.) значительно ограничивают нашу личную свободу. — Наука предъявляет цифры статистики, крайне фаталистические; — Пирогов сознается, что доктора своим *личным* дейст-

²¹ Леонтьев. Т. 6. Кн. 1. С. 98, 103—106.

²² См.: Там же. С. 110—116.

²³ В письме к Т. И. Филиппову от 5 февраля 1876 года Леонтьев вспоминал: «...Ив(ан) Серг(еевич) Аксаков, который за статьи мои о славянах раз и еще за какую-то личную, свойственную мне (каюсь *Вам*) смесь блудницы покаянной и искренней ханжи — не благоволил ко мне (он больше сам на честного полугерманского фарисея похож), и тот говорит: „прекрасно! не надо в Эпир ездить!”» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1023. Л. 6). Из письма к Вс. С. Соловьеву от 22 июля 1879 года мы узнаем, что эта оценка была высказана Аксаковым в салоне кн. Н. Б. Трубецкой: «И. С. Аксаков говорит мне в глаза у Княг(ини) Трубецкой: Теперь не надо ездить в Эпир; это удивительно живо... и понятно» (РГИА. Ф. 1120. Ед. хр. 98. Л. 24).

²⁴ Цит. по: *Аггеев К., свящ.* Христианство и его отношение к благоустроению земной жизни. Киев, 1909. С. 9. В восточных повестях Леонтьева ничто не могло смутить Аксакова, ведь в них, как заметил в конце жизни их автор, «*ничего нет против юго-славян*» (Там же. С. 9).

²⁵ Ср. в «Моей литературной судьбе»: «...Вы совершенно уничтожаете влияние *лица*, вы забываете свободную, личную деятельность человека... У вас ваш процесс развития и вторичного упрощения есть процесс фаталистический, деспотический, неизбежный...» (Леонтьев. Т. 6. Кн. 1. С. 113).

вием — *едва-едва колеблют* цифру смертности; — игра экономических и других так называемых *реальных сил* (в число коих входит и *религия*) — уже составляет предмет социологии. — К тому же это, кажется, факт, что *массы*, действующие в обществе, действуют бессознательнее и *фатальнее лица*; — средний вывод, — результат их действий всегда неожиданнее и слепее личного действия.

Разум отдельных лиц во Франции, вероятно, *физиологически* не ослабел, а понизилось *общее действие*; *организация ухудшилась*... Комбинации частных, личных сил *невыгодны* для общего.

Исследование механического процесса или даже *графического*, так сказать, его выражения в обществе — столько же мало мешает признанию *личных сил*, как и исследование *ячеек мозга* — независимым *прямым* психологическим наблюдениям или признанию *души бессмертной*.

2) Указание на *костры, инквизицию* и т. п. там, где я говорю об аристократической поэзии.

Возражений много. — а) Иное дело *страдание, неправда*; — иное дело поэзия. (...) б) Неизвестно еще, *когда количество* веселых и счастливых минут у многих людей больше, в эпохи, подобные *Возрождению*, рядом с инквизицией; или *теперь?*.. Для этого вопроса вовсе еще нет научных ответов...» (письмо к М. П. Погодину от 29 октября 1874 года: РГАЛИ. Ф. 373. Оп. 1. Ед. хр. 208. Л. 1—2).

Из записок Леонтьева мы узнаем, что негодование Аксакова вызвало еще одно место в книге, связанное с темой аристократизма, — употребление «языческой» пословицы «*quod licet Jovi, non licet bovi*».²⁶ «Я писал это по поводу того, что нынешняя *всесветная, нескладная, неинтересная, неромантическая roture*²⁷ хочет тоже не только существовать скромно, как существовали ее суровые и честные протцы, а наслаждается жизнью и даже развратничает вовсе не к роже; я так и говорил дальше: „ибо что еще пристало Алкивиаду, Montmorency или Потемкину Таврическому, то вовсе нейдет какому-нибудь Шульцу, Успенскому, Dubois, Labrossee, Laracaille и т. д.“. Чем же я виноват, что это *правда*...»²⁸ Однако при публикации книги в «Чтениях в обществе истории и древностей Российских» Леонтьев прислушался к замечанию Аксакова и изъясил и эти слова, и саму пословицу, а через десять лет в сборнике «Восток, Россия и Славянство» (1885) восстановил фрагмент в измененном виде, подобрав другой ряд имен: «„И я имею *те же права!*“ говорит всякий и по вопросу о наслаждениях, забывая, что „*quod licet Jovi, non licet bovi*“, — что идет Людовику XIV, то нейдет Гамбетте и Руместану».²⁹

Не мог одобрить Аксаков и глав, связанных с греко-болгарским вопросом. Видимо, именно они и спровоцировали столь сильное его раздражение. Эта же часть, главным образом, и осталась в памяти Аксакова, совершенно вытеснив другую, теоретическую часть работы. Когда в 1884 году Вл. С. Соловьев в одной из своих статей сослался на «Византизм...» как на книгу, лучше всего подтверждающую его мысль о первенстве религиозной идеи по сравнению с национальной, Аксаков отозвался весьма жестко: «Справедливо утверждает г. Соловьев, что „религиозная и церковная идея должны первенствовать над племенными и народными стремлениями“, но эта справедливость делается сомнительною благодаря ссылке при этом на книгу г. Леонтьева „Византизм и славянство“, заключающую будто бы „наиболее резкое выражение этой истины“. Книга эта, как известно, написана в защиту греческой церкви в ее отношениях к болгарам. Не вполне оправдывая болгар, мы не

²⁶ Там же. С. 112.

²⁷ Разночинство (фр.).

²⁸ Леонтьев. Т. 6. Кн. 1. С. 112. Комментарии к этому месту см.: Т. 6. Кн. 2. С. 342.

²⁹ Там же. Т. 7. Кн. 1. С. 406. Полу жирным шрифтом показана вставка, сделанная в издании 1885 года.

можем признать вполне правыми и греков (...) всячески подавлявших возникновение болгарской самобытности».³⁰

Итак, расхождение сформировалось полное. «...Я через несколько месяцев яснее понял, — признался Леонтьев в своих записках, — что и на почве государственной, чисто политической, и даже (вот что неожиданнее!) и даже на почве Церковной я со слишком либеральными московскими Славянофилами никогда не сойду. Ибо я убедился и узрел очами своими, что если снять с них пестрый бархат и парчу бытовых идеалов, то окажется под этим приросшее к телу их обыкновенное серое, буржуазное либеральничанье, ничем существенным от западного *эгалитарного свободопоклонства не разнящееся*».³¹ «...Я понял, что между нами та бездна, которая бывает часто между учителем и учеником, ушедшим дальше по тому же пути».³²

Важнейшими пунктами этого расхождения стали проблема «сословных пергородок»³³ и разное понимание христианства (позднее, 21 августа 1882 года, Аксаков напишет О. А. Новиковой: «Вы уже — так мне кажется — слишком увлекаетесь Леонтьевым. Его художественный талант не искупает кривизны его мысли, способной оправдывать фанариотов, даже иезуитов. Он не столько христианин, сколько церковник»³⁴).

Видимо, на втором аксаковском «четверге» 1874 года зашел разговор о процессе игуменьи Митрофании (Розен; 1825—1899), «которой злоупотребления (...) гораздо меньше» возмущали Леонтьева, «чем одна либеральная речь Брайта или этого прохвоста Вирхова...»³⁵ Как раз тогда ее дело слушалось в Московском Окружном суде. По этому поводу состоялось жаркое столкновение Леонтьева с А. Ф. Аксаковой. Через три года Леонтьев вспоминал в письме к своей племяннице: «Ты помнишь — по поводу суда Митрофании выходку Анны Федор(овны). — „Так вам нравится *подлость*?“ — А я: „да! Я иезуитов предпочитаю либералам!“»³⁶

Еще раз Леонтьев посетил Аксакова, вероятно, поздней осенью или в начале декабря 1874 года, уже в подряснике угрешского послушника. Эта перемена не могла не вызвать нового спора. В адресованной старцу Амвросию Оптинскому «Моей исповеди» (1878) Леонтьев вспоминал: «Аксаков, который принимал меня прекрасно, пока я был *мирским*, стал хуже, когда я зашел к нему монахом. — А когда он и Гиляров³⁷ сказали, что для них Гамбетта и Герцен больше христиане, чем Филарет и Леонид (Епископ),³⁸ то я с жаром стал говорить против этого, и все от меня отшатнулись, как от *шпиона* или безумца! — Итак, миряне гнали за то,

³⁰ Аксаков И. С. Против национального отречения и пантеистических тенденций, высказывавшихся в статьях В. С. Соловьева // Аксаков И. С. Отчего так нелегко живется в России? М., 2002. С. 833. В одной из своих последних статей (передовая «Руси», 19 октября 1885 года) Аксаков еще раз с неодобрением вспомнил о леонтьевском «византизме». См.: Аксаков И. С. Собр. соч.: В 7 т. М., 1886. Т. I. С. 678.

³¹ Леонтьев. Т. 6. Кн. 1. С. 97—98.

³² Там же. С. 115. Ср. в позднейшей записи для В. В. Розанова: «И. С. Аксаков был так расположен ко мне (вероятно, за неожиданные для него резкие выводы из старого славянофильства)...» (цит. по: *Аггеев К., свяц.* Указ. соч. С. 9).

³³ Леонтьев. Т. 6. Кн. 1. С. 111.

³⁴ Там же. Кн. 2. С. 456.

³⁵ Там же. Кн. 1. С. 131.

³⁶ Там же. Кн. 2. С. 354. Ср. в письме к О. А. Новиковой от 12 сентября 1882 года: «Помните Ан(ну) Федор(овну) Аксакову: „Вы любите *подлость!*“ (...) она нашла это нужным сказать по поводу *Митрофании...*» (Там же).

³⁷ Речь идет о Никите Петровиче Гилярове-Платонове (1824—1887).

³⁸ Леонид (Красноповков) (1817—1876), епископ Дмитровский, викарий Московской епархии, впоследствии архиепископ Ярославский и Ростовский, мог быть упомянут в разговоре как близкий друг архимандрита Пимена (Мясникова), настоятеля Николо-Угрешского монастыря, в который поступил Леонтьев.

что я монах, и за то, что не стыдясь защищаю правильные взгляды на Церковь...»³⁹

С того времени Аксаков и его окружение действительно стали смотреть на Леонтьева как на «шпиона или безумца». Об этом свидетельствует и характер упоминаний его в письмах Аксакова к Т. Филиппову. (В одном из них Леонтьев назван «полусумасшедшим».) Не к этому ли времени восходит знаменитое (популяризированное Вл. Соловьевым в статье о Леонтьеве для Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона) речение Аксакова о том, что Леонтьев исповедует «сладострастный культ палки»?

Отметим, что при этом Аксаков следил за деятельностью Леонтьева-публициста. Между прочим, он читал и «Варшавский дневник», издание, в котором автору «Византизма и Славянства» впервые была предоставлена полная свобода самовыражения. Интересны высказывания об этой газете в письмах Аксакова к редактору берлинского «Русского Гражданина» В. Ф. Пуцыковичу. Опубликовавший эти письма С. Ф. Шарапов заменил полное написание фамилии помощника редактора «Варшавского дневника» первой буквой и звездочками. 25 июня 1880 года Аксаков писал: «Сильнее своею периодичностью⁴⁰ русская газета в Варшаве, издаваемая кн. Н. Н. Голицыным⁴¹ и К. Н. Л***, но и она, потому что издается в Варшаве, мало имеет хода в русской публике. Не понимаешь — зачем эта трата пороха, да еще на казенный счет. Не для Поляков же пишут они по-русски? Для Поляков не годится, в России — не читают. К тому же Л*** способен написать подчас такую зачиту веры и народности, что только компрометирует истину. Это фанатик-фанариот».⁴² Еще более жестко высказался Аксаков в письме от 15 сентября 1880 года: «Если для России существует опасность, так в реакции, в возобновлении репрессивных мер, лежащих всегда всею своею тяжестью на честных людях. (...) На мой взгляд — самый опасный враг — это Цитович с его „Берегом“,⁴³ постоянно пугающим и без того напуганных властителей. — Всякая реакция репрессивного свойства расчищает место для нигилизма. Нам нужны не отрицательные меры, но прирост *положительных сил и идеалов*. Есть болезни, которые излечиваются только открытием окон и притоком свежего воздуха. А ведь и Цитович, и „Варшавский Дневник“ с Н. Н. Голицыным и Л*** просто бьют на реакцию. Один Француз сказал: *le bon Dieu aime bien mieux ceux qui le renient, que ceux qui le compromettent*.⁴⁴ Вот чего бы не надо забывать защитникам истины à la Мещерский, Голицын, Л***».⁴⁵

Леонтьев прочитал эти отзывы о себе в 1887 году (по его переписке известно, что он читал «Московский сборник»).

³⁹ Леонтьев. Т. 6. Кн. 1. С. 239. Возможно, это была не последняя встреча в тот период. Так, в письме к Н. П. Игнатьеву от 7 апреля 1875 года Леонтьев сообщал, что «по совету Аксакова» посылает в Петербург (т. е. в газету «Гражданин») статью о Болгарском вопросе, отпочковавшуюся от книги «Византизм и Славянство» (ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Ед. хр. 3301. Л. 13 об.).

⁴⁰ Аксаков выше писал о «Русском Гражданине».

⁴¹ О кн. Н. Н. Голицыне (1836—1893) Аксаков еще осенью 1878 года писал тому же корреспонденту: «Отличный человек князь Н. Н. Г***, я его очень уважаю, но... но... Поговорите с ним о свободе совести!.. Его труд о Евреях замечателен, но статья на его точку зрения невозможно» (Московский сборник. М., 1887. С. 31). Речь идет о книге «История русского законодательства о евреях с 1649 по 1825 г.».

⁴² Московский сборник. С. 41 (здесь ошибочно датировано 1879 годом). По поводу определения «фанатик-фанариот» вспоминается замечательная помета Леонтьева, сделанная им на копии письма Аксакова к О. А. Новиковой от 24 апреля 1882 года, наполненного инвективами в адрес леонтьевского «аскетического мирозозерцания»: «люблю фанатиков» (цит. по: *Аггеев К., свящ.* Указ. соч. С. 13). Значит, Леонтьев считал фанатиком самого Аксакова.

⁴³ Петр Павлович Цитович (1842—1912), ученый-правовед, государственный деятель, публицист, издатель-редактор финансировавшейся правительством газеты «Берег» (1880).

⁴⁴ Благой Бог больше любит тех, кто Его огорчает, чем тех, кто Его *компрометирует* (фр.).

⁴⁵ Московский сборник. С. 43—44.

27 мая 1881 года (подчеркнем — после 1 марта!) Леонтьев получил сборник Аксакова, на который должно было написать цензорский отзыв. Как же он поступил? Укрылся за стеной устава и «конфиденциальной инструкции» и ненавязчиво подвел Комитет к запрещению издания. «По выслушании доклада г. Леонтьева о брошюре „Взгляд назад” Комитет, принимая во внимание, что в ней действительно проводятся мысли, равносильные совершенному почти уничтожению администрации, и мысли о расширении прав и компетентности Земства до крайних пределов и что таким образом брошюра представляет проект глубокого „изменения” нашего государственного строя, признал оную брошюру противоречащей цензурным правилам и постановил, применяясь к точному смыслу конфиденциальной инструкции от 23 августа 1865 г., к печати брошюру не разрешать» (ЦИАМ. Ф. 31. Оп. 3. Ед. хр. 2172. Л. 175 об.).

Характерно, что поводом к запрещению стала аксаковская трактовка земского вопроса. Уже после кончины главы славянофилов эта тема станет предметом полемики в переписке Леонтьева с С. Ф. Шараповым. Как известно, Леонтьев приветствовал земскую реформу (точнее, контрреформу) гр. Д. А. Толстого.

Буквально «накануне» написания цензорского отзыва о сборнике «Взгляд назад», 22 апреля 1881 года, вышла в свет брошюра Леонтьева «Как надо понимать сближение с народом?» — отдельное издание одной из статей «Варшавского дневника». Ее покупали, но «сильно бранили» «в „либеральных” газетах», как писал Леонтьев Н. Я. Соловьеву (ГЛИМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 59. Л. 63). В «Русском курьере» автора объявили «помешанным»,⁴⁶ в «Голосе» (а с его «голоса» и в «Московском телеграфе») — юродивым, преемником И. Я. Корейши.⁴⁷ В феврале 1882 года Леонтьев рассказывал Филиппову, как тогда, в мае 1881-го, просил Н. П. Гилярова-Платонова поместить в «Современных известиях» «объявления и небольшой отзыв» о своей брошюре, а тот «не сделал ничего». «И это именно в то время, когда в „Русском Курьере” и в „Московском Телеграфе” мою книжку поднимали на смех. В то же самое время Н. Н. Дурново⁴⁸ поехал к Аксакову с этой брошюркой, и Аксаков не только не заступился за меня против либералов, но даже и объявления не захотел напечатать в „Руси”, потому что я будто бы Бога оскорбляю (говоря уподобительно о неограниченности нашей царской власти)» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1023. Л. 54—55).

Не хочется думать, что жесткость цензорского доклада отчасти обусловлена очередным «знаком невнимания» со стороны Аксакова, но ясно, что Леонтьева не могли не задеть слова об оскорблении Бога.⁴⁹ Обратим внимание и на то, что ёрни-

⁴⁶ Московский фельетон // Русский курьер. 1881. 17 мая. № 133. С. 1.

⁴⁷ Московские заметки // Голос. 1881. 5 мая. № 123. С. 1; Д. М. [Минаев Д. М.] Интимная переписка Москвы с Петербургом // Московский телеграф. 1881. 27 мая. № 144. С. 2.

⁴⁸ Николай Николаевич Дурново (?—после 1917) — редактор газеты «Восток», в которой в 1879 году были напечатаны леонтьевские «Письма отшельника». «Восток» был значительно «правее» «Руси», но с Аксаковым у редактора (некогда члена Московского славянского комитета) были неплохие отношения. Судя по письму Дурново к Филиппову, в первые месяцы издания «Востока» вождь славянофилов даже поддержал его, правда, лишь в личной беседе, но на фоне «блокады», созданной всей прессой, и это было дорого: «...Ив(ан) Сергеевич Аксаков вполне сочувствует, и теперь мне приходится бывать у него чаще прежнего и выслушивать благодарность за ведение газеты» (ГАРФ. Ф. 1099. Оп. 1. Ед. хр. 1769. Л. 50). Впрочем, есть и противоположное свидетельство — самого Аксакова, написавшего 7 мая 1879 года, по прочтении первого номера газеты и благожелательного отзыва о ней в «Современных известиях», гневное письмо Гилярову-Платонову: «...Если бы Англии понадобилось самое действительное средство для того, чтоб раздуть вражду между славянскими племенами, — никто лучше Н. Н. Дурново не послужил бы такой цели. (...) Прихлопните его вашей статьей, с Т. И. Филипповым вкупе. (...) Истинная мерзость эта газета „Восток”» (Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. СПб., 1896. Ч. 2. Т. 4. С. 283). Выходит, Дурново дезинформировал Филиппова?

⁴⁹ Еще более резкой в обличении идейного противника была супруга Аксакова. Свящ. К. М. Аггеев передавал, со слов неназванной современницы (вероятнее всего, М. В. Леонтьев-

ческий фельетон «Московского телеграфа» появился в тот именно день, когда Леонтьев читал «Взгляд назад». Цензор в тот день не мог не быть особенно раздражен.

Казалось бы, любые «пересечения», кроме официальных, теперь становились невозможны. Аксакову, конечно, было известно авторство доклада, подготовившего запрещение его книги. Однако какие-то встречи неизбежно происходили. 16 марта 1882 года Леонтьев упоминал об одной из них в письме к Филиппову: «Вчера, напр(имер), я встретил Аксакова, и он почти слово в слово *теперь* говорит о юго-славянах то, что я в Визант(изме) (и) Славян(стве) гораздо лучше его сказал чуть не 10 лет тому назад!» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1023. Л. 62). Дело несколько поправила и приехавшая ненадолго из Англии О. А. Новикова, печатавшаяся, в частности, и в «Руси» (как всегда, под криптонимом О. К. — от девичьей фамилии Киреева). «Меня О. А. Новикова помирила с И. С. Аксаковым. И он теперь очень ко мне внимателен», — сообщил тогда Леонтьев Филиппову.⁵⁰ Аксаков согласился опубликовать в «Руси» очерк Леонтьева «Пасха на Афонской горе». В этот текст Аксаков внес ряд поправок, смягчив или вовсе убрав вредную, с его точки зрения, проповедь «аскетизма». В цитированном выше письме к Филиппову Леонтьев передавал разговор Аксакова с Новиковой: «Он ей сказал про меня: „все описательное я готов от него с радостью принять, но его убеждения до того крайние, что *это ужасно!*“ Он и из этой статьи немного выкинул».⁵¹ «...Возводит аскетическое миросозерцание, как Леонтьев — в рецепт для общественной и государственной жизни не могу», — писал Аксаков Новиковой 24 апреля 1882 года.⁵² Больше всего он опасался «*выводов и приложений*», а также, вероятно, того, что его могут заподозрить в солидарности с «церковником»: «Ведь газета трибуна, и что с высоты этой трибуны говорится, является как бы проповедью, советом, рекомендацией или выражением сочувствия».⁵³

Случайно встретив Аксакова на улице, Леонтьев познакомил его с замыслом статьи для «Руси» — «о шапке-мурмолке». Аксаков «очень охотно» согласился напечатать эту статью «с правом оговорок Редакции»,⁵⁴ однако впоследствии, видимо, предпочел придерживаться раз избранного пути — из леонтьевских произведений печатать только «описательное». Не исключено, впрочем, что сам Леонтьев передумал и не стал писать задуманную статью.

В конце августа 1882 года Леонтьев послал Аксакову с дарственной надписью экземпляр только что вышедшего второго издания книги «Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной Пустыни»⁵⁵ и, не дождавшись никакого отзыва, обратился к Новиковой с просьбой написать для «Руси» «*маленькую заметку*» о своей книге.⁵⁶ Но и это не состоялось.

В марте 1883 года он пытается предложить в «Русь» повесть (вероятнее всего, речь идет о романе «Две избранницы»). Посредником служит старший учитель Катковского лицея болгарин К. Н. Станишев. 7 марта он коротко написал о том, что ему дважды «не удалось переговорить» с Аксаковым (ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 232. Л. 1), а 12 марта сообщал подробности состоявшегося накануне разговора.

вой), ее реплика 1882 года: «„Не столько атеисты — враги Христа, сколько такие лица, как Вы, которые неправильным толкованием Его слов компрометируют христианство“, сказала жена И. С. Аксакова К. Н. Леонтьеву, впервые встретившись с ним после прочтения брошюры „Наши новые христиане“...» (Аггеев К., *свящ.* Указ. соч. С. 326).

⁵⁰ Цит. по: Леонтьев. Т. 6. Кн. 2. С. 454.

⁵¹ Там же.

⁵² Там же. С. 455. Впервые опубликовано В. И. Косиком и Г. Б. Кремневым: Леонтьев К. Н. Восток, Россия и славянство. М., 1996. С. 720.

⁵³ Леонтьев. Т. 6. Кн. 2. С. 454—455.

⁵⁴ Там же. С. 456.

⁵⁵ См.: Там же. С. 401.

⁵⁶ Там же. С. 402.

Многоуважаемый

Константин Николаевич,

Вчера, вечером, я был у Ив⟨ана⟩ Серг⟨еевича⟩ и говорил с ним о Вашей повести. Он мне передал следующее:

1) Что он с удовольствием бы напечатал Ваш рассказ, если б тому не препятствовало экономическое положение «Руси»: он-де об том только и думает, как бы свести концы с концами, т. е. чтобы газета не была ему в убыток; 2) Спросил, сколько приблизительно печатных листов в Вашем рассказе; 3) Спросил, почему Вы не отдаете рассказ свой в «Русский Вестник». На последние два вопроса я обстоятельно ответить не мог. Разговор наш заключил он так: «Леонтьеву нужно заплатить дорого, а я дорого платить не могу, потому что подписчиков мало. Вот почему я не решаюсь печатать в „Руси” литературные произведения».

Душевно Вам преданный
Ваш К. Станишев.

12-го марта,

1883-го г.

(ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 232. Л. 2—2 об.)

Кажется, после этого эпизода к Аксакову-издателю Леонтьев более не обращался. Зато «аксаковская» тема с половины 1880-х годов начинает постоянно звучать в переписке Леонтьева с учениками, приобретенными в кружке профессора Катковского лицея П. Е. Астафьева. Из них ярким «антиаксаковцем» явил себя будущий юрист Н. А. Уманов. Любопытно, что при этом он постоянно публиковался в газете «Русское дело», издаваемой продолжателем «аксаковского дела» С. Ф. Шараповым. Однако замысел большой статьи о славянофилах, о котором много говорится в письмах Уманова к Леонтьеву, не был реализован.

Любимейшего ученика и друга Леонтьев приобрел в конце жизни в приверженце своих постоянных «оппонентов» Достоевского и Аксакова И. И. Фуделе, будучем протоиереем и известном духовном публицисте. Отцу Иосифу удалось соединить в себе, казалось бы, далеко разведенные начала — византийскую церковность и деятельное социальное христианское служение («филаретовское» и «аксаковское» Православие). Но этот сюжет увел бы нас далеко от предмета настоящей публикации.

Остается, пожалуй, коснуться лишь одной «текстологической» истории. В 1884—1885 годах Леонтьев пересматривал и правил свои статьи, готовя их к переизданию в составе двухтомника «Восток, Россия и Славянство». Особенно значительной правке подверглись статьи из «Варшавского дневника», в том числе и посвященные Аксакову фрагменты статьи «Г. Катков и его враги на празднике Пушкина» (в первой части данной публикации приведена цитата из нее как раз по второй редакции). Поскольку современные исследователи, как показывает практика, не обращались к «газетной» редакции леонтьевских статей, представляется небесполезным познать читателя с тем, что именно было сказано об Аксакове в 1880 году. Зачеркнутые или измененные в 1885 году фрагменты взяты в угловые скобки, вставки показаны полужирным шрифтом.

«Ив. Серг. Аксаков, ныне живущий ⟨, силой обстоятельств, вероятно, вынужден был, *на практике*, уклоняться от настоящего смысла учения, ибо в его действиях мы ничего строго славянофильского и теперь не видим, а только одну весьма энергичную эмансипационную деятельность, т. е. такую, какая может быть свойственно всякому демократическому духу⟩». ⁵⁷

⁵⁷ Там же. Т. 7. Кн. 2. С. 503. В сборнике «Восток, Россия и Славянство» вместо этого большой фрагмент: «и столь много послуживший — поистине изумительно и гениально!..»

Значительная правка, избавляющая текст от излишней субъективной эмоциональной окраски, появилась и там, где сопоставлены воззрения Н. Я. Данилевского и славянофилов. Данилевский охарактеризован как «непризнаваемый (нынешними) славянофилами ((бессознательно выродившимися, или сознательно уступившими течению времени)) за своего, а между тем объяснивший сущность учения Славянофильства гораздо лучше и яснее всех родоначальников этого учения».⁵⁸ Ср. в другом месте: «В сущности, Данилевский есть более нежели кто-нибудь настоящий (продолжатель) Киреевского и Хомякова (, а не И. С. Аксаков, как-то бурно и восторженно застывший в туманном свободолюбии 40-х годов)».⁵⁹

Итак, очевидна тенденция к смягчению отзывов об Аксакове. Будущий монах Климент, как будто предчувствуя скорую кончину последнего великого славянофила, спешил примириться с ним.

Цензорский отзыв Леонтьева на брошюру Аксакова «Взгляд назад» печатается по журналу заседаний Московского цензурного комитета: ЦИАМ. Ф. 31. Оп. 3. Ед. хр. 2172. Л. 171—175 об.

К. Леонтьев

(Доклад от 24 июня 1881 года
о сборнике И. С. Аксакова «Взгляд назад»)

Поступившее ко мне на просмотр 27 мая сего года подцензурное сочинение «Взгляд назад», составленное из статей газеты г. Аксакова «Русь», представляет такие особенности, что я решительно недоумеваю, как к нему должно отнестись, и нахожу, что единоличное решение мое в этом случае было бы непозволительною смелостью.

По моему разумению, это сочинение в одно и то же время и подходит, и не подходит под предписание Главного Управления по делам печати от 6 сентября 1880 года за № 3285, приглашающее гг. редакторов воздерживаться от всяких намеков на изменение нашего Государственного строя.

Я приступлю прежде всего к краткому изложению содержания книги «Взгляд назад». Самое лучшее именно для краткости начать с конца, где яснее выражен общий вывод. Самодержавный Царь и Земство — больше ничего, или почти ничего. Все посредствующее (т. е. вся или почти вся администрация) должно исчезнуть, «атрофироваться», как выражается автор. Уездное Земство должно стать «миром своей территории». Управлять «по Божьему» способны только два элемента — «мир» и «Царь». Если (говорит автор на стр. 64—65) теперь для Центральной влас-

(Там же. С. 202—203). Приведу часть этой позднейшей вставки: «...Он приложил очень много своего труда к развитию подробностей прежнего учения, но едва ли прибавил что-либо свое к основам его. (...) таланты, познания и независимость Ив(ана) Серг(еевича) Аксакова таковы, что он, конечно, сумел и смог бы отклониться; но есть сердца твердые, есть характеры и к своему уму суровые, которые держат мысль в узде и не дают ей изменять тому, что для сердца стало святыней... Быть может, я ошибаюсь, но мне кажется, что таков должен быть мужественный и благородный боец „Дня“ и „Руси“».

В прежнее (несколько либеральное все-таки) учение Славянофильства он не позволил себе внести ни малейшей ереси. Он — даровитый, верный и непреклонный хранитель заветного ему сокровища; но само сокровище это, но самый этот клад отыскан не им, и он пускает его в оборот теперь почти без процентов. Вот уже более четверти века он не дает забыть русским людям это симпатичное учение. (...) Когда люди будущего нашего оглянутся назад (...) они увидят в истории второй половины XIX века *собор*, так сказать, этих замечательных и безукоризненных русских людей и почтят их всех вместе почтением благодарной любви, и, конечно, тому, кто дольше всех и *при новых условиях* жизни оставался верен старому учению, выпадет на долю не малая слава!» (Там же. С. 203).

⁵⁸ Там же. С. 204, 503.

⁵⁹ Там же. С. 504.

ти приходится иметь дело со всем населением и, следовательно, иметь огромное число агентов, от урядника, непосредственно соприкасающегося с земледельцем, и до Министра, стоящего около Царя, то тогда объектом управления явится очень ограниченное число единиц — земств, и эти единицы едва ли будут нуждаться в той массе учреждений разных наименований, какая существует теперь. Все это мало-помалу начнет атрофироваться, пока Царь и Земля не станут лицом к лицу. Государству (говорится далее) останутся только те отрасли управления, которые не могут быть дробимы. Государственное хозяйство, внешняя оборона, сношение с чужими странами, государственное законодательство и т. д. В другом месте (на стр. 69) (говорится) о ненужности полиции. Первое, что покажется тяжелым и бесполезным для государства и что (оно) поспешит охотно уступить земству, будет, очевидно, централизованная ныне до крайних пределов общая полиция. С усилением земства роль полиции самостоятельной все более и более падает; и (далее) полиция мало-помалу превращается в простой исполнительный орган Земства в чиновниках данного населения, служащих ему, оберегающих его, наконец, всегда зависимых только от него. Вся книга написана в этом духе и с целью доказать удивительную пользу уничтожения «сложной административной машины». Нынешний исправник, говорит в одном месте автор, — настоящий хозяин уезда, и при этом изображает все неприглядные стороны сбора податей с крестьян. В случае усиления земства этот обременяющий уезд исправник мог бы обратиться в безобидного и даже хорошего исполнителя земской воли. В первых главах «Взгляда назад», главах более исторического, так сказать, содержания, объясняются причины несостоятельности земской реформы и изображаются все экономические неудобства и податные тягости существующего ныне порядка; причин этих три главных: 1, отчуждение крестьянства от «господ» и неумение последних действовать на пользу простолюдинов и внушить им доверие; 2, косвенность выборов земских; способ выборов, при котором избиратель-крестьянин не знает, кто его представитель в Земстве, и не имеет с избранником своих никаких прямых сношений; и 3, слишком большая сила администрации, присутствие чьей-то тяжелой руки извне.

Со стороны внешних приемов книга, как и следовало ожидать, написана хотя и горячо, но умеренно и благородно; ирония не груба, сдержанна; нет пошлых придилок. Исключить можно было бы только резкие и цинические эпиграфы-цитаты из Щедрина.

Таково новое сочинение г. Аксакова. Изложивши кратко его содержание, я повторяю вопрос: «подходит ли оно или не подходит под смысл предписания Главного Управления по делам печати за № 3285?» То есть имеет ли оно в виду «изменение» нашего государственного строя?

В упомянутом предписании сначала сказано, что запрещаются даже *вообще* намеки на изменение нашего государственного строя. Но далее то же самое предписание как бы ограничивает свое запрещение следующими словами: изменение нашего государственного строя в смысле введения представительного правления.

Если понимать это предписание так, что запрещена только проповедь конституционного переустройства в западном смысле, то «Взгляд назад» — сочинение совершенно цензурное. На центральное учреждение, ограничивающее власть Монарха, в нем и намек нет. Настоящие Славянофилы были всегда врагами так называемой конституции. Но, с другой стороны, если одобрить слово «изменение» государственного строя, то разбираемая книга должна возбудить сильные сомнения.

Что же может быть глубже такого переустройства всей русской жизни, при котором «атрофируется» постепенно вся или почти вся администрация, так или иначе, но приучившая в течение веков народ наш к повиновению и порядку?

Какое изменение строя может быть серьезнее подобного обращения России в некий чрезвычайно оригинальный союз земских, в высшей степени демократиче-

ских республик с Государем во главе; Государем, положим, и Самодержавным в «принципе», но лишенным почти всяких органов для исполнения Его Царской воли, быть может, не всегда согласной с волей той или другой из этих земских республик?

Как же не счесть планом глубочайшего переустройства такой план реформ, при осуществлении которого самые существенные проявления власти — забота о сборе податей и ответственность за политическую безопасность — перейдут вполне в руки Земства? Такое «изменение», пожалуй, еще радикальнее всякой непрочной и поверхностной центральной конституции, не касающейся до корней народной жизни. Конечно, Цензор не только не обязан, но даже и не должен вообще вдаваться в личные рассуждения литературно-политического характера; тем более не имеет он права на подобной критике основывать свои единоличные решения; но и совершенно устраняться от подобных рассуждений едва ли нам всегда возможно; особенно при исключительных обстоятельствах, подобных тем, которые вызвали этот доклад.

Итак, не решаясь принять на себя в данном случае ответственность единоличного решения, я представляю сочинение г. Аксакова на благоусмотрение Комитета и в заключение позволю себе только привлечь внимание на последние строки Конфиденциальной инструкции Цензорам столичных Цензурных Комитетов (1865 г.).

«В отношении к отдельным изданиям, не освобожденным от цензуры, цензорам вообще надлежит руководствоваться как настоящею инструкцією, так и указаниями прежней цензурной практики, обращая особенное внимание на брошюры и перепечатываемые отдельными оттисками статьи повременных изданий. Такие брошюры и перепечатки, посвященные общественным и политическим текущим вопросам, будучи продаваемы по общедоступной цене, распространяются или могут быть распространяемы в большом количестве экземпляров. Посему печатание брошюр и оттисков статей, помещенных как в не освобожденных, так и в особенно освобожденных от цензуры изданиях, должно быть разрешаемо цензорами с крайнею осмотрительностью».

**«ЗАГРАНИЧНЫЕ СВЯЗИ НАМ ТОЖЕ СЛИШКОМ ДОРОГИ»:
ПИСЬМА З. ГИПШИУС, Д. МЕРЕЖКОВСКОГО, Д. ФИЛОСОФОВА
К Б. САВИНКОВУ.**

1912—1913 годы

(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ, ПУБЛИКАЦИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ © Е. И. ГОНЧАРОВОЙ)

(Окончание)

22 мая 1912 г. Париж

Дорогой друг Борис Викторович, мне хочется сказать Вам вот что: очень ошибетесь, если подумаете, что причины того, что мы с Вами не увиделись какие-нибудь причины глубокие, внутренние, «метафизические». Причины этого самые внешние, случайные, «физические».

Вы, верно, знаете, что мы уехали из России, п(отому) ч(то) мне предстоит процесс за «Павла I»¹ и не хотелось сейчас садиться в крепость, бросать роман, не кончив... В течение 1 1/2 года у нашего подъезда стоял сыщик и швейцар постоянно

мне докладывал, что он «все справляется на счет г(осподи)на Савенкова» (sic!). А на границе арестовали у меня рукопись «Александра I».² И директор депар(тамен-та) полиции прямо мне сказал, что полиц(ейский) надзор за мною учрежден из-за моего знакомства с Вами («Коня Блед(ного)» мне читали и Вашу статью о нем тоже!).³ А затем донос департамента полиции на «Александра I» (м(ожет) б(ыть) и за него будут судить).⁴ И, наконец, сегодня еще мой здешний консьерж предупредил меня, что приходил подозрительный субъект («наверно шпион»), справлялся, когда мы уезжаем. И уж не знаю, как-то мы будем переезжать через границу. А у З(инаиды) Н(иколаевны) плеврит. А у меня слабое сердце. И т. д. и т. д.

Все это, конечно, пустяки, мелочи. Но я — «обыватель», по крайней мере, «ветхий» мой человек — обыватель, и я из этого ветхого человека еще не вышел, хотя и надеюсь выйти.

Вы скажете: «Так всегда будет, значит, надо прекратить знакомство». Я знаю, что не всегда будет так, но я сейчас *физически* устал и не сомневаюсь, что эта усталость временна, что она пройдет.

Если Вы меня и нас не «оттолкнете» за «обывательщину», то и мы от Вас не уйдем. Не потому, что так *должно*, а п(отому) ч(то) *нельзя* нам иначе. И рады бы уйти, да не можем: *не* черт нас веревочкой связал и этой веревочки не развязать и не разорвать.

Я знаю, что оно так и думаю, Вы тоже это знаете.

Если бы сейчас нам предстоял разговор, не только *личный*, но и об общем *деле*, то, конечно, несмотря на мою усталость, я не выдержал бы моего «обывательского» благоразумия (или трусости, слабости — называйте как хотите) и мы увиделись бы.

Понимаю хорошо, что и личный разговор необходим, что и он ведет к долгу. Но думаю, что разговор личный можно отложить на некот(орое) время. Для меня нет никакого сомнения, что мы с Вами увидимся в следующий наш приезд, и когда бы Вы на меня ни сердились (sic!), но когда взглянете мне в глаза, то увидите, что я Вас так же люблю, как любил.

Ведь не потому мы близки друг другу, что мы необходимы друг другу (м(ожет) б(ыть) нет более неподходящих друг другу людей), а потому что есть у нас, между нами, что-то общее, *не наше*, от нашей воли независимое. Да, *не по своей* воле мы вместе.

Теперь именно, когда я лично *как будто* ухожу от Вас (это Вам, а не мне кажется), я это больше, чем когда-либо чувствую. И с «обывательским» ужасом и с не «обывательской» радостью, я чувствую, что та сила, которая нас свела, — опять сведет, хочу ли я этого или не хочу, хотите ли Вы этого или не хотите. Не верю я, что Вы не можете меня и нас, мое и наше отвергнуть окончательно, за то что я лично плох или мы лично плохи. Но и кроме общего, нашего, Вы и *лично* мне дороги, больше того, Вы мне — (1 нрзб.) родной, несмотря на все Ваши слабости (ведь они, м(ожет) б(ыть), не меньше наших, хотя и в ином роде). Я чувствую, что и я Вам лично тоже дорог, тоже «родной», несмотря на все мои слабости.

До свиданья, родной, милый. Ну, верьте же, что я Вас люблю!

Господь с Вами.

¹ Драма Мережковского «Павел I» впервые была опубликована в 1908 году в журнале «Русская мысль» (№ 2). В этом же году пьеса была издана М. В. Пирожковым, но издание было сразу же конфисковано, а драма запрещена к постановке в России. Позднее, в 1912 году, Мережковский вместе с Пирожковым был привлечен к суду по 128 статье за дерзостное неуважение к верховной власти. Суд над издателем должен был состояться 16 апреля 1912 года. Дело Мережковского было выделено «за неразысканием» и слушание его отложено. Пирожков был освобожден из-под стражи под денежный залог (см.: Дело о романе «Павел I» // Утро России. 1912. 17 апр. С. 4). Осенью 1912 года (18 сентября) состоялся суд над писателем и издателем. Адвокат Мережковского Л. М. Гольдштейн ходатайствовал о приобщении к делу только что вышедшее сочинение великого князя Николая Михайловича «Император Алек-

сандр I. Опыт исторического исследования» (1912). В этом сочинении император Александр I был показан сознательным участником насилия. Оба подсудимых были оправданы. Арест с пьесы «Павел I» был снят. «Дело Мережковского» широко освещалось в прессе (см.: Дело Д. С. Мережковского // Русское слово. 1912. 19 сент. С. 6; *Бецкий К.* Дело Д. С. Мережковского и М. В. Пирожкова // Современное слово. 1912. 19 сент. С. 3).

² На границе в Вержболове 25 марта 1912 года у Мережковского были «изъяты» все бумаги и часть рукописи романа «Александр Первый». Гиппиус вспомнила: «Хлопоты насчет отнятой рукописи, газетчики... Д(митрий) С(ергеевич) пошел к дежурному департамента полиции. Тот принял его вежливо, но сказал, что все — по закону. „А что за вами следят, так у вас знакомства...“». В газете «Русское слово» (в ней с 10 апреля 1911 года печатался роман) была помещена заметка «Арест „Александра I“», написанная совместно Гиппиус и Мережковским (1912. 30 марта. С. 2. Без подписи). С мая 1911 года «Александр Первый» печатался в журнале «Русская мысль». В связи с инцидентом на границе Мережковский напечатал в журнале письмо, адресованное П. Б. Струве, редактору «Русской мысли», с просьбой довести до сведения читателей, что по независящим от него обстоятельствам, он «лишен возможности доставить раньше осени продолжение романа „Александр I“» (*Мережковский Д. С.* Письмо в редакцию // Русская мысль. 1912. № 5. II отд. С. 135). В августе 1912 года отобранная на границе рукопись романа была возвращена (см. также: *Пономарева Г. К.* цензурной истории романа Д. С. Мережковского «Александр I» // Блоковский сборник. XIII. Тарту, 1996. С. 74 — 85).

³ Речь идет о «Письме в редакцию» Савинкова, помещенном в журнале «Заветы» (1912. № 1. С. 222. Подпись: В. Ропшин). «Письмо» явилось ответной реакцией на опубликованную статью А. С. Изгоева «На перевале. На выстрелы слева» (Русская мысль. 1911. № 11. II отд. С. 121—129). Изгоев считал важнейшей задачей поколения «преодоление террора» и требовал, чтобы эсеры дали обществу «моральный отчет» о таких явлениях, как азефовщина и ропшинский «Конь бледный». Савинкова возмутила статья Изгоева, и в том же номере «Заветов», где начал печататься его новый роман, он ответил раздраженно Изгоеву, что отчитываться за психологию литературных героев он не обязан.

⁴ По мнению директора Департамента полиции, в романе «Александр I» в негативном виде освещалась личность императора. Отрицательная оценка личности императора в год столетнего юбилея победы над Наполеоном, с точки зрения власти, была неуместна.

12

Гиппиус — Савинкову

⟨Май 1912. Париж⟩¹

Не жарко ли вам у моря?

Мне жарко здесь, а на душе довольно холодно. Есть вещи, факты, сами по себе малые, которые следует сделать; и если даже обстоятельства, самые суровые, как смерть, безденежье и т. д., заставляют от них отказаться, все равно, это не меняет внутреннего убеждения, что следовало что-то сделать, и не сделал.

Как работа ваша? Вышла ли первая часть?² Объявлений пока не видела ни в одной газете. Заглавие, пожалуй, тенденциозно, — вы не находите? Давно мы с вами не видались. Но... обстоятельства уж очень плохо сложились. Внезапная смерть матери Ф(илософова)³ — и многое другое потом, что вам вряд ли даже известно.

У вас есть радостные семейные обстоятельства: поздравляем вас и Е(вгению) И(вановну).

А(малия), как вы знаете, все больна.⁴ Д(митрий) В(ладимирович) тоже не очень здоров, он не здесь, дома.⁵ На вас (и лично и не лично) правые газеты только и делают, что клеветают. Просто от отсутствия материала. Ах, Боже мой! Революция — детская болезнь. Достаточно для каждой жизни одной кори, она после перенесения ее в ребяческом возрасте уже не повторяется. Так, для каждого отдельного человека довольно одной революции. Или не корь — скарлатина: могут остаться худые последствия, испортить следующую жизнь. Сколько выздоровевших инвалидов-эмигрантов! Хорошо, что вы нашли свое дело, свою жизнь, — нашли себя в литературе. А другие! Сколько невинных, уже не заразительных — скарлатина прошла — и все же инвалидов. «Бурелом».

Вы со мной не согласны, может быть? Отчего ж. Думаю — согласиться не трудно.

Здесь — еще недели две, не больше. Работайте хорошо. Как ваша больная?⁶ Ей, говорят, было хуже?

¹ Датируется по содержанию.

² Речь идет о I части романа Савинкова «То, чего не было», опубликованной в первых пяти номерах журнала «Заветы» за 1912 год.

³ А. П. Философова скончалась в Петербурге 17 марта 1912 года. Ее похороны превратились в общественно значимое событие. Траурная процессия насчитывала более 2000 человек. Была похоронена в родовом имении семьи, селе Богдановском Псковской губернии. Перевоз к месту погребения был задержан из-за отсутствия Философова, прибывшего в Петербург из Парижа 20 марта 1912 года. О похоронах А. П. Философовой см.: *Философов Д. В.* Письмо в редакцию // Речь. 1912. 25 марта. С. 2—3; Сборник памяти Анны Павловны Философовой: В 2 т. Т. 2.

⁴ Амалия Осиповна Фондаминская в 1912 году заболела туберкулезом. Гиппиус ежедневно навещала ее в Париже.

⁵ Философов после похорон А. П. Философовой остался в России.

⁶ Речь идет о М. А. Прокофьевой.

13

Мережковский — Савинкову

5/18 II 1913
Hôtel Impérial
Menton¹

Мы здесь, дорогой Борис Викторович, и очень хотели бы вас повидать. З(инаида) Н(иколаевна) очень устала, ей не совсем здоровится. Может быть, Вы заедете к нам? Тогда напишите, в какой день и час.

Сердечный привет Евгении Ивановне и всем Вашим. Надеюсь, до скорого свидания.

Любящий Вас Д. Мережковский

¹ Мережковские приехали в Париж 14 января 1913 года. Через две недели, 2 февраля, они отправились вдвоем в Ментону.

14

Мережковский — Савинкову

⟨1913⟩

Милый друг,

я понял весь ужас Вашего последнего письма. Что сказать на него? Разве можно словами ответить?

Вы говорите, чтобы мы не судили Вас. Если бы совсем Вас не любили и не знали, то и не судили бы. А ведь мы Вас любим и Ваше любим, верим в него, верим, что оно будет и наше. Но, значит, мало любим, не до конца, не до смерти, как надо любить, как вы праведно любите Ваше, хотя и нелегкое.

Я знаю, что Вы верите во Христа, но я не могу, не имею силы и права сказать Вам о том так, чтобы и Вы поверили, или узнали, как я знаю, что Вы верите. Не имею силы и права на это, потому что недостаточно люблю.

Вы уже поняли, что не от силы, а от слабости делаете Ваше дело старое, и мы тоже поняли, что не от силы, а от слабости не делаем нового нашего дела. Если бы

мы начали делать, Вы могли бы не делать. Почему и вина общая наша, ответственность общая. И дадим мы за вас какой-то ответ перед Богом. Но и Вы — вы все за нас всех. И м(ожет) б(ыть), самый тяжелый Вам ответ будет за нас. И наш за вас.

Помните, как Вы тогда в Париже мне говорили. Я вам не сказал, без силы не имел власти сказать: не делайте. Но и тогда хотелось и теперь хочется без власти, без права и не словами сказать... Простите, милый, родной брат мой, Вам от этого еще больнее. Ну не Вам скажу, а Господу: помоги ему, как знаешь Сам.

Только помните, не разлюбим мы Вас до конца. Ведь мы от одного, от Одного страдаем. Одного ужасаемся. И если нас Господь не покинет, то и Вас.

Но разве это все помочь? Надо быть вместе до конца, чтобы помочь, а мы не вместе.

Но есть же таки последняя точка в последнем нашем страдании и в последней надежде, что мы одно и что Он между нами.

Простите! Господь поможет нам всем.

Любящий Вас Д. Мережковский

15

Гиппиус — Савинкову

Пятница 22 ф(евраля) <19>13
(Hôtel Impérial. Menton)

Совсем решила нанести вам визит вчера, несмотря ни на какую погоду, но Д(митрий) С(ергеевич) простудился, сидит с инфлюэнцей и насморком. Так что до *воскресенья* вряд ли выберемся. В воскресенье же весьма твердо надеемся приехать, вторник,¹ и уже несмотря на погоду. Не готовьте нам завтрака, мы позавтракаем в Вентимилии,² куда думаем приехать по жел(езной) дороге. У вас будем просто пить чай.

С Пл(ехановым) я бы, однако, хотела познакомиться, я только что просматривала его статью в Современнике,³ хотела, было, писать о ней, но уж очень удивляюсь, не знаю, что. Удивляюсь, что он полемическим тоном говорит такие известные вещи. Я не только согласна с ним, но даже готова и дальше идти: крайний индивидуализм, утверждение личности, «как единственной реальности», конечно, лишает эту личность всякого реального чувства общности; если я даже прибавлю к этой «Волге, текущей в Каспийское море», что в конце концов исключительное утверждение своей личности приводит и «личность» к самосъеданию, т. е. к лишению *всякой* реальности, — то, ей Богу, и это будет весьма общеизвестно и неоспоримо. Боюсь, однако, что если мы естественно перевернем банальную формулу и скажем: утверждая коллектив, как *единственную* реальность, можно привести коллектив к саморазложению, — боюсь, что Пл(еханов) уже с этим не согласится, хотя и без разумных оснований. Или, если он менее прям, чем Базаров,⁴ будет говорить, что признает и «личность», — как? раз он не признает *двух* реальностей.

Впрочем, это все, быть может, чуждая ему терминология. Не чуждая вам, конечно.

Очень досадую, что так все не удастся с вами повидаться. Утешаюсь немного тем, что сейчас вы заняты и мы лишний раз вам не помешали. В воскресенье все-таки изо всех сил попытаемся приехать. До воскресенья других известий не ждите.

Привет всем.

Встретились с одним из ваших товарищей и друзей бывших. Удивилась... вам, вашей неразборчивости. Прелестный субъект. Если не приедем в воскресенье — то в первый день, когда Д(митрий) С(ергеевич) будет здоров, без погоды.

¹ В письмах к Философому Мережковские настаивали на его приезде. 30 января 1913 года Мережковский писал Философому: «Формулу твою „я + ты + Зина“ — всем сердцем принимаю... тебе приехать в Ментону следовало бы — не для себя, не для нас, а для *всех*. Может быть, никакого „толка“ из этой поездки и не вышло бы, а все-таки *следовало бы*» (РНБ. Ф. 481. Д. 188. Л. 18—18 об.).

² Вентимилья — итальянский город на границе с Францией.

³ Георгий Валентинович Плеханов (1856—1918) в 1877 году был одним из руководителей народовольческой организации «Земля и воля». С 1881 года жил в Швейцарии. С 1909 года по состоянию здоровья (болел туберкулезом) жил в Сан-Ремо, где его жена Р. М. Боград-Плеханова (врач по образованию) имела санаторий «Le Repos». Р. М. Плеханова была лечащим врачом М. А. Прокофьевой. Мережковские познакомились с Плехановым у Савинкова в Сан-Ремо в 1913 году. Речь идет о статье Плеханова «Искусство и общественная жизнь». Анализируя поэзию Гиппиус, Плеханов делал в статье вывод о полном равнодушии Гиппиус к общественным вопросам, называя ее «крайней индивидуалистской декадентского толка, которая жаждет „чуда“ именно потому, что не имеет никакого серьезного отношения к живой общественной жизни» (Современник. 1913. № 1. С. 145).

⁴ Базаров Владимир Александрович (наст. фам. Руднев; 1874—1939) — экономист, публицист, философ, литературный критик и переводчик.

16

Гиппиус — Савинкову

(8. 3. 1913)¹
(Hôtel Impérial. Menton)

Суббота.

Д(митрий) С(ергеевич) *совершенно* болен, так что завтра наверно не будем.

Статью ли Пл(еханова) в Совр(еменном) М(ире) в вашу защиту вы ставили нам в пример?² Конечно, мы бы *так* вас защищать не стали. И, быть может, все к лучшему, ибо защита Пл(ехано)ва для вас объективно выгоднее, исключая начало, о плаг(iate), которое безнадежно слабо и, главное, ни к чему.

Интересно, как вы сами смотрите на этот разговор с Кр(анихфельдом), и довольны ли.

¹ Датируется по штемпелю получения на почтовой открытке.

² Речь идет о статье Г. В. Плеханова «О том, что есть в романе „То, чего не было“» (Современный мир. 1913. № 2. II отд. С. 81—99). Она была ответной реакцией на статью В. П. Кранихфельда «Литературные отклики» (Современный мир. 1912. № 10. С. 323—325), в которой критик высказывал предварительные замечания о романе «То, чего не было». Он указал на подражание Ропшина эпосе Л. Толстого «Война и мир». Рассматривая критические отклики на роман «То, чего не было», в том числе и Кранихфельда, Плеханов полагал, что роман представляет собою крупное литературное произведение. В свою очередь Кранихфельд опубликовал в этом же номере «Современного мира» «Ответ Г. В. Плеханову», в котором, полемизируя с Плехановым, указал на недостатки романа Ропшина. Судя по письму Савинкова к В. С. Миролюбову от 8 марта 1913 года, он еще не читал статьи Плеханова (ИРЛИ. Ф. 185. Оп. 1. Д. 1012. Л. 7 об.—8).

17

Гиппиус — Савинкову

Hôtel Impérial
Menton¹
20 м(а)рт(а) (19)13

Ваша рукопись своевременно отправлена. Моя (о вас и Пл(еханове)) исчезла, благодаря И(лье),² которому я вашу уже не поручила отправить, хотя могла бы, т. к. Дм(итрий) Вл(адимирович) тотчас после вашего отъезда серьезно опять забо-

лел; только сегодня немного встал, но ходить еще совсем не может. Конец вашего романа показался мне таким, как и должен был быть (толстоизма уже нет следа), самый конец несколько неопределенен... впрочем, в письме критиковать не буду. А вот, кстати: если у вас случайно сохранилось мое письмо к вам из Парижа,³ по поводу первой части романа, вы бы мне очень помогли, передав его автору. Там было много неверного, но кое-что оно, как первое впечатление, мне бы дало для статьи. Ваш ответ у меня есть в Париже.

Затем — должна вам написать (то же, что я сочла нужным написать Струве⁴ на другой день после одного из рел(игиозно)-фил(ософских собраний)), что я лично отделею себя от тона ваших споров с Д(митрием) С(ергеевичем), что я этому тону не сочувствую; между прочим потому, что считаю его непрактичным и вредным для выяснения какого бы то ни было вопроса. Разговор я признаю (я люблю и уважаю слово), но лишь такой, где преобладает разум, логика, а не темперамент и не настроения. Я, может быть, во многом не согласна с вами, но это вопрос другой и сейчас неинтересный; я говорю лишь о *тоне*; и вы не были чисты от этого тона, однако Д(митрий) С(ергеевич), на мой взгляд, был повиннее, хотя бы уже потому, что речь шла о вещах, ему более, нежели вам, фактически известных.

Мы, конечно, еще приедем к вам до отъезда из Ментоны (не знаю, как Д(митрий) В(ладимирович), с его тяжелой болезнью), но очень желали бы видеть еще вас и у себя, хоть раз без чужого народа. Может быть, только с одним И(люшей). Останемся в М(ентоне) до 5 Апреля старого стиля, по всей вероятности. Между нами накопилось много недоразумений, — благодаря редким встречам, полагаю. И редким разговорам, — так я думаю, хотя вы и не любите слов. Я считаю, что люди одинакового умственного уровня могут быть друг с другом совершенно не согласны, но понимать друг друга они обязаны.

Жду от вас строчки, Д(митрий) С(ергеевич) просит меня передать вам, что, как бы вы к нему ни относились, он искренне любит вас, по-прежнему.

¹ Штемпель на почтовой бумаге.

² Речь идет о И. И. Фондаминском.

³ Вероятно, речь идет о письме Гиппиус от 19 января (1 февраля) 1912 года.

⁴ Струве Петр Бернгардович (1870—1944) — экономист, философ, историк, публицист. Был теоретиком «легального марксизма». С 1905 года лидер кадетов. С конца 1906 года Струве был редактором-издателем журнала «Русская мысль». Участник собраний Религиозно-философского общества.

18

Философов — Савинкову

Hôtel Impérial
Menton (a.m.)¹
1 April 1913

Дорогой Борис Викторович.

На всякий случай извещаю Вас, что сегодня я отослал заказн(ой) бандер(олью) Вашу рукопись Чернову.²

В пятницу вечером я захворал. Ночью был жестокий припадок печени. Лежал все время в постели. Сегодня только встал. Это заставляет меня отложить мою поездку к Вам.

¹ Штемпель на почтовой бумаге.

² О В. М. Чернове см. прим. 5 к письму 4.

19

Гиппиус — Савинкову

23.4. <19>13. Paris
11 bis Av(енue) Mersédès¹

Ami,

вы правы во многом, между прочим в том, что видимся мы гораздо меньше, чем нужно. Разговоры — разговорами, но есть между людьми еще какие-то интуитивные сообщения, они устанавливаются неизвестно как и когда, и так же разрушаются, если долго не видишься? Однако думаю, — могли бы мы видеться и того меньше, если бы не факт нашего постоянного к вам тяготения. Делаем пока что можем, а далее видно будет.

Очень досадно было уезжать, не повидавшись еще раз. Спасибо за письмо и за добрые слова. Трудно жить на свете, и очень трудно понимать друг друга. Но добрая, упорно-добрая, воля тут много значит. Мне все-таки, несмотря на неудачный цикл наших последних свиданий, кажется, что я поняла вас более, чем понимала до них. Когда опять свидимся — давайте не тратить времени на бесплодное выяснение несогласий, а прямо начнем с точек согласия. Они есть, и от их серьезности зависит все, а не от глубины несогласий. Я поняла, что мы подходим к вам сейчас с требованиями не то что слишком большими, а не теми, которые следует иметь к вам, и в данное время. Это слепота нашего индивидуализма. Кажется мне, что и вы от нас внутренне требуете порою не того, что мы *сейчас* могли бы дать, чем могли бы вам послужить. Но с вас я в этом вину снимаю, виноваты опять мы, — и, конечно, беглость наших свиданий.

Служить друг другу можно и нужно во всякое время, да надо уметь.

Напишите нам сюда хоть два слова о здоровье М(арии) А(лексеевны). Неужели ей стало так худо? Мы рады, что видели ее. Она прекрасна. Редко за всю мою долгую жизнь видела я такое прекрасное. Вы счастливы, имея около себя эти годы столь красивый и значительный человеческий цветок. Много можно понять и *решить*, глядя на нее, помня ее.

Кончаю, говоря вам *как близкому*: Христос воскрес. Сегодня Великий Четверг, получите вы это в субботу, вспомните в этот вечер и вы нас, как близких, как верующих твердо в нашу будущую полную духовную близость. Когда-нибудь встретим эту ночь радостно вместе.

Р. S. Хотелось бы между свиданиями не терять возможную — пусть слабую — связь. Слов. Спросите И(люшу), когда увидите его, он вам скажет, что это очень легко. Насчет издания романа напишите сюда определеннее, выяснилось ли уже с тем издателем, кот(орого) вы ожидали.

Еще раз досвиданья, обнимаю вас.

Книги М(арии) А(лексеевны) высланы, некоторые остались у И(люши), он привезет вам. Нельзя ли попросить Заветы дать мне полный экз(емпляр) оттисков нынче же?

Напишите о нас всем обитателям Vega, а Е(вгении) И(ванов)не,² кроме того, о ее обещании.

¹ Слева карандашом приписка: Для Б(ориса) В(икторовича).

² Речь идет о жене Савинкова Е. И. Зильберберг.

Гиппиус — Савинкову

С(анкт)-П(етер)б(ург)
83, Сергиевская¹
4 мая (19)13

Милый друг,

посылаю с этим в Вега² 3 моих книжки и 1 для М(арии) А(лексеевны) от Андреевского.³ Весьма ждали от вас все время (и продолжаем ждать) вестей насчет издания. Это задерживает наши хлопоты у Вольфа⁴ и в других местах. Пожалуйста, скорее напишите, кончили ли там, где предполагали. Ваш роман продается (с Заветами в придачу) за 7 р(ублей) 50, из этого заключаю, что даром они оттисков не дадут, придется прикупить недостающие книги и самой составить «том», чтобы писать как следует. Затруднение у меня в месте: Нов(ая) Ж(изнь)⁵ провалилась, а Русск(ая) Мысль отвращает. Если надежды наши осуществляются, то хорошо будет написать о вас в собственном журнале, осенью.⁶ Надеемся и вашу повесть⁷ там иметь. Причем если уж журнал будет, то и деньги он платить будет, а не так, как Заветы⁸ и Розенфельд.⁹

Вспоминаем наши разговоры и, как всегда бывает, жалеем, что не говорили о том-то и о том-то, а говорили об этом и об этом. Не умеем мы все разумно пользоваться временем. Такая досада. Жалеем также, что и вы нами недостаточно пользовались, — хотя бы тоже в смысле разговоров.

Да, с теми отгисками, кот(орые) вы мне давали, вышло недоразумение: я весьма хотела сделать на них примечания, но думала, что вы ими дорожите и не хотите, чтобы я их «портила», исчеркивала. Это я вам забыла написать из Парижа.

Кланяетесь Плеханову. А как я была права! В литературе впечатление от его «защиты» было именно такое: *неуместности*, как я и ожидала, и писала.¹⁰

Пользуясь готовыми страницами, Ив(анов)-Разумник¹¹ и Чернов яростно полемизируют с нами.¹² Жаль, что не думают о том, что я сейчас физически лишена возможности им отвечать. Где? Все равно, что полемизировать с засаженным в Кресты.¹³ Вот, если будет журнал, тогда благородная борьба возможна.

А вас, хотя словесно вы встали (в незначительном, правда, случае) на сторону Разумников против нас, я не словесно считаю союзником, не противником. Не словесно — идейно.

Ну, до свиданья. Пожалуйста, скорее напишите насчет издания романа.

Всем наши приветы и память. Простите несвязность письма, ужасно тороплюсь.

¹ Штемпель на почтовой бумаге.

² Имеется в виду вилла «Vera Monte Solaro».

³ О С. А. Андреевском см. прим. 2 к письму 10. Возможно, речь идет о книге С. А. Андреевского «Литературные очерки», вышедшей очередной раз в 1913 году (4-е изд.). Книга была составлена из лекций, прочитанных автором.

⁴ Речь идет о переиздании в издательстве М. О. Вольфа повести «Конь бледный».

⁵ Журнал «Новая жизнь» (1910—1914) был временно прекращен в марте 1913 года. В декабре издание журнала возобновилось.

⁶ Речь идет о литературно-политическом еженедельнике «Голос жизни». Журнал выходил в Санкт-Петербурге с октября 1914 года по июнь 1915 года. В нем активно сотрудничали Гиппиус и Мережковский.

⁷ Вероятно, речь идет о продолжении повести «Конь бледный», не опубликованном при жизни Савинкова. Впервые: *Савинков Б. В. Неизвестная рукопись // Знамя. 1994. № 5. С. 152—167.*

⁸ Все время краткого существования журнал «Заветы» балансировал на грани финансового краха, экономя на гонорах сотрудникам. Савинков за роман «То, чего не было» получал 300 рублей за печатный лист. Для сравнения: М. Горький и Л. Н. Андреев получали по 100 рублей, М. М. Пришвин — 200 рублей.

⁹ Розенфельд Исаак Мордухович — редактор-издатель журнала «Новая жизнь».

¹⁰ Речь идет о статье Г. В. Плеханова «О том, что есть в романе „То, чего не было“ (Открытое письмо В. П. Крайнихфельду)» (см. прим. 3 к письму 15).

¹¹ Иванов-Разумник (наст. имя и фам. Разумник Васильевич Иванов; 1878—1946) — историк русской литературы, критик, публицист. С сентября 1912 года до августа 1914 года являлся ведущим критиком и фактическим руководителем литературного отдела «Заветов» (вел раздел «Литература и общественность»). На страницах «Заветов» неоднократно весьма критично высказывался о творчестве Мережковского и Гиппиус. В январском номере журнала Иванов-Разумник критиковал роман Мережковского «Александр I» и «Роман-Царевич» Гиппиус. «Трио» задела статья Иванова-Разумника «Клопные шкурки» (Заветы. 1913. № 2. II отд. С. 105—114), посвященная весьма нелестной оценке собраний Религиозно-философского общества под эгидой Мережковского. Ответной реакцией явилась статья Философова, опубликованная сразу же после возвращения «трио» из Франции (см.: *Философов Д. В.* Письмо в редакцию // Речь. 1913. 6 мая. С. 5).

¹² В. М. Чернов неоднократно задевал на страницах «Заветов» представителей интеллигентских «религиозных исканий»: «В литературных гостиных они кокетливо репетируют роли вождей будущей русской реформации, хотя сами-то, по удачному выражению Достоевского, „насилу веруют“» (Заветы. 1912. № 2. С. 67).

¹³ Имеется в виду петербургская пересылочная тюрьма «Кресты».

21

Гиппиус — Савинкову

1 июня С(анкт)-П(етер)б(ург) <1913>

Передавали ли вам, милый друг, результаты нашей издательской анкеты? Это, впрочем, более чем анкета, а предложение. Вы не отвечаете, это значит, думаю, что решаете отрицательно, однако на всякий случай повторю данное: *большое* издательство¹ предлагает выпустить ваш роман на таких условиях: 25 % (то же, что получает там Д(митрий) С(ергеевич), он перешел от Вольфа), 5000 экз(емпляров), книга, если она не больше того размера, о кот(ором) вы пишете, ценою 1 р(убль) (по-моему — дешево). Выходит, что вы получаете полторы тысячи рублей. Остальные ваши условия могут быть исполнены.

Понимаю, что лучше получить 3—4 т(ысячи), вместо 1 1/2, как вы хотели, но вот таковы возможности (у нас), и плюсы есть: 1) большая фирма, могущая распространить издание в самый короткий срок, 2) сравнительно малое число экземпляров, 3) связи с издательством, очень могущие пригодиться в будущем.

Однако я вас отнюдь не убеждаю, а решайте, как вам кажется выгоднее. Одно, чего я просила бы, — это возможно скорого ответа, ибо если издание затянется, то выиграют Заветы, продавая свои номера за 7 р(ублей), а вы проигрываете. Следовало бы *уже* выпустить книгу, тотчас по окончанию романа в журнале.

Думаю, что с вашим издателем дело так или иначе уже произошло, и вы можете сказать определеннее.

Ваши письма доставили нам много удовольствия. Планы у нас хорошие, не знаю исполнятся ли. Дело в деньгах. Мы тоже колеблемся между еженедельником и толстым кирпичем. Первый легче во всех отношениях, кроме работы, а так как чернорабочих у нас мало, все литературные офицеры и генералы, то поневоле задушаешься. Отзывы Ч(ернова) нас не обижают. Будет место — будет возможность полемизировать с ним серьезнее и подавать пример приличия. Что касается Разумника — то сей неисправимый хулиган.² Заветы киснут, чахнут и вырождаются благодаря ему и его редакторскому коллективу. Мир(олюбо)ва, при всех его недостатках, я очень люблю, он премил, мы дружим.

Спасибо за обещания, твердо на них полагаемся. Поклон всем от всех. Жду вестей.

¹ Речь идет о книгоиздательстве «Товарищество И. Д. Сытина».

² См. прим. 11 к письму 20.

Гиппиус — Савинкову

15. 6. <19>13

<Станция Веребье. Николаевской железной дороги
имение барона Розенберга>

Милый друг,

я на первое письмо ваше обстоятельно ответила, намеренно не дописала его, надеясь вечером видеть представителя издательства вашего, не видала. Затем Д<митрий> С<ергеевич> сказал, что сам напишет вам, а кончилось тем, что недописанное письмо я оставила в городе, пишу вам новое, с дачи, где получила второе. Представителя фирмы видала, читала ваше письмо (первое), говорила о том, что вы ошибаетесь в числе букв, наверное. Но если книга не меньше, чем 1 том Воскр<есшие> Боги,¹ то ее можно пустить от 1 р<убля> 25 до 1 р<убля> 50 коп<еек>, и это будет самое выгодное, ибо тогда остаются 25 %. Мы хотели бы выторговать для вас 2000, не уверена, что это удастся, но меньше полуторых и речи нет. Остальные ваши условия приемлемы, об авторских экз<емплярах> и говорить нечего, получите сколько захотите. Если вам нужен аванс рублей в 500, то и это вещь возможная. Как я вам писала, связь с богатым издательством — вещь важная очень для будущего. Напишите сюда (Ст<анция> Веребье, Ник<олаевской> ж<елезной> д<ороги>), Им<ение> Барона Розенберга, Гиппиус, via Moscou) как выяснилось дело с меценатом, и хорошо бы поскорее. А то книга опоздает к осени. Договор не подписать ли Дм<итрию> С<ергееви>чу? (Так было с Вольфом).² Напишите еще раз сроки уплаты, для ясности, я в договоре послежу. Рукопись, думаю, следует выслать тоже нам, на С<анкт>-П<етер>б<урге>. Ну, об этом после, может быть, вы еще устроитесь с вашим меценатом.³ Хотя, по совести, думаю, что вам *выгоднее* сразу большое издательство и небольшое количество экземпляров.

В ответе на первое ваше письмо я вам писала об Ив<анове>-Раз<умнике> чуть не вашими же словами, т.е. что он *знал* о том, что не вы взяли у Рем<изова>, а Ремизов точно передал *ваши* слова, ваш рассказ.⁴ И что Раз<умник> человек недобросовестный; это теперь ходячая истина в С<анкт>-П<етер>б<урге>. Ответить вам он именно должен был «пространно и глупо».

Вам надоели пальмы... А здесь сырой и дремучий лес, кашка, иван-да-марья, плоты на реке, пьяные по дороге, омерзительная дача-барак, пруд с головастиками и такая тишина порой, что хочется ссориться со всеми, кто из домашних на глаза попадется. В деревенской лавке под потолком висят колеса, лампы, сапоги, пахнет кубом и еще чем-то, крепко, а вокруг лавки — солома, лошади и нищие. Мужики пьяные всегда, и в праздники, и в будень. Такое уж здесь, в Новгор<одской> губ<ернии>, положение. Есть тихие, а больше оружие. Впрочем, я видала одного, у кот<орого> брат получает Вестник Знания Битнера.⁵ Значит один есть, наверное, грамотный — «брат». Наши бароны получают «Земщину» и «Петерб<ургскую> газ<ету>».⁶ Очень любезны. Д<митрия> С<ергеевича> похвалил Бурнакин в Нов<ом> Вр<емени> и Правит<ельственном> Вестнике.⁷ Вот и пиши после этого романы!

Однако пора кончить. Будьте здоровы, очень желала бы, чтобы из наших хлопот по изданию вышло дело. Как здоровье М<арии> А<лексеевны>? Что она, читала ли Андреевского? Старичок очень хотел бы получить отзыв посланной книги с надписью.

Речь идет о книгоиздательстве Сытина. Он был сам у нас и убедил, что на иных условиях издавать нельзя.⁸

Ваш Д. Философов

¹ Речь идет о романе Мережковского «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» (1901), второй части трилогии «Христос и Антихрист».

² См. прим. 4 к письму 1.

³ Речь идет об А. К. Прокофьеве, отце М. А. Прокофьевой. 31 июля 1913 года Гиппиус общалась Философову: «От Прокофьева тоже было письмо, как-то они с С(авинковым) не поняли друг друга. И С(авинков) его не понял. Надо бы кончать. Пр(окофьев) пишет, что „хотя он и оживал этого, но смерть д(очери) его пришибла”» (РНБ. Ф. 481. Ед. хр. 159. Л. 22).

⁴ Имеется в виду статья Иванова-Разумника «Было или не было? (о романе В. Ропшина)», в которой выражалось двойственное отношение к затронутой в романе проблематике. Мнение автора было следующее: в романе показана «пена революции», а «вечная ее правда» оказалась недоступной автору «за этой накипью» (Заветы. 1913. № 4. II отд. С. 147). Опровергая предположение многочисленных критиков о том, что «То, чего не было» является плагиатом «Войны и мира» Л. Толстого, автор указал на перенесение в роман рассказа А. М. Ремизова «Без пяти минут барин». В целом доброжелательная, статья Иванова-Разумника чрезвычайно задела Савинкова, по ее поводу он жаловался В. С. Миролубову в письме от 13 апреля 1913 года: «Лягнул он и меня, — указанием на заимствование Ремизова. Как ему не стыдно! Ведь он знал, что „заимствования” нет, знал также, что я переделал главу, и в печати она вовсе не похожа на ремизовский рассказ. Очевидно, он читал в рукописи и не потрудился перечитать в „Заветах”» (ИРЛИ. Ф. 185. Оп. 1. Д. 1012. Л. 9 об.). Оскорбленный Савинков написал также письмо Иванову-Разумнику, на которое тот ответил ему в доброжелательной форме (ГАРФ. Ф. 5831. Оп. 1. Д. 78).

⁵ «Вестник знания» — ежемесячный иллюстрированный и научно-популярный журнал, выходивший в Петербурге в 1903—1916 годы.

⁶ «Земщина» — газета, выходившая в Петербурге (1909—1916); «Петербургская газета» — еженедельная газета (1898—1916).

⁷ Имеется в виду статья А. А. Бурнакина «Мережковский», посвященная роману «Александр Первый» (Новое время. 1913. 14 июня. С. 4). Что же касается «Правительственного вестника», то в нем в 1913 году был единственный отзыв о романе «Александр Первый» — в разделе «Библиография» (см.: В. Н. Библиография. Д. Мережковский. Александр Первый. В 2 т. // Правительственный вестник. 1913. 5 мая. С. 4).

⁸ Приписка сделана рукой Философова. Речь идет о крупнейшей в России издательской фирме «Товарищество И. Д. Сытина», возглавляемой Иваном Дмитриевичем Сытиным (1851—1934). Каждая четвертая книга, изданная в России до 1917 года, была связана с именем Сытина (см.: Руд Ч. Русский предприниматель московский издатель Иван Сытин. М., 1996).

23

Мережковский — Савинкову

18 июня 1913
Никол(аевская) ж(елезная) д(орога)
Ст(анция) Веребье
Им(ение) Васильевка

Дорогой Борис Викторович, спасибо за милые письма и за добрые слова о моих сочинениях. Они меня очень тронули. 30-летняя ругань, в самом деле, иногда тяжела приходится. Вы тяжесть по себе знаете, как тяжела эта *беспричинная* ненависть, и даже не ненависть, а какое-то слепое, тупое, глухое недоброжелательство. Всего тяжелее, что кажется, что в чем-то сам виноват, и не можешь понять, в чем, и что надо сделать, чтобы вину искупить.

Дело Ваше с романом у Сытина, кажется, устроилось окончательно. Меньше, чем 1500 р(ублей), Вы не получите. Это очень мало. Но едва ли сейчас кто-нибудь даст больше. А может быть, удастся еще что-нибудь накинуть. Определить с точностью размер гонорара можно будет только имея весь текст в руках и зная, какую цену следует назначить за книгу. Во всяком случае, 1500 р(ублей) получите.

Я очень рад был известию, что Вы устраиваете газеты. Я убежден, что Вы будете прекрасным редактором. И то, что Вы пишете об «умеренном тоне» — верно и важно. Не бойтесь неудач, все-таки *факт* будет и останется. Я все больше убеждаюсь, что в литературе никакое доброе усилие не пропадает — рано или поздно все

скажется и даст плоды. Только не надо торопиться и надо уметь ждать. Это, впрочем, самое трудное.

Мы тоже о журнале мечтаем. Главное затруднение — в наших постоянных отлучках из России. А отказаться от этих отлучек тоже нельзя — наши заграничные связи нам тоже слишком дороги. А поручить кому-нибудь другому ведение журнала трудно. Мало людей, ох, как мало! Это Вы сами по газете узнаете. А все-таки, может быть, журнал устроится. Я лично его страшно хочу, больше, чем что-либо. В Русск(ом) Слове¹ — я погибаю. Там сейчас лежат три мои огромные статьи, и неизвестно, сколько еще пролежат — все печатать не решаются. Одна статья «Религиозное народничество» (по книге Богучарского «Активное народничество 70-х годов»)² — для меня очень важная. И чувствую, что не пройдет. В Р(усской) Мысли тоже рядом с Изгоевым невкусно.³ В «Речи» еще не вкуснее, пожалуй.⁴ Вот и нужен свой журнал. А З(инаиде) Н(иколаевне) совсем уж писать негде. И Д(митрий) В(ладимирович) рассыпается в газетную пыль.⁵ А ему есть что сказать. И еще другие люди без пристанища. На Вас мы тоже рассчитываем и даже очень...

Что в «Заветах» Вы не жилец, это я давно чувствовал. Главная беда Иванова-Разумника непроходимая и нескромная, наступательная, какая-то воинствующая и торжествующая глупость. А «сами боги с глупостью бороться не могут». Подалее от нее — в ней есть что-то страшное...

А где я называл Чехова «ничтожеством»? Если называл, то это, конечно, вздор. Нет, *он сам* не ничтожество. Но у него, пожалуй, есть *воля к ничтожеству*. У него страшная сила анти-героизма (понимая «героизм» в высшем религиозном Карлейлевском смысле). Я знаю, что в Чехове огромный соблазн, но именно — соблазн. Одна из утонченнейших и пленительнейших форм все той же обломовщины. Это пышнейший и благоуханнейший пустоцвет. Ибо чего он хочет? Кажется, *ничего*. В этом смысле он, пожалуй, и ведет к ничтожеству. Но что в нем самом большая сила, большой соблазн, — это я, разумеется, чувствую.⁶

Я думаю писать о Некрасове.⁷ Я его ужасно люблю. Сейчас после Пушкина и Лермонтова. М(ожет) б(ыть), наравне с Тютчевым. Не только как человека бесконечно-родного, но и как великого художника люблю. Несмотря на все свои падения, вот кто *героичен* в высшей степени. Хочу прочесть о нем лекцию. Только не знаю, удастся ли, сумею ли написать, как следует...

Ну вот какое длинное письмо написал. И Вы пишите нам. Не забывайте нас. А что мы Вас не забываем, Вы сами знаете.

Всего, всего хорошего. Сердечный привет всем вашим, и в особенности, Марии Алексеевне милой.

Любящий Вас Д. Мережковский

¹ «Русское слово» — популярная ежедневная газета, вышедшая на первое место по тиражу в России и имевшая большое влияние. Издавалась в Москве с 1894 года. Владельцем был И. Д. Сытин, давший газете оппозиционное направление. В это время он пытался поставить во главе газеты журналиста левых взглядов. В 1912—1913 годах фактическим редактором становится меньшевик Н. Валентинов (наст. фам. Н. В. Вольский), преследующий эту же цель. Газета платила своим сотрудникам чрезвычайно большие гонорары. В дневнике А. А. Блока от 31 декабря 1911 года запись: «Мережковских провести в „Русское Слово“ было трудно, теперь Мережковский и Философов — „свои люди“ там. Гиппиус провести будет трудно» (Блок А. А. Дневник. М., 1989. С. 101—102).

² Богучарский (наст. фам. Яковлев) Василий Яковлевич (1861—1915) — историк, публицист. Входил в круг парижских знакомых «трио» в 1910-е годы. В 1884 году был арестован по обвинению в связи с народофильским кружком и заключен в Петропавловскую крепость. Был выслан в Сибирь (см.: *Богучарский В. Я.* Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х гг. XIX в. Партия «Народной воли», ее происхождение, судьбы и гибель. М., 1912). В 1909 году был вновь арестован и в январе 1910 года выслан за границу. В 1913 году вернулся в Россию. Речь идет о статье Мережковского «Религиозное народничество» (1913), посвященной разбору книги В. Я. Богучарского «Активное народничество семидесятых годов» (М., 1912). Гиппиус

также дала положительный отзыв на эту книгу (Антон Крайний. Жизнь и литература // Новая жизнь. 1913. № 1. С. 205—206).

³ Изгоев Александр (Арон) Соломонович (наст. фам. Ланде; 1872—1935) с 1907 года был членом редакции журнала «Русская мысль», в котором вел рубрику «На перевале». Тема «грехов» интеллигенции перед Россией была центром его публицистики. Считал, что романы Ропшина «Конь бледный» и «То, чего не было» являются иллюстрациями к сборнику статей о русской интеллигенции «Вежи» (1909) (см.: Изгоев А. С. Преодоление террора // Русская мысль. 1913. Кн. 1. II отд. С. 140—160).

⁴ «Речь» — ежедневная политическая и литературная газета, выходившая в Петербурге (1906—1917).

⁵ Философов регулярно печатал свои статьи в «Речи» в 1913 году.

⁶ Вероятно, речь идет о статье Мережковского «Несоленая соль», в которой писатель возлагал на Чехова ответственность за «оглушение» русской литературы и «линяние» интеллигенции, вырождающейся в обывательщину (Русское слово. 1913. 11 янв. С. 2). Чехов неоднократно становился объектом критических нападок Мережковского в 1910-е годы, который делал его ответственным за многие грехи русской интеллигенции. В эти годы у Мережковского сформировалась концепция «чеховщины» как выражение пассивных начал действительности. Единомышленником Мережковского во взгляде на Чехова был Философов: «Восторжествовала чеховщина и заполнила Россию. (...) Бедный Чехов! Мы не сумели справиться с ним. Вместо того чтобы наряду с Гоголем и Тургеневым избрать его в „вечные спутники“, мы в такие спутники избрали чеховщину, сделали ее нашей современностью» (Философов Д. В. Старое и новое. Сборник статей по вопросам искусства и литературы. М., 1912. С. 238).

⁷ Речь идет о статье Мережковского «Трагедия совести (Еще о Некрасове)» (Русское слово. 1913. 2 ноября. С. 2). Эта статья находилась в связи с напечатанной ранее статьей «Некрасов» (Русское слово. 1913. 9 авг. С. 2).

24

Гиппиус — Савинкову

3 июля 1913

⟨Николаевская железная дорога
Станция Веребье
Имение Васильевка⟩

Письма ваши получила, оба. Не очень понимаю, когда будет ваш издатель и о чем с ним решать. На нем ли вы остановились, или на Сытине?¹

Письмо Д⟨митрия⟩ С⟨ергеевича⟩ было написано ранее получения вашего последнего. Но все же его посылаю.

Какое «заимствование» ваше у Ремизова?² Всю эту историю слишком я знаю! Но о ней сейчас не пишу, тороплюсь отправить письмо. До след⟨ующего⟩ раза.

¹ Роман «То, чего не было. Три брата» вышел в 1914 году на средства А. К. Прокофьева в книгоиздательстве «Товарищество И. Д. Сытина». Переговоры с издателем вел А. К. Прокофьев (ГАРФ. Ф. 5831. Оп. 1. Д. 164).

² См. прим. 4 к письму 22.

25

Мережковский — Савинкову

Веребье
Васильевка 4. VIII. 1913

Рукопись у Сытина. Ясный (бывший Попов) как издатель внушает мало доверия.¹ Может не заплатить или издать вместо 5.000 экз⟨емпляров⟩ гораздо больше — 10.000, 15.000, — сколько пожелает, и никакой контракт не возможен. Так что если даже заплатит, то будет меньше, чем у Сытина, при том же количестве экз⟨емпляров⟩.

Ввиду этого наше мнение — остановиться на Сытине. Но окончательное решение, конечно, от Вас зависит.

Известие о кончине Марии Алексеевны нас поразило, хотя и ждали давно. Хорошо она умерла, — дай Бог всякому так.²

Хотелось написать Вам давно и ждал для этого okazji — думал, что Д(митрий) В(ладимирович) поедет в Карлсбад, но он поехал в Ессентуки. Мы тоже собираемся в Кисловодск около 20 Августа (по стар(ому) стил(ю)).³ А пока пишете сюда, в Веребье.

¹ Ясный Михаил Абрамович — владелец петербургского издательства М. В. Попова. Савинков собирался издать роман «То, чего не было» в его издательской фирме. Но фирма не внушала доверия Мережковским, и они рекомендовали поверенному Савинкова А. К. Прокофьеву не входить с Ясным в деловые отношения. Гиппиус писала Философовой 4/5 августа 1913 года: «От Ропш(ина) письмо, просит ответа, говорит, что Ясный (Попов) обещает ему 3500 р. Жулик» (РНБ. Ф. 481. Ед. хр. 160. Л. 12 об.).

² М. А. Прокофьева умерла 16 июля 1913 года и была похоронена на кладбище в Сан-Ремо. О ее смерти Савинков сообщил в письме, выдержки из которого Гиппиус привела в письме к Философовой от 31 июля 1913 года: «16/29 июля, в 1ч. 50 м. пополудни, после ночи проведенной в страданиях, безболезненно и тихо скончалась М. А. Ее последние слова были: „Теперь хорошо. Теперь мне совсем спокойно. Спасибо вам всем“. Мы перенесли тело в другую комнату, зажгли три свечи и положили ей на грудь маленький крест. Ее лицо было спокойно, точно она спала“. „До перевозки тела в Россию оно покоится в свинцовом гробу, в S(an) R(емо), на кладбище“» (РНБ. Ф. 481. Ед. хр. 159. Л. 22).

³ Философов в связи с болезнью в августе 1913 года лечился на водах в Ессентуках. 4 августа 1913 года Мережковский писал ему: «Зина хочет ехать как можно скорее — 15 Авг(уста), но я ее буду удерживать. Думается, что если погода будет здесь возможная, не следует выезжать раньше 20 Августа, т. е. к тому времени, когда ты кончишь лечение и можно будет тебе вместе с нами поселиться в Кисловодске» (РНБ. Ф. 481. Ед. хр. 188. Л. 35—35 об.). Мережковские собирались выехать 22 августа 1913 года в Москву. Пробыв там два дня, они выехали в Кисловодск 25 августа, прибыв туда через два дня.

© Роберт Бёрд (США)

ВЯЧ. ИВАНОВ И МАССОВЫЕ ПРАЗДНЕСТВА РАННЕЙ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

Доклад Вяч. Иванова «К вопросу об организации творческих сил народного коллектива в области художественного действия» является одним из крупных сочинений ведущего теоретика русского символизма, до сих пор остававшимся не только не изданным, но и неизвестным в своем полном объеме. Ценность этого доклада заключается не только в том, что в нем впервые затрагиваются значительные темы, позднее развернутые Ивановым в отдельные работы (о «Ревизоре» Гоголя как хорошем действе и о поэзии Лермонтова),¹ и даже не в том, что в нем дается некое суммирование пройденного Ивановым пути, от ранней работы об отчуждении современного художника «Копье Афины» (1904) до последних статей о Скрябине и «кризисе гуманизма». Прежде всего он примечателен тем, что в нем подтверждается и выясняется вклад Иванова в явление массовых празднеств первых пореволюционных лет, продолжающее привлекать живейшее внимание исследователей, что позволяет рассматривать доклад в контексте изучения советской культуры в целом.²

¹ См.: Иванов В. И. 1) «Ревизор» Гоголя и комедия Аристофана // Иванов В. И. Собр. соч. Брюссель, 1971—1987. Т. 4. С. 385—398; 2) Лермонтов // Там же. С. 367—383.

² Массовые празднества. Сборник Комитета социологического изучения искусств. Л., 1926; Агитационно-массовое искусство первых лет Октября: Материалы и документы. М., 1971; Советское декоративное искусство. Агитационно-массовое искусство. Оформление празд-

Доклад, читанный на заседании Художественного отдела Первого Всероссийского съезда по внешкольному образованию 9 мая 1919 года, до сих пор был известен только по тезисам, напечатанным в журнале «Вестник театра», издаваемом при Театральном отделе Комиссариата народного просвещения (Наркомпрос), где Иванов служил с осени 1918-го до августа 1920 года.³ Тезисы составляют основу речи Иванова, зафиксированной в протоколе заседания Художественного отдела, так что неясно, когда и в каком виде полный доклад был обнародован.⁴ Во всяком случае, как констатировал А. И. Мазаев, программа Иванова «произвела на многих сильное впечатление».⁵ На заседаниях Художественного отдела доклад Иванова выделители как наиболее точное указание к «восприятию и пониманию» «новых исканий» в искусстве и решили принять его «в виде инструкции» к составлению резолюции отдела.⁶ Через неделю «Вестник театра» дал подробный репортаж обо всем съезде и о резолюциях по вопросам театра, среди которых резолюции Художественного отдела по народному театру почти дословно повторяют главные положения тезисов Иванова.⁷ С докладом Иванова согласуется также и общая резолюция пленума съезда: «театр должен быть коллективным действием широких трудовых масс. Лишь коллективность в творчестве сделает театр истинным фактором гармонического развития члена коммунистического коллектива»; «театр (...) должен постепенно привлечь к участию самого зрителя в представлениях и таким образом, в конечном результате, должен создаться давно ожидаемый пролетариатом театр коллективного действия».⁸ Об успехе доклада свидетельствует и то, что Иванов повторил части из него 7 августа 1919 года на заседании Бюро художественных коммун⁹ и в декабре 1919 года на съезде по рабоче-крестьянскому театру. В отчете этого съезда о «Народных празднествах и массовых действиях» сообщалось: «В наши дни много говорится о коллективном действе, о „массовом театре“, но конкретные формы такого театра не только еще не существуют, но даже большинством не вполне реально мыслятся. И потому особенно ценным должно явиться всякое практическое указание, как приступить к осуществлению такого театра, как в действительности организовать „массовое действо“. Именно такое значение и должен сыграть для провинциальных делегатов доклад Вяч. Иванова: „Организа-

неств: Материалы и документы. 1917—1932: В 2 т. М., 1984; Агитмассовое искусство Советской России: Материалы и документы. Агитпоезда и агитпароходы. Передвижной театр. Политический театр. Политический плакат. 1918—1932: В 2 т. М., 2002; Мазаев А. И. Праздник как социально-художественное явление. Опыт историко-теоретического исследования. М., 1978; Stites R. Russian Popular Culture: Entertainment and Society since 1900. Cambridge, 1992; Geldern J. von. Bolshevik Festivals, 1917—1920. Berkeley, 1993; Corney Frederick C. Telling October: Memory and the Making of the Bolshevik Revolution. Ithaca and London, 2004.

³ Иванов В. К вопросу об организации творческих сил народного коллектива в области художественного действия // Вестник театра. 1919. 14—16 мая. № 26. С. 4. В следующем номере журнала о заседании Художественного отдела съезда по внешкольному образованию, на котором Иванов представил свой доклад, рассказывалось более подробно (см.: На съезде по внешкольному образованию // Вестник театра. 1919. 17—20 мая. № 27. С. 3). О докладе Иванова см. также: Geldern J. von. Bolshevik Festivals. P. 136; Clark K. Petersburg: Crucible of Cultural Revolution. Cambridge, London, 1995. P. 111—112. 17 мая 1919 года для членов съезда Иванов прочитал речь «О Вагнере», напечатанную в «Вестнике театра» (1919. 9—15 июня. № 31—32. С. 8—9). Подробнее об этом см.: Зубарев Л. Д. Вячеслав Иванов и театральная реформа первых послевоенных лет // Начало. Сборник работ молодых ученых. М., 1998. Вып. IV. С. 206.

⁴ Протокол этого заседания см.: Первый Всероссийский съезд по внешкольному образованию. 1—19 мая 1919 года. Документы и материалы: В 2 кн. М., 1993. Кн. 2. Ч. 1. С. 92—93.

⁵ Мазаев А. И. Праздник как социально-художественное явление. С. 141.

⁶ Первый Всероссийский съезд по внешкольному образованию. Кн. 2. Ч. 1. С. 99—100, 145.

⁷ Итоги съезда по внешкольному образованию // Вестник театра. 1919. 27—31 мая. № 29. С. 3.

⁸ Там же. Есть, конечно, и важные различия. Так, в отличие от резолюции съезда, Иванов нигде не говорит о коммунистическом характере будущего коллектива.

⁹ Об этом выступлении см.: РГБ. Ф. 109. Карт. 4. Ед. хр. 25; Карт. 5. Ед. хр. 54.

ция творческих сил народного коллектива в области художественного действия». Докладчик, с одной стороны, обосновывает значение „коллективного действия” для всего дела нового искусства, признавая его „выходом из тесных пределов малого искусства в просторы искусства большого, всенародного”. С другой стороны, Вяч. Иванов рисует величественную картину народного праздника, картину действительно способную увлечь даже защитника старого, индивидуалистического театра». ¹⁰

Далее в тексте статьи приводится целиком первый пункт третьего тезиса публикуемого доклада. Таким образом, доклад «К вопросу об организации творческих сил народного коллектива в области художественного действия» оказался одним из руководящих документов в работе Наркомпроса по массовым празднествам в 1919—1920 годах.

Наряду со статьей 1919 года «О кризисе гуманизма» и написанной в 1920 году совместно с М. О. Гершензоном «Перепиской из двух углов», публикуемый доклад представляет собой свидетельство об эволюции мысли Иванова в пореволюционную эпоху, в какой-то мере проясняя неожиданное поступление Иванова на советскую службу. Еще в середине 1918 года Иванов занимал непримиримую позицию по отношению к большевикам и к таким сочувствующим им писателям, как А. А. Блок, но к концу года он уже сотрудничал в различных советских учреждениях. ¹¹ Его переход на активное сотрудничество отчасти можно объяснить закрытием независимых органов печати и все усиливающимся бытовым кризисом, особенно острым для всех не находящихся на советской службе. Не менее важным событием в решении Иванова представляется возникновение и официальное поощрение массовых празднеств, в которых Иванов не мог не видеть отзвука своей давнишней теории о возрождении хоровой драмы. Начиная с 1 мая 1918 года многие художники и деятели искусств привлекались для создания разнообразных акций, общим элементом которых было участие больших масс людей в выражении прореволюционных и пробольшевистских идей. Так, по свидетельству Л. Д. Зубарева, уже на первом, организационном заседании Бюро Историко-театральной секции Театрального отдела Народного комиссариата по просвещению 15 октября 1918 года Иванов говорил о «пробуждении народных сил к самобытному, самопроизвольному коллективному творчеству. Быть может, в этом направлении возможно дать массам некоторые импульсы». ¹² Кажется вероятным, что, влияя на проведение и осмысление массовых представлений, он надеялся не только найти свое в революции, но и сделать революцию своей. Впрочем, всю изменчивую политическую идеологию Иванова на протяжении предыдущих двух десятилетий можно объяснить как ряд попыток воспользоваться политической ситуацией для проведения своих эстетических (и, отчасти, религиозно-философских) взглядов. ¹³ Во многом Иванов типичный «политический романтик», согласно термину Карла Шмитта. ¹⁴ Не случайно именно на том же съезде по внешкольному образованию В. И. Ленин предупреждал о «выходцах из буржуазной интеллигенции», усматривающих в проводимой куль-

¹⁰ Н. Л. Съезд по Рабоче-Крестьянскому Театру // Вестник театра. 1919. 2—7 дек. № 44. С. 3—4. См.: «Пути и цели народного театра» (РНБ. Ф. 304. Ед. хр. 31).

¹¹ См. его цикл «Песни смутного времени» и другие стихотворения этой поры (Иванов В. И. Собр. соч. Т. 4. С. 71—75). См. также: Алянский С. М. Встречи с Александром Блоком. М., 1969. С. 54—59.

¹² Зубарев Л. Д. Вячеслав Иванов и театральная реформа первых послевоенных лет. С. 190.

¹³ О политически-общественной позиции Иванова см.: Обатнин Г. В. 1) Штрихи к портрету Вяч. Иванова эпохи революции 1917 года // Русская литература. 1997. № 2. С. 224—230; 2) К описанию позиции Вячеслава Иванова периода первой мировой войны // Новое литературное обозрение. 1997. № 26. С. 148—154; Бёрд Р. Вяч. Иванов и советская власть // Новое литературное обозрение. 1999. № 40. С. 305—331.

¹⁴ Carpi G. Mitopoiesi e ideologia: Vjačeslav I. Ivanov teorico del simbolismo. Lucca, 1994. P. 104.

турной революции «самое удобное поприще для своих личных выдумок в области философии или в области культуры», что приводит к «самому нелепейшему кривлянию», выдаваемому за «чисто пролетарское искусство». ¹⁵ Нужно отметить, что в докладе для съезда по внешкольному образованию Иванов уделил основное внимание не образованию, которому он отводил сугубо служебную роль, а искусству, как сфере «проявления самобытных творческих сил». На заседании Иванов говорил еще более определенно, что «искусство по существу не составляет предмета внешкольного или народного образования». ¹⁶ В этом он прямо противоречил наркому А. В. Луначарскому, заявившему на открытии съезда, что всей культурой «должен ведать внешкольный отдел». ¹⁷

Стремясь воспользоваться политикой для распространения собственных творческих начинаний, в своем докладе Иванов занял своеобразную и не до конца четкую позицию между двумя крайними взглядами на пути революционной культуры — между теми, кто пропагандировал совершенно новое пролетарское искусство, порывающее со всем культурным наследием, и теми, кто видел освобождение угнетенных классов в более широком насаждении прежде существовавших культурных форм. Иванов противостоял «принудительному наложению» норм на народ, «опеке» народа со стороны интеллигенции, причем он, видимо, включает в понятие интеллигенции и революционный авангард. Он заботился о «самобытном» творчестве, исходящем по возможности из народной стихии. Поэтому он подчеркивал, что его понятие народного образования основано на преподавании методов, а не готовых истин. Однако вместе с тем Иванов не сомневался в том, что будущее самостоятельное искусство окажется полностью согласуемым с достоинством прошлого, если только оно будет предпринято искренне и верно. В этом он повторял одну из излюбленных своих идей, о которой писал в 1906 году в связи с предложенной им реформой театра: «Все дело не в „что?“, а в „как?“». При этом Иванов не оставлял открытым вопрос о «что», т. е. о конкретных реформах в театре. В 1906 году, например, он отмечал: «Мы не видим средства слить сцену и зрительный зал помимо разнуздания скрытой и скованной дионисийской стихии драматического действия — в оркестровой симфонии и в самостоятельной, музыкальной и пластической жизни хора». ¹⁸

В докладе встречаются многочисленные автореминисценции идей разных периодов. Уверенность Иванова во внутренней согласованности всех истинно творческих актов отражает понятие «внутреннего канона», разрабатывавшееся им в 1910—1914 годах. ¹⁹ Определение отдельных искусств по признаку их основной стихии восходит к статье 1916 года «Эстетическая норма театра». ²⁰ Призыв к возобновлению человечества путем творческой деятельности повторяет положения его доклада «О кризисе гуманизма», прочитанного 24 января 1919 года. ²¹ Свою точку зрения на обновление театра Иванов выразил и в статье «Зеркало искусства», напечатанной в феврале 1919 года, где призывал к терпению тех, «которые бы желали, чтобы театр тотчас же отобразил все огромное содержание переживаемого нами исторического сдвига и стал глашатаем того, чего по природе своей оно (искусство. — Р. Б.) не может дать. Оно не платит срочных даней, зато к неурочному часу готовит неслыханный дар. Все призывы деятелей великой французской рево-

¹⁵ Цит. по: Ленин В. И. О литературе и искусстве. М., 1967. С. 432. Совпадение указано в работе: Гвоздев А. А., Пиотровский Адр. Петроградские театры и празднества в эпоху военного коммунизма // История советского театра. Л., 1933. Т. 1. С. 258. Ср. также: Маззев А. И. Праздник как социально-художественное явление. С. 143—145.

¹⁶ Первый Всероссийский съезд по внешкольному образованию. С. 92.

¹⁷ Там же. Кн. 1. С. 46.

¹⁸ Иванов В. И. Собр. соч. Т. 2. С. 97.

¹⁹ См.: Там же. С. 601, 640.

²⁰ Там же. С. 205.

²¹ См. программу доклада в Римском архиве В. И. Иванова.

люции, все превосходные мыслители были бессильны вызвать к жизни во Франции великий революционный театр». ²² Здесь он, по сути, начал с положения статьи 1907 года «О веселом ремесле и умном веселии», где писал: «Жизнь требует в обмен на свои ценности — ценностей от искусства: искусство неизменно отвечает на это требование частичным передвижением ценностей, их постепенную переоценкой. Никогда почти заказ не выполняется по замыслу заказчика». ²³ Далее в «Зеркале искусства», причудливо сочетая метафизическую веру в народную самодеятельность с точными предписаниями будущих празднеств, Иванов добавлял: «Теперь же нам предлежит одно дело: как в стародавние времена земледельцы заговорными обрядами будили весенних духов плодородия, так надлежит и нам звать наружу скрытые энергии народного творчества, чтобы они осознали себя в глубинах души народной и отважились проявить себя в новом празднестве, в новом действе, в новой игре, в новом зрелище и, затеявая невиданное, выразили в нем свою новую заветную мысль, — свою новорожденную волю, — то, к чему сердце лежит, чего хочет переполненное решимостью и надеждою сердце». ²⁴

На фоне этих и подобных переключек с более ранними работами главным новшеством в докладе Иванова представляется утверждение историко-социальной ограниченности всей буржуазной культуры прошлого, включая даже Гете и Пушкина. Правда, Иванов и раньше связывал характер художника с его исторической эпохой, но этот взгляд соседствовал с теорией гения, возвышающегося над историей. В статье 1906 года Иванов относил «идеи общественного переустройства, обусловленные новыми формами классовой борьбы», к числу разнообразных предвестий «эпохи органической», в которую ныне «келейные» художники станут «органами мифотворчества, т. е. творцами и ремесленниками всенародного искусства». ²⁵ Даже в статье «О кризисе гуманизма» Иванов признавал существование отдельных личностей, одаренных «исполинской силою самобытного духовного возрастания и творчества». ²⁶ В публикуемом же нами докладе на съезде по внешкольному образованию Иванов определенно приписывает недостатки прежней культуры «общим условиям жизни, которая, как ни силен индивидуальный гений, все же сказывается сильнее гения». Существование гениев в древние времена объясняется тем, что они были «только устами и рукою народа». В новое же время гений всегда противоположен «толпе». Обновление искусства стало возможным только благодаря приходу к власти угнетенных классов. В частности, большое искусство теперь — «искусство, вызванное к жизни запросами самоопределения некоей великой людской громады». Тип келейного художника целиком отпадает как пережиток прошлого. Поэтому Иванов ждет «большого искусства» от «среды культуры иной». Впоследствии Иванов подтвердил это изменение в своей терминологии, например в напечатанной к первомайским празднествам 1920 года заметке «Множество и личность в действе», где он отвергает «буржуазные драмы» и призывает к «действенной силе художественно оформленных масс». ²⁷ Стоит, однако, отметить, что отказ

²² Иванов В. Зеркало искусства // Вестник театра. 1919. 11—12 февр. № 4. С. 3. В связи с отрицательным отношением Иванова к театру французской революции см.: Иванов В. Предисловие к книге Р. Роллана «Народный театр» // Иванов Вячеслав. Предчувствия и предвестия: Сборник. М., 1991. С. 80. Сравнение советских массовых празднеств с эпохой французской революции было широко распространено. См. об этом, например: Гвоздев А. А. Массовые празднества на Западе // Массовые празднества. Сборник комитета социологического изучения искусств. Л., 1926. С. 41—47. Ср. также: Мазаев А. И. Праздник как социально-художественное явление. С. 178—205.

²³ Иванов В. И. Собр. соч. Т. 3. С. 65. См. также: Т. 2. С. 216.

²⁴ Иванов В. Зеркало искусства. С. 3.

²⁵ Иванов В. И. Собр. соч. Т. 2. С. 89, 90.

²⁶ Там же. Т. 3. С. 370.

²⁷ Иванов В. 1) Множество и личность в действе // Вестник театра. 1920. 2 мая. № 62. С. 5; 2) Собр. соч. Т. 2. С. 219. Ср.: «Драматургия такова, каков театр; театр таков, какова общест-

от героя как буржуазной индивидуальности и утверждение новой коллективности мыслятся Ивановым как условия новой индивидуальности: «ибо личность возникает из сонма, а не наоборот».²⁸

В конечном итоге, хотя Иванов и отдавал дань новой идеологии классовой борьбы, его интересовало изменение общественных отношений скорее как вещественное свидетельство о зарождении новой трагедии. Не решая отдельных вопросов идеологической полемики, Иванов чаял растворения всяческих разногласий в новом действе. Не случайны ссылки на пример Скрябина, когда Иванов предсказывает создание качественно новой человеческой культуры, возможной только в силу «всеобщего сдвига», т. е. революции. Именно искусству надлежало определить новое бытие на своих условиях и на своем языке. Здесь Иванов мог снова сослаться на свою давнишнюю статью «О веселом ремесле и умном веселии», в которой он заявил, что «безрассудно требовать в революционные эпохи от произведений искусства тем или заявлений революционных! Если революция переживаемая есть истинная революция, она совершается не на поверхности жизни только и не в одних формах ее, но в самых глубинах сознания».²⁹ В контексте 1919 года Иванов выступал против идеологической оценки художественных произведений и против монументальной пропаганды советского правительства, отстаивая автономию искусства как отдельной и суверенной сферы человеческого опыта. В искусстве, на его взгляд, историческое бытие запечатлевается более глубоким и значительным образом, чем в идеологических формулировках и практических указаниях государства. При этом только театр является «искусством, направленным именно на творческое оформление коллектива».³⁰ Как в 1906 году, он представляет себе театр как «подлинный референдум истинной воли народной».³¹

В соответствии с отказом от буржуазной культуры, Иванов предвидит создание совсем новой сцены для нового театра, но он также ожидает, что развитие этой сцены «неизбежно повторит тот же ряд переходных форм, какой некогда привел к возникновению первой трагедии». Сначала толпа должна выйти на «вольный воздух», где она сольется в общий хор и действие (т. е. танец), из которого возникнет герой — новый человек. Навряд ли стоит задаваться вопросом, чем руководствовался Иванов в этой утопии — мечтой ли о древней трагедии или надеждой на новую демократию. Едва ли для него это значимое различие. Интересно при этом, что Иванов подчеркивал необходимость «внести в хоры элементы зрелищный и оркестрический (или хореографический)» и придать действию «характер связного

венность» (*Иванов В.* Предисловие к книге Р. Роллана «Народный театр». С. 79). Еще более жесткую формулировку см. в отчете о речи Иванова на диспуте по театру, проведенном 2 декабря 1918 года: «Он заявил, что театра сейчас нет, что театр превратился уже в историческую ценность, театр таков, какова общественность, гнила последняя — гнил театр. Суть буржуазности есть разъединение. Конечно, и театр буржуазного периода не мог не разъединять, отделять зрителя от актера, он стал только зрелищем, он умер. Вячеслав Иванов ждет сейчас великого всенародного искусства, вместо маленького интимного искусства буржуазного общества, в котором мы уже давно начали задыхаться» (*Турчанинов. (Н.)* В спорах о театре // Горн. 1919. II—III. С. 129).

²⁸ *Иванов В.* Множество и личность в действе. А. И. Мазаев справедливо отмечает, что во всех этих формулировках «не нашлось места для пояснения важнейшего вопроса: какой именно класс должен явиться главным творцом празднества в условиях свершившейся пролетарской революции и кто должен наложить на праздничную культуру печать своей идеологии» (*Мазаев А. И.* Праздник как социально-художественное явление. С. 144). Для Иванова, даже в публикуемом докладе, пролетариат представляет собой скорее зрителя, имеющего быть преобразованным в действе, чем творца этого действа.

²⁹ *Иванов В. И.* Собр. соч. Т. 3. С. 65.

³⁰ Согласно протоколу заседания, Иванов говорил, что «когда художник создает сценических деятелей, он работает не над одним человеком, а над коллективом, а потому сценическое искусство есть лучший показатель коллективного сдвига в смысле пробуждения народной энергии» (Первый Всероссийский съезд по внешкольному образованию. С. 92).

³¹ *Иванов В. И.* Собр. соч. Т. 2. С. 103.

лиро-драматического единства». Иначе говоря, смысл действия будет передаваться ритмически и повествовательно, т. е. в опосредованных формах, требующих индивидуального восприятия и применения. Участие при этом мыслится не как исполнение обряда, а как творческое содействие художественному событию. Однако Иванов оставил развитие этих мыслей своим последователям, оставаясь сам при смутном идеале некоего мгновенного и тотального подъема.

Некоторые моменты ивановских построений не могут не показаться непрактичными, если не прямо опасными. Настаивание Иванова на выходе под открытое небо контрастирует с версией 1906 года, когда он высмеивал «чисто внешние и обстановочные» реформы: «...современный театр останется тем же по духу и тогда, когда над головой зрителей будет синеть открытое небо или проглянет за сценой вулканические очертания берегов прекрасного Lago Albano».³² О «будущей хорошей драме» Иванов тогда писал, что она выведет зрителя «если не под открытое небо и не в дневное освещение, то, во всяком случае, из стен теперешней театральной залы, этого расширенного салона, в иную архитектурную обстановку и в перспективность совсем иных пространств».³³ Теперь же настаивание Иванова на открытых пространствах связано с введением государственных хоров, исполняющих «величавые» «песни и гимны» по поводу официальных событий. Любопытно, что при всей своей критической зоркости он ничем не объективировал те театральные постановки первых революционных лет, которые отвечали его чаяниям внутри театра.³⁴ Можно сказать, что приоритет Иванова переходит от искусства как такового к созданию новых общественных пространств, от духовного единения людей к их чуть ли не физическому собранию. Таким образом, Иванов предвосхищает не только развитие народных празднеств в начале 1920-х годов, но и их превращение в официозные парады с четкой и predetermined идеологической нагрузкой.

Резюмируя сказанное, можно заключить, что, с одной стороны, в докладе Иванова речь идет об эстетизации революции. Искусство выступает как осязательная форма революции духа, как гарант ее подлинности. Еще в 1908 году он писал, что искусство может служить пробой жизни, поскольку именно в искусстве «подделку всегда легко различить».³⁵ С другой стороны, при эстетизации политики у Иванова вновь возникают те тревожные ноты протототалитарного мышления, которые беспокоили некоторых его современников и позднейших комментаторов.³⁶ Иванов перечисляет условия хора: «единомыслие о жизненно-главном», «высокий, дружный подъем духа», «равенство», «истинное воодушевление», но не говорит о том, как

³² Там же. С. 96.

³³ Там же. С. 101.

³⁴ Это относится, во-первых, к «Мистерии-Буфф» В. В. Маяковского. Если в первой версии условно-аллегорический сюжет пьесы был представлен с сохранением разграниченных ролей исполнителей и зрителей, то постановка второй версии В. Э. Мейерхольдом (состоявшаяся, правда, уже после отъезда Иванова из Москвы) вполне отвечала предписаниям Иванова, так как в ней уничтожалась рампа и предполагался гораздо более активный зритель. Так же промолчал Иванов и по поводу пьес С. М. Третьякова, в которых, отчасти под руководством Мейерхольда, имела место подобного рода техника и которые ставились на открытых пространствах на Воробьевых горах. Можно было бы ожидать отклика Иванова и на известный опыт в духе народной драмы А. М. Ремизова «Царь Максимилиан» (подробнее об этом см.: Clark K. Aleksey Remizov in Petrograd 1919—1921: Bard of the Peoples' Theater // Aleksey Remizov: Approaches to a Protean Writer / Ed. by Greta N. Slobin. Columbus, 1987. P. 261—276). В 1922 году П. М. Медведев отмечал, что «в те годы, когда В. Иванов беспомощно взывал к соборности в искусстве как теургии (...) Передвижной театр, не довольствуясь словами, творил свое воистину соборное искусство и в делах и днях своих воплощал великие заветы творческого преображения жизни магией драматического действия, внутренне напряженного и насыщенного эмоционально» (Медведев П. Точки над и // Записки Передвижного театра П. П. Гайдебурова и Н. Ф. Скарской. 1922. 26 дек. № 44. С. 1).

³⁵ Иванов В. Эстетика и исповедание // Вesy. 1908. № 11. С. 49.

³⁶ Так, например, Андрей Белый критически реагировал на ивановскую утопию еще в 1908 году, когда предупреждал об опасности «внесения актерской позы в ту священную область

можно вселить в целую общину эти высокие чувства, и не объясняет, как это согласуется с провозглашенным выше условием «самодеятельности». Нельзя не вспомнить при этом жутковатое место из статьи Иванова «Кризис индивидуализма» (1905): «Умчался век эпоса: пусть же зачнется хоровой дифирамб. Горек наш запев: плач самоотрекающегося и еще не отрешенного духа. Кто не хочет петь хорovou песнь, пусть удалится из круга, закрыв лицо руками. Он может умереть; но жить отъединенным не сможет».³⁷ С сегодняшней точки зрения, когда мы уже знаем о том, как «массовые зрелища» превратились в театрализованные политические «процессы» 1930-х годов, не менее зловеще звучит и пассаж из статьи 1906 года «Предчувствия и предвестия» о недостатках современных «зрелищ»: «Толпа расходится, удовлетворенная зрелищем борьбы, насыщенная убийством, но не омытая кровью жертвенной».³⁸

Проследить протототалитарное звучание отдельных положений ивановского доклада тем более важно, что, в отличие от 1905 года, в 1919 году Иванов мог надеяться на реальное осуществление своих предписаний. Существуют противоречивые сведения и мнения о том, насколько в действительности его взгляды повлияли на теорию и практику массового искусства в 1919—1920 годах. В 1920 году Луначарский заключил, что работа таких писателей, как Иванов, на советской службе «была довольно-таки бесплодна», хотя и признал, что «радуешься даже расплывчатому коллективизму Вячеслава Иванова как чему-то, находящемуся в некоем консонансе с нашими днями».³⁹ Как показывает работа В. Э. Мейерхольда, театр 1920-х годов продолжал питаться идеями Иванова, даже несмотря на значительные расхождения (о чем свидетельствует, например, разница между ивановскими предписаниями и мейерхольдовской постановкой «Ревизора» в 1926 году). Чтобы вполне оценить подлинное значение Иванова для оформления праздничных и театральных действий в СССР, можно проследить развитие идей А. И. Пиотровского, одного из ведущих советских теоретиков массового празднества и театра, признавшего свое поколение «запоздалыми слушателями искателя „соборного действия“ Вячеслава Иванова», а себя — «выучеником буржуазного символизма».⁴⁰

Незаконнорожденный сын Ф. Ф. Зелинского, Адриан Иванович Пиотровский (1898—1938) вырос в среде, расположенной к идеям Иванова, но его применение этих идей отличалось оригинальностью и даже резкой полемичностью.⁴¹ Первый след ивановского влияния обнаруживается в статье 1920 года «Художник и заказчик», где Пиотровский повторяет идеи Иванова из статей «О веселом ремесле и ум-

духа, где горит надежда на творчество жизни» (*Белый Андрей. Театр и современная драма // Театр: Книга о новом театре. СПб., 1908. С. 275*). Наибольшей остроты эта критика достигла в работе Белого «Сирин ученого варварства. По поводу книги В. Иванова „Родное и вселенское“» (Берлин, 1922). См. также: *Дмитриев В. Вячеслав и Платон // Новый журнал. 1988. № 172—173. С. 321—330.*

³⁷ Иванов В. И. Собр. соч. Т. 1. С. 838.

³⁸ Там же. Т. 2. С. 94.

³⁹ Луначарский А. В. Передовой отряд культуры на Западе // Луначарский А. В. В мире музыки: Статьи и речи. 2-е изд., доп. М., 1971. С. 265.

⁴⁰ Пиотровский А. 1) Театр. Кино. Жизнь. Л., 1969. С. 102; 2) О собственных формалистских ошибках // Рабочий и театр. 1932. 30 янв. № 3. С. 10; 3) *Гвоздев А., Пиотровский А. И.* Петроградские театры и празднества в эпоху военного коммунизма. С. 249, 129—131, 245, 258. См. также: *Пиотровский Адр.* 1) Разбег откуда и куда // Рабочий и театр. 1932. № 28. Окт. С. 13; 2) О своих ошибках // Советский театр. 1932. № 5. С. 12.

⁴¹ Судя по письму Ф. Ф. Зелинского к Вяч. Иванову от 12 сентября 1925 года, последний не был лично знаком с Пиотровским. В частности, Зелинский пишет, что Пиотровский «очень податлив к окружающей среде, чем и объясняется его „сочувствие“ (большевикам. — Р. Б.)» (Пять писем Ф. Ф. Зелинского к Вяч. Иванову / Вступит. статья, подгот. текста, коммент. и публ. Е. Тахо-Годи // Вячеслав Иванов: Творчество и судьба. М., 2002. С. 234). О близости интересов Пиотровского и Иванова свидетельствует и тот факт, что наряду с ивановскими переводами трагедий Эсхила в серии «Литературные памятники» впоследствии был напечатан перевод «Прикованного Прометея» А. И. Пиотровского (см.: Эсхил. Трагедии. М., 1989).

ном веселии» и «Поэт и чернь». ⁴² Как и Иванов, Пиотровский видел в революции возврат к древней трагедии. «25-ое Октября вернуло миру Эсхила и Возрождение — оно родило поколение с огненной душой Эсхила», — писал он в третью годовщину революции. ⁴³ Пиотровский считал Эсхила образцом для нового театра, который называл «театром современным, простым, единым и всенародным». ⁴⁴ В 1922 году он дал описание этого нового театра, содержащее очевидные следы ивановских идей: «Думаю, что реальный хор, основанный на простейших и родных словах и песнях, строящееся на единстве этого хора конструктивное единство сценического произведения, допускающее произвольные нарушения житейских временных и пространственных форм, думаю, что это — ближайший путь к трагическому театру современности. Думаю также, что драматургическая формула подобного театра носит явно черты сходства с античной и школьной драмой средневековья, и что сходство это не случайно, и в высшей степени многозначительно». ⁴⁵

Характерно и название статьи Пиотровского 1921 года «Не к театру, а к празднеству». ⁴⁶ Тогда же он сформулировал свою программу так: «не тяга к „зрелищу“ профессионального театра, а всенародное театральное действие, всенародная игра». ⁴⁷ В ту пору идеалом для Пиотровского было не зрелище в смысле театральной постановки, а игрище, образцом которого служили дифирамбические действия в описании Вяч. Иванова. Однако в ходе своей практической и теоретической деятельности Пиотровский внес значительные поправки в менее определенные планы Иванова. Являя общий зрелищный характер, ключевым различием между игрищем и театральным представлением была для Пиотровского реальность первого (и, соответственно, фиктивность второго). ⁴⁸ Поэтому и «Мистерия освобожденного труда», прошедшую в Петрограде 1 мая 1920 года, он характеризовал как «спектакль очень больших размеров», а не празднество, поскольку главное место отводилось актерской игре по заранее написанному сценарию: «„Ритуал“ его исключительно зрелищен и притом иллюзорно зрелищен. Все движения — актерские, кажущиеся». ⁴⁹ Тем не менее Пиотровский высказал интересные наблюдения о воздействии подобных зрелищ, особенно посредством их повествовательной формы. Так, в «Мистерии освобожденного труда» он отмечал сведение многовекового сюжета к полторачасовому «непрерывному действию». Подобный «временной ир-

⁴² См.: *Пиотровский А. И. Художник и заказчик // Пиотровский А. И. За советский театр!* Сб. ст. Л., 1925. С. 22—25; см. также: *Пиотровский А. Театр. Кино. Жизнь.* С. 53—54. Правда, в предисловии к книге Пиотровского С. Л. Цимбал предупреждает о необходимости относиться к сходствам «фразеологии» у Пиотровского и Иванова с «большой осторожностью» (см.: *Цимбал С. Л. Адриан Пиотровский: его эпоха, его жизнь в искусстве // Пиотровский А. Театр. Кино. Жизнь.* С. 21).

⁴³ *Пиотровский А. Четвертый год // Жизнь искусства.* 1920. 6—8 нояб. № 602—604. С. 1. Ср.: «Традиционалистски выдвигая драматургию Аристофана и Эсхила как непосредственный образчик для пролетарского театра, я в то же время механически переносил мои представления о современном театре на явления театра рабовладельческих обществ» (*Пиотровский Адр. О собственных формалистских ошибках.* С. 10).

⁴⁴ *Пиотровский А. И. Перелом // Пиотровский А. И. За советский театр!* С. 36.

⁴⁵ *Пиотровский А. И. Наши катакомбы // Там же.* С. 37.

⁴⁶ *Жизнь искусства.* 1921. 19—22 марта. № 697—699. С. 1. См. также сокращенный и измененный вариант этой статьи в сборнике его работ «За советский театр!» (С. 25—26).

⁴⁷ *Пиотровский А. И. Единый художественный кружок // Пиотровский А. И. За советский театр!* С. 7.

⁴⁸ *Пиотровский А. И. Празднества 1920 года // Там же.* С. 9.

⁴⁹ Там же. С. 10. В 1930-е годы Пиотровский критиковал празднества периода военного коммунизма с несколько иных позиций, видя в них «точку приложения классово-чуждых философских и эстетических теорий, направленных к тому, чтобы деидеологизировать искусство, подменить классовую действительность мнимой эстетизированной реальностью» (*Гвоздев А., Пиотровский А. И. Петроградские театры и празднества в эпоху военного коммунизма.* С. 264). См. также: [*Гвоздев А. А., Пиотровский Адр.*]. Первомайские празднества 1920 г. // *Рабочий и театр.* 1933. № 12. Апр. С. 4.

рационализм» Пиотровский находил характерным «и для античной и для средневековой драмы», где «вневременное единство» коллективного героя (будь он «человеческий род или пролетариат») «перекрывает любые реальные временные сроки». ⁵⁰ Как приближение к средневековой «обрядовой драме» «Мистерия освобожденного труда» разрешила и проблему хора: «То, что не могло удасться (sic!) ни при самой точной реставрации античного спектакля, ни при самой эффектной, самой рейнгардовской перепланировке его, удалось легко и сразу, как только хором сделались не Нереиды или фиванские старцы, а живая уличная, единым сердцем и едиными устами со зрителями мыслящая и говорящая толпа». ⁵¹ В опубликованном в 1926 году обзоре первых празднеств в Петрограде, говоря о «Свержении самодержавия» (март 1919 года), Пиотровский также отмечал центральную композиционную роль хора: «„Хору“, выходящему без всякой театральной маскировки, являющемуся костью от кости зрителей и обеспечивающему постоянное активное и фактическое участие зрителей в празднестве, в развитии действия противостояли „маски“, сугубо театральные, то символические, то буфонные фигуры „врагов“ революции». При этом хор участвовал в создании новаторской повествовательной структуры: «Существенным для дальнейшего развития оказалось и эпизодическое строение празднества, скрепленное массовыми шествиями, и совершенно условное понимание сценического времени (переброски от 1905 к 1917 году и дальше, без занавеса и антракта), понимание, ставшее возможным благодаря единству проходящего сквозь все действие изменяющегося „хора“». ⁵² Хор соединяет и примиряет разные регистры дискурса (фигурность «масок», условность сюжета, реальность театрального пространства) в стихии всеобщего участия, которое делает из художественного вымысла жизненный факт. Очевидно сходство этих идей с театральной программой Иванова, хотя тот ставил ударение прежде всего на упразднение театральной рампы, физически отделяющей зрителей от игры, тогда как Пиотровский выделял отсутствие занавеса.

Действительно, отсутствие занавеса играет весьма важную роль в пространственной композиции празднества, особенно когда оно, как рекомендовал Пиотровский, ставится на реальных городских улицах и площадях, где происходили поминаемые события. Поэтому, приветствуя сокращение продолжительного и даже тысячелетнего сюжета до полутора часов сценического времени в соответствии с традицией средневековых мистерий, Пиотровский критикует в «Мистерии освобожденного труда» использование пространства Биржи как «огромной фотосценической коробки»: «Неисчерпаемые возможности его изумительно расчлененного фасада, лестницы, парапеты, боковые отлогие сходы не были использованы совершенно. И что важнее, не была осознана принципиальная разница между фиктивной площадкой сцены и „настоящим“ пространством празднества». ⁵³ В празднестве «К мировой коммуне», состоявшемся 19 июля 1920 года, пространство Биржи, по его мнению, использовалось более удачно: «...были введены автомобили и пушки. Войска, проходившие церемониальным маршем, совершали свое „настоящее“ движение, даже в явно иллюзорное шествие народов мира были введены представители „настоящих“ профессиональных союзов», таким образом «была сделана попытка перехода от иллюзорного актерского действия к настоящему». ⁵⁴ При схематически-условном повествовании на реальных пространствах истории в ходе действия «настоящий» город и «настоящая» история должны преобразоваться перед

⁵⁰ Пиотровский А. И. Празднества 1920 года. С. 11.

⁵¹ Там же. Здесь, среди прочего, имеются в виду опыты немецкого театрального режиссера Макса Рейнгардта.

⁵² Пиотровский А. И. Хроника Ленинградских празднеств 1919—1922 г. // Массовые празднества. Сборник Комитета социологического изучения искусств. С. 60 (ср. также С. 78).

⁵³ Пиотровский А. И. Празднества 1920 года. С. 11.

⁵⁴ Там же. С. 14.

массовым хором в некое непрерывное действие, т. е. в жизнь. В празднествах 1920 года он приветствовал трактовку массы как хора участников или возможных участников, приближение к «непрерывности времени, при общем эпизодическом строении сценария», использование реальных предметов быта и переход к «трактовке пространства как некоей топографической реальности».⁵⁵ Как и Иванов, Пиотровский мыслил массовое празднество как непосредственное преобразование общественного пространства и превращение «времени» в «историю».

Все упомянутые аспекты празднеств — массовое участие, отказ от зрелищности, своеобразная трактовка времени и пространства — обуславливают негативное отношение Пиотровского к использованию в них элементов эстетики кинематографа. Так, в празднестве 19 июля 1920 года он критикует «заимствование из техники кинематографии» — использование большого транспаранта с лозунгом.⁵⁶ Экран — это занавес, за которым ничего не стоит, и поэтому кинематограф кажется ему формой чистой зрелищности, чужеродной участью зрителей в праздничном игрище.

Вместе с тем Пиотровский во многом оставался верен заветам ивановского символизма. В рецензии на спектакль «Обрядового театра» он подчеркивал общность устремлений символистского театра и массовых действий: «...разве они не говорят об одном, о жажде водрузить над „иллюзией“ и „условностью“ новую реальность театрального действия?»⁵⁷ В этой связи он даже вспомнил лозунг Иванова «*a realibus ad realiora*» и наконец дошел до противопоставления «обезбоженного» искусства модернистов «религиозному» искусству питающихся у родников народной традиции советских художников, будь то «героическое мирозерцание рабочих поэтов, или спиральная башня Татлина, или обрядность революционных празднеств, явившаяся не искусственно и не случайно, а потому, что новые абсолютные ценности пожелали воплотиться в символах».⁵⁸

Как уже отмечалось, иные теоретики народных празднеств относились более настороженно к идеям Иванова, в том числе и нарком А. В. Луначарский. В известной статье 1920 года «О народных празднествах» он предостерегал: «Многим кажется, что коллективное творчество разумеет некоторое спонтанное, самостоятельное выявление воли масс, между тем до тех пор, пока социальная жизнь не приучит массы к какому-то своеобразному инстинктивному соблюдению высшего порядка и ритма, — никак нельзя ждать, чтобы толпа сама по себе могла создать что-нибудь, кроме веселого шума и пестрого колебания празднично разодетых людей».⁵⁹ Главным мотивом статьи Луначарского является не вовлечение зрителя в действие, а воспитание новых зрителей, и соответственно он понимает празднества как зрелища традиционного типа, предназначенные для визуального восприятия пассивными зрителями. В массовых действиях «весь народ демонстрирует сам перед собой свою душу».⁶⁰ В первой части предложенной Луначарским схемы празднества даже зрительская масса сама становится зрелищем для участников: «Во время

⁵⁵ Пиотровский А. И. Хроника Ленинградских празднеств 1919—1922 г. С. 64.

⁵⁶ Пиотровский А. И. Празднества 1920 года. С. 12. Ср. его более позднее высказывание об использовании кино в массовых действиях в статье «Кинофикация театра. (Несколько обобщений)» (Жизнь искусства. 1927. 22 нояб. № 47. С. 4).

⁵⁷ Пиотровский А. «Обрядовый театр» // Жизнь искусства. 1922. 7 марта. № 10 (832). С. 1. Ср.: Пиотровский Адр. Советская обрядность // Жизнь искусства. 1922. 28 нояб. № 17 (870). С. 1.

⁵⁸ Пиотровский А. Петербург — Париж // Жизнь искусства. 1922. 1—7 авг. № 30 (853). С. 1.

⁵⁹ Луначарский А. В. О народных празднествах // Вестник театра. 1920. 27 апр. — 2 мая. № 62. С. 4. Рядом со статьей Луначарского в том же номере, приуроченном к Первомайским праздникам, напечатана заметка Иванова «Множество и личность в действе».

⁶⁰ Там же. Слова Луначарского сходны с изречением Жан-Жака Руссо из его «Письма Аламберу о театре», которое приводится в подборке цитат «Провозвестники социалистического театра» в том же номере журнала (С. 3).

самых шествий не только движущиеся массы должны явиться увлекательным зрелищем для неподвижных масс на тротуарах, на балконах, на окнах, но и обратно. Сады, улицы должны быть разнообразным зрелищем для движущихся масс путем соответственно декорированного устройства арок и т. п.»⁶¹ Во второй части праздника предполагается «празднество более интимного характера» в разнообразных «революционных кабаре», в которых могут иметь место «импровизационная эстрада» и даже «просто безудержный непосредственный смех» при том условии, чтобы все носило «тенденциозный характер».⁶² Вероятно, результатами таких веселий должны были стать, во-первых, просто развлечение народа и временное забвение бытовых трудностей, и во-вторых, внушение пассивным зрителям живого впечатления о масштабах советской мощи. Эта модель станет преобладающей в парадной эстетике сталинской культуры. Неудивительно, что Луначарский пропагандировал музыкальную драму и считал образцом для новой драмы оперы Мусоргского, а в Скрябине видел доказательство опасности выхода за пределы традиционных форм индивидуального творчества, обращенного к массовому зрителю.⁶³

Было еще и третье течение в обширной литературе о массовых празднествах, представленное именем Н. Н. Евреинова, который пытался из зрелищ и празднеств сделать театр, вовлекающий массы участников, но обращенный к каждому зрителю в отдельности. Уже в книге 1915 года «Театр для себя» (в той из ее частей, что была издана лишь в 1917 году) Евреинов ратовал за своего рода телевидение («кинетелефон»), способное показывать массовые происшествия, «которыми можно будет наслаждаться лежа в своей постели, vis-à-vis к киноэкрану».⁶⁴ Массы будут скапливаться лишь «на сеансах массовой съемки для грядущего кинетелефона», который Евреинов называет «антиподом нынешнего соборного театра».⁶⁵ Не умаляя самого действия, такой способ восприятия гарантирует заинтересованного и свободного зрителя: «У каждого из нас будет свой собственный театр, некий тоже в своем роде „театр для себя“, представляющий полную свободу в выборе времени, компании и удобной позы для наслаждения сценическими произведениями».⁶⁶ Это будет «индивидуально-требовательный зритель», которому «все еще мало».⁶⁷ Евреинов даже допускает, что воспитанный таким образом зритель устроит революцию «во имя сказочной, быть может древней и варварской красоты, перестроит жизнь, с ребяческим хохотом и ребяческой правотою».⁶⁸ В некотором смысле, прямым потомком этих взглядов является С. М. Эйзенштейн в период своих первых трех фильмов. Недаром центральная сцена «Октября» непосредственно восходит к массовому спектаклю Евреинова «Взятие Зимнего дворца», хотя сам Эйзенштейн и отрицал эту преемственность, противопоставляя «наэлектризованный „возрожденный“ труп типа театра, ушедшего в вечность», своему «массовому» фильму.⁶⁹ Однако именно Евреинов сделал первый шаг к «кинофикации» театра, введя идею чистой зрелищности и, соответственно, абсолютно отрешенного от действия зрителя.

Интересно сопоставить программу спектакля «Взятие Зимнего дворца», разыгранного 7 ноября 1920 года под руководством Н. Н. Евреинова, и отклики на него А. И. Пиотровского. Предполагая десять тысяч участников, помимо зрителей

⁶¹ Там же.

⁶² Там же.

⁶³ См.: Луначарский А. В. 1) О музыкальной драме // В мире музыки. М., 1971. С. 52; 2) «Борис Годунов» Мусоргского // Там же. С. 57.

⁶⁴ Цит. по: Евреинов Н. Н. Демон театральности / Сост., общ. ред. и коммент. А. Зубкова и В. Максимова. М.; СПб., 2002. С. 295.

⁶⁵ Там же. С. 296.

⁶⁶ Там же. С. 294.

⁶⁷ Там же. С. 295.

⁶⁸ Там же. С. 296.

⁶⁹ Эйзенштейн С. М. Метод. Том первый. Grundproblem. М., 2002. С. 126.

(в итоге участвовало около шести тысяч⁷⁰), Евреинов подчеркивал громадность предприятия, требующего тщательного координирования действий десяти режиссеров, трех сцен и трех различных стилей игры: «Режиссеру приходится привести к одному знаменателю эти три стиля, к стилю чисто театральному».⁷¹ Называя свой «метод» «эстетической монтрацией», Евреинов считал главным условием пространственной композиции переменное «освещение того куса арены, к которому следует приковать внимание зрителя».⁷² Зимний дворец был освещен так, «чтобы зритель почувствовал, что совершается там внутри, за этими холодными и красными стенами». В этих целях был использован «метод кинематографический»: «каждое из 50-ти окон второго этажа своими миганиями будет показывать тот или иной момент развития внутренней борьбы».⁷³ Отмечая «более детализованный сценарий и исполнительские приемы», Пиотровский приветствовал «топографическое» использование самого Зимнего дворца. Однако он ставил под вопрос применение принципа монтажа, достигнутого попеременным освещением разных площадок действия: «Непрерывность праздничного действия (...) была здесь сломана. Не „мистерия“, а мелькания „кино-фильмы“».⁷⁴ Зрелищность оставалась спорным элементом массовых празднеств и для В. Б. Шкловского, отмечавшего: «Народное массовое празднество, смотр сил, радость толпы есть утверждение сегодняшнего дня и его апофеоз. Оно законно тогда, когда на него никто не смотрит из окна или из особой трибуны, иначе оно вырождается в парад, в крепостной балет и в оркестровою музыки».⁷⁵

К 1924 году, когда Иванов и Евреинов уехали из Советского Союза, из всего разнообразия революционных произведений и высказываний критиков начала формироваться единая доминирующая советская драматическая теория, которая должна была примирить идеалы действенности и зрелищности в рамках всецело новой концепции. В частности, к этому времени созрел и новый подход к театру у Пиотровского, основанный на «ячейках рабочих клубов», а в более позднем варианте на «театрах рабочей молодежи» (так называемые ТРАМ).⁷⁶ Во многом эти клубы осуществляли давнюю мечту Иванова: «Страна покроется оркестрами и филелами, где будет плясать хоровод, где в действе трагедии или комедии, народного дифирамба или народной мистерии воскреснет истинное мифотворчество».⁷⁷ Вместо единого массового действия предполагалась масса более скромных, но более четко организованных и систематических акций. В 1921 году Пиотровский писал о том, что «тысячи театральные кружков, разбросанных по Республике, — это боевые отряды, революционизирование быта».⁷⁸ В каждом кружке предполагалась игра на заданные сюжеты: «Первоначально это — усложнение существующих, соединенных с хоровым пением игр. Далее — новая игра на любые темы, близко и кровно родные участникам игр. Игра в „стачку“, „митинг“, „9 января“, „Октябрьскую революцию“. Участники кружка играют для себя, как играют дети, как манифести-

⁷⁰ См.: *Пиотровский А. И.* Хроника Ленинградских празднеств 1919—1922 г. С. 62.

⁷¹ «Взятие Зимнего Дворца» // *Жизнь искусства*. 1920. 30—31 сент. № 596—597. С. 1; см. также: *Советское декоративное искусство*. Т. 1. С. 114.

⁷² Там же.

⁷³ Там же.

⁷⁴ *Пиотровский А. И.* Празднества 1920 года. С. 16.

⁷⁵ *Шкловский В. Б.* Драма и массовые представления // *Шкловский В. Б.* Гамбургский счет: Статьи — воспоминания — эссе. М., 1990. С. 86.

⁷⁶ Подробнее об этом см.: *Пиотровский А. И.* Хроника Ленинградских празднеств 1919—1922 г. С. 73.

⁷⁷ *Иванов В. И.* Собр. соч. Т. 3. С. 77.

⁷⁸ *Пиотровский Адр.* Не к театру, а к празднеству // *Жизнь искусства*. 1921. 19—22 марта. № 697—699. С. 1. Ср.: «Осуществление идеи „всенародного театра“ я усмотрел в пролетарском самодеятельном театре, в частности, в самодеятельном театральном движении рабочей молодежи, в трамбовском движении» (*Пиотровский Адр.* О собственных формалистских ошибках. С. 10).

руют взрослые. Постепенно игра усложняется систематическими занятиями, словом, движением и пением. Участники кружков знакомятся с памятниками мировой литературы, театра, музыки, получая в них материал для самостоятельной художественной работы. Игры на общехудожественные темы комментируются экскурсиями в области социального и революционного движения. Так художественный кружок становится первоначальной школой политического просвещения». ⁷⁹

Отвечая на критику В. Б. Шкловского, Пиотровский признавал низкое эстетическое достоинство кружковых постановок, но утверждал их способность достичь реального преобразования быта: «Рабочие совершают революцию, красноармейцы сражаются — сюжеты этих инсценировок немногочисленны, приемы их развертывания не сложны. В основе их лежит, собственно говоря, один постоянно варьируемый прием — *не перереживание, а преображение*». ⁸⁰ Он полагал, что в театральных кружках рабочие и красноармейцы «ищут театрализованного действия, не изменяющего, а преображающего их классовое лицо, действия, в развитии которого московско-заставские рабочие становятся мировыми героями, а новобранцы красносельских лагерей — победоносными воинами Революции». ⁸¹ Как и празднество, кружок преодолевает дистанцию классического искусства и оказывает прямое воздействие на участников, однако акцент постепенно переходит от создания единого общественного пространства и чувства историчности времени к более индивидуальной основе. После революционного пятилетия, во время которого театр как бы «кормил миллионы народа», Пиотровский выделял именно «массовый театр рабочих кружков и клубов. Здесь, где театральная форма была наименее упруга, новая врученная театру власть организатора быта сказалась сильнее всего. Здесь наметились своеобразные пути символического театрального действия». ⁸²

В статьях Пиотровского этого периода еще слышался явный отзвук символизма, например, когда он усматривал в жанре праздничных «инсценировок» «предсознательный, предмиротворческий хаос», из которого может возникнуть «та народная трагедия, которая должна увенчать современную драматургию». ⁸³ Явно намекая на мейерхольдовскую постановку «Поклонения кресту» Кальдерона на квартире у Вяч. Иванова, еще в 1925 году Пиотровский находил корни советского самодеятельного театра «в любительском воспроизведении античного и средневекового театра в „башенных театрах“ оппозиционной интеллигенции». ⁸⁴ Однако теперь Пиотровский признавал, что новая трагедия возникнет не на «настоящем» пространстве города, а в пределах театра из сочетания с «бытовой» пьесой, причем будет основана не на одном пафосе, а станет соединением внеэстетической инсценировки с революционной мелодрамой, сохраняющей «сосредоточенный, острый патетизм». ⁸⁵ Таким образом, Пиотровский модифицировал ивановскую эстетику введением понятий условности и повествования как способов единения зрителя с действием. Если такой театр становится более реалистичным «под справедливым давлением зрителя-материалиста», то «этот реализм не будет иметь ничего общего с тем, что этим именем называлось 25 лет назад (...) Этот реализм вырастет из ясной точности конструктивных постановок эксцентрических, из резких контрастов

⁷⁹ Пиотровский А. И. Единый художественный кружок // Пиотровский А. И. За советский театр! С. 8.

⁸⁰ Пиотровский Адр. Не к театру, а к празднеству. С. 1.

⁸¹ Там же.

⁸² Пиотровский Адр. «Вся власть театру» // Жизнь искусства. 1922. 5 нояб. № 44 (867). С. 7.

⁸³ Пиотровский Адр. 1) Театр: мелодрама или трагедия? // Жизнь искусства. 1924. 1 янв. № 1. С. 29; 2) Молодая драматургия // Там же. 18 марта. № 12. С. 3.

⁸⁴ Пиотровский А. И. К теории самодеятельного театра // Проблемы социологии искусства. Сборник Комитета социологического изучения искусств. Л., 1926. С. 122.

⁸⁵ Пиотровский Адр. Театр: мелодрама или трагедия? С. 29.

буффонного театра, он вырастет из постоянного стремления деятелей революционного театра найти линию соприкосновения с рабочим зрителем».⁸⁶ Вместо упразднения рампы и занавеса происходит скорее усиление этих и подобных им условностей театра. В частности, самодеятельный театр уже влияет на профессиональный театр в «принципе политических масок, отказе от иллюзионизма и театральной условности, произвольной трактовке пространства и времени, прозодежде, движениях, основанных на физкультуре, хоровом чтении и пении».⁸⁷ Признавая, что ради легкости восприятия рабочим зрителем «инсценировка должна войти в театр формально-организованный»,⁸⁸ Пиотровский противопоставляет искомую форму изначальному празднеству: если в празднествах 1920 года была «вяло двигающаяся, неорганизованная косная толпа, здесь ловкие, смелые, спортивно тренированные фигуры».⁸⁹ В новых празднествах, считает Пиотровский, «мы снова можем вывести на улицу массу, но уже не хаотическую массу-толпу сырых людей, а отряды тренированной физически и эмоционально, ловкой, быстрой, находчивой, певучей молодежи».⁹⁰ Правда, позднее он констатировал, что, если первые советские празднества далеко уходили «от иллюзионистского „представления“ в сторону реальности прямого действия и подлинности настоящих людей и вещей», то теперь «моменты внешней зрелищности, внешних выразительных средств уже начинают главенствовать в этих празднествах над действиями людей и людских масс».⁹¹ Еще в 1926 году Пиотровский звал к возрождению массовых празднеств: «Традиция революционных массовых празднеств не должна и не может умереть в нашем искусстве и быте».⁹² Однако все чаще и чаще он усматривал наследие массовых празднеств в самом зрелищном искусстве — кино.

Как видим, при очевидном крахе ивановской утопии массовых празднеств, влияние его идей оставалось сильнейшим фактором в эстетических спорах на протяжении 1920-х годов. Этот парадокс объясняется тем, что хотя Иванов часто звал за пределы художественного акта в некое стихийное состояние, он неизменно заострял внимание на самом действии в искусстве и на его воздействии на воспринимающего. Поэтому такие последователи Иванова, как А. И. Пиотровский, должны были развивать понятия «повествовательность» и «зрелищность», способные объяснить, каким образом зрители вовлекаются в особый смысловой мир произведения, отдельный от реального мира, но способный его преобразить. С этой точки зрения, идеи Иванова, связанные с революционным театром, оказались чрезвычайно плодотворными и для осмысления кино.⁹³

* * *

Доклад Вяч. Иванова печатается по машинописи, хранящейся в фонде поэта в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (РГБ. Ф. 109. Карт. 5. Ед. хр. 33. Л. 6—19), с восстановлением отсутствующего листа и с учетом разночтений по беловому автографу (РГБ. Ф. 109. Карт. 5. Ед. хр. 9. Л. 1—2, об.; Ед. хр. 6. Л. 5; Ед. хр. 33. Л. 1—2, об.). При подготовке к печати рассматривались так-

⁸⁶ Пиотровский А. И. Год успехов // Пиотровский А. И. За советский театр! С. 70.

⁸⁷ Пиотровский А. И. К теории самодеятельного театра. С. 127.

⁸⁸ Пиотровский Адр. О легкой форме // Жизнь искусства. 1924. 25 нояб. № 48. С. 18.

⁸⁹ Пиотровский Адр. Праздник конституции // Там же. 1925. 14 июля. № 28. С. 7.

⁹⁰ Пиотровский Адр. Майские игры // Там же. 1924. 29 апр. № 18. С. 5.

⁹¹ Пиотровский Адр. Празднества революции // Там же. 1927. 6 нояб. № 45. С. 18—19; ср.: Пиотровский А. Торжества 10-го октября // Там же. 1927. 15 нояб. № 46. С. 1—2.

⁹² А. П. (Адриан Пиотровский). Праздник Конституции // Там же. 1926. 13 июля. № 28. С. 20.

⁹³ Подробнее об этом см.: Бёрд Р. Русский символизм и развитие кино-эстетики: Наследие Вяч. Иванова у Александра Бакши и Адриана Пиотровского (в печати).

же и другие экземпляры этого текста (РГБ. Ф. 109. Карт. 5. Ед. хр. 49; Ф. 746. Карт. 51. Ед. хр. 10). Слова, выделенные нами курсивом, подчеркнуты Ивановым в рукописи и даны разрядкой в машинописном варианте.

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ СИЛ НАРОДНОГО КОЛЛЕКТИВА В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДЕЙСТВА⁹⁴

I

Известно, что, когда оракул провозгласил Сократа «мудрейшим из людей», — «мудрейший из людей» только что подвел итог исканиям целой жизни, посвященной познанию;⁹⁵ но итог оказывался прямо противоположным той лестной оценке, какой искатель истины удостоился от богов. Последнее слово Сократовой мудрости было: «одно я знаю, — что ничего не знаю». Однако благочестие мыслителя не могло допустить, что боги ошибаются, и — чтобы выйти из недоумения — пришлось Сократу предпринять новое и сложнее исследование, а именно: проверить мудрость других людей, особенно же признающих себя и признаваемых мудрыми. Это новое исследование все, наконец, разъяснило: испытатель нашел, что никто, кроме его одного, не подозревает своего глубочайшего неведения и что поистине он, Сократ, является «мудрейшим из людей», — если знает один, что ничего не знает. Но разоблачение своей и всеобщей нищеты в деле познания иронический философ все же умел обратить на пользу для дела познания: вместо проповеди положительных истин он открывает своим слушателям пути и способы разыскания истины, взамен готового знания предлагает *метод*, и свое собственное назначение определяет не как деятельность учителя и наставника, но как ремесло «повивальной бабки», призванной помогать человеческой душе в ее усилиях родить из внутреннего содержания своего сознания некое первоначальное разумение основных правд бытия.

Мне кажется, что нам, деятелям народного просвещения, надлежит памятовать пример понимания задачи просветительной. Быть «повивальными бабками» народного творчества повелевает нам демократическое смиренномудрие; учительствовать, менторствовать советует интеллигентское самомнение. Революционным эпохам, в круге культурного строительства, свойственно повторять навыки просвещенного абсолютизма. Движение, начавшееся снизу, кончает принудительным наложением определяющих не только материальную жизнь, но и духовное бытие схем, типов и норм — сверху. И в наши дни, когда интеллигенция отрицается как класс, — с еще большею, чем прежде, самоуверенностью притязает она на значение властительницы дум, выступая от имени народа. Мы не должны забывать, отдавая свои силы делу народного просвещения, что слово «просвещение» имеет двоякий смысл: более тесный — собственно просветительной деятельности, и более широкий и жизненный — тот, что совпадает с понятием «культуры». Деятели просвещения не необходимо просветители, но, прежде всего, организаторы культуры. Последняя же слагается как из усвоения народными массами знаний и умений, им сообщаемых, так и из самостоятельного претворения таковых, и, наконец, из творческой самодеятельности. И определятельным признаком подлинной культуры является именно этот последний и важнейший ее признак: творческий почин и самобытность творчества.

Из сказанного, конечно, отнюдь не следует, что первый признак — распространение и углубление в массах теоретических и прикладных знаний, техниче-

⁹⁴ Третий тезис этого доклада, содержащий конкретные предложения докладчика, включен Худож(ественным) Отделом Съезда по Внешкольному Образованию в число вынесенных ими резолюций (прим. Вяч. Иванова).

⁹⁵ См. «Апологию Сократа» Платона.

ских и художественных умений — составляет нечто несущественное. Дело народного образования должно быть развито и упрочено; оно необходимо народу, как жителям города обильно протекающий в их жилища чистый воздух. Но забота о народном образовании не должна переходить в общую культурную опеку над народом, как и в педагогике образовательные и воспитательные влияния не могут без вреда для воспитанника извращаться в покушение вылепить его ум, характер и мировосприятие по отвлеченной схеме, предносящейся воспитателю, или, что едва ли не одно и то же, по идеальному образу и подобию самого ваятеля юной души. Народное образование имеет перед собою определенную цель: приобщить народные массы к преемственному делу общечеловеческой культуры, ввести их новым звеном в ее всемирно-историческую связь.⁹⁶ Для достижения этой цели необходимо, во-первых, чтобы все культурные достижения прошлого сделались поистине народным достоянием, вошли живою и действенною силою в народную мысль. Во-вторых, чтобы широким кругам была раскрыта современная проблематика наук и искусств, очередные задачи, поиски, недоумения, разочарования и надежды знания и творчества; в-третьих, наконец, чтобы во главу угла всякого обучения и осведомления положено было усвоение обучающимися методов, коими добывается всякое знание, и путей, какими достигается всякое умение. Другими словами, в области научной — не догмат, а *метод*; в области художественной (—) не правило, наказ и модель, а *импульс*.

Обращаясь именно к сфере искусств, я утверждаю, что нелепо и пагубно их органическую жизнь расматривать, расценивать и направлять с точки зрения просветительной. Когда скульптор Пракситель в IV веке до Р. X. впервые обнажает Венеру, дотоле изображавшуюся закутанною в длинную одежду, и один греческий город всенародно приемлет созданный им новый тип богини, а другой отвергает соблазнительное новшество; когда флорентийское народоправство в XIII веке встречает с религиозными почестями написанную Чимабуэ Богоматерь, непохожую на прежние иконы;⁹⁷ когда в V столетии до Р. X. Эсхил и Софокл свои трагедии, Аристофан комедии отдает на суд афинской демократии, изменяя в них и староотеческое предание, и традиционные формы действия и бросая на весы народного мнения свои да и нет, свою любовь и ненависть по волнующим всех граждан и зачастую злободневным вопросам, как религии и морали, так и политики, — тогда искусство цветет, и мы перечитываем ныне эти золотые страницы его истории с восхищением и завистью. Они давно стали для нас материалом просветительным; но в эпоху возникновения Праксительевой статуи и Мадонны Чимабуэ и великих греческих действий народ был не объектом просветительного влияния этих бессмертных творений, но их судьбою и, увенчивая их своим признанием, тем самым провозглашал, что увенчанные произведения правильно выразили его мысль. Не было тогда средостения и благонамеренного посредничества между народом и гением, и сам гений, всегда независимый по своей природе, хотел, как это и подобает его царственной миссии, быть только устами и рукою народа.

Я хочу сказать, что искусство по существу не есть предмет так называемого «внешкольного образования», и деятели последнего, остерегаясь вторгаться со своими просветительными целеположениями и воздействиями в его автономную область, в его по законам внутреннего роста протекающее развитие, должны ограничить свои пожелания о искусстве, — во-первых, предоставлением народу широ-

⁹⁶ Ср. слова Иванова из письма 9 в «Переписке из двух углов» (1920): «То, что именуется сознательным пролетариатом, стоит всецело на почве культурной преемственности. Борьба ведется не за отмену ценностей прежней культуры, но за предносящееся умам, как некая верховная задача, оживление в них всего, что имеет значение объективное и вневременное, — в ближайшие же дни за их переоценку» (цит. по: Иванов В. И. Собр. соч. Т. 3. С. 405).

⁹⁷ Ср. рассуждение Иванова из статьи 1908 года «Две стихии в современном символизме» (Иванов В. И. Собр. соч. Т. 2. С. 541).

кой возможности ближайшего ознакомления с художественным преданием веков, а равно и возможности учиться искусству и испытывать в нем свои силы, — вторых, как бы проложением путей и прорытием русл, по которым, пробудясь, могла бы устремиться творческая энергия народа. Подвожу итог всему вышесказанному и выставляю свое первое положение:

Художественная жизнь страны и народное (в частности внешкольное) образование суть два круга, лежащие в одной и той же плоскости, именуемой «культурой» или «просвещением», но имеющие разные центры и покрывающие друг друга лишь малую часть своей поверхности. Жизнь искусства есть самостоятельная органическая жизнь, не подлежащая направлению и расценке с точки зрения просветительной.

По отношению к искусству главная и непосредственная задача народного образования — в том, чтобы сделать высшие достижения искусства доступными народу, а дарованиям из народа открыть возможность художественного развития. Другая же задача, по природе своей разрешимая лишь частично и при особенно благоприятных условиях, — в том, чтобы осторожными и тонкими побуждениями (импульсами) облегчить народу коллективное проявление самобытных творческих сил.

II

Коллективное проявление самобытных творческих сил — вот что наиболее важно, вот с чем связываются высочайшие надежды становящейся истинно свободной демократии, с одной стороны, — искусства, с другой. Ибо только там творится истинно свободная жизнь, где она творится в духе и где народ, творец своей свободной жизни, является творцом в полноте этого понятия, — не только строителем внешних форм ее, но и коваčem ее духовных ценностей. И только то решение свободного народа отмечено печатью торжественного величия внутренней непреложности, которое прошло через горнило его целостного сознания и служит выражением столько же его духовного самоопределения, сколько действительного волеизлияния. Коллективное творчество есть достовернейший референдум народной воли о главнейшем в творимой жизни — о том, какова должна быть, по своему духу и внутреннему смыслу, не та или иная отдельная сторона ее, но вся жизнь в целом. И коллективизм только материальный непрочен, если не скреплен как цементом иным коллективизмом — душевного единения, которое не может не быть творческим в той мере, в какой оно будет воистину живым.

В судьбах *искусства* коллективное проявление самобытных творческих сил народа было бы знаменем новой эры, давно призываемой художниками, стремящимися в искусстве к *большому стилю*.

Ибо все художество нового времени остается по необходимости художеством малого стиля, творимым немногими для немногих, уединенными для уединенных, и ни одно монументальное задание не достигает своей цели, потому что возникает не из внутренней творческой потребности народных масс, но из недр обособленного личного сознания и представляет собою, в случаях наибольшей, наилучшей удачи, только принятую без ропота или даже с некоторым одобрением широкими кругами попытку привить им чуждые дотолде представления, понятия и чувствования, внедрить в их душевный мир напечатление прежде неведомых форм. Гений и толпа не содружествуют, но борются, и когда побеждает первый, он тиранически налагает на эпоху в сфере, открытой его влиянию, свое клеймо, когда же не достигает или не ищет победы, уходит в одиночество, завещая в наследие потомкам свое решение еще не поставленных временем проблем: покинутость и пустынночество — вот плоды его духовного возрастания из индивидуальной ограниченности в универ-

сальность сверхличного сознания. Ненормальность этого взаимоотношения — первородный грех всего нового художества.

С эпохи Возрождения жизнь извне напечатлеваемых художественным творчеством форм в народном духе — не жизнь в собственном смысле этого слова, но некоторое искусственно отраженное ее подобие, и бессилие зодчества создать нечто равное по самостоятельности тому, что творили некогда Египет, Греция, Средневековье, — служит явным доказательством высказанного мнения. Наибольшее приближение к большому стилю в новое время являют, с одной стороны — музыка, справедливо признаваемая верховенствующим искусством, по крайней мере полутора последних столетий, с другой — многоместительный, в полноте отражающий и до глубины исследующий огромные пласты общественной и личной жизни роман. Но кто дерзнет утверждать, что музыка Бетховена или Вагнера,⁹⁸ что романы Достоевского и Толстого, при всей широте их захвата, проникновенности и всечеловечности идейного содержания, — суть искусство, вызванное к жизни запросами самоопределения некоей великой людской громады, а не драгоценный плод келейных исканий, в тишине творимый «отшельниками духа», и не достояние отдельных общественных групп, неоспоримую заслугу которых составляет усилие приобщиться, хотя бы лишь частично и, главное, бездейственно, доверенным им высоким заветам. Ни Гете в германстве, ни Пушкин у нас, — два поэта, собравшие, как в фокусе, чистейшие лучи национального гения своих стран, — не имеют значения всенародного: ясно, что причина этого отчуждения — не творческая немощность художников, а общие условия жизни, которая, как ни силен индивидуальный гений, все же сказывается сильнее гения. Удивительно ли, что бегство последнего от людского множества («бежит он, дикий и суровый, — как пел наш Пушкин, — и звуков и смятенья полн, на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы»⁹⁹), его отщепенство и уединение, отшельничество ницшевского Заратустры в пещере с орлом и змеей — являются типическим ответом высокого художника новых времен на иронию судьбы, отнявшей у запевалы дифирамба его хор.

С горечью вспоминает об этом хоре Лермонтов, благородно, хотя и несправедливо возлагающий вину рокового раскола не на «злато», поработившее и омертвившее мир, а на «поэта»:

«В наш век изнеженный не так ли ты, поэт,
Свое утратил назначение,
На злато променяв ту власть, которой мир
Внимал в немом благоговении.
Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенил бойца для битвы;
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.
Твой стих, как Божий дух, носился над толпой,
И отзыв мыслей благородных
Звучал, как колокол на башне вечевой,
Во дни торжеств и бед народных».¹⁰⁰

Из сказанного явствует, что без перерождения всех тканей общественного организма, составляющего материальную подоснову господствующей культуры, немислимо коренное изменение условий, в которых протекает художественное твор-

⁹⁸ В беловом автографе зачеркнуты еще два имени: «Римского-Корсакова или Скрябина» (РГБ. Ф. 109. Карт. 5. Ед. хр. 6. Л. 1).

⁹⁹ Из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт» (1827).

¹⁰⁰ Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Поэт» (1838) цитируется здесь Ивановым с разночтениями.

чество.¹⁰¹ Искусство большого стиля, искусство всенародное может и с естественной закономерностью должно развиваться единственно на почве и в среде культуры иной, каковую, в противоположность внутренне разъединенной и многообразно расчлененной, «критической» и «дифференцированной» культуре последнего времени, — культуре обособленных групп и личностей, — необходимо мыслить (как мыслил ее, например, Скрябин) воссоединенною, «интегрированной» и по-новому «органической».¹⁰² Не принадлежит ли, однако, такая культура невозвратному прошлому, возможна ли она как существенно динамическая (в отличие от более или менее ярко выраженного статического характера прежних органических культур), и не романтическая ли греза самая мечта об ней как о задании ближайшего будущего. Но мир переживает события такого всеобщего сдвига, что то, что казалось мечтанием и утопией вчера, сегодня предстоит, как никем еще до конца не постигаемая, никаким звездочетом не расчисленная, но уже никакою силою не отвратимая данность созвездий на небосклоне духа и новых законов всемирной жизни. Ведь и те, кто страстно зовут переступить порог, не оглядываясь на прошлое, все же не знают, что там, за порогом. Довольно с нас уверенности, что за порогом открывается новая эпоха, долженствующая, согласно общему смыслу и ритму исторического процесса, привести человечество к небывалой в своем роде целокупности и внутренней слиянности сознания, сочувствования и творчества.

Во всяком случае, искусство, всегда предчувственное, не в силах более держаться в тесных пределах былой замкнутости, где оно выращивало свои нежнейшие, тончайшие, а порою и ядовитейшие цветы: оно хочет выйти на простор, не забывая о том, сколь суровым может оказаться внешний вольный воздух, сколь убийственным для многого,¹⁰³ что так любовно лелеяло оно в своих теплицах. Общий кризис искусства определенно показывает, что прежние пути пройдены до конца, что художество на распутье, и роковая надпись у скрещения дорог возвещает, что на одной тропе ждет его — *разложение*, тогда как ступить на другую, значит последовать призыву «умри и обновись».¹⁰⁴ И это обновление нельзя мыслить иначе, как последнее и крайнее противоречие всему, что в области нового искусства было признано, утверждено и осуществляется до сих пор.¹⁰⁵

¹⁰¹ Ср. слова Иванова из статьи «О кризисе гуманизма» (1919): «Кризис явления состоял в том, что прежняя внутренняя форма вещей в нас обветшала и омертвела. На смену ей должна была возникнуть новая; но сложный процесс этого перерождения живых тканей являющегося совершается в поколениях медленным влиянием скрытых исторических сил, и пока он не закончился, пока путем органического роста не выработана в нас новая внутренняя форма воспринимаемого мира, до тех пор личность, если она не одарена исполинскою силою самобытного духовного возрастания и творчества, будет уныла и как бы опьянена. Человечество линяет, как змея, сбрасывая старую шкуру, и потому болеет» (Иванов В. И. Собр. соч. Т. 3. С. 370).

¹⁰² В беловом автографе кавычки в этой фразе отсутствуют (РГБ. Ф. 109. Карт. 5. Ед. хр. 6. Л. 2).

¹⁰³ В беловом автографе вместо «многого» написано «всего» (РГБ. Ф. 109. Карт. 5. Ед. хр. 6. Л. 2, об.).

¹⁰⁴ Из стихотворения Гете «Святая тоска» («Selige Sehnsucht»). Цитируется Ивановым также и в «Переписке из двух углов» (Иванов В. И. Собр. соч. Т. 3. С. 387).

¹⁰⁵ В беловом автографе далее следует: «Ведь грядущая всенародность заговорит с индивидуалистом таким, примерно, языком:

От звезд зажги, уединенный, свечи!
Твоей тоске не будет гордой кельи
На праздничном, на людном новоселье,
Ни слов ответных в новозданной речи;
Но все, что дух таил, ревнуя к людям,
Мы сообщая полюбим — иль забудем»

(РГБ. Ф. 109. Карт. 5. Ед. хр. 6. Л. 2, об.).

Цитируемое здесь стихотворение «Поэты мглы, мы в поздних песнях ловим...» (1917) впервые было опубликовано в № 1 журнала «Москва» за 1918 год под названием «Всенародность»; вошло без названия в Собрание сочинений Иванова (Т. 4. С. 70).

III

Но если будущее стоит под знаком коллективного творчества, последнее не может не найти своего ближайшего и непосредственного выражения в искусстве, направленном именно на творческое оформление коллектива, — другими словами: в искусстве сценическом. Ибо, в отличие от других искусств, из коих музыка оформляет стихию звука, поэзия — слова, живопись — цвета, ваяние и зодчество — твердых масс, сценическое искусство имеет материалом, подлежащим наглядному художественному преобразению, самого человека, — и притом человека взятого не отделенным в путях и чувствованиях своих от других людей, не одиноким и обособленным, но непременно воочью представленным во взаимности и взаимодействии некоего коллектива.¹⁰⁶ Имя этому коллективу в истории драмы — «хор», как имя зачинательной личности, выделяемой из своей среды коллективом и несущей динамический принцип новой формы, как фермент драматического движения и взаимодействия, — «герой». Данное определение обнимает¹⁰⁷ все виды театра, поскольку последний — еще театр: оно приложимо не только к трагедии Эсхила или Софокла, но и к комедии Гоголя, где мнимый ревизор, в условно-драматургическом значении термина, — «герой», а обыватели и заслуженные деятели городка, управляемого бессмертным городничим, все эти Бобчинские, Ляпкины-Тяпкины, купцы и Держиморды — внутренне единый хор многоликого действия: сплоченным коллективом противостоят они упавшему на их головы, казалось бы, с неба, но в действительности представляющему собой плоть от плоти их самих и кость от кости ревизору, невольно внесшему на мгновение смуту и движение в их устойчивую среду. Но современный театр все же верен исконной природе сцены лишь в минимальной мере, предельно необходимой для сохранения родовой формы: по существу он давным-давно удалился от своих жизненных истоков, оторвался от своих корней, и путь, ведущий к театру воистину живому и животворящему, должен быть пройден весь сызнова, от его первых этапов. А исконным и неотменным началом сценической эволюции является единственно хор в собственном смысле этого слова, — в смысле некоего еще не расчлененного, целостного единства, голос которого, именно в силу его полной внутренней и внешней слиянности, не может быть ничем иным, как музыкальным движением и напевною многоустою речью.

Итак, если мы хотим истинно нового театра, то должны отказаться от всякой надежды на внезапное и как бы революционное его возникновение на тех же подмостках, на коих донныне разыгрывалась и долго еще будет разыгрываться традиционная драма в ее традиционных формах, остающихся по необходимости неизменными в своей основе, несмотря на все новшества в их перекраске и перелицовке. Колыбели нового театра суждено стоять не на этих подмостках, не в этих тесных стенах, но на вольном воздухе, под открытым небом, где может собраться и свободно двигаться большой праздничный хор. Такой хор не менее дорог народу, не менее связан с коренным укладом его быта и психики у нас, чем в древней Элладе, где его великолепный расцвет, вызванный утверждением вольных народовправств, ознаменовал целый лирический период культурной истории, предшествовавший периоду главенства трагедии в судьбах творческой мысли.

Если будет в большом народном коллективе единомыслие о жизненно-главном и духовно-существенном и высокий, дружный подъем духа, если будет в нем истинное равенство, создающее целостное согласие многих волей, и истинное воодушевление, плод совместных, глубоко взрезающих жизнь, как плуг целину, и окрыленных — общию верой — стремлений, будет тогда и народный хор, в песнях кото-

¹⁰⁶ Ср. начало статьи «Эстетическая норма театра» (1916) (Иванов В. И. Собр. соч. Т. 2. С. 205).

¹⁰⁷ В беловом автографе «объемлет» (РГБ. Ф. 109. Карт. 5. Ед. хр. 6. Л. 2, об).

рого свободно выльется все, что объединяет умы в одну великую мысль и сплавляет сердце в одном энтузиазме. И если хор этот, в какое-то мгновение своего бытия, обратится из статического в подвижный, орхеистический, и станет не только петь, но и наглядно переживать песнь, расчленился на полухория, на группы, сообразно внутреннему драматическому движению песнопения, индивидуализирует, наконец, своих запевал в действительных зачинателей этого движения, — тогда искомое «действие» перед нами, и, предоставленное своему органическому развитию, оно неизбежно повторит тот же ряд переходных форм, какой некогда привел к возникновению первой трагедии, о коей Аристотель, в согласии с новейшими разысканиями, учит, что она «пошла от запевал дифирамбического хора».

IV

В вышеизложенном выяснена связь, объединяющая самые отдаленные перспективы искусства вообще и так называемого «театра будущего» в частности с проблемою «народного театра», которую мы привыкли рассматривать в пределах гораздо более тесных, с точки зрения несравненно скромнейшей и — прибавят многие — несравненно практичнейшей. Ведь тут дело идет, — скажут они, — об отыскании непосредственно приложимых к жизни методов и формул такого театра, который бы сочетал просветительное и даже воспитательное назначение с благотворным влиянием на творческую самодеятельность народных масс в области того, что принято называть сценой в современном значении слова. Отдавая дань полного уважения благородным усилиям выдающихся деятелей в этой области, не отрицая ценности достигнутых ими результатов и пользы многочисленных начинаний и предположений, клонящихся к прямому удовлетворению выдвинутых жизнью запросов и потребностей, мы, со своей стороны, ищем иного подхода к той же проблеме и вносим некоторое изменение в самую ее постановку. Сознательно отказываясь от притязаний дать формулу теперь же осуществимого театра, мы пытаемся наметить предварительные условия, при коих единственно может возникнуть в будущем, путем самобытного его развития, народный в истинном смысле слова и в то же время истинно новый по своим формам театр. Предрешать же, каков он будет, значило бы, в противоречии с нашими исходными положениями, упреждать народное творчество, могущее разрешить великую задачу, ему предлагающую, лишь в той мере, в какой оно будет органическим, и мнить, что мы, которым в лучшем случае дано быть «повивальными бабками», в состоянии предусмотреть его путь.

Особенность нашей точки зрения в том, что, говоря о народном театре, мы не разумеем под таковым ни театра *для народа*, как, например, Ромэн Роллан,¹⁰⁸ ни *театра о народе*, — т. е. театра, изображающего жизнь народных масс, — ни *театра от имени народа*, являющегося народным только по содержанию, — в том смысле, что он задается целью выразить народное самоопределение, народную мысль и волю, — ни, наконец, *театра из народа*, самосильно творимого в народной среде, но по формам не самостоятельного, а подражательного, заимствующего свои формы из общего сценического предания и обихода. Мы разумеем под народным театром театр самобытный по своеобразию вырабатываемых народом художественных форм сценического действия, — театр народа в собственном смысле слова. *Народный театр*, так понятый, вполне достоин именоваться «народным», и тут определение «народный» не ограничивает понятия «театр», но служит как бы под-

¹⁰⁸ См.: Иванов В. И. Предисловие // Роллан Р. Народный театр. Пг.; М., 1919. С. VII—XIV; перепечатано под названием «Предисловие к книге Р. Роллана „Народный театр“» в сборнике Вяч. Иванова «Предчувствия и предвестия» (М., 1991. С. 79—81).

писью гениального творца под произведением, существенно обогащающим новизною творческого обретения и объем, и содержание того, что знаменуется высоким именем «искусство».

Такой театр был бы уже тем искомым «всенародным искусством», которое должно родиться на смену современного искусства разделенных и обособленных групп. Но только пересоздание общественного строя может осуществить потребное для такого театра, для такого искусства вообще, воссоединение ныне чрезмерно расчлененной культуры, утратившей в дроблении и соревновании своих сил внутреннее положительное единство общего стиля, умоначертания и волеустремления. Народный театр, в вышераскрытом смысле, может быть вызван к бытию только самодетельностью народных масс, — выразится ли таковая в их свободном почине, уже таящем в себе зародыши новых, своеобразных форм действия, или в творческом отзыве на идейные¹⁰⁹ импульсы к соборному действенно-хоровому содружеству.

Принимая во внимание ряд исторических данных о зарождении народных действий из коллективного лирического воодушевления и теоретические соображения об исконной природе театра как совместного действия лицедеев и толпы, собирающейся первоначально не на зрелище, но для соучастия в единомысленно и единочувственно творимом действе, мы формулируем свои выводы о коренной потребности народного театра, каким, согласно вышеизложенному, мы его мыслим в следующих дальнейших положениях.

Тезис I

Художественная жизнь страны и народное (в частности внешкольное) образование суть два круга, лежащие в одной и той же плоскости, именуемой «культурой» или «просвещением», но имеющие разные центры и покрывающие друг друга лишь малою частью своей поверхности. Жизнь искусства есть самостоятельная органическая жизнь, не подлежащая расценке и направлению с точки зрения просветительной. По отношению к искусству главная и непосредственная задача народного образования — в том, чтобы сделать высшие достижения искусства доступными народу, а дарованиям из народа открыть возможность художественного развития. Другая же задача, по природе своей разрешимая лишь частично и при особенно благоприятных условиях, — в том, чтобы осторожными и тонкими побуждениями (импульсами) облегчить народу коллективное проявление самобытных творческих сил.

Тезис II

Существенная и коренная проблема рабоче-крестьянского театра есть проблема самостоятельного творчества народных масс, направленного к выработке новых и самобытных форм действия. Для искусства возникновение этого коллективного творчества было бы выходом из тесных пределов искусства в просторы искусства большого, всенародного. С точки зрения общей исторической, оно было бы показателем преодоления новою, целостною, органическою культурою культуры вчерашнего дня, характеризующейся чертами классовой и индивидуальной обособленности личного и группового разделения, уединения и разномыслия, — оно было бы свидетельством завершившегося преобладания культурной интеграции над культур-

¹⁰⁹ С середины этого слова текст отсутствующего листа восстанавливается на основе белого автографа (РГБ. Ф. 109. Карт. 5. Ед. хр. 6. Л. 5) и отдельной рукописи тезисов (РГБ. Ф. 109. Карт. 5. Ед. хр. 33. Л. 1—2).

ной дифференциацией, из чего следует, что осуществление указанного задания мыслимо только в будущем, нам же предлежит лишь дело предуготовления путей, ведущих к осознанной цели.

Тезис III

Импульсы к пробуждению¹¹⁰ и организации творческих энергий народного коллектива в области художественного действия могут быть даны деятельным почин в нижеследующих направлениях:

1. Должно всемерно способствовать насаждению, распространению и развитию хорового дела; содержать на национальный и муниципальный счет большие хоры и покровительствовать деятельности хоровых обществ; *ставить хоры* на площадях в торжественные дни; обеспечить их художественное питание и постоянный интерес к ним в народных массах путем создания текущего лирического репертуара песен и гимнов, откликающихся в достойных величавых и всенародных формах на все внутренне значительные события народной жизни; внести в постановку хоров элементы зрелищный и орхестрический (или хореографический), сочетая их мощно звучащее напевное слово с красотой пластического выступления с торжественными шествиями, соответственным строем ритмических движений и соответственно праздничным и живописным одеянием; одним словом, *создать из хоров живой и художественно действенный орган одушевленного (энтрузиастического) выражения народной мысли и народной воли.*

2. Должно стремиться приблизить народное празднество к формам действия, придавая ему характер связного лиро-драматического единства, развивающего в стройной последовательности целого основную его идею, и изыскивая пути к реализации прямого участия всех собравшихся в отправлении праздничного обряда, сообразно частным требованиям каждого отдельного замысла.

3. Должно в летнее время ставить на больших сценах и круглых аренах, устроенных под открытым небом, избранные произведения наличного сценического репертуара в соответствующих изменению основных условий постановки приспособлениях; причем сам собою произойдет естественный отбор пьес, выдерживающих такое перенесение из замкнутого помещения на открытую сцену, что служило бы верным признаком их внутреннего сродства со стихией большого всенародного искусства, поскольку все частное, личное, обособившееся, болезненное, пошло-обывательское отпало бы само собою, уступая место изображению героических действий, народных движений и, наконец, идеальному элементу в символических образах мифа, сказки и легенды.

Такой почин мог бы послужить началом развития самобытных форм духовного коллектива.

Вячеслав Иванов
Заведующий Историко-Теоретической Секцией Тео Наркомпроса

¹¹⁰ В беловом автографе «возбуждению» (РГБ. Ф. 109. Карт. 5. Ед. хр. 33. Л. 1, об.).

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ПЕРЕВОДЫ НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВА: «БИМИНИ» И «ВИЦЛИ-ПУЦЛИ» Г. ГЕЙНЕ

(ПУБЛИКАЦИЯ © К. С. КОРКОНОСЕНКО)

До сих пор опубликованы далеко не все переводы, выполненные Николаем Гумилевым в послереволюционные годы для издательства «Всемирная литература». Значительная их часть хранится в РГАЛИ, в фондах Н. С. Гумилева и Л. В. Горнунга. К числу таких малоизвестных текстов относятся переводы поэм Г. Гейне «Бимини» и «Вицли-Пуцли».

Несколько больше «повезло» другому переводу Гумилева из Гейне — поэме «Атта Тролль. Сон в летнюю ночь»: этот текст был опубликован дважды в 1930-е годы.¹ Известно, что перевод «Атта Тролль» был заказан Гумилеву Блоком, который готовил для «Всемирной литературы» многотомное собрание сочинений немецкого поэта.² Вполне вероятно, что именно Блок предложил Гумилеву переводить также «Бимини» и «Вицли-Пуцли» (ср. надпись «Блоку» в машинописном тексте «Бимини»).

В 1982 году шесть заключительных строф «Бимини» были опубликованы в номере 9 «Wiener Slawistischer Almanach» в разделе «„Гумилевские чтения“ 1980 года» под условным названием «Отрывок». Эта публикация привлекла внимание О. Ронена: «Но век обидел Гейне. Мало кто из русских литературоведов его читает. Показательно, что в посвященной Гумилеву подборке „Венского славистического альманаха“ был напечатан в начале 1980-х годов в качестве неизвестного оригинального стихотворения Гумилева выполненный им перевод отрывка из поэмы „Бимини“, чего не заметил ни один рецензент. Между тем внимание к „Бимини“ было у Гумилева не случайно не только из-за „конквистадорской“ темы, но и потому, что вслед за „Бимини“ и Мандельштам, и Гумилев отождествляли тайну ушедшего романтизма с пением мертвых соловьев, которое задается в прологе к этой поэме Гейне об острове, где бьет ключ вечной юности».³

Те же шесть строф перепечатаны в «Гумилевских чтениях» 1984 года уже с указанием на то, что это перевод из Гейне.⁴ В примечаниях сообщается, что шесть заключительных строф из поэмы «Бимини» печатаются по автографу из собрания А. Е. Бурцева, и далее: «Как видно из книги издательских гонораров издательства „Всемирная литература“, в январе—октябре 1920 года Гумилев работал над переводом поэмы „Бимини“ для четырехтомного *Собрания сочинений* Гейне под редакцией А. А. Блока.⁵ Годом раньше он перевел поэму „Атта Тролль“ и романсеро „Вицлипуцли“».⁶ А в приведенном ниже «Списке переводов, выполненных Н. С. Гумилевым для издательств „Всемирная литература“ и З. И. Гржебина» говорится, что над «Вицлипуцли» (так же как и над «Бимини») Гумилев работал в январе—октябре 1920 года.⁷ Местонахождение самого текста авторам «Гумилевских чтений» было неизвестно.

В редких публикациях, где упоминается этот перевод Гумилева, название, которое дал ему переводчик, искажено. В «Гумилевских чтениях» отсутствует дефис;

¹ См.: *Гейне Г.* Стихотворения. М.; Л., 1931. С. 297—366; *Гейне Г.* Избранные произведения. М.; Л., 1934. С. 115—141.

² Это произошло 14 декабря 1918 года (см.: *Базанов В. В.* Александр Блок и Николай Гумилев после Октября // *Николай Гумилев: Исследования и материалы.* Библиография. СПб., 1994. С. 198); по сведениям В. Лукницкой, перевод был завершён 25 декабря 1919 года (см.: *Лукницкая В.* Николай Гумилев: Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. Л., 1990. С. 227).

³ *Ронен О.* «Афронтенбург» // *Звезда.* 2003. № 1.

⁴ *Wiener Slawistischer Almanach.* Sonderband. 1984. Bd. 15. S. 202.

⁵ В 1920—1922 годах во «Всемирной литературе» вышли только тома 5 и 6 *Избранных сочинений* Гейне под редакцией Блока, содержавшие «Путевые картины» и «Мемуары».

⁶ *Wiener Slawistischer Almanach.* Sonderband. 1984. Bd. 15. S. 42.

⁷ *Ibid.* S. 89.

в книге Веры Лукницкой есть такая запись: «9 января закончен перевод „Фигули-Пуули” (первые 156 строк были переведены 1 января) и к 20 января закончен перевод „Бимини” Гейне»;⁸ в опубликованной переписке П. Н. Лукницкого и Л. В. Горнунга стоит почему-то «Вицли-Цуцли».⁹

Именно переписка Лукницкого и Горнунга предоставляет некоторые сведения о том, как оказались переводы «Бимини» и «Вицли-Пуцли» в РГАЛИ, в фонде Горнунга. В примечаниях к переписке сказано: «В 1924 г. в издательстве „Всемирная литература” Лукницкий скопировал переведенные Гумилевым поэмы Г. Гейне».¹⁰ 3 апреля 1925 года Лукницкий сетовал на то, что не имеет возможности перепечатывать материалы на машинке.¹¹ 2 июня 1926 года Горнунг пишет Лукницкому: «Только теперь собираюсь Вам перечислить то, что Вы дали мне с собой из Петербурга.¹² Поверите ли, только на днях начал перепечатывать кое-что на машинке, вообще из стола достал в первый раз после Петербурга. При этом письме приложу перепечатанные уже стихи. Я печатаю в 4-х экземплярах, причем исправленные Гумилевым слова беру в последней редакции, так как при всяком исследовании (подготовке нового издания) можно ориентироваться на нее только. Пишу все по новому правописанию, так как оно останется в обиходе теперь навсегда, и, наконец, думаю, что можно исправлять явные ошибки, как, например, мягкий знак после Ч и Ш в мужском роде, и только знаки препинания не буду трогать, так как в этой области каждый может выступать пионером и иметь свои особенности».¹³

Машинописная копия «Бимини» с пояснительными записками П. Н. Лукницкого хранится в РГАЛИ в фонде Л. В. Горнунга (Ф. 2813. Оп. 1. № 50). Текст поэмы занимает 47 л. Орфография современная. На л. 48 — примечания Лукницкого:

«Переписано с текста, напечатанного на пишущей машинке, находящегося во „Всемирной литературе”.

Поправки чернилами — мои (поправляю неточности переписки с подлинника).

Карандашные пометки (простым, красным и синим карандашом) — воспроизведены как в подлиннике».

Далее следует дата: «13/ХІІ 24» и подпись: «П. Л.».

На обложке синим, а на л. 1 простым карандашом надпись: «Блоку». На л. 1^б красным карандашом указан источник перевода: *Nachlese. III. Romanzen und Fabeln*. Простым карандашом по тексту расставлены восклицательные и вопросительные знаки.

Поскольку основной текст напечатан на машинке, можно предположить, что это копия с рукописи Лукницкого, сделанная Горнунгом.

Там же в фонде Н. С. Гумилева (Ф. 147. Оп. 1. № 28) хранится черновой вариант перевода «Бимини», написанный рукою Гумилева, чернилами, с его же правкой теми же чернилами (исправленный вариант совпадает с машинописным текстом). О происхождении этого документа сведений нет. При этом примечательно, что в рукописи отсутствуют 6 заключительных строф (приблизительно 1 лист тек-

⁸ Лукницкая В. Указ. соч. С. 240.

⁹ Н. С. Гумилев в переписке П. Н. Лукницкого и Л. В. Горнунга / Публ. И. Г. Кравцовой (при участии А. Г. Терехова) // Николай Гумилев: Исследования и материалы. Библиография. С. 494.

¹⁰ Там же.

¹¹ Там же. С. 503.

¹² Встреча Горнунга с Лукницким в Петербурге состоялась в конце марта—начале апреля 1926 года (см.: Там же. С. 537—538).

¹³ Там же. С. 544.

ста), т. е. именно такой фрагмент, который был обнаружен авторами «Гумилевских чтений» в собрании А. Е. Бурцева. Возможно, это части одной и той же черновой рукописи. Всего в рукописи 20 листов. Орфография старая. Буквы в начале строк то заглавные, то строчные (в машинописном варианте буквы заглавные). Знаки препинания проставлены не везде, но в целом совпадают с машинописным вариантом (включая восклицательные и вопросительные знаки).

Текст поэмы «Бимини» публикуется по автографу Гумилева за исключением шести заключительных строф, которые приводятся по машинописному варианту (совпадают с опубликованным в «Гумилевских чтениях» «Отрывком»). Орфография современная; исключение составляют некоторые варианты особого написания имен собственных и нарицательных (Кортец, сеньёра и др.). Пунктуация приведена к современным нормам, кроме отдельных случаев, рассмотренных как авторский знак. В подстрочных примечаниях приводятся первоначальные варианты перевода (в тех случаях, когда их можно было разобрать).

БИМИНИ

Пролог

Вера в чудеса! В цветок
Голубой, увядший ныне,
Но блиставший в каждом сердце
В воспеваемое мною

Время веры в чудо. Чудом
Кажется оно само.
Столько в нем чудес, что люди
Больше им не удивлялись.

Как в холодном свете будней,
Человек смотрел привычно
На чудеснейшие вещи,
Что могли бы превзойти

Их безумием безумье
Баснословий легендарных
Чернецов с сожженным мозгом
В старых рыцарских романах.

Как-то утром, как невеста,
Выплыло из океана
Синих вод морское диво,
Неизвестная страна —

Новая страна с иною
Человеческой породой,
Птицами, зверьем, цветами
И болезнями иными.

Тем же временем и старый,
Собственный наш старый мир,
Изменен, преобразован,
Тоже сделался чудесным.

Из-за откровений духа,
Современного нам духа,
Из-за чар Бертольда Шварца,
Из-за черного искусства

Волнователя из Майнца,
Также из-за волшебства,
Что владычествует в книгах,
Принесенных колдунами

Из Египта с Византией,
В современном переводе —
Книга Красоты одна
И другая Книга Правды.

Обе эти книги Бог
Написал на двух различных
Языках небесных, даже
Верим мы, собственноручно.

Старый мир иглой дрожащей,
Этим скиптром мореходов,
Колдовским жезлом, дорогу
В Индию себе открыл.

В вожделенную отчизну
Пряностей, везде растущих
В беспорядочном избытке,
Даже вьющихся во прахе,

Фантастических побегов
Трав, деревьев и цветов,
Что дворянство средь растений
Или камни из короны,

Пряностей, дотоль безвестных,
С их таинственным влиянием,
Что спасает человека,
Иногда же отравляет.

По тому смотря, кто станет
Их мешать: аптекарь умный
Иль бессмысленный венгерец
Из*** Баната.

И когда теперь ворота
Сада Индии открыли,
Море туков бальзамичных
И потоки сладострастных

Небывалых ароматов,
Опьяняющих рассудок
Их дурманом, сразу в сердце
Света Старого проникли,

Как гонимая пожаром,
Плетью огненною, кровь
Бесновалась, вожделея
Золота и наслажденья —

Но лишь золото осталось,
Так как с этой желтой сводней
Каждый сам себе добудет
Все земные наслажденья.

Золото отныне стало
Первым словом у испанца
На пороге в дом индейский —
Лишь потом воды просил он.

Перу с Мексикой узнали
Праздник золотой горячки,
И Пизарро и Кортес,
Пьяны золотом, валялись.

При паденьи храма Квито
Лопец Вакка, унеся
Солнце золота литого,
Весом центров двенадцать,

Проиграл его тотчас же,
И осталась поговорка:
«Это Лопец, проигравший
До восхода солнца солнце».

Ха! То были игроки,
Были воры и бандиты
(Все мы здесь не совершенны),
Но они творили чудо,

Превзойдя своей отвагой
Всю солдатчину вселенной,
От владыки Олоферна
До Радецкого с Гайнау.

В это время веры в чудо
Чудеса творили люди;
Тот, кто верил в невозможность,
Невозможное свершал.

Лишь глупец мог сомневаться,
Рассудительный же верил
И склонял перед чудесным
Низко голову мудрец.

Странно! Этих дней чудесных
Все звучит в уме сегодня
Удивительная повесть
Дон Жуана де Леон,

Что открыл для нас Флориду,
Но года искал напрасно
Для своей тоски чудесный,
Дальний остров: Бимини!

Бимини! При этом слове,
Сладком звуке у меня
Бьется сердце, и бывлые
Грезы юности проснулись,

На челе венки увяли,
Грустно смотрят на меня,
Точно кровью истекая,
Соловей рыдает мертвый.

И я вздрагиваю в страхе,
Содрогаюсь я так сильно,
Что потрескивают швы
На горячечной рубашке.

Но затем я улыбаюсь,
Потому что поугаи
Заскрипели смехотворно
И печально: «Бимини».

Помоги мне муза, фея
Париосса, дочь богов,
Докажи мне власть искусства
Благородного, поэзии —

Покажи, как ты колдуешь,
Преврати единым взмахом
Песнь мою в корабль волшебный,
Чтобы плыть на Бимини!

Лишь сказал я это слово,
Как исполнилось желанье
И корабль волшебный с доков
Мысли в воду погрузился.

Кто со мной на Бимини
Едет, господа и дамы?
Ветр попутный, вас доставит
Мой корабль на Бимини.

Вы страдаете подагрой,
Господа? Быть может, дамы
На своем челе лилейном
Уж морщинку отыскали?

Так за мной, на Бимини!
Там найдете исцеленье
От позорнейших пороков
При посредстве гидротатии.

И пожалуйста, не бойтесь,
Очень прочен мой корабль.
Из хореев, крепче дуба
Выстроены киль и помост.

На руле сидит Фантазия,
Радость правит парусами,
Юнги — быстрые остроты,
Здесь ли Разум? Я не знаю!

Реи — только из метафор,
Из гипербол — мачты, флаг мой
Черно-красно-золотой,
Баснословно-романтичный,

Флаг трехцветный Барбароссы,
Как его давно я видел
В Kyffhauzer'e и в соборе
Франкфуртском Святого Павла. —

Быстро морем мира сказки,
Синим морем мира сказки,
Мой корабль, корабль волшебный,
Тянет борозды мечтанья.

Одинок, на берегу
Кубы, пред водой зеркальной
Человек стоит и смотрит
Как в воде он отразился.

Человек тот стар, но прямо
Держится он, по-испански.
И странна его одежда
И матроса, и солдата.

Вот штанов рыбацких складки
Падают из-под камзола
Желтого, оленьей кожи;
Золотая португезя

Меч поддерживает длинный,
Неизбежный, из Толедо;
И над серым фетром вьются
Красные петушки перья.

И они склонились томно
К лику старца, над которым
Современники и время
Так досадно потрудились.

Там с морщинами, что годы
И тяготы проложили,
Перекрещивались шрамы
Давних сабельных ударов.

Искрометно предо мною
В колыхающей сини
Стаей плещутся веселой
Большеротые дельфины —

И на них верхом несутся
Водяные почтальоны.
То амуры, что, надув
Щеки, в раковины трубят.

Трубят в звонкие фанфары,
Но послушай! Как звучит там
Из глубин морских внезапно
То хихиканье, то смех.

Ах, я знаю эти звуки,
Эти сладкие насмешки —
То задорные Ундины
Недоверчиво смеются

Надо мной, над шутовским
Кораблем, над шутовскою
Публикой и над поездкой
Шутовской на Бимини.

I

Не с особенной приязнью,
Как мне кажется, старик
Озабоченный взирает
На свое изображение.

То протягивает, точно
Защищаясь, обе руки,
То качает головою,
Сам с собою говоря:

«Это ль Дон Жуан де Леон,
Паж веселый при дворе
Дона Гомеца, носивший
Шлейф за дочерью Алькада?»

Он был строен и воздушен,
Золотые кудри вились
Вкруг чела, в котором жили
Легкомыслие и счастье.

Все красавицы Севильи
Знали шаг его коня,
И они бросались к окнам,
Как по улицам он ехал.

Звал ли он свою собаку,
Языком о небо щелкнув,
Этот звук пронзал сердца
Розовеющих красавиц.

Это ль Дон Жуан де Леон,
Бывший пугалом для мавров
И срубавший, как репейник,
Эти головы в тюрбанах?

На равнине пред Гренадой
И передо всем Христовым
Воинством сам Дон Гонзальво
Дал мне рыцарское званье.

В тот же самый день под вечер
Я в палатке у инфанта
Танцевал под звуки скрипок,
Выбирая лучших дам.

Но не звуки этих скрипок,
Не приветы дам прекрасных
Слышал я в чудесный вечер
Дня того — как жеребенок

Топал по полу палатки,
Я и слышал только звоны,
Только звоны этих первых
Золоченых шпор моих.

Но с годами честолюбье
Появилось, и поехал
Я с Колумбом во второе
Путешествие его.

И всегда остался предан
Я второму Христофору,
Свет несущему Спасенья
Для язычников чрез воды.

Глаз его я не забуду,
Молча он страдал и только
Ночью жаловался звездам
И бушующим волнам.

И когда Колумб в Севилью
Возвратился, нанялся
Я к Ойеде, чтобы вместе
Приключений поискать.

Дон Ойеда славный рыцарь
Был от головы до ног,
И у короля Артура
Лучше не было когда-то.

Битва лишь была отрадой
Для него. Смеясь, сражался
Он с отрядами индейцев,
Окружавшими его.

Ядовитую стрелю
Был он ранен, но железом
Раскаленным сразу выжег
Рану, весело смеясь.

Как-то по пояс в болотах,
Из которых был нам выход
Неизвестен, наудачу,
Без еды и без питья,

Мы уж тридцать дней тащились,
Только двадцать человек
Изо ста, а остальные
Умерли при переходе —

А болото становилось
Глубже все — и вот мы встали,
Но Ойеда влил в нас храбрость,
Так же весело смеясь.

Мой товарищ по оружию
После стал Бальбоа — этот
Был отважен, как Ойеда,
Но знаком с военным делом.

Все орлы высокой мощи
В голове его гнездились,
И великодушие в сердце,
Точно солнце, пламенело.

Для Испании открыл он
Сотни королевств, обширней,
Чем Европа, и богаче,
Чем Венеция и Фланды,

Лишь пеньковую веревку
Получил он: на базарной
Людной площади Бальбоа,
Как преступник, был повешен.

Не такой прекрасный рыцарь,
Да и духом послабее,
Но чудесный полководец
Дон Фернандо был, Кортес.

В незначительном отряде,
Мексикю завоевавшем,
Я служил — и много тягот
Вынес при походе этом.

Много золота я добыл,
Но и желтую горячку —
Ах, здоровья половину
Потерял у мексиканцев.

Золотом я каравеллы
Нагрузил, своей доверяясь
Собственной звезде, и вот
Я открыл здесь остров Кубу.

И теперь им управляю
Для Жуанны и Фернандо
Арагонских и Кастильских,
Высочайше благосклонных.

Все теперь мое,¹⁴ к чему
Люди яростно стремятся,
Милость царская, почет,¹⁵
Также орден Калатравы.

Губернатор я, храню
В кладовых песет сто тысяч
В слитках золота, каменья
Ценные и жемчуга.

Ах! Смотреть на этот жемчуг
Мне бывает очень грустно:
Лучше б зубы получить мне,
Зубы юности моей.

Зубы юности! С зубами
Ведь и юность я утратил —
Вспомню лишь, и скрежещу
Я гнилыми корешками.

Зубы юности и юность,
Если б вас купить обратно,
Как охотно бы расстался
Я со всеми жемчугами,

С драгоценными камнями,
Золотом моим, что стоит
Тысяч сто песет, и дал бы
С ними орден Калатравы.

Пусть возьмут богатство, славу,
Губернаторское званье,
Пусть зовут меня мальчишкой,
Молодым зевакой, дурнем!

О блаженнейшая Дева,
Сжался, сжался над безумцем,
Что томится и стыдливо
Прячет суетное горе!

Дева! Я Тебе открою
Душу, лишь Тебе признаюсь,
В чем ни одному святому
В небе я б не смог признаться —

Так как все они мужчины
И не смеют даже в небе

С состраданьем улыбаться
Над Жуаном де Леоном.

Ты же женщина, о Дева,
И хотя вовек нетленна
Красота твоя, но умным,
Женским ты чутьем поймешь,

Как страдает преходящий
Человек, утратив силу
И великолепье тела,
Ставшего карикатурой.

Ах, счастливей нас деревья,
На которых в то же время
Тот же самый ветер осенний
Лиственный наряд сбивает.

Все они зимой голы,
Нет тогда ни деревца,
Чья бы зелень потешалась
Над увядшими друзьями.

А у нас переживает
Каждый собственное время,
И одни дружны с весною,
Над другими же зима.

Горько старец ощущает
Боль бессилия при виде
Молодого сил избытка, —
О блаженнейшая Дева!

Отряхни же с плеч усталых
Этот грустный зимний возраст,
Голову мне оснеживший,
Остужающий мне кровь, —

Солнцу прикажи, чтоб снова
Пыл в мои пролило вены,
И весне, чтоб разбудила
Соловьев в груди моей —

Ах, отдай щекам их розы,
Золотые кудри дай
Голове моей, о Дева, —
Дай мне молодость обратно!»

¹⁴ Было: «Я достиг всего». Зачеркнуто.

¹⁵ Было: «Славы, Царства, ласк, почета, славы». Зачеркнуто.

И когда Жуан де Леон
Сам себе сказал все это,
Вдруг с невыразимой болью
Он закрыл лицо руками.

II

И на суше рыцарь верен
Всем былым морским привычкам,
Как на корабле когда-то
Спит он ночью в гамаке.

И от мерного движенья
Усыпляющих приливов
Он не хочет отказать
И велит качать гамак.

Это дело правит Кака,
Пожилая индианка,
И павлиньим опахалом
От лица москитов гонит.

И качая колыбельку,
Убаюкивает старой
Песней родины своей
Престарелого ребенка.

Волшебство в напеве этом
Или в голосе, который
Звонок, точно щебетанье
Чижика? Она поет:

«Птичка малая, Колибри,
Уведи нас к Бимини;
Ты лети вперед, мы следом
В разукрашенных пирогах.

Рыбка малая, Бридиди,
Уведи нас к Бимини;
Ты плыви вперед, мы следом
С расцветченными шестами.

Там на Бимини сверкает
Радость вечная весны,
Жаворонки золотые
Кличут в небе: тирили.

Стройные цветы покрыли
Изумрудные саванны,

И стонал он, и рыдал он
Так безумно, горько, бурно,
Что потоки слез катились
Сквозь его худые пальцы.

Сладостные ароматы,
Краски пышные горят.

Высятся большие пальмы
Вырезными веерами
И саваннам навевают
Теневые поцелуи.

И на почвы Бимини
Драгоценный бьет источник,
И его вода чудесна,
Так как юность возвращает.

Стоит лишь цветок увядший
Взбрызнуть этою водою,
Он внезапно расцветает
Прежней свежей красотой.

Стоит лишь сучок засохший
Взбрызнуть этою водою,
Он, прелестно зеленея,
Почки новые пускает.

Выпьет эту воду старец,
Снова станет молод; старость
Сбрасывает он, как жук
Гусеницы оболочку.¹⁶

Много там седых голов
Допилось до кудрей русских
И стыдятся возвратиться
Желторотыми птенцами.

Не одна старушка также,
Что себе вернула юность,
Не решается домой
Молодой идти девчонкой —

И остались эти люди
Навсегда на Бимини;
Счастье и весна их держат
В царстве молодости вечной.

¹⁶ Было: «Одеянье». Зачеркнуто.

К царству молодости вечной,
К золотому Бимини
И меня влечет томленья;
Вы, друзья мои, прощайте!

Старый кот мой, Мимили,
Кирики, петух мой старый,

Всем прости, ведь не вернемся
Мы обратно с Бимини!»

Пела женщина. И рыцарь
Дремлет, дремой опьяненный,
Как во сне, порой бормочет
Он по-детски: «Бимини!»

III

Солнце весело сияет
Над заливом и над Кубой:
И сегодня в синем небе
Только скрипки раздаются.

От весенних поцелуев
Покраснев, в зеленом лифе
Весь разряжен, как невеста,
Искрится прекрасный остров.

Красочно переливаясь,
Много всякого народа
Вышло на берег; но вместе,
Как одно, сердца их бьются.

И одно и то же всеми
Утешенье овладело,
Окрылило — и сказалось
В радостной и тихой дрожи

Дряхлой сморщенной старухи,
Что ползет на костыле
И, перебирая четки,
Шамкает свой Pater Noster —

То же самое сказалось
Утешение в улыбке
Раззолоченной сеньёры,
Принесенной в паланкине,

И болтающей с гидальго,
Возле рта держа цветок,
Тот, концы усов кусая,
С нею радостно шагает —

И у вытянутой стражи
На лице заметна радость,
И на лице клерикальном,
Человеческом сегодня —

Как сюртук сегодня черный
Крепко руки потирает!
Как двойной свой подбородок
Расправляет капуцин!

И епископ, что обычно
Выглядит брюзгою, к мессе
Приступая, потому что
Это завтрак отдаляет —

Даже он теперь доволен,
Радостен карбункул носа,
И в роскошном облаченьи
Он качается довольный

Под пурпурным балдахином
С мальчуганами из хора
И со свитою духовных,
Золотой парчой покрытых

И подъемлющими зонты
Желтые над головами,
Что колышутся порою
Как огромные грибы.

И процессия стремится
Прямо к алтарю Господню,
Он же под открытым небом
Здесь на берегу воздвигнут

И цветами изукрашен,
Лентами и образами,
Серебром и мишурою
И зажженными свечами.

И само Преосвященство
Служит мессу здесь у моря,
Он с молитвою святою
Хочет дать благословенье

Отплывающей флотилии,
Что качается¹⁷ на рейде
И готовится открыть
Бимини, чудесный остров.

Да, суда на рейде — это
Те, что Дон Жуан де Леон
Снарядил, снабдил людьми,
Чтоб открыть чудесный остров,

¹⁷ Было: «готовится». Зачеркнуто.

Где дарующая юность
 Нежно плещется вода. —
 Много тысяч пожеланий
 С берегов летят за ним,

 За спасителем народа, —
 Каждый верит, что герой
 Для него, назад вернувшись,
 Привезет в бутылке юность.

Уж иной в воображеньи
 Пьет целительный напиток
 И качается от счастья,
 Как на рейде корабли.

Из пяти судов составлен
 Этот флот — одна большая
 Каравелла, две фелуки
 И две малых бригантины.

Адмиральское судно —
 То большая каравелла
 И на флаге герб Кастильи,
 Арагонии и Леона.

И она, подобно куще,
 Изукрашена ветвями
 И гирляндю цветочной
 И цветными вымпелами.

«Эсперанца» — ей названье,
 На корме, на мачте — куклы,
 Виден образ этой Донны
 В натуральный рост из дуба,

И раскрашен превосходно
 И отлично лакирован,
 Не страшится бурь и ветра
 Величавая фигура.

И лицо кирпично-красно,
 И кирпично-красна шея,
 А под нею лиф зеленый,
 Юбка тоже зелена,

Зелен и венок на черных,
 Смоляных кудрях, глаза,
 Брови также смоляные,
 Якорь у нее в руке.

Экипаж флотилии сто
 Восемьдесят человек,
 Женщин шестеро меж ними,
 Только шестеро аббатов.

Восемьдесят человек
 С дамою — на каравелле,

Там, где Дон Жуан де Леон
 Сам плывет. Зовется Какой

Эта дама, да, старуха
 Кака, сделалась сеньёрой
 Жуанитою с тех пор,
 Как ее поставил рыцарь

Отгонительницей первой¹⁸
 Муж, качающей гамак,
 И мундшенкершей в грядущем,
 На счастливом Бимини.

Символ должности подьемлет —
 Золотой бокал она,
 И подобрана туника
 Так высоко, как на Гебе.

Брюссельские кружева,
 Ожерелья прикрывают
 На сеньёре престарелой
 Темные ее красоты.

В людоедском-рококо,
 Каранбеко-помпадурском
 Стиле высится парик,
 Птичками везде утыкан,

Птичками, жуков не больше,
 Но зато в роскошных перьях,
 Точно из цветов блестящих,
 Иль камней драгоценных.

Та прическа шутовская
 Превосходно отвечает
 Какиной оригинальной
 Попугайной физиономии.

Боковой фигурой к этой
 Роже служит дон Жуан,
 Он, поверя безусловно
 В скорое преображение,¹⁹

Уж заранее облекся
 В милой юности одежду,
 Разрядился в пестрый, пестрый
 Модный франтовской наряд:

С колокольчиками туфли
 Клювовидные; с разрезом
 Панталоны, и нога
 Правая в чулке зеленом,

В красном левая; кафтан
 Из атласа; плащ задорно
 Брошен за плечо, и перья
 Страусовые на берете.

¹⁸ Было: «муж». Зачеркнуто.

¹⁹ Было: «будущее обновление». Зачеркнуто.

Так разряженный, и лютно
Пред собой держа, порхаёт
Адмирал туда, сюда,
Отдавая приказанья.

Он велит, чтоб поднят якорь
Был в тот самый миг, когда
Окончание обеда
Возвестят ему сигналом.

Он велит, чтоб при отплытьи
Пушки кораблей его,
Целых тридцать раз стреляя,
Отсалютовали Кубе.

И смеется он и кружит,
Как волчок, на каблуках,
Так его пьянит напиток
Упоительной надежды.

Струны бедные он щиплет,
Лютня жалуется горько,
Дряхлым голосом разбитым
Блеет он слова напева:

«Птичка малая Колибри,
Рыбка малая Бридиди,
Полетите, поплывите,
Путь откройте к Бимини!»

IV

Дон Жун де Леон, правда,
Не был ветреником глупым
В день, когда осуществил он
Странствование к Бимини.

О его существованьи
Он не допускал сомнений —
Песня — сказка старой Каки
Для него была порукой.

Больше всех других людей
К чудесам моряк доверчив;
Пред его глазами вечно
Чудеса небес горящих.

А вокруг него бушуют,
Полны тайной, воды моря,
Недра, из каких когда-то
Вышла донна Афродита.²⁰

Мы в последующих стопах
Добросовестно расскажем,
Сколько вынес рыцарь тягот,
Сколько бедствий и напастей.

И не только не излечен
Был от старости, бедняга,
Но и сокрушен иными
Оскорблениями для тела.

Ах, пока искал он юность,
С каждым днем старел все больше,
И в морщинах, истощенный,
Наконец достиг земли —

Тихой той земли, где жутко
Под тенистым кипарисом
Плещет речка, чья вода
Также дивно исцеляет —

Летой та река зовется,
Пей оттуда, и забудешь
Всю печаль — забудешь ты
Все прошедшие страданья —

Добрый край с водою доброй!
Кто достиг его, не кинет
Никогда — затем, что это
В самом деле Бимини.

Машинописная копия «Вицли-Пуцли» с пояснительной записью П. Н. Лукницкого хранится в РГАЛИ в фонде Л. В. Горнунга (Ф. 2813. Оп. 1. № 52). Текст поэмы занимает 39 л. Орфография современная. На конверте, в котором хранится рукопись, надпись: «Точная копия с машинописи, снятая П. Н. Лукницким». На л. 11 — запись Лукницкого: «13/XII 1924. Переписано с текста, напечатанного на пишущей машинке, находящегося во „Всемирной литературе”». На л. 1 надпись простым карандашом: «Оплачено». На л. 1⁶ надпись простым карандашом: «Подстр[очник] — Гинцбург, ред — ...».

²⁰ Здесь рукописный вариант обрывается.

Поскольку основной текст напечатан на машинке, можно предположить, что это копия с рукописи Лукницкого, сделанная Горнунгом.

Поэма «Вицли-Пуцли» публикуется по этому машинописному тексту. Орфография современная; исключения составляют некоторые варианты особого написания имен собственных (Жортец и др.). Пунктуация приведена к современным нормам, кроме отдельных случаев, рассмотренных как авторский знак.

ВИЦЛИ-ПУЦЛИ

Вот Америка пред вами,
Вот он этот Новый Мир,
Не теперешний, что вянет
Под влияньем европейским.

Вот он Новый Мир такой же,
Как его из океана
Христофор Колумб извлек,
От воды еще блестящий.

В брызгах, точно в жемчугах,
Что летят, переливаясь
Красками под лаской солнца.
Как здоров он, этот Мир.

Не кладбище романтизма
И не древняя гора
Символов заплесневелых,
Париков окаменевших,

На здоровой почве будут
Лишь здоровые деревья.
Нет усталых здесь, и встретить
Здесь нельзя спинной сухотки.

На ветвях большие птицы
Там качаются. Их перья,
Как цветы. Носы уныло
Повисают, а глаза

Точно из очков взирают
Молчаливо на тебя —
Миг — и резко крикнут птицы
И как кумушки зашепчут.

Но невнятен мне их говор,
Хоть и я в наречьях птичьих
Не слабее Соломона,
Мужа многих тысяч жен.

И искусного не только
В языке тогдашних птиц,
Но и в мертвых, позабытых
Идиомах птичьих чувел.

Новый Мир, цветы новы
И новы их ароматы,

Бешеные ароматы,
Проникающие в ноздри,

Щекоча, дрожа так страстно,
Что томится обонянье,
Вспоминая, где, когда я
Этот запах нюхал прежде.

Было ль то на Риджент Стрите
В желто-солнечных объятьях
Обаятельной Яванны,
Что всегда цветы жевала.

Иль то было в Роттердаме,
Возле статуи Эразма,
В белой вафельной палатке
За таинственной завесой.

И пока на Новый Мир
Озадаченно смотрю я,
Кажется, я сам внушаю
Большой страх — вот обезьяна,

Что спаслась в кусты в испуге,
Крестится, меня завидя,
И взывает: «Привиденье
Высылает Старый Мир».

Не пугайся, обезьяна,
Я не дух, не привиденье.
Жизнь в моих клокочет жилах,
Жизни преданный я сын.

Но от частого общенья
С мертвыми я перенял
Множество дурных привычек,
Тайных странностей у них.

В их жилищах потерял я
Годы лучшие мои,
Как в горе Венеры, в прочих
Катакомбах романтизма.

Не пугайся, обезьяна.
Я люблю тебя, ты носишь
На потертом голом заде
Дорогие мне цветы.

Черный, красный, золотистый,
Обезьяний зад меня

Заставляет с тайной грустью
Вспомнить знамя Барбароссы.

I

Вкруг чела носил он лавры,
Пели шпоры золотые
На ногах, и все же не был
Ни герой он и не рыцарь.

И его так ценят люди,
Что пресытились Европой,
Да и Азией, а также
Африкой утомлены.

Был он только вождь бандитов,
В мировую книгу славы
Наглым кулаком вписавший
Имя наглое: Кортес.

Лишь один герой, единый,
Дал нам больше, дал нам лучше,
Чем Колумб, и этот был
Тот, кто подарил нам Бога.

Да, под именем Колумба
Написал его он тотчас,
И заучивает школьник
Оба имени подряд, —

Был отец его Амрамом,
Звали мать Иохабет,
Сам он назван Моисеем,
Это лучший мой герой.

И немедля за Колумбом
Называет он Кортеса,
Как второго исполина,
Кем гордится Новый Мир.

Но, Пегас мой, слишком долго
Остаешься ты с Колумбом —
Наш полет сегодня должен
Быть над меньшим, над Кортесом.

Вот она, судьба героя,
Сочетается его
Имя с именем бандита
В представлении людей.

Разверни, о конь крылатый,
Крылья пестрые, неси
В Новый Мир меня, и в область
Ту, что Мексикой зовется.

И не лучше ли скончаться
Неизвестным, чем влачить
В вечность за собой такое
Сочетание имен.

Отнеси меня в тот замок,
Что властитель Монтесума
Для своих гостей испанских
Предложил гостеприимно.

Мессер Христофор Колумб
Был героем и душою
Ослепителен, как солнце,
Был и щедрым, как оно.

Но не только кров и пищу
В расточительном избытке,
Дал король чужим бродягам
И роскошные подарки;

Пусть дают иные много,
Этот миру подарил
Целый новый мир, который
Был Америкою назван.

Украшенья золотые,
Драгоценные каменья
Говорили о любви
И величии Монарха.

Он не мог освободить нас
Из земной темницы тесной,
Но сумел ее расширить,
Нашу цепь он удлинил.

Этот слепо-суеверный
Невоспитанный язычник
Верил в преданность и честь,
В святость прав гостеприимства.

Снизолел он к приглашенью
Посетить веселый праздник,
Тот, что в замке их испанцы
В честь его решили дать.

Как та праздничная пьеса
Называлась, я не знаю,
«Честь испанская», быть может,
Автором был ея Кортес.

Знак он подал — и внезапно
Окружили короля,
И связали и держали
Как заложника в их замке.

Но скончался Монтесума
И обрушилась плотина,
Защищавшая от гнева
Всей страны авантюристов.

Начался пожар ужасный,
Точно бешеное море
В диком гневѣ бушевали
Человеческие волны.

Хоть испанцы отбивали
Каждый штурм. Но ежедневно
Начинался перед замком
Утомительный турнир.

С королевской смертью стала
И доставка провианта,
Сделался обед короче,
Лица делались длиннее.

И смотрели друг на друга,
Лица вытянув, испанцы
И вздыхали о любезной
Христианской их стране,

О покинутой отчизне,
Где звенят колокола
И кипит над очагами
Мирно Оллеа-Потрида,

И тушеные Грабанос,
Под которыми, наверно,
Скрылись с запахом лукавым
И чесночные сосиски.

Вождь собрал совет военный,
И решили отступленья;
Надо завтра на рассвете
Город армии оставить.

Удалось войти легко
Хитростью сюда Кортесу,
Но зато при возвращеньи
Много бедствий предстояло.

Мехико — то город-остров,
Расположенный средь вод,
Поднялась посередине
Гордая морская крепость,

С берегом соединяясь
Лишь плотами и мостом,
Что лежат на мощных сваях;
Островки вокруг, как броды.

Прежде, чем поднялось солнце,
В путь направились испанцы,
Не стучали барабаны,
Не трубили трубачи.

Не хотели слишком рано
Разбудить своих хозяев
(Тысяч сто уже индейцев
Перед замком собрались).

Но на этот раз испанец
Без хозяев свел расчеты;
Много раньше пробудились
В это утро мексиканцы.

На мостах и на плотинах
И у бродов собирались,
Чтобы там прощальный кубок
Поднести своим гостям.

На мостах, плотинах, бродах
Начался безумный пир,
Кровь потоками струилась,
И гуляки бились дерзко —

Бились тесно, тело к телу,
И мы видим ясный оттиск
На груди индейца голый
Арабесок с лат испанских.

Удавление, удушенье,
Сеча медленно катилась,
Жутко, медленно, все дальше
По мостам, плотам и бродам.

Мексиканцы пели, выли,
Но испанцы бились молча,
Отвоевывая почву
Для побега шаг за шагом.

Для боев в проходах узких
В этот день годилась мало
Европейская наука,
Пушки, лошади и латы.

Обременены испанцы
Были золотом, тем самым,
Что награбили недавно —
Горе, желтая обуза

Сковывала их движенья,
Этот дьявольский металл,
Он губил не только душу
Бедную, но с ней и тело.

Этим временем покрылись
Воды барками, ладьями;
А из них стрелки стреляли
По мостам, плотам и бродам.

Попадали, правда, в свалке
В братьев собственных порою,
И ни в одного за это
Благородного Гидальго.

Был сражен за третьим бродом
Юнкер Гастон, несший знамя

С вышитым изображеньем
Богоматери Пречистой.

И впились в изображение
Стрелы меткие индейцев;
Шесть блестящих стрел засели
В сердце — блещущие стрелы,

Золотым мечам подобны,
Тем, что в пятицу страстную
На процессиях пронзают
Сердце Mater Dolorosa.

Смерть почувствовал дон Гастон,
Знамя передал Гонзальво,
Но и он, пронзенный, тоже
Скоро пал. — Тогда схватил

Сам Кортес святое знамя,
И высоко на коне
Нес его он до заката,
Прекратившего сраженье.

Сто и шестьдесят испанцев
Смерть свою нашли в тот день;
Восемьдесят их живыми
В плен достались мексиканцам.

Были ранены иные,
И они погибли позже.
И десяток лошадей
Был убит или захвачен.

Только к вечеру достигли
И Кортес и войско суши
Безопасной — берегов,
Тонущих в плакучих ивах.

II

За ужасным днем сраженья
Колдовская ночь победы;
Сотни праздничных огней,
Пламя факелов смолистых,
Свой полдневный свет бросают
Ярко на дворцы и храмы,

Зданья цехов, но всех больше
На твердыню Вицли-Пуцли,
Храм его из красных плит,
Что напомнил бы Египет,

Вавилон и Ассирию,
Их чудовища-постройки,
Как мы зрим их на картинах
Генри Мартина британца.

Те же лестницы, площадки,
Столь широкие, что там

Вверх и вниз проходят вместе
Много тысяч мексиканцев,

А на ступенях отряды
Диких воинов уселись,
Пальмовым вином и славой
Опьяненные пируют.

Эти лестницы зигзагом
Приближаются к площадке,
Окруженной балюстрадой
Длинной плоской крыше храма.

Там на троне-алтаре
Восседает Вицли-Пуцли,
Бог сражений кровожадный.
Он чудовище по виду

И однако так забавен,
Так затейлив и ребячлив,
Что помимо жуткой дрожи
Пробуждает в нас смешливость.

На него взглянув случайно,
Разумеется, припомним
Базельской мы бледной смерти
Образ Маннкен-Пис Брюсселя.
(Образ иль фонтан в Брюсселе.²¹)

Рядом с богом встали справа
Светские, жрецы ж налево;
В облаченьи пестрых перьев
Нынче гордо духовенство.

А на ступенях алтарных
Сел столетний человек,
Череп гол и подбородок,
Но кафтанчик ярко-красный.

Это жертвоприноситель,
Точит он свои ножи,
Улыбаясь, и косится
Иногда наверх на бога.

Вицли-Пуцли, очевидно,
Эти взгляды понимает,
И бровями шевелит
И жует губами даже.

И на корточках уселись
Храмовые музыканты,
С ними трубы и литавры,
Слышен трубный звук и грохот —

Слышен трубный звук и грохот —
И подтягивает хор
Мексиканское Те Деум
Как мяуканье кошачье.

Как мяуканье кошачье,
Но породы крупной, точно
Это тигровые кошки,
Истребители людей.

И когда полночный ветер
Звуки к берегу относит,
То испанцам на душе
Сразу скверно, как с похмелья.

Между ив плакучих грустно
Все еще стоят они,
Смотрят пристально на город,
Что на темных, темных водах

Отражается, смеется
Бесконечными огнями —

И они, как бы в партере
Оживленного театра,

А пред ними крыша храма
Вицли-Пуцли, точно сцена,
Где победы празднество,
Как мистерию играют.

Пьеса «Жертвоприношенье
Человеческое» — древен
Тот сюжет; у христиан
Зрелище не так ужасно.

Стала кровь у них вином,
Человеческое тело —
Безобидным жидким блюдом,
Кашицей мучною стала.

Но на этот раз у диких
Понята была потеха
Посерьезней: ели мясо,
Кровь была людскою кровью.

И была та кровь чистейшей
Кровью старых христиан,
Что не смешивалась с кровью
Иудеев или мавров.

Радость, радость Вицли-Пуцли,
Кровь испанская прольется,
Теплым запахом так жадно
Ты насытишь обонянье.

Нынче в честь твою зарежут
Восемьдесят всех испанцев,
Величавое жаркое
Для стола твоих жрецов.

Жрец твой человек, а люди
Лишь несчастные обжоры
И не могут жить одним
Ароматом, точно боги.

Слушай, бьют литавры смерти,
И визжат рога баранов,
Возвещая, что подходит
Вереница обреченных.

Восемьдесят гнусно-голых
Пленных, руки за спиною
Крепко связаны, их тащат
Вверх по лестнице на крышу.

Пред кумиром Вицли-Пуцли
Заставляют их склониться,
В шутовской запрыгать пляске,
Подвергают после пыткам,

²¹ Помета П. Н. Лукницкого: «вариант».

Столь жестоким и ужасным,
Что пытаемых моленья
Раздаются громче всей
Катавасии людоедов —

Жаль мне зрителей далеких,
И Кортец и кто с ним был
Услыхали и узнали
Сотоварищей призывы;

Их на сцене освещенной
Было также видно ясно,
Видно лица и фигуры,
Виден нож, видна и кровь —

И испанцы сняли каски,
Опустились на колени,
И псалом запели мертвых,
Затянули «De Profundis».

Между испустивших дух
Был и Раймонд де Мендоза,
Сын прекрасной аббатисы,
Первой радости Кортеца.

И когда на груди трупа
Медальон Кортец увидел
И портрет в нем материнский,
Слезы светлые он пролил —

Но сейчас отер их твердой
Буйволиною перчаткой,
Глубоко вздохнул и начал
Петь с другими «Misereere».

Уж бледней сверкают звезды,
Поднимаются туманы
Над водой, как привиденья,
Что волочат простыни.

Праздник кончен, свет погашен
На высокой крыше храма,
Где, храпя, лежат жрецы
На полу, залитом кровью.

Лишь не спит кафтан багряный,
При огне последней лампы,
Сладко щурясь, балагурия,
Жрец беседует с кумиром:

«Вицли-Пуцли, Вицли-Пуцли,
Мой любимый Вицли-Пуцли:
Нынче ты повеселился
И понюхал благовоний.

Нынче кровь была испанцев —
И она дымилась вкусно,
И твой тонкий нос обжоры
Сладострастно заблестел.

Завтра мы коней зарежем,
Благородных, ржущих чудищ,
Порожденных духом ветра
С матерью, морской короной.

Будешь милым, я зарежу
Для тебя моих двух внуков,
Мальчиков со сладкой кровью,
Старости моей отраду.

Но ты должен быть послушным,
Дать нам новые победы —
Дай еще побед нам, милый
Вицли-Пуцли, Вицли-Пуцли.

И пошли врагам погибель,
Чужестранцам, что из дальних
Неоткрытых стран приплыли
Через море мира к нам.

Что лишило их отчизны,
Был то голод или грех,
„Дома будь, питайся честно”
Смысл пословицы старинной.

И чего им надо. Прячут
Наше золото в карманы
И хотят, чтоб мы на небе
Стали счастливы потом.

Мы поверили, что это
Существа иной породы,
Дети солнца, что бессмертны,
Правят молнией и громом.

Но их можно убивать,
Как других, как всех, и нож мой
Испытал сегодня ночью,
Что они, как люди, смертны.

Люди, да, и не прекрасней
Нас, других; среди них иные
Безобразны, как мартышки;
Так же точно волосаты

Лица их и, говорят,
У иных в штанах сокрыты
И хвосты, как у мартышек, —
Для чего штаны бесхвостым.

И душа их безобразна,
Незнакома с благочестьем,
Говорят, они съедают
Даже собственных богов.

Истреби ж отренье злое,
Пожирателей богов,
Вицли-Пуцли, Вицли-Пуцли,
Дай побед нам, Вицли-Пуцли». —

Так промолвил жрец кумиру.
И кумир ему ответил
С хриплым вздохом, точно ветер,
Что тростник ласкает ночью:

«Ты, палач в кафтане красном,
Ты зарезал много тысяч,
Так вонзи свой нож священный
В тело старое свое.

Из распоротого брюха
Выскользнет тогда твой дух
И засеменит по камням
Он к лягушечьему пруду.

Тетка там моя, царица
Крыс, живет — она промолвит:
— Здравствуй, голая душа,
Он здоров ли, мой племянник?

Вицлипуцлиствует славно
В золотом, медовом свете
Так же ль счастье отгоняет
От чела и мух и скуку?

Иль царапает его
Кацлагара, зла богиня,
Когтем черным и железным,
Смоченным змеиным ядом?

Голая душа, ты молвишь:
— Вицли-Пуцли шлет поклон
И чуму тебе желает
В твой, проклятая, живот.

Ты на бой его толкнула
И совет твой был несчастен,
Злая, вот готово сбыться
Предсказанье дней минувших:

„Ждет погибель государство
Из-за мужей бородатых,
Что на птицах деревянных
Прилетят сюда с востока”.

И пословица есть также:
„Воля женщин — воля бога” —
Но двойная воля бога,
Если хочет Богоматерь.

И она гневна со мною,
Неба гордая царица,
Дева, знающая тайны,
Сотворяющая чудо.

Дорог ей народ испанский,
Нам же суждено погибнуть,
Мне, что всех богов несчастней,
Бедной Мексике моей.

А исполнишь порученье,
Голая душа, укройся
В нору каменную, спи,
Моего не зная горя.

Этот храм разрушен будет,
Сам я провалюсь в чаду
Между дыма и развалин,
Чтоб никто меня не видел.

Все ж я не умру, мы, боги,
Старимся, как попугаи,
Мы линяем и меняем
Только наше оперенье.

Я на родину врагов,
Что Европою зовется,
Улечу и там начну
Новую мою карьеру,

Обращусь я в черта, станут
Именем моим чураться,
И как злейший враг врагов
Там сумею я работать.

Я хочу их злобно мучить,
Привиденьями пугать их,
Предвкушенья ада, серу
Дам им чуютъ беспрестанно.

Мудрецов их и безумцев
Соблазнять, манить я буду,
Щекотать их добродетель,
Чтоб, как ведьма, хохотала.

Чертом сделаться хочу я
И приветствую, как близких,
Вельзевула, Астарота,
Сатану и Белиала.

И тебе привет мой тоже,
Мать грехов, змея Лилит.
Научи меня коварству,
Дивному искусству лжи.

Мексика моя родная,
Я спасти ее не в силах,
Но отомстить хочу ужасно
Я за Мексику мою».

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

© В. А. Ромодановская

О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И НОВОГО ВРЕМЕНИ*

В конце лета 2005 года в свет вышла объемная, почти 40 печатных листов, книга, принадлежащая перу известного петербургского источниковеда, искусствоведа, литературоведа Ольги Андреевны Белобровой. Озаглавленная «Очерки русской художественной культуры XVI—XX веков», она является результатом более чем сорокапятилетней работы автора и объединяет 38 статей.

Сразу следует оговориться, что подзаголовок «Сборник статей» весьма условен: вниманию читателя представлено не переиздание работ исследовательницы, вышедших в разное время и в различных изданиях, от Трудов Отдела древнерусской литературы до публикаций в сборниках Нижнего Новгорода (Горького) и Сергиево-Посадского музея, которому О. А. Белоброва посвятила более десяти лет жизни, — а единая монография, в которой из отдельных звеньев, словно мозаика, выстраивается цельная картина русской культуры нескольких столетий. Опубликованные ранее работы пересмотрены и переработаны автором с учетом новейших данных и библиографии; особенно, как следует из примечаний, были дополнены статьи «Об иконографии Максима Грека», «Еще раз об иконографии Максима Грека», «Портретные изображения Дионисия Зобниновского», «О библиях с гравюрами в русских библиотеках второй половины XVII—начала XVIII в.», «О древнерусских подписях XVII—XVIII вв. к циклам библейских гравюр иностранных изданий». Ряд исследований О. А. Белобровой («Об изучении и публикации лицевых списков житий русских святых», «О лицевом списке Жития Сергия Радонежского в библиотеке Петра I», «Гравированные „Страсти Христовы“, с виршами, в рукописных сборниках XVIII в. из Древлехранилища Пушкинского Дома») представлен вниманию читателя в «Очерках...» впервые.

Книга О. А. Белобровой состоит из шести разделов, предваряемых предисловием О. В. Творогова, в котором охарактеризованы как «Очерки...», так и научная деятельность автора в це-

лом, начиная с приглашения ее Д. С. Лихачевым в 1964 году на работу в Отдел древнерусской литературы Пушкинского Дома.

В первом разделе («Иконографические очерки») собраны тринадцать статей, посвященных изображениям отдельных исторических лиц; к исследованию привлекаются миниатюры и лицевые изображения, иконы и гравюры — и перед читателем выстраивается весь ряд художественных образов.

Своеобразная портретная галерея вводит читателя в мир русского изобразительного искусства. Выстроенные в порядке хронологии героев очерки характеризуют изображения святых (мученики Адриан и Наталия, Андрей Критский, Елеазар Анзерский), известных в Древней Руси писателей (Леонтий Кипрский, Епифаний Премудрый, Максим Грек, автор Жития Евфросинии Суздальской, Дионисий Зобниновский) и портреты легендарных для русского книжника (римский император Юстиниан, грузинская царица Кетеван, греческая героиня Бобелина) и реальных (президент Греции И. А. Каподистрия) персонажей. Сами имена определяют широту исследовательского интереса О. А. Белобровой; особенно важно подчеркнуть, что круг этот не замыкается на древнерусском материале, — автор ничуть не в меньшей степени знает и любит русское и мировое искусство Нового времени. Особенно показательны в этом отношении статьи «Образ Бобелины в России» и «О греческой теме в русском искусстве первой трети XIX в. (Об изображениях И. А. Каподистрии в русской традиции)», в которых изучение конкретных изображений включено в широкий контекст истории греческого освободительного движения и откликов на него в мировом искусстве и литературе; благодаря этому снимается зачастую распространенное в науке представление об изолированности и «самостоятельном пути» России, то продиктованное политическими мотивами, то объясняемое недостаточной эрудицией ученых.

В области древнерусского портрета, как отметил О. В. Творогов, «О. А. Белоброва является если не открывателем, то по крайней мере наиболее авторитетным исследователем» (с. 7). Действительно, о большинстве средневековых портретных изображений древнерусских писателей современный чита-

* Белоброва О. А. Очерки русской художественной культуры XVI—XX веков. Сборник статей / Отв. ред. М. А. Федотова. М.: Индик, 2005. 440 с.; ил.

тель знает в основном из работ исследовательницы. Особый интерес вызывает отмеченное О. А. Белобровой разделение авторских задач художника, когда в одном случае его целью было изображение святого согласно принятому (или — что интереснее — устанавливаемому) канону, а в другом — изображение древнерусского писателя — и миниатюра в большей степени соответствует светскому портрету. Наиболее ярко иллюстрируют это явление иконописания Максима Грека — в одних случаях как «писателя, переводчика», его «голова в черном клобуке не имеет нимба» (с. 67), в других — как святого, по определению иконописного подлинника: «чюд, сед, брада широка и плеча закрыла до персей, в камиллаве; риз преподобичее, книга в руках» (с. 69). Оба типа изображений Максима Грека влияют друг на друга; более того, на одном из ранних изображений писателя, как отметила О. А. Белоброва, позже была наведена тонкая прерывистая линия нимба — «это превращение условного „портрета“ писателя в каноническое изображение святого». Характерно, что изображения Максима как святого относятся ко времени до официальной его канонизации (в 1988 году). На этом фоне чрезвычайно интересными предстают изображения без нимба другого древнерусского писателя — Епифания Премудрого, в то время как с нимбом были изображены и Андрей Рублев, и Пахомий Логофет, и Ермолай-Ефрем (хотя они также не были официально канонизированы).

К «Иконографическим очеркам» наиболее близки тематически разделы «О повествовательных циклах миниатюр» и «О лицевых рукописных сборниках». Две статьи посвящены «повествовательным циклам» лицевых рукописей Жития Сергия Радонежского — миниатюрам Куликовского цикла, сопровождающим ряд списков, и особенностям текста и иллюстраций лицевого Жития Сергия, принадлежавшего сестре Петра Великого Наталье Алексеевне.

Чрезвычайный интерес для исследователя древнерусской культуры представляет написанная О. А. Белобровой в соавторстве с Р. П. Дмитриевой обширная статья «Петр и Феврония Муромские в литературе и искусстве Древней Руси», посвященная одному из наиболее поэтических произведений древнерусской литературы. Комплексное исследование текстов и иллюстраций разных редакций Повести позволило сделать выводы относительно происхождения и бытования каждой из них; различные списки могут содержать элитарные миниатюры, автор которых «сумел выйти за рамки ремесленного владения навыками иллюстратора и создал поразительно артистичное графическое воплощение сюжета» (с. 262), изображения быта и культуры русского дворянства конца XVIII века или, напротив, детали, которые «выдают художника, близкого народной посадской или крестьянской среде» (с. 269). Сопоставление

миниатюр рукописей с житийными иконами вносит существенные коррективы в изучение и книжной, и иконописной культуры.

Как естественное развитие и современное воплощение традиций древнерусской миниатюры рассматривает О. А. Белоброва цикл иллюстраций Н. С. Гончаровой к «Слову о полку Игореве». Выполненные для немецкого перевода «Слова...», эти работы были включены и в вышедшее недавно английское издание с комментариями В. В. Набокова;¹ одна из иллюстраций помещена на нижней крышке переплета «Очерков...».

Небольшая по объему статья об этикетном мотиве в древнерусской миниатюре является важным дополнением и развитием идеи Д. С. Лихачева об этикетном начале в древнерусской литературе. Конкретные иллюстрации к текстам, рассмотренные О. А. Белобровой (подчеркну, что к данному исследованию ею привлечены миниатюры только XV века — раннего периода русских иллюминированных рукописей), отражают как книжные (почерпнутые из западноевропейских печатных гравированных изданий), так и, очевидно, реально-бытовые этикетные ситуации. Автор подчеркивает высказанное Д. С. Лихачевым положение «о необходимости различать природу и происхождение каждого этикетно-церемониального мотива»; в совокупности с этикетным мотивом древнерусского текста этикетная сторона миниатюры составляет единое целое.

Неразрывность изучения текста и миниатюры — отличительная черта всех работ О. А. Белобровой. Пять статей «Очерков...», посвященных лицевым рукописным сборникам в целом, — яркий тому пример. Однако скрупулезно в них рассматриваются особенности миниатюр как лицевых списков Священного Писания и агиографических сборников, так и иллюстрированных рукописей светской традиции, например учебника навигации из собр. Перетца Древлехранилища Пушкинского Дома. В статье «К изучению древнерусских иллюстрированных сборников» О. А. Белоброва выделяет определенные типы рукописей, каждый из которых характеризуется своим «иллюстративным наполнением», выполненным в соответствии с содержанием сборника в целом и содержащим от небольшого числа миниатюр до иллюстраций к каждой новой статье. Подобная типология позволяет нам более детально представить себе, как создавалась древнерусская книга в целом.

Широкое видение материала позволило О. А. Белобровой выявить особую традицию русской книжности XVIII—XIX веков — северодвинские лицевые рукописные сборники. Сходство миниатюр шести списков дало основание объединить их в особую группу, однако

¹ См.: Слово о полку Игореве. Перевод на английский язык и комментарии В. В. Набокова. Иллюстрации Н. С. Гончаровой / Сост. и вступ. ст. В. П. Старка. СПб., 2004.

лишь об одном можно было с долей уверенности утверждать, что происходит он с Северной Двины. Общность стиля изображения с белофонной северодвинской росписью предметов народного промысла позволила снять вопросы относительно места происхождения этих рукописей. Тип северодвинского оформления лицевых списков определен О. А. Белобровой на материале коллекции рукописей Древлехранилища Пушкинского Дома, однако данное ею описание чрезвычайно важно для работы в любом рукописном фонде — и группа северодвинских иллюминированных списков будет с течением времени только пополняться.

Раздел о лицевых рукописях чрезвычайно важен для читателя как опыт методики работы с иллюминированными списками. О. А. Белоброва видит проблему их изучения в комплексе, включая и искусствоведческий анализ миниатюр, и текстологическое исследование, и кодикологические и источниковедческие комментарии. Комплексный подход к изучению лицевых рукописей, выработанный исследовательницей, в последние годы широко применяется в отечественном искусствоведении и литературоведении. Итоговой — и перспективной на будущее — является завершающая раздел методологическая статья «Об изучении и публикации лицевых списков житий русских святых».

Особый раздел книги посвящен «Иконам и святыням». О. А. Белоброва детально исследует историю почитания на Руси двух копий находящейся в Святогорском Иверском монастыре на Афоне чудотворной иконы Богородицы. Безусловно интересна статья «Русские посольские и паломнические отклики на святыни Лорето», где помимо Повести о Лоретской Богоматери привлечены заметки лиц, посетивших Лорето в XVII—XVIII веках и оставивших достаточно скептические замечания о подлинности святыни.

Работы О. А. Белобровой о переводчице Посольского приказа Николае Гавриловиче Спафарии (Милеску) безо всякого колебания должно назвать классическими. Именно ею были введены в научный оборот и опубликованы сочинения и переводы Спафария. Раздел «Очерков...» «Иллюстрации к трактатам Николая Спафария», включающий пять статей, — лишь малая часть работ исследовательницы на эту тему. Все включенные в сборник статьи посвящены выявлению источников иллюстраций к сочинениям Спафария: «Книге избранной вкратце о девятих мусах и о седмих свободных художествах», «Хрисмологиону», «Книге о сивиллах», «Географии в виде колоды карт». С сожалением отмечает О. А. Белоброва, что не дошли до наших дней лицевые списки «Василиологиона» (то, что таковые готовились, известно из документов архива Посольского приказа).

Миниатюрами украшались, как правило, подносные экземпляры сочинений Спафария — и образцами для иллюстраций явились как гравированные европейские издания, в том числе «Иконология» Ч. Рипа, так и еди-

личные гравированные листы или подборки гравюр без наборного текста. Однако, как отмечает О. А. Белоброва, западные источники иллюстраций зачастую русифицировались, причем разные списки сочинений могут отражать различную степень этой русификации. Особенно наглядно это показано на сопоставлении изображений аллегорий наук в двух лицевых рукописях «Книги избранной вкратце...».

Источником миниатюр одного из списков «Книги о сивиллах» Спафария являются нидерландские гравюры сивилл Ф. де Вита. Миниатюры подносного экземпляра «Книги о сивиллах» выполнены Богданом Салтановым; их западный источник, как отмечает О. А. Белоброва, очевиден, однако до сих пор неизвестен. Между тем нет связи между работами Салтанова и древнерусскими миниатюрами, сопровождавшими ряд списков распространенного с начала XVI века «Сказания о 12 сивиллах». Этот факт тем более интересен, что в распоряжении самого Спафария при написании «Книги о сивиллах», очевидно, были самые разнообразные древнерусские источники; трудно предположить, что он не был знаком и с более ранним «Сказанием...». Правда, надо отметить, что иконография сивилл Богдана Салтанова не всегда соответствует и описаниям, приведенным в тексте Спафария. К миниатюрам же древнерусского «Сказания о 12 сивиллах» О. А. Белоброва обращается при исследовании гравированных изображений двенадцати сивилл Мартына Нехоросhevского — и приходит к выводу, что именно «Сказание...» и сопровождавшие его текст миниатюры (в свою очередь отмечу, что и иллюминированные списки «Сказания...» представляли Краткую его редакцию) привлекли внимание и послужили образцом для гравера середины XVIII века.

В статье о сочинении «География в виде колоды карт», переведенном Н. Спафарием и включенном в сборники его сочинений, О. А. Белоброва реконструирует не только историю перевода «Географии», но и самого не дошедшего до нас оригинала, причем все это сделано с помощью точного кодикологического анализа, с привлечением широкого исторического, лингвистического, культурологического материала, связанного с карточной игрой на Руси и ее терминологией — как русской, так и европейской, а также с русскими и западноевропейскими географическими знаниями XVII века. Следует добавить, что «География в виде колоды карт» — один из элементов *обучающей* карточной игры, распространенной в Европе начиная с XVI века,²

² Например, Томас Мурнер (1475—1537), в основном известный как немецкий сатирик, преподавал в Краковском университете с помощью карточной игры логику, и в свет вышло несколько изданий его пособия, состоящего из учебных карт и пояснений к ним и озаглавленного «Chartiludium logicae, seu logica poetica vel memorativa».

а после работы Спафария освоенной и в России. В качестве примера приведу карты-азбуки, исторические игральные карты (особенно распространены были карты с изображениями античных героев), геральдические игральные карты, выпускавшиеся в России и в XIX веке, а также антирелигиозные (СССР, 1934 год).

Завершает книгу «Очерков...» О. А. Белобровой раздел «Иллюстрированная Библия в России (XVII—XVIII вв.)». Западноевропейские гравированные библии и их бытование и освоение на Руси — излюбленная тема исследовательницы. Она устанавливает реальные источники русских иллюстрированных библий, а также выявляет иллюстрированные издания Библии, сопровождаемые русскими приписками XVII—XVIII веков. Особо хочется подчеркнуть, что западноевропейские источники гравюр были выявлены О. А. Белобровой еще до выхода в свет новейшего многотомного корпуса каталогов Холльштейна³ — и стали итогом кропотливых источниковедческих изысканий.

Критическое отношение к источникам позволило О. А. Белобровой опровергнуть общепринятое мнение о том, что Библия Пискарева была едва ли не единственным образцом для русских книжников. Наряду с ней были распространены Библия Мериана, Библия Вайгеля, Библия Борхта и др. Этой проблеме посвящены две первые статьи раздела, причем в статье «О библиях с гравюрами в русских библиотеках второй половины XVII—начала XVIII в.» автором рассматриваются конкретные экземпляры, принадлежащие конкретным людям — и имевшие, соответственно, свою историю. Опыт описания истории каждого конкретного экземпляра западноевропейских изданий в России представляется заслуживающим внимания всех исследователей древнерусской культуры.

Две статьи раздела посвящены древнерусским текстам, восходящим к латинским оригиналам. Они содержат богатый материал, касающийся подстрочных переводов латинских подписей к гравюрам и их дальнейших переработок. Комплексное исследование позволяет охарактеризовать методику работы древнерусского переводчика и показать второстепенное для последующих поколений книжников значение европейских гравюр.

Текст «Очерков...» сопровождается богатым иллюстративным материалом (170 черно-белых иллюстраций на мелованных тетрадях). Иллюстраций могло быть еще больше, однако педантичность автора не позволила увеличить их число — в случае опубликованных изображений приводятся лишь отсылки к работам предшественников.

³ См.: Hollstein's Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts 1450—1700. Rotterdam, s. a.; The New Hollstein Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts 1450—1700. Rotterdam, 1980 (издание продолжается).

О работах Ольги Андреевны Белобровой в целом писать чрезвычайно трудно. С одной стороны, это в высшей степени скрупулезные источниковедческие исследования (достаточно обратить внимание на объем примечаний к статьям «Очерков...»; набранные петитом, они во многих случаях по объему приближаются, а иногда и совпадают с числом страниц самой статьи), а с другой — в небольших по объему статьях привлекается столь широкий мировой историко-культурный материал, что, благодаря эрудиции исследовательницы, даже небольшие на первый взгляд факты русской культуры приобретают совершенно иной смысл.

Характерная черта работ О. А. Белобровой, как ранних, так и вновь опубликованных, — *целостность* представления исследуемого предмета. Это относится как к изучению изображений отдельных персонажей (например, статьи о Максиме Греке или о Петре и Февронии Муромских, где речь идет в равной степени и о рисунках на полях, и о житийных иконах), так и к обзорам книжности целого региона (например, в статье «Из истории нижегородской художественной культуры XVII в.»). Вместе с тем исследования О. А. Белобровой всегда основаны на конкретном материале. Автор скорее воздержится от вывода, чем вывод этот будет хоть в какой-то мере необоснованным, не подкрепленным многими источниками.

Представленная вниманию читателя книга посвящена не отдельному сюжету или проблеме, не истории древнерусской литературы или языка, но древнерусскому искусству, но в самом широком смысле *древнерусской культуры* и «является естественным отражением ее (О. А. Белобровой. — В. Р.) принадлежности к текстологической школе академика Д. С. Лихачева».⁴

Остается поблагодарить Ольгу Андреевну Белоброву за удовольствие и бесконечную пользу, полученные при чтении ее работ, и пожелать ей еще многих научных трудов, которые будут необходимы многим поколениям исследователей русской культуры, а также пожелать верных учеников и последователей, которые разовьют ее идеи и начинания.⁵

Кроме того, хочется выразить самую глубокую признательность ответственному редактору «Очерков...» М. А. Федотовой и издательству «Индрик» за прекрасное оформление книги, которая вышла к самому юбилею автора.

⁴ Творогов О. В. Искусствовед и источниковед Ольга Андреевна Белоброва // Белоброва О. А. Очерки... С. 9.

⁵ Развитие идей и тем О. А. Белобровой в наиболее полном виде представлено в сборнике, посвященном ее юбилею. См.: От средневековья к Новому времени. М.: Индик [в печати].

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ XVIII ВЕКА*

Все составители юбилейных сборников так или иначе оказываются лицом к лицу с одной и той же проблемой: как объединить под общей обложкой статьи всех, кто желал бы таким образом чествовать юбиляра, и в то же время избежать эклектичности. Составители сборника в честь 60-летия профессора Кембриджского университета Энтони Гленна Кросса Роджер Бартлетт и Линдси Хьюз в кратком предисловии выражают надежду, что им удалось отчасти решить эту проблему введением отраженного в заглавии всей книги понятия «долгий» («long») XVIII век, периодизация которого — 1689—1825 годы. С их точки зрения, именно этот период традиционно оказывается в центре внимания Группы по изучению России XVIII века, возглавляемой профессором Э. Кроссом, а представленное в статьях сборника многообразие тем и применяемых при их исследовании методик отражает множественность интересов самого юбиляра. Сфера этих интересов подробно очерчена во вступительной статье известной английской исследовательницы русской культуры XVIII века Исабель де Мадариаги («Anthony Cross: An Appreciation»).

Отмечая, что XVIII век в России был веком «вестернизации», вольной или невольной, и тем самым подчеркивая актуальность компаративных исследований именно в этой области, Мадариага предлагает также и широкую трактовку понятия «культура XVIII века», одновременно включающую в себя такие явления, как служба британских офицеров на русском флоте или влияние английской теории садоводства на формирование российского ландшафта. Это понимание данного феномена отвечает широте интересов юбиляра, что подтверждается чрезвычайно тематическим разнообразием его трудов, представленных в приводимой в конце книги библиографии работ Кросса с 1964 по 2003 год.

Путь Кросса к изучению русской культуры начался в армии, с курса русского языка в рамках подготовки по специальности переводчика, но постепенно обратился интересом к русской литературе: к Пушкину и его предшественникам, в первую очередь Карамзину. Уже от Карамзина вновь началось движение в сторону XIX века, к романтикам и декабристам.¹

* Russian Society and Culture and the Long Eighteenth Century. Roger Bartlett, Lindsey Hughes (Eds). Münster, 2004. 246 p.

¹ О том, как происходило его знакомство с XVIII веком, с самого начала «одетым в русское платье», Кросс рассказал в своей «Исповеди любителя XVIII века» (см.: История продолжается. Изучение восемнадцатого века на пороге двадцать первого / Сост. и отв. ред.

В 1968 году стараниями и по инициативе Кросса в Кембридже была создана Группа по изучению России XVIII века (Study Group of Eighteenth-Century Russia — SGECR), а с 1973 года начал выходить печатный орган Группы, хорошо известный в мире славистики «Study Group of Eighteenth-Century Russia Newsletter», также редактируемый Кроссом. Группа ведет постоянную научную и организаторскую работу. Достаточно заметить, что каждые пять лет (причем каждый раз в другой стране) она проводит масштабные международные конференции, на которых собираются авторитетнейшие специалисты в области истории культуры «долгого» XVIII века. И не будет преувеличением сказать, что значительная часть работы Группы держится на энтузиазме и многочисленных контактах — как деловых, так и личных, дружеских — ее руководителя, с 1986 года профессора Кембриджского университета, с 1989 года члена Британской Академии, Энтони Кросса. По справедливому замечанию Мадариаги, Группа по изучению России XVIII века под началом Кросса не только стимулирует научные исследования в этой области, но и создает атмосферу дружеского и непринужденного общения: не случайно все участники юбилейного сборника хотя бы раз в том или ином виде принимали участие в работе SGECR.

Блестящие организаторские способности Кросса хорошо известны и в России: например, в 1992 году для Британского совета им была проведена выставка «Англофилия у трона». В то же время Кросс ведет непрерывную напряженную научную работу, вдохновляя многих, особенно молодых, западных ученых собственным примером. Центральной темой его исследований на протяжении многих лет остаются англо-русские контакты на разных уровнях. Очень интересным представляется замечание Мадариаги относительно важности для Кросса визуального аспекта, проблемы «видения»: России глазами англичан и Англии глазами русских. Не случайно одна из его первых монографий (1971) называлась «Россия глазами Запада» («Russia under Western Eyes»). Пристальный, внимательный и доброжелательный взгляд автора на Россию неизменно оказывался плодотворным. Научная деятельность Кросса связана с Россией не только объектом исследования. Он частый гость различных конференций, в том числе проводимых в Пушкинском Доме, особенно по XVIII веку и компаративистике, печатает свои статьи в российских (как ранее печатал в советских) изданиях; две его монографии, которые могут быть названы

парными, «На берегу Темзы: русские в Британии XVIII века» (1980) и «На берегах Невы — фрагменты жизни и деятельности британцев в России XVIII века» (1997), переведены на русский язык. И мы с удовольствием присоединяем свой голос к высказанным в статье Исабель де Мадариаги пожеланиям Энтони Кроссу долгих и счастливых лет жизни и «пенсии, столь же плодотворной, как была его академическая карьера».

Как уже было сказано, состав сборника в первую очередь отражает многообразие интересов юбиляра в рамках концепта «долгого» XVIII века и статьи его написаны коллегами и друзьями Кросса из самых разных стран мира: Великобритании, России, Германии, Италии, Голландии и Соединенных Штатов Америки. Тексты расположены в хронологическом порядке: от работы Пола Дьюкса, посвященной «русскому» дневнику Патрика Гордона (конец XVII века), до заметки Евгения Анисимова о роли Санкт-Петербурга в истории России в связи с 300-летним юбилеем города. В то же время в выборе тем для исследования можно усматривать некоторую закономерность, позволяющую ввести тематическую классификацию статей и отражающую, по-видимому, прежде всего магистральные интересы западных славистов в истории русской культуры XVIII века (хотя в сборнике представлены и статьи российских авторов — три из семнадцати).

В первую очередь, нельзя не отметить особый интерес исследователей к различным видам ритуального оформления российской государственности. Анализ церемоний и ритуалов царского двора в России, рассматривающихся как проявление имперской культуры, отражает не только общий интерес современных гуманитарных наук к феномену империи, но и специфику западного восприятия России (часто в со- или противопоставлении с другой империей — Великобританией). Своего рода введением в эту проблематику может служить статья Гэри Маркера «Кавалерственные дамы Петра I: Орден Святой Екатерины Александрийской» (Gary Marker. «Peter the Great's Female Knights of Liberation: The Order of St. Catherine of Alexandria»). Несмотря на некоторую узость заявленной темы, автор в первой части статьи подробно рассматривает роль Римской империи как прототипа и источника символических образов, на которые ориентировался Петр I, провозглашая Россию империей — защитницей христианства от варваров (в случае России начала XVIII века — от османских турков). Из этой аналогии Маркер выводит и особое внимание Петра I к рыцарским ритуалам, в том числе орденам, из которых, в свою очередь, автора статьи интересует наименее характерный и на общем фоне даже несколько неожиданный «женский» орден Св. Екатерины, первым кавалером которого в России была Екатерина I. К сожалению, до сих пор не существует однозначного ответа на во-

прос, почему именно рыцарский орден был выбран Петром для формирования «женской» высшей аристократии, но, исследуя феномен «кавалерственной дамы» в России и подробно характеризуя всех кавалеров ордена (их было крайне немного), Маркер подчеркивает политическое (и уже — династическое) значение ордена, формировавшего «дамскую половину» придворной элиты.

Образ Петра I, представленный в статье Маркера, удачно дополняется в работе Линдси Хьюз «„Борода — ненужное бремя“: Законы Петра I о бритье и их источники в прошлом России» (Lindsey Hughes. «„A Beard is an Unnecessary Burden“: Peter I's Laws on Shaving and their Roots in Early Russia»). Проницательно отмечая, что исполнение указа о бритье бород сопровождалось определенными ритуальными действиями, Хьюз обращается к истории отношения к бороде в России, используя самые разнообразные источники, и прежде всего лубок. Предлагаемый в статье диахронический взгляд на ритуальные проявления власти убедительно демонстрирует неоднозначность и некоторую неоправданную прямолинейность трактовки личности Петра I как «правителя западного типа» и подчеркивает, что первый российский император в равной степени был обращен и к отечественным традициям.

Аналогичным интересом к «сценариям власти» (Ричард Уортман) и сходными методами исследования характеризуются тексты, посвященные времени правления Екатерины II. Джон Т. Александер в статье «Екатерина Великая и театр» (John T. Alexander. «Catherine the Great and the Theatre») анализирует тесную взаимосвязь театра времен Екатерины II с придворной жизнью. Рассматривая важнейшие церемонии русского двора (такие как, например, коронация), а также сам способ прихода Екатерины II к власти, автор статьи отмечает высокий уровень театрализованности жизни при дворе, одновременно показывая, как театральными средствами постепенно формировалось представление о «золотом» екатерининском веке и о просвещенном добродетельном монархе у власти. О том, насколько этот миф оказался устойчивым, можно судить по материалам и наблюдениям, приводимым в статье Саймона Диксона «Екатерина Великая и династия Романовых: Случай Великой княгини Марии Павловны (1854—1920)» (Simon Dixon. «Catherine the Great and the Romanov Dynasty: The case of the Grand Duchess Mariia Pavlovna (1854—1920)»). Диксон утверждает, что великая княгиня Мария Павловна (урожденная принцесса Мекленбург-Шверин) более всех членов императорской фамилии ассоциировала себя с Екатериной II, и на примере ее супруга, великого князя Владимира Александровича, анализирует страхи мужских представителей династии Романовых, основанные на боязни «женского правления». Во второй части статьи Диксон достаточно по-

дробно характеризует всевозможные проявления мифа о веке Екатерины в русской культуре начала XX века, привлекая самый разнообразный материал (мемуары, художественные произведения, театральные постановки и т.д.). Рассуждением о мифе, в частности петербургском, также является эссе Евгения Анисимова «Судьба Санкт-Петербурга в истории России. Отклики на 300-летие» («The Fate of St-Petersburg in the History of Russia. Reflections on the Tercentenary»), подводящее некий итог 300-летнему развитию мифа о Петербурге в России.

К выделенному выше типу статей можно также отнести и работу Роджера Бартлетта «Утописты и прожектеры в России в XVIII веке» (Roger Bartlett. «Utopians and Projectors in Eighteen-Century Russia»). Несмотря на то что речь в статье идет о прожектерах и утопистах, т.е. частных людях, материал, приводимый в статье Бартлетта, свидетельствует о том, что власть в России проявляла постоянный интерес к различного рода утопическим проектам. Путь утопиям в Россию, по мнению Бартлетта, открыл Петр I, пригласив для сотрудничества Г. В. Лейбница. При Екатерине II прожектеры, от Д. Дидро до Б. Дж. Калиостро и Дж. Казановы, потоком хлынули в Россию. Бартлетт приводит интереснейшие и малоизвестные примеры утопических проектов — таких, например, как замысел создания торговой колонии на Арале Бернардена де Сент-Пьера или проект паноптикона, вращающегося здания, Бритона Самюэля Бентама. По мысли автора статьи, материал русской культуры XVIII века является подтверждением тезиса о том, что наиболее благоприятной почвой для расцвета утопических проектов является абсолютная монархия, и даже деспотия.

Ко второму блоку статей, представленных в сборнике, можно отнести ряд работ, посвященных российско-европейским контактам XVIII—начала XIX века. Тексты Пола Дьюкса и Марии Ди Сальво посвящены путевым заметкам и дневникам иностранцев в России. Обе статьи строятся на сопоставлении двух источников, принадлежащих перу одного автора. Работа Дьюкса «Дневник Патрика Гордона: Спалдингский вариант» (Paul Dukes. «Patrick Gordon's Diary: the Spalding Version») носит скорее текстологический характер и представляет собой анализ особенностей так называемой «спалдингской» (впервые опубликованной Спалдингом клубом в Абердине) версии знаменитого дневника Патрика Гордона. Мария Ди Сальво в своей статье «Что видел в России Франческо Альгаротти?» (Maria di Salvo. «What did Francesco Algarotti See in Russia?») сравнивает мемуары Ф. Альгаротти с его же журналом путешествия, демонстрируя, как жанр диктует содержание текста и определяет различия между дневниковыми записями и позднейшими воспоминаниями. Ди Сальво также вновь поднимает вопрос об авторстве знаменитого высказывания о

прорубленном Петром I окне в Европу, указывая, что принадлежность этого афоризма Альгаротти не бесспорна.

Эпизод из русско-английских отношений XVIII века лежит в основе статьи Джэнет Хартли «Культурный конфликт? Англо-русское столкновение в начале XVIII века» (Janet Hartley. «A Clash of Cultures? An Anglo-Russia Encounter in the Early Eighteenth Century»). Частный случай Чарльза Витворта, посла в России с 1705 года, дает автору материал для серьезных культурологических обобщений о различии русского и английского национального характера, в частности выразившемся в принципиально разном отношении к торговле. Этнонациональные разногласия этого периода усугубляются и несоответствием экономических и политических интересов, отмеченным Витвортом: Россия была заинтересована прежде всего в политическом союзе с Британской империей, тогда как Англия воспринимала Россию как источник сырьевого импорта и навязывала товары, не имевшие спроса на русском рынке. В статье приводится очень яркий пример, характеризующий отношение англичанина того времени к России: проезжая Кенигсберг, Витворт записал в дневнике, что «готовится покинуть все христианские страны».

Противоположный пример взаимопонимания между представителями двух культур приводит Энтони Лентин в статье «„Этот образованный дворянин“ (Архиепископ Вильям Кокс о Щербатове, 1784): английские связи Михаила Щербатова» (Anthony Lentin. «„This learned nobleman“ (Archdeacon William Coxe on Shcherbatov, 1784): Mikhail Shcherbatov's British Connections»). Очерчивая личность князя М. М. Щербатова, известного русского публициста и историка, Лентин приводит весьма лестные отзывы о нем В. Кокса и шевалье де Корберона. Эти английские знакомые Щербатова характеризуют его как образованного космополита (что звучит несомненной похвалой в их устах), владеющего языками и разделяющего убеждения сторонников английской политической системы. Лентин подчеркивает также связи Щербатова с английским масонством и приходит к выводу, что Щербатов смело может быть назван не англоманом, но англофилом, хорошо знавшим культуру и быт Британии. Автор статьи также указывает на известность Щербатова, — прежде всего, его «Истории Российской» — в Англии благодаря упоминанию этого текста в путевых заметках Кокса.

Чрезвычайно интересный и удачно интерпретированный материал представлен в статье Чарльза Л. Дрейджа «Русские разговорники в грамматиках и путеводителях» (C. L. Drage. «Russian Model Conversations in Grammar and Travellers' Handbooks. 1650—1773»). Разговорники и грамматики как объект для изучения международных связей в их культурно-историческом аспекте недавно стали привлекать внимание исследователей, их подробный лингвистический ана-

лиз не только ценен сам по себе, но и неизменно становится базой для более обширных культурологических обобщений.

Ко второму выделенному в сборнике виду статей в известной степени может быть отнесена и работа Александра Каменского, разрабатывающая методику типологического сопоставления русских и западных городов XVIII века и носящая во многом историко-социологический характер. В статье «Русские и западные города XVIII века: возможные аспекты сравнения» («Russian and Western Eighteenth-Century Towns: Possible Aspects of Comparison») Каменский выделяет основные критерии сравнения (криминал, миграция, демография) и, отмечая очевидную недостаточность в России по сравнению с Европой частных источников информации о городах, все же приходит к выводу, что аналогом российского города XVIII века (в качестве примера автором статьи был выбран Бежецк) могут служить города Новой Англии XVII века.

Третьей разновидностью представленных в сборнике статей следует назвать статьи непосредственно литературоведческие, из которых две посвящены взаимосвязям русской и английской литератур, а две — истории русской литературы XIX века. Н. Д. Кочеткова и Ю. Д. Левин в своей статье, выдержанной в духе классической компаративистики, «Лиза и Эраст Карамзина в свете русско-английских контактов» («Karamzin's Liza and Erast in the Light of Russian-English Contacts») проводят подробный и скрупулезный анализ возможных источников образов (и самих имен) Лизы и Эраста в английской литературе. В. Гэрис Джонс в статье «60 лет спустя: XVIII век сэра Вальтера Скотта и занятая историей Толстого» (W. Gareth Jones. «Tis Sixty Years Later: Sir Walter Scott's Eighteenth century and Tolstoi's Engagement with History») использует подход к творчеству Льва Толстого, во многом близкий к предыдущей работе. Автор не только связывает интерес Толстого к истории с его увлечением творчеством Вальтера Скотта, но и находит

многочисленные переключки между произведениями этих двух крупнейших писателей.

Наконец, в сборнике представлены две работы по истории собственно русской литературы. Подробный обзор «предшественников» гоголевских собачек представлен в очень насыщенной материалом работе Гитты Хаммерберг «Собаки и вирши: источники творчества Гоголя в XVIII веке» (Gitta Hammarberg. «Dogs and Doggerel: Gogol's Eighteenth-Century Roots»), автор которой обращается к материалу не только литературы, но и декоративно-прикладного искусства. Статья Йоахима Клейна «Бунт против хороших манер: Бурлескная поэма В. Майкова „Елисей, или Раздраженный Вахк“» (Joachim Klein. «A Revolt Against Polite Manners: V. Maikov's Burlesque Poem „Elisei, ili razdrzhennui Vakhk“») предлагает новый взгляд на, казалось бы, достаточно изученный текст — ироикомическую поэму В. Майкова «Елисей». Клейн отмечает, что Вергилий с его «Энеидой», традиционно считавшиеся объектом пародии Майкова, не были широко известны в России, поэтому пародирование его не имело большого смысла. Отталкиваясь от этого тезиса, Клейн утверждает, что задача, которую ставил перед собой Майков, состояла в том, чтобы создать сам жанр бурлеска на русском языке, а объектом пародии для «Елисея» послужил жанр эклоги, культивируемый сумароковской школой, а также ориентация «официальной культуры» на античность, которая у Майкова подвергается карнализации.

Рецензируемый сборник, авторы которого — авторитетные специалисты в своей области, несомненно, достойный подарок к юбилею человека, посвятившего свою жизнь изучению международных культурных связей и неустанно способствовавшего их укреплению в научном сообществе. Мы выражаем надежду, что Энтони Кросс и руководимая им Группа по изучению России XVIII века продолжат свою плодотворную деятельность, в том числе и в сотрудничестве с российскими учеными, и пожелаем профессору Кроссу творческого долголетия.

© Р. Ю. Данилевский

И. С. ТУРГЕНЕВ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

(«ЗАПИСКИ ОХОТНИКА»)*

Сотрудница музея-заповедника Спаское-Лутовиново, исследовательница турген-

* Скокова Л. И. И. С. Тургенев о правах человека в «Записках охотника». М.: Гелиос АРВ, 2005. 208 с.

евского творчества Л. И. Скокова предлагает вниманию читателей свою книгу «И. С. Тургенев о правах человека в „Записках охотника“». На этот раз знаменитый сборник изучается с не совсем обычной стороны. Общественное значение «Записок охотника» и их

влияние на мировую литературу многократно исследовалось. Немало написано также и об эстетических достоинствах и особенностях «Записок». Но автор новой книги пробует рассматривать заслуги Тургенева — создателя «Записок» — не только с точки зрения борьбы писателя против крепостничества или мастерства его пейзажей и психологических портретов. Тему работы Л. И. Скоковой можно определить как изучение на материале «Записок охотника» тургеневской философии социального гуманизма, иначе говоря, *концепции человека*, выработанной Тургеневым ко времени создания очерков и рассказов этого «странного охотника» (как назвал когда-то автора-повествователя И. Панаев), занятого не столько охотой, сколько человеческими судьбами.

Выражение «права человека», ставшее в наше время расхожим словесным штампом, почти утратившим смысл от частого употребления к месту и не к месту, освобождается в книге Л. И. Скоковой от налета банальности прежде всего уже по одному тому, что это понятие соединено с именем Тургенева. Права человека осмыслиются заново как органические, неотъемлемые качества человеческой личности.

Естественно, что тема прав человека в «Записках охотника» — это прежде всего тема народа, русского крестьянина. Эта основная идейная линия первой книги Тургенева — требование уважения к человеку из народа, по сути дела выдвинутое Пушкиным, но заново и гениально выраженное Тургеневым, — бросилась, как известно, в глаза уже современникам писателя и остается постоянной темой для тех, кто изучает «Записки охотника» и пишет о них. Поэтому рассмотрение крестьянской темы у Тургенева (ей посвящается отдельная глава рецензируемой книги) нельзя было бы оценить как новость, если бы Л. И. Скокова не придала ей философский смысл.

Человечность образов в «Записках охотника» в значительной мере зависит, по наблюдениям исследовательницы, от степени их связи с окружающей природой. Это относится и к Касьяну с Красивой Мечи, и к детям на Бежином лугу, к Хорю и Калинычу, к Бирюку, к персонажам рассказа «Свидание» и к калеке Лукерье («Живые мощи»). Человек и Природа — старинная тема, которая восходит еще к философии Просвещения, но Тургеневу эта тема исключительно близка. Во многих местах книги автор рассматривает не исследованный еще в полной мере вопрос об отношении Тургенева к руссоизму. Идея оценки человека, по Ж.-Ж. Руссо, так сказать, мерой природности претерпевает у русского писателя, как считает Л. И. Скокова, существенную трансформацию, но не исчезает, остается важнейшей для него, становясь оценкой эмоционального и духовного мира личности. Само понятие Природы приобретает у Тургенева под влиянием изучения миро-

вой и прежде всего немецкой мысли (Гете, Гегель, Новалис) философскую глубину. То же самое касается образов дворян — объекта резкой тургеневской критики и одновременно заботы, поскольку писатель считал свое сословие, служилое дворянство, важной составной частью русского общества. Чертопханов, Радилов, Пеночкин, «Гамлет Щигровского уезда» и другие представители помещичьего сословия поставлены рядом с крестьянином не только с точки зрения идеального «правового равенства» (как сказано во «Введении» к книге Л. И. Скоковой — с. 5), они равноценны для Тургенева как *люди*. Такие рассказы, как «Однодворец Овсяников» или «Конец Чертопханова», позволили Тургеневу, по мнению Л. И. Скоковой, выразительно показать этот человеческий ракурс поместного дворянства, не всегда приятный и положительный, но именно человеческий в том обобщающем гуманистическом смысле, какой придавали понятию человека Руссо и его эпоха.

Необходимость прояснения сложной истории формирования тургеневского цикла заставляет Л. И. Скокову все время обращаться к социально-экономическим, политическим и издательским условиям, в которых рождались «Записки охотника» (главы «Когда был написан „Хорь и Калиныч“?» и «1847 год. В первом номере „Современника“»). Автор детально рассматривает отношение Тургенева к крепостному праву, его деловые записки «Несколько замечаний о русском хозяйстве и о русском крестьянине» и проект журнала «Хозяйственный указатель», историю формирования общественных взглядов писателя под влиянием идей декабристов и Пушкина. Кстати, вопрос о Тургеневе как прямом преемнике великого поэта не только в области эстетики, но и в области общественных идей наполняется в обсуждаемой книге конкретным историческим содержанием. Это и была почва, которая в равной степени породила и поэтику и общественный пафос «Записок охотника», доказывает автор книги. Но Л. И. Скокова при этом не теряет из вида свою главную тему. «Крепостничество гибельно и для любви, и для нравственности, — поясняет она тургеневскую мысль, — не знает оно, что такое человечность» (с. 102).

«Тургеневу-художнику, — пишет исследовательница в другом месте, — важно поселять в душе читателя тревогу: он, читатель, живет в социально больном обществе» (с. 79). «При всей своей дивной красоте и поэтичности „Лес и степь“ вместе с эпиграфом, — заключает она свой анализ последнего очерка тургеневского цикла, — это грустная новелла, как и все, составляющие сборник „Записок охотника“» (с. 108). Печаль образует тонкий, но читательским чутьем вполне уловимый субстрат первой книги Тургенева, заложный, по-видимому, еще глубже, нежели ее обличительный пафос, что и констатирует автор исследования. Едва ли это романтиче-

ская «мировая скорбь», но, несомненно, это грустное отношение мудрого человека к Бытию. Разумеется, вывод о том, что Тургенев явился в этом случае прямым предшественником экзистенциализма, был бы слишком поспешным — это Л. И. Скокова показывает в специальном полемическом примечании (с. 174—176). Но, наверное, стоило бы и в дальнейшем подумать над тургеневской картиной мира и над ее культурно-историческим значением. В этой связи представляется интересным сравнение «Записок охотника» с «Дон Кихотом» Сервантеса (с. 117—118), хотя, разумеется, всякое сравнение хромает. Как и в знаменитом романе, со временем, отодвинув в сторону всевозможные яркие, но приходящие мотивы (различные у обоих писателей), в «Записках охотника» выступила на передний план философско-лирическая извечная тема Человека. Тургеневский цикл, как пишет исследовательница, нельзя считать только произведением, в котором «застыла печальным памятником эпоха крепостничества». «„Охотничий“ цикл писателя значительно шире, — поясняет Л. И. Скокова, — он подобен мощной многотемной симфонии». «И две новеллы о Чертопханове, — приводит она пример, — печальная повесть о том, как гибнет личность в обществе, попирающем права человека» (с. 124).

Особенная возможность философских обобщений открывается в таких рассказах цикла, как «Живые мощи». Л. И. Скокова видит в этом произведении квинтэссенцию отношения Тургенева к русскому народному характеру и вообще к миру и Богу (с. 124—141). Идеи руссоизма и немецкой классической философии органически сливаются в образе немощной деревенской женщины с подспудной, но явственной (для этого есть опора в тургеневском тексте, как показано в книге) традицией русского религиозного мышления (исихазм). Как бы ни спорили об этом рассказе начиная с 1870-х годов и по наше время, никто не сумел сказать о нем лучше Ипполита Тэна: «Какой урок для нас и какая свежесть, какая глубина, какая чистота!»¹

¹ Цит. по ком. Л. М. Долотовой в кн.: *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1979. Т. 3. С. 514.

В рецензируемой книге помещены два приложения. Публикуется письмо Театрального общества им. А. Н. Островского в адрес Общества любителей российской словесности при Московском университете (членом Общества состоял в свое время Тургенев). Письмо было направлено 10 ноября 1918 года в связи со столетием со дня рождения писателя (с. 178—181) и обнаружено автором книги в фондах Театрального музея им. А. А. Бахрушина (Москва).

В виде второго приложения помещен обзор другого автора — Ю. А. Королевой «К 150-летию выхода „Записок охотника“ И. С. Тургенева за рубежом» (с. 182—195). Этот обзор выглядел бы значительно убедительнее и корректнее, если бы его составительница сослалась на такие важнейшие источники своей темы, как классический очерк акад. М. П. Алексеева «Мировое значение „Записок охотника“», в виде доклада прочитанный, кстати сказать, совсем недалеко от Спасского-Лутовинова, в Орле, в 1952 году, а также на соответствующие исторические комментарии к тургеневскому циклу в третьем томе академического Собрания сочинений писателя (2-е изд., 1979) и в отдельном издании «Записок охотника» в серии «Литературные памятники» (1991).

Работу Л. И. Скоковой очень украшают публикуемые заново талантливые силуэтные иллюстрации петербургской художницы XIX века Елизаветы Бём к «Запискам охотника». Этому забытому мастеру удалось выразить именно лирическую сторону тургеневского повествования.

Заметим в заключение, что книге можно было бы пожелать более строгого редактора. Тогда можно было бы избежать повторения в разных главах одних и тех же формулировок, и были бы откорректированы одна-две спорные и необязательные ассоциации (почему, например, вспышка гнева главного героя в рассказе «Конец Чертопханова» напоминает исследовательнице «радикализм якобинцев»?) (с. 123—124). Впрочем, таких просчетов в исследовании немного, и музей-заповедник Спасское-Лутовиново, а вместе с ним и широкая филологическая аудитория вправе прибавить к современной тургениане новую книгу вполне хорошего научного качества.

ХРОНИКА

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АЛЕКСАНДР БЛОК. СОВРЕМЕННОЕ ПРОЧТЕНИЕ, ИЗДАНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ»

С 21 по 23 ноября 2005 года в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН прошла международная научно-практическая конференция «Александр Блок. Современное прочтение, издание, изучение», посвященная 125-летию со дня рождения крупнейшего поэта-символиста, признанного классика XX века. Задачи конференции ее организаторы (Блоковская группа ИРЛИ и Музей-квартира А. А. Блока) видели прежде всего в обсуждении текстологических и эдиционных проблем очередных томов академического Полного собрания сочинений и писем поэта (ПССиП) и в координации научных сил для их решения, а также в обобщении опыта изучения биографии и творчества поэта в широком историко-литературном контексте эпохи. Особое внимание предполагалось уделить анализу продуктивности современных исследовательских стратегий, в том числе при комментировании символистского текста. В междисциплинарном аспекте ставился вопрос об актуальной интерпретации творческого наследия поэта в процессе преподавания в средней и высшей школе, о его месте в издательской политике, в современных концепциях экспозиций литературно-мемориальных музеев. В соответствии с общим замыслом конференции проблематика докладов и работа круглых столов распределились по обозначенным направлениям.

Во вступительном слове руководителя Блоковской группы ИРЛИ, доктора филол. наук Н. Ю. Грякаловой, открывшей конференцию, были выделены отдельные аспекты академического издания наследия поэта-символиста как проекта особого типа. В частности, было показано противоречие между позитивистской методологической матрицей (принципы историзма и биографизма, внимание к контексту возникновения и функционирования текста как гаранты «объективности») и особенностями модернистской литературы с выдвигаемой ею проблемой субъективности, нежизненности авторского «я», жанровой переоценкой, концептуализацией отдельных этапов творчества и выстраиванием индивидуального мифа. В случае с символистским текстом напряжение возникает между «запретом на интерпретацию», налагаемым на комментатора принципами академического «объективизма», и невоз-

можностью избежать ее в силу программной установки символистов на вербализацию мистического опыта и выражение «неказанного». Был поставлен вопрос об авторе как интерпретирующей/деинтерпретирующей инстанции и проанализирована продуктивность использования метафорических автометаописаний при комментировании текстов, критически рассмотрено понятие «полигенетичность символистского текста» и пределы его позитивности, оспорен «отсылочный» тип комментария (формула «сравни») и статус реминисценций, основанных на лексических совпадениях.

Текстологические, эдиционные и комментаторские аспекты ПССиП стали предметом рассмотрения в докладах, связанных с обобщением и критическим анализом опыта вышедших томов и с определением перспектив издания последующих — томов прозы разных лет, драматургии, записных книжек, филологических работ, корпуса детских и незавершенных произведений. Так, в докладе доктора филол. наук Д. М. Магомедовой (Москва, ИМЛИ) (был зачитан) обсуждался вопрос о составе, выборе текста и проблемах комментирования филологических работ Блока. Были аргументированы положения в пользу выделения этого корпуса текстов в самостоятельный раздел, который, в свою очередь, должен образовать отдельный полутом в т. 11 ПССиП, что не противоречит принятому жанрово-хронологическому принципу расположения материала. Этот раздел, естественно, потребует особой преамбулы, и таким образом тема «Блок-филолог» получит в издании самостоятельный статус.

Доктор филол. наук Е. В. Иванова (Москва, ИМЛИ) посвятила свой доклад проблемам издания прозы Блока, отметив при этом ряд принципиальных, с ее точки зрения, недостатков в вышедшем 7-м томе ПССиП (в частности, деление корпуса прозы в соответствии с жанровым принципом на «статьи» и «рецензии» в ущерб хронологическому принципу и др.), что должно быть скорректировано при работе над последующими томами. Доклад канд. филол. наук Е. Е. Чугуновой (Москва, РГАЛИ) касался проблем издания документально-хронологического свода «Летописи жизни и творчества А. А. Блока», что на современном этапе развития блокове-

дения является одной из насущных задач. Работа над «Летописью» началась достаточно давно. Ведущим научным сотрудником ЦГАЛИ СССР (ныне — РГАЛИ) К. Н. Суворовой и рядом специалистов Рукописного отдела Государственной библиотеки им. В. И. Ленина (ныне — РГБ), Пушкинского Дома и Отдела рукописей ГПБ (ныне — РНБ) им. М. Е. Салтыкова-Щедрина был создан первичный текст-справочник «Летописи» с 1880-го по 1909 год включительно, был унифицирован и подробнейшим образом расписан от года рождения поэта и до года его смерти практически весь имевшийся в наличии свод документов по блоковскому синопсису и составлена картотека. В настоящее время всесторонне изучается все многообразие доступных на сегодняшний момент источников пополнения сведений о поэте. На нынешнем этапе работы над «Летописью» наиболее важным представляется решение следующих задач: проведение дополнительной источниковедческой работы для окончательного оформления существующего текста «Летописи», унификация ссылок по современным изданиям (в первую очередь, томам академического ПССиП), полная замена устаревших текстовых ссылок новыми, подготовка к изданию обновленного текста, продолжение работы над картотекой жизнеописания Блока для подготовки следующих томов издания.

Доктор филол. наук В. Н. Быстров (ИРЛИ) в докладе «О пророчествах и предсказаниях А. Блока» выделил и рассмотрел четыре аспекта заявленной темы: пророчества мистического порядка; предсказания, касающиеся собственной жизни и творчества; предсказания о судьбах других людей; прорицания о судьбах России и мира (в частности, о революции и мировых войнах). Привлекая конкретный художественный, мемуарный, эпистолярный материал, дневниковые записи поэта, автор пришел к выводу о том, что пророческий дар, дар ясновидения Блока не следует ни умалывать, ни гипертрофировать. Сбывшихся прозрений у него было немногим больше, чем несбывшихся предсказаний.

Неизвестный архивный материал был представлен канд. филол. наук О. Л. Фетисенко (ИРЛИ) в докладе «Александр Блок в „Дневнике“ Е. П. Иванова: 1907—1914». Большинство упоминаний о Блоке в дневнике его ближайшего друга отличается чрезвычайным лаконизмом, однако в этом незаслуженно забытом источнике можно найти не только сведения о визитах или совместных посещениях театров и ресторанов (факты, важные для «Летописи»), но и яркие оценочные характеристики личности и наиболее значимых произведений поэта («Возмездие», «Роза и Крест» и др.), а также записи высказываний Блока и его жены и целые развернутые эпизоды с их участием. Наиболее ценны записи, относящиеся к тем периодам, когда сам Блок не вел дневник, а также те случаи,

когда запись помогает прояснить некоторые «темные места» блоковских дневников и записных книжек. Раздвинув обозначенные в заглавии хронологические рамки, О. Л. Фетисенко завершила свой доклад чтением фрагмента из позднего дневника Иванова (1939), посвященного воспоминанию об одной из последних встреч с Блоком.

В докладе канд. филол. наук Т. В. Игошевой (Великий Новгород) «„Стихи о Прекрасной Даме“ в церковно-календарном контексте» рассматривался один из аспектов обширной проблемы «поэтики даты» в творчестве А. Блока. Центральное внимание в докладе было уделено одному из богородичных праздников — Благовещению, образы, мотивы и детали которого повышено частотны в ранней лирике Блока. На особое значение Благовещения в религиозно-мистическом мировоззрении Блока, по мнению докладчицы, указывает и привязка нескольких стихотворений к 25 марта — дню празднования Благовещения Пресвятой Богородице. Анализируя благовещенскую семантику в стихотворениях «Загадай и скройся в ночь...», «Ранний час. В пути незрима...», «Мой любимый, мой князь, мой жених...» и некоторых других, Т. В. Игошева приходит к выводу о ее глубокой внутренней связи с одной из ключевых идей раннего Блока — идеей обожения, или мистического преображения человеческой личности.

На задачах, связанных с подготовкой тома драматических произведений Блока (т. 6), остановилась доктор филол. наук И. С. Приходько (Москва, ИМЛИ), сосредоточив внимание на основных мотивах драмы «Роза и Крест» и их «следах» в других текстах Блока. Драматизм в контексте творчества А. Блока принадлежит особая роль: они концентрируют ведущие идеи-мотивы, рассредоточенные в его лирике, поэмах, прозаических текстах. В драме «Роза и Крест» присутствуют как концептуально значимые для всего творчества Блока темы и мотивы, так и некоторые частные слова-образы. К категории идей-мотивов, важных для Блока вообще и получающих дальнейшее развитие и углубление в драме «Роза и Крест», относятся такие как *Радость—Страданье, Судьба, Человек и Поэт*, связанное с этими последними *двойничество*, тема «нищеты духа» и «вочеловечения», *Вечная Женственность* и ее значение на пути *восхождения героя*, антитеза *верности и измены*, «стояние на страже». Другой категорией, рассмотренной в докладе, стала группа устойчивых образных мотивов, выражающих эти кардинальные темы: *Роза и Крест, Рыцарь и Дамы, Рыцарь-Поэт, Рыцарь «бедный», Роза и Соловей, весна, ручьи, зеленая поляна, холод, туманы, снег, вьюга, цепи земные, тюрьма, океан, щит, меч, сказка, песня*. Устойчивыми в творчестве Блока являются и любимые им образы европейского Средневековья, картины средневековой жизни и истории, средневековые ре-

алии и обстановка: *замок, башня, стена, ров, замковый сад, кусты роз в саду* и т. п. Мотивный комментарий к драмам поможет читателям и исследователям Блока представить уникальное единство его творческого сознания и художественного мира.

В докладе «Европейские маршруты Александра Блока: Бельгия, 1911 год» доктор филол. наук Н. Ю. Грякалова (ИРЛИ) сосредоточила внимание на неизученном локусе блоковской «карты путешествий», соотнося его как с биографическими, так и с психогеографическими реалиями. Бельгийский эпизод был рассмотрен «под знаком Ж. Роденбаха», в результате чего был вскрыт целый пласт культурно-исторических ассоциаций, актуальных для эпохи и требующих интерпретации.

Доктор филол. наук С. А. Кибальник (ИРЛИ) выступил с докладом «Путешествие в блоковский хаос (К. Вагинов)». На примере первого стихотворного сборника К. Вагинова «Путешествие в хаос» (1921) были проанализированы интертекстуальные связи начинающего поэта с творчеством Блока. Докладчик определил поэзию Вагинова периода «Аббатства гаеров» как своеобразный палимпсест, написанный поверх поэтических текстов Блока и Маяковского. «Хаос» у Вагинова это уже не блоковский хаос, хотя точки соприкосновения сохраняются. У младшего поэта это ницшеанский хаос, когда никаких надежд на выживание христианского мира уже не остается; более того, сам этот христианский мир перерождается и предстает в пародийно-шаржированном виде. «Хаос» у Вагинова в известной степени заступает место Христа. Он дирижирует временем, например: «Хаос — арап с глухих окраин / Карты держит, как человеческого сын...» Наряду с картинками все усугубляющегося хаоса во внешнем мире, хаоса как ночного мира, знаменующего приближение конца света, в сборнике изображается путешествие поэта в хаос его собственной души. Общий принцип «Путешествия в хаос» в докладе сформулирован как принцип «гаеризации» традиционного символистского текста, опирающегося на ницшеанский поэтический дискурс, воспринятый в первую очередь от Маяковского и других футуристов. При этом поэт пародирует Блока не с критическими целями, а потому, что не может полностью выйти за пределы символистского дискурса.

В докладе доктора филол. наук Е. А. Яблокова (Москва) «Блоковские мотивы в романах А. Грина» был проанализирован ряд мотивных переключек между произведениями Блока и первым романом А. Грина «Блистающий мир», само заглавие которого как бы варьирует заглавие цикла «Страшный мир». Принципиально важная в романе оппозиция «механического» и «органического» полета предваряется, в частности, в стихотворении Блока «Авиатор» и в особенности в его драме «Песня Судьбы». Начиная с Достоевского и

Мережковского, мотив «механического» полета становится мифологемой, ассоциируясь с эпизодом третьего искушения Христа. Данная проблематика актуальна и в «Блистающем мире»: стремление «искусить» человечество идеей полета получает выражение прежде всего в образе Руны Бегуэм. В связи с этой героиней, в частности, пародийно переосмыслены мотивы стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...». Кроме того, в романе Грина важна коллизия «точки зрения», умение прозревать иной, «блещающий» мир сквозь обыденную реальность — в этом смысле очевидны переключки со стихотворением «Незнакомка». Символизируя человеческую цивилизацию, не способную постичь образ «блещающего мира», Руна оказывается в итоге поработана «землей». Доминирующий в финале гриновского романа образ «онирического» бытия, скрывающего истину («Ничего нет. Что же было? Газетный анекдот — и тоска»), представляет собой реминисценцию из стихотворения Блока «Идут часы, и дни, и годы...», лирический герой которого, находясь в состоянии тягостного сна, силится его «страхнуть».

В докладе канд. филол. наук И. А. Спиридоновой (Петрозаводск) «Блоковский подтекст в рассказе А. Платонова „Одухотворенные люди“» было высказано предположение о том, что блоковские реминисценции прослеживаются у Андрея Платонова на протяжении всего творчества. Докладчица провела сопоставительный анализ мотивных структур произведений, «занимающих стратегические позиции в творчестве писателей» — стихотворения А. Блока «Девушка пела в церковном хоре...» (1905) и военного рассказа А. Платонова «Одухотворенные люди» (1942), что позволило выявить глубинные основания художественно-философского диалога Платонова с Блоком.

Второй день работы конференции проходил в Музее-квартире А. Блока и открылся докладом доктора филологии Марии Дьёндьёши (Будапештский университет) «„Соловьиный сад“ и „Тангейзер“ (от немецкого романтизма к Р. Вагнеру)», в котором была развернута следующая мысль: «Вагнер, сочетавший легенду о Тангейзере в ее тиковско-гейневском варианте с сюжетом состязания певцов из повести Гофмана, выступил посредником между романтизмом и литературой эпохи рубежа веков. Он сохранил основную оппозицию романтических разработок сюжета — противопоставление языческой и христианской любви. Элементы вагнеровского сюжета, через который просвечивают романтические варианты легенды о Тангейзере, могли отразиться в поэме Блока, но без христианской трактовки вины, жертвы и чуда».

Т. А. Булычева (Иваново) посвятила свое выступление жизненным и творческим параллелям между Блоком и И. Анненским. Аспирантка Воронежского государственного педагогического института А. Кулик постро-

ила свое сообщение на анализе лирического сюжета цикла «Кармен» с учетом многообразных источников (новелла, опера, биографическая ситуация) и таких его особенностей, как инкорпорирование цитат из клавира и курсивное выделение текста. По мнению докладчицы, Блок, пересматривая предшествующую традицию, создает свою, глубоко личностную интерпретацию известного сюжета. Доктор филологии Галина Рылькова (Университет Флориды, США) выявила новые аспекты «блоковского мифа» в творчестве Анны Ахматовой. Свой вклад в развитие наметившегося «микросюжета» внесла канд. филол. наук Г. М. Темненко (Симферополь, Таврический национальный университет) докладом «О творческом взаимодействии А. Ахматовой и А. Блока (на материале цикла «Кармен»)», в котором соотносила ряд масок ахматовской лирической героини с лирическими парами блоковской лирики (Офелия, беседующая с Гамлетом; иннок и его недоступная возлюбленная — послушница, влюбленная в мирянина; девушка, возлюбленная князя или царевича) и выявила как их образный параллелизм, так и различие в принципах эстетического построения.

Доклад Д. В. Неустроева (Москва, РГАЛИ) был посвящен полубытовой очерку Е. Д. Зозули (1891—1941) «Трагедия Блока», который является частью неосуществленного замысла книги воспоминаний «Люди, которых видел, знал, представлял, о которых думал». В докладе были проанализированы два варианта очерка: первый, опубликованный в «Красной газете» в 1922 году, и второй, вошедший с купюрами и значительными изменениями в книгу «Встречи» (1927) с предисловием А. В. Луначарского. В очерке Зозуля приводит полярные оценки поэмы «Двенадцать», данные В. Горянским и И. Бабелем, рассказывает о выступлениях Блока в Большой аудитории Политехнического музея и в Доме печати в 1921 году, что дополняет список документально-мемуарных источников о последних месяцах жизни поэта.

Доктор филол. наук А. М. Грачева (ИРЛИ) в докладе «Посмертная жизнь А. Блока в творчестве А. М. Ремизова» раскрыла этапы личных и творческих взаимоотношений двух писателей. Были рассмотрены их личные контакты, переписка, дарственные надписи на книгах. Новый этап взаимоотношений начался после смерти Блока, когда Ремизов стал собирать материалы для создания музея поэта, а также сделал его героем своего творчества. В докладе была представлена эволюция образа Блока в текстах Ремизова — от книги «Ахру» до последней книги писателя «Петербургский буерак».

После экскурсии по мемориальной части Музея-квартиры А. А. Блока и знакомства с концепцией новой литературной экспозиции (автор Ю. Е. Галанина) состоялось заседание круглого стола на тему «Каким быть современному литературно-мемориальному

музею?» (ведущая — директор Музея-квартиры А. А. Блока Л. В. Пушкарева), в работе которого приняли участие практики и организаторы музейного дела, ведущие сотрудники литературных музеев Петербурга, Москвы, г. Пушкина, учителя школ и гимназий, использующих в практике преподавания литературы экскурсионные ресурсы и возможности школьных музеев. Были поставлены вопросы как сугубо музееведческого характера (способы представления экспонатов с учетом сопутствующих условий — местоположения музея, наличия или отсутствия подлинников, степени их сохранности и пр.), так и гуманитарно-педагогического (роль учителя в подготовке учащихся к посещению музея, статус экскурсовода, современность экспозиции и пр.).

Своим опытом музейного строительства и взглядами на проблемы современного музея поделились Л. Г. Агамалян (Литературный музей ИРЛИ), Н. Т. Ашимбаева (Мемориальный музей Ф. М. Достоевского), Ю. Е. Галанина (Мемориальный музей-квартира А. А. Блока), Н. А. Корнилова и М. А. Мошеникова (Историко-литературный музей г. Пушкина), Е. В. Наседкина (Мемориальная квартира Андрея Белого на Арбате, Москва), Н. Н. Мясникова (школа № 148 им. Сервантеса), С. В. Федоров (гимназия № 271), С. Ф. Щукина (школа «Гуманитарий», г. Пушкин). Дискуссия развернулась в следующем проблемном спектре: необходимость сочетания традиционных форм музейной деятельности с использованием новых информационных технологий и возможностей в экспозиционной, экскурсионной и преподавательской деятельности, учет возрастающей «визуальности» современной культуры, ее «массовидности», что не исключает, а, напротив, требует постоянной апелляции к духовному и художественному потенциалу литературного наследия, его «вписывания» в современность.

Последний день конференции открылся докладом доктора филол. наук Ю. Б. Орлицкого (Москва, РГГУ) «До и после стихов: силлабо-тонический метр в черновой и дневниковой прозе А. Блока», в котором был проанализирован механизм возникновения метра стихотворения Блока «Часовая стрелка движется к полночи» в прозаических черновых набросках к стихотворению и высказана мысль о том, что второй из этих набросков, опубликованный в т. 3 ПССиП, представляет собой законченную прозаическую миниатюру. Обратный процесс плавного «расподобления» метрически организованного стихотворного текста в дисметрическую прозу рассмотрен на материале блоковского дневника 1918 года — той его части, где поэт комментирует процесс создания книги «Стихи о Прекрасной Даме». В итоге докладчик сделал вывод: стих и проза в сознании и творчестве поэта связаны неразрывно, что и делает возможным подобные метаморфозы.

В докладе О. А. Кузнецовой (ИРЛИ) «Принципы комментирования суггестивного текста» речь шла о недостаточности историко-литературного и реального материала для раскрытия всех потенциальных смыслов символистской поэзии. Опираясь на декларативные высказывания французских и русских символистов о достижении тех пределов, «где кончается слово» и начинается живопись и музыка, и блоковский анализ сборника Вяч. Иванова «Прозрачность», докладчица показала необходимость выявления в поэтическом тексте экфрасисов, имитаций живописных и музыкальных технических приемов, а также обращения к описаниям обрядовых практик при комментировании мифологических реалий.

Интермедийный статус оперного искусства стал предметом анализа в докладе доктора музыковедения С. В. Фролова (СПбГК) «„Пиковая дама“ П. И. Чайковского — „Песня Судьбы“ А. А. Блока». Докладчик обратил внимание на то, что в системе традиционных представлений о «мифопоэтических» истоках драмы «Песня Судьбы» имеются отдельные выходы на повесть Пушкина «Пиковая дама». Через нее, в частности, интерпретируется имя главного героя пьесы. Однако в общем контексте эти параллели не укладываются в традиционную концепцию прочтения блоковской пьесы. Анализ параллелей между «Песней Судьбы» и «Пиковой дамой» показал, что причины этих неувязок кроются, во-первых, в том, что исследователи не учитывали посредствующего звена между повестью и пьесой — оперы Чайковского, во-вторых, несколько формально подошли к раскрытию основного содержания пьесы только через ее трактовку в контексте публицистики Блока эпохи создания пьесы (1908 год). Между тем структурирование пьесы в семь картин, их сценарное оформление и содержание обнаруживают как внешние, так и глубинные связи между «Песней Судьбы» и оперой «Пиковая дама». В этих связях раскрывается особый содержательный пласт, позволяющий по-новому интерпретировать образы героев пьесы, дающей возможность усилить в ее осмыслении автобиографическую линию, выводящий ее на особый уровень мифопоэтических отношений с русской литературой, а шире — и со всей русской культурой второй половины XIX — начала XX века.

В докладе канд. филол. наук О. Ю. Саленко (Москва, Литературный институт им. А. М. Горького) «Речевая образность в лирике А. Блока» были проанализированы индивидуальные приемы «расположения мыслей», предложено описание данного литературного феномена, а также определена художественная функция подобных образов в тексте. Остановившись более подробно на стилистических особенностях творческой манеры Блока, докладчица выделила фигуры и тропы (анаколупф, катахреза, оксюморон, эл-

липсис, солецизм), основанные на «аграмматическом» словоупотреблении, т. е. пропуске смысловой части, соединении несоединимого в семантическом плане, нарушении грамматического согласования слов, частей предложения, сломе логических и формально-грамматических связей в поэтической речи. Источниками для них стали устная речевая традиция, дискурс повседневности, «готовые формы» (А. А. Потебня), словесные обороты и синтаксические конструкции предыдущих эпох русского литературного языка. Анализ речевого уровня и его элементов крайне необходим для объективного и адекватного прочтения поэтических произведений, и в этом плане особую значимость для исследований представляет ПССиП Блока, в котором представлен полный свод стихотворных редакций и вариантов.

В докладе канд. филол. наук К. С. Корконосенко (ИРЛИ) «„Шаги Командора“ в XX веке: от Блока к Пушкину» были рассмотрены трансформации данного фразеологизма в русской культуре послеблоковской эпохи. Отмечено, что одной из особенностей его бытования является переадресация выражения и возведение его к пушкинскому «Каменному гостю», минуя блоковский текст.

На основании в формате круглого стола под названием «Издаем Записные книжки... Проблемы, итоги, перспективы» (ведущая — Н. Ю. Грыкалова) были вынесены вопросы текстологического и комментаторского характера, встающие при подготовке такой разновидности паралитературных текстов, как записные книжки, а именно: жанровый, текстологический и житнетворческий статус блоковских записных книжек, проблема подачи материала при разных формах заполнения записной книжки, дифференциация записей, место стихотворных текстов, в том числе незавершенных, сбой хронологии, глубина комментария, функция отсылок, указателя имен и т. п. После необходимого проблемного вступления Н. Ю. Грыкаловой, охарактеризовавшей процесс работы над подготовкой полного корпуса «Записных книжек» Блока (т. 13 и 14 ПССиП), слово взяла Н. В. Лощинская (ИРЛИ), которая остановилась на жанровом своеобразии записных книжек Блока и трудностях их репрезентации в академическом издании. Хотя в них нет заранее продуманной выстроенности, однако присутствуют элементы житнетворчества, следы авторефлексии и автоцензуры. Твердая «канва жизни» (бытовые, биографические, литературные и иные реалии) сочетается в них с всеразмывающим лиризмом дневниковых записей и множеством черновых автографов, занимающих более половины объема записных книжек и составляющих некий «пратекст» всего творчества поэта. Адекватно воспроизвести его в составе записных книжек сложно. Все черновые автографы стихотворных, драматических, прозаических произведений представлены в раз-

делах «Редакции и варианты» соответствующих томов издания. И подача их (не по отношению к основному тексту) могла вызвать путаницу в рамках академического издания. Поэтому было решено отмечать присутствие в определенном месте записной книжки чернового автографа с отсылкой к разделам «Другие редакции и варианты» соответствующих томов. Это позволило проследить как развитие творческих замыслов, так и миграцию строк из одной записной книжки в другую. Только незаконченные стихотворные наброски было решено включать полностью, поскольку смысл их вне текстового окружения обедняется, а порой остается неясным.

С трудными и проблемными случаями текстологических решений познакомила участников обсуждения О. А. Линдеберг (ИРЛИ), отметившая сложность и специфику выстраивания «основного текста» каждой записной книжки, возрастание в такой ситуации статуса текстологического комментария. Докладчица высказала итоговую мысль о том, что каждую записную книжку следует рассматривать как некую единицу текста, условно говоря, некое отдельное «произведение», внутри которого действует собственный закон.

Дискуссия сосредоточилась на ряде текстологических решений, принятых Блоковской группой ИРЛИ: на мотивах отказа от включения черновых автографов в «основной текст» записных книжек, на характере восстановления лаку, имевшихся в издании «Записных книжек», вышедших под редакцией В. Н. Орлова, на той степени деликатности, которая необходима при коммен-

тировании текстов исповедального жанра и отдельных биографических фактов, без пояснения которых невозможно, однако, построение современной научной биографии поэта. Вопросы, выступления и реплики присутствующих, аргументация «за» и «против» свидетельствовали о научной актуальности и своевременности поставленных проблем. В обсуждении данной проблематики помимо филологов приняли участие текстологи и литературоведы, имеющие аналогичный опыт работы с записными книжками и дневниками М. Цветаевой (канд. филол. наук Е. Б. Коркина, Москва), Д. Хармса (канд. филол. наук В. Н. Сажин, Санкт-Петербург), З. Гиппиус (доктор филологии К. Эберт, Университет Франкфурта-на-Одере, Германия), а также филолог и издатель С. С. Лесневский (Москва).

В рамках конференции были организованы выставки и презентации издательских проектов и культурных инициатив. Участники познакомилась с новыми экспозициями Музея-квартиры А. А. Блока, Литературного музея ИРЛИ («Серебряный век: мистика и реальность»), выставкой акварелей петербургской художницы Ритты Кондеранда, навеянных поэтическими топосами Петербурга. Экспонировались труды Блоковской группы ИРЛИ за последние годы, книги московского издательства «Прогресс-Плеяда» (главный редактор С. С. Лесневский), посвященные литературе Серебряного века.

© Н. Ю. Грякалова,
© Е. И. Колесникова

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ВАДИМА ЭРАЗМОВИЧА ВАЦУРО (1935—2000)

28—30 ноября 2005 года в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН состоялась Международные научные чтения памяти Вадима Эразмовича Вацуро (1935—2000). Они были приурочены к 70-летию со дня рождения ученого, деятельность которого во многом определила характер исследований, посвященных пушкинской и предпушкинской эпохе. Имея звание кандидата филологических наук, В. Э. Вацуро обладал бесспорным высочайшим авторитетом в научных кругах, поэтому тематика докладов, прочитанных на конференции, при всей широте и разнообразии поставленных в них проблем, каждый раз оказывалась связанной с его работами, к которым апеллировали все докладчики. В Чтениях участвовали ученые Петербурга, Москвы, Новосибирска, Твери, Великого Новгорода, а также американские, японские, украинские и эстонские исследователи.

Со вступительным словом выступил С. А. Фомичев (Санкт-Петербург), вспомнивший и учителя В. Э. Вацуро — В. А. Мануйлова, который первым оценил еще в университете способности своего ученика и привлек его к работе над «Лермонтовским семинарием» и над изданием сочинений Лермонтова, а позже — над «Лермонтовской энциклопедией». С. А. Фомичев рассказал также о нескольких эпизодах живого человеческого общения, которое так ценил В. Э. Вацуро.

Далее к участникам конференции обратился с приветствием О. Ю. Шмидт (Москва).

С. Г. Бочаров (Москва) в докладе «Две внешние параллели к внутреннему действию „Пиковой дамы“» соотнес пушкинскую повесть с двумя близкими по времени произведениями — «Красным и черным» Стендаля и «Вию» Гоголя. Герои Пушкина и Стендаля вступили в большую игру со своей современностью. Современность Стендаля и сама иг-

ра-борьба его героя гораздо более прямо и обнаженно социальны, а рулеточные символы в заглавии романа расшифровываются толкователями достаточно условно как цвета героической истории прошлого и клерикальной реакции в настоящем. Пушкинское заглавие напрямую связано с механизмом игры и через него ведет в философское средоточие действия. Игра-борьба Жюльена Сореля ведется с обществом, Германна — с самой жизнью. Пушкинский сюжет несравнимо более исторически скромный, камерный и экзистенциально более углубленный. В романе Стендаля искусственные и живые страсти смешиваются во взаимоподменах. Эта деформация социальным сюжетом классического любовного открывалась в европейском романе впервые. Пушкинский Германн обнаруживает подобную же деформацию чувств. В «Пиковой даме» традиционные эмоциональные слова-шаблоны «страсть», «трепет» и «ужас» создают впечатление общности чувств, но на самом деле чувства героев направлены в противоположные стороны. Случай Германна не укладывается в современность, не совпадает с ней, а ведет куда-то дальше и глубже. «Красное и черное» — роман политический, не случайно совсем лишенный какого-либо элемента фантастики. Но его социальный сюжет своим последним итогом имеет все же любовь. В «Пиковой даме», в ее легендарном сюжете, любовные мотивы сопровождают тайну графини, а в ее современном сюжете любовь становится маской, любви уже нет.

Сопоставляя «Пиковую даму» с «Вием» Гоголя, С. Г. Бочаров показал, что мистический сюжет повести Гоголя — испытание человека, словно избранного таинственными силами для этого испытания. Мотивов такого избрания и испытания повесть не объясняет. У Пушкина метафизический характер этих сил остается загадкой. Мы знаем только, что это очень умные силы, с которыми Германн затеял игру. Демонические силы и фантастический женский образ (гоголевская ведьма и старуха графиня) — два пункта сближения обеих повестей. Более глубокое сближение — сюжет испытаний. В принадлежности демонов «Вия» к нечистой силе Гоголь не оставляет сомнения, неведомая сила «Пиковой дамы» действует за кадром и заставляет нас сомневаться как в своем реальном существовании, так и в принадлежности к адскому миру злых духов.

Н. Н. Мазур (Москва) обратилась к пушкинским «Стихам, сочиненным во время бессонницы». Исследовательница проанализировала черновые варианты стихотворения Пушкина и пришла к выводу, что возможным источником образа «Жизни мышья беготня» является текст Марка Аврелия.

Доклад Ю. Н. Чумакова (Новосибирск) «Царь Дадон в „Сказке о золотом петушке“» был непосредственно связан со статьей В. Э. Вадура, где это пушкинское произведение рассматривалось как литературная сказ-

ка с включением в нее элементов пародии, трагедии и гротеска. Причиной гибели Дадона докладчик считает отказ его от активной и конструирующей роли одновременно с попыткой сохранения своих властных полномочий. Дадон не циничен и не коварен, этими свойствами как раз обладает его враги и губители. Мы вправе приписать ему старческое легкомыслие, высокомерие и доверчивость, но на нем действительно лежит метафизическая вина — отказ от исполнения своего долга.

Выступление Е. Н. Дрыжаковой (Питтсбург, США) было посвящено развернувшейся между Пушкиным и Вяземским полемике по вопросам творчества И. А. Крылова. По мнению исследовательницы, стоит еще раз рассмотреть известные факты с учетом литературных споров 1821—1825 годов. Вяземский с самого начала был предубежден против Крылова. Он был для Вяземского «беседчиком». Безусловно не нравилось Вяземскому прославнофильские и антипросветительские басни, особенно «Огородник и философ» и «Сочинитель и разбойник». По его мнению, в России рано смеяться над философом и отдавать преимущество разбойнику перед сочинителем. Вяземский считал, что популярность Крылова основана на доступности его басен малообразованным людям из-за их плоскости и пошлости. Существенно влияло на отношение Вяземского к Крылову и безусловно клановое восхваление И. И. Дмитриева. Последнего Вяземский неоднократно называл русским Лафонтеном. Пушкина совершенно не смущала антипросветительская позиция Крылова. Он мог иронизировать над патристическим восхвалением русского курятника в статье Булгарина, но никогда не упрекал Крылова за русских куриц, соловьев и медведей в его баснях. Русским Лафонтеном Пушкин считал именно Крылова: простодушие французского народа заменилось у русского баснописца лукавством ума и живописным способом выражаться. Вяземский был возмущен позицией Пушкина и считал ее ошибкой не только в литературном отношении, но и в нравственном. Вскоре спор Пушкина и Вяземского о русской народности перешел в политические сферы, заметила в заключение Е. Н. Дрыжакова.

Н. И. Михайлова (Москва) в своем докладе выявила композиционное сходство автоиллюстрации Пушкина к «Каменному гостю» и к посланию «К вельможе». Исследовательница сопоставила автоиллюстрацию к «Каменному гостю», запечатлевшую Дон Гуана в плаще и шляпе с пером, с портретом князя Н. Б. Юсупова в испанском костюме. Она рассмотрела также отражение мотивов и образов испанского эпизода послания «К вельможе» в «Каменном госте» и привела мемуарные и эпистолярные свидетельства современников о русском Дон Жуане — князе Н. Б. Юсупове. В итоге Н. И. Михайлова выдвинула предположение о том, что общение

Пушкина с князем Н. Б. Юсуповым повлияло на создание образа Дон Гуана.

В докладе Э. И. Худошиной (Новосибирск) «Казаки, башкиры, калмыки в „пугачевском тексте“ Пушкина» впервые к анализу «Капитанской дочки» были привлечены не только параллели из пушкинской «Истории Пугачева», но также и документальные материалы, собранные Пушкиным и приложенные к ней. Результаты предпринятого исследовательницей анализа показали, что целый ряд мелких и не обращавших на себя ранее деталей, введенных в «Капитанскую дочку», имеют в данном контексте несомненно маркированное значение.

Доклад Нобухико Асаока (Осака, Япония) «Вокруг „Рославлева“ Пушкина» был построен на типологических параллелях. Японский читатель «Рославлева» сразу вспомнит первое на японском языке произведение дневниковой литературы, написанное от имени женщины, — «Тоса-никки», автором которого считается знаменитый поэт Ки-но Цураюки (в русском переводе В. Н. Горегляда «Дневник путешествия из Тоса»). Оно было создано в середине 30-х годов IX века. В то время мужчины, согласно общепринятой морали, не должны были открыто выражать свои чувства. В отличие от них женщины были свободны от социальных ограничений и могли описывать душевное состояние человека без оглядки на общественное мнение. Этим своим произведением Ки-но Цураюки открыл путь к участию женщин в литературной жизни и способствовал возникновению женской литературы в Японии в лице ее прославленных писательниц — Мурасаки Сикибу, Сэй Сёнагон и др. Докладчик отметил, что в IX веке японская культура была под сильным влиянием континентальной культуры Китая, подобно тому как русская культура XIX века находилась под влиянием французской. Одна из причин того, что Пушкин написал «Рославлева» от лица женщины, заключается в том, что он возлагал большие надежды на женщин в деле развития русской словесности и хотел опровергнуть мнение о их необразованности и неумении изъясняться на родном языке. Женский взгляд на события был также призван подчеркнуть обращение к внутреннему миру человека, выявлявшее вечное и общечеловеческое, не ограниченное определенной эпохой, конкретными политическими обстоятельствами и общественными нравами.

Н. А. Хохлова (Санкт-Петербург) посвятила свой доклад пушкинской рецензии на «Путешествие ко Святым местам» в 1830 году А. Н. Муравьева. На основе двух взаимодополняющих свидетельств (архивного и печатного) исследовательница впервые установила дату выхода «Путешествия» в свет — июнь 1832 года. Установление этой даты и наблюдения над текстом пушкинской рецензии позволили сделать вывод, что она была написана в первой половине сентября 1832 го-

да и предназначалась, по-видимому, для газеты «Дневник», задуманной Пушкиным во второй половине 1832 года. Возможно, эта рецензия является частью неосуществленного замысла — статьи «О новейших романах», в сохранившемся плане которой упомянуто имя Муравьева. Н. А. Хохлова проанализировала также известные фрагменты из мемуаров А. Н. Муравьева «Мои воспоминания» и «Знакомство с русскими поэтами». Эти две мемуарные версии расходятся в следующем: в «Моих воспоминаниях» встреча с Пушкиным в архиве МИД контекстуально датируется зимой 1831/32 года. В «Знакомстве с русскими поэтами» эта встреча фактически отнесена к зиме 1832/33 года. Установление опорных дат выхода «Путешествия ко Святым местам» в свет и написания рецензии, а также многоаспектный анализ самих мемуаров позволили Н. А. Хохловой считать достоверной версию, изложенную в «Моих воспоминаниях».

Доклад М. В. Строганова (Тверь) «С. Д. П. Эпилог к Эпилогу В. Э. Вацуру» был связан с тематикой монографии Вацуру, посвященной салону С. Д. Пономаревой. Одним из нереализованных научных планов ученого было намерение посвятить специальное культурно-историческое исследование судьбам людей пушкинской эпохи за порогом «золотого века». М. В. Строганов проследил позднейшие биографии мужа Софьи Дмитриевны — Иоакима Ивановича Пономарева, создавшего условия для существования ее литературного салона, а также А. Е. Измайлова, поэта-баснописца и издателя журнала «Благонамеренный», активного участника салона С. Д. Пономаревой в бытность его тверским вице-губернатором. При этом А. Е. Измайлов отошел от активного участия в литературной жизни столицы, но не бросил литературу. Докладчик привел текст двух его стихотворений, написанных по случаю посещения в селе Кое Иоакима Ивановича Пономарева во время поездки в Кашинский уезд с ревизией. В заключение М. В. Строганов предположил, что село Благовещенское, в которое попадают герои романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия» и настоящее название которого комментаторами не установлено, это село Кой.

В докладе Л. А. Ореховой (Симферополь, Украина) «В. М. Княжевич: послесловие к книге В. Э. Вацуру „С. Д. П.“» на основании архивных данных была выявлена роль Владислава, Дмитрия и Александра Княжевичей в создании «Сословия друзей просвещения». Исследовательница проследила дальнейшую литературную деятельность и литературные связи братьев Княжевичей и их потомков в XIX—XX веках.

Л. Н. Киселева (Тарту, Эстония) проанализировала диалог о Святой Руси, развернувшийся между Вяземским и Жуковским. И стихотворение Вяземского «Святая Русь», и статья Жуковского, ему посвященная, яв-

ляются попытками осмысления событий 1848 года и места в них России. Докладчица отметила, что оба автора отзываются в них на манифест Николая I от 14 марта 1848 года «О событиях в Западной Европе», где была использована формула «Святая Русь» для усиления национального и религиозного масштаба документа. В данном случае речь шла об идеологической подготовке возможной будущей войны, которая заранее преподносилась как миссия России по спасению Европы — аналог войн против Наполеона. По мысли Вяземского, Россия — Святая Русь, воплощение христианского порядка — должна противостоять европейскому беззаконию. Именно пункт о тождестве Руси и России вызвал возражения Жуковского. По его мнению, отождествление Святой Руси с современной Россией невозможно не только потому, что не все в современности отвечает столь высокому идеалу, но и потому, что это именно идеал. Для Жуковского Святая Русь, в отличие от России, — не государство. Святость может принадлежать и России, но только при условии выполнения ее миссии — крепить основы христианского миропорядка, ниспровергаемые в Европе. Однако при всем негативном отношении Жуковского к революции опыт 1848 года убедил его в ее закономерности и неизбежности. Революция — следствие дурного управления власть имущих. Жуковский завершает свою статью прямым призывом совершенствовать Церковь и самодержавие, укреплять в России законность, распространять христианское образование.

Тема доклада М. А. Турьян (Санкт-Петербург) «К вопросу о русском Агасфере: Антоний Погорельский. „Посетитель магика“» — предпринятый Погорельским в 1829 году перевод мистико-романтической новеллы малоизвестного английского писателя Генри Нила «Посетитель магика» (1828). Выбор был не случаен, так как сюжетная канва, построенная на апокрифической истории о Вечном жиде, позволила русскому писателю дать свое толкование одной из основных нравственно-философских проблем — о грехе и падении, активно дискутировавшейся в это время в кружке Пушкина—Жуковского. Художественное же воплощение текста, корреспондирующее с жанром новеллы, обнаруживает все признаки эзотеризма, связанного с философской многозначностью масонской обрядовой символики.

В. А. Мильчина (Москва), выступавшая соавтором В. Э. Вацура в трудах, посвященных русско-французским литературным связям первой трети XIX века, обратилась в своем докладе к русскому и французскому восприятию романа Бенжамена Констан «Адольф». Этот маленький роман, написанный, по всей вероятности, в конце 1806 — начале 1807 года и опубликованный во Франции впервые летом 1816 года, вызвал живой интерес, однако очень скоро этот интерес

угас, а к концу 1830-х годов «Адольф» во Франции был почти забыт. Иначе сложилась его судьба в России. Уже во второй половине 1820-х годов он стал для писателей пушкинского круга произведением, говоря современным языком, «культовым». Именно этим особым положением «Адольфа» в сознании Пушкина и его единомышленников объясняется предпринятый Вяземским в 1829 году перевод романа и чрезвычайно хвалебный «анонс» этого перевода, опубликованный Пушкиным 1 января 1830 года в «Литературной газете». И в этом анонсе, и в предисловии, которое Вяземский предпослал своему переводу, выделяются два основных достоинства «Адольфа»: современность его героя и метафизический язык, которым этот герой описан. Как отметила В. А. Мильчина, оба эти тезиса были полностью приняты на веру русскими исследователями. Между тем сам Констан вовсе не пытался изобразить «героя века» и дать его психологии историко-социальное объяснение. Сочиняя «Адольфа», он исследовал определенный психологический казус, а именно — собственную психологию нерешительности и безволия, не связывая ее с историческим контекстом. И представление о том, что «метафизический» язык «Адольфа» отличается особой стройностью и что эту «метафизичность» следует считать достоинством, — также плод русского, а не французского восприятия. Французские критики отмечали в тексте «Адольфа», который сейчас, в XXI веке, кажется шедевром гармонической ясности, фразы негладкие, неправильные, непонятные. Вяземский, передавая в своем переводе эти фразы по-русски почти буквально, ничего не сглаживая, позволяет нам ощутить то изумление, какое испытывали первые русские читатели «Адольфа», сказала в заключение В. А. Мильчина.

О. С. Муравьева (Санкт-Петербург) в своем докладе описала «литературную аристократию», к которой принадлежал Пушкин, как культурный феномен. Доклад был построен на освещении этого феномена одновременно в историко-литературном, культурно-историческом и социологическом аспектах. В научной литературе полемика между «Литературной газетой» и «Северной пчелой» (в ходе которой родилось выражение «литературная аристократия») рассматривается главным образом в рамках политической и сословной вражды. Между тем в основе конфликта лежали не только эти привходящие обстоятельства, но и отрицающие друг друга моральные принципы. Под моральными принципами в данном случае имеются в виду не личные нравственные качества участников журнальных баталий, а различные нормативные системы, ориентированные на определенный личностный образец, принятый в данной социальной группе в качестве идеала. На основе концепции Марии Оссовской об «этосе» как культурно-психологической общности, сохраняющей устойчивые

признаки в разные эпохи и в разных национальных культурах, в докладе прослеживается генезис пушкинского кружка и группы Булгарина, относящихся соответственно к «рыцарскому» и «буржуазному» этосам. Такой угол зрения позволяет интерпретировать известный литературный конфликт в контексте общих историко-культурных закономерностей. «Литературная аристократия» предстает уникальным культурным феноменом, значение которого выходит далеко за рамки частной журнальной полемики.

Культурно-исторической теме был посвящен и доклад Е. Е. Дмитриевой (Москва) «„И far niente мой закон“: праздность как составляющая литературного быта пушкинской поры». Поэтическая лень, праздность не тождественна бытовому безделью, но представляет собой по-особому деятельное и продуктивное духовное состояние. Как показала исследовательница, оно имело определенные культурно-исторические образцы.

Н. Д. Кочеткова (Санкт-Петербург) обратилась в своем докладе к эпизоду участия Хераскова в «Московском журнале» Карамзина. Как справедливо отметил В. Э. Вацуро, в отношениях с Херасковым вполне проявилась этическая позиция Карамзина, который «счел необходимым почти демонстративно подчеркнуть неизменность своих личных отношений с жертвами политических преследований». Однако до сих пор личные и творческие связи Карамзина и Хераскова изучены недостаточно. Рецензия Карамзина на роман Хераскова «Кадм и Гармония, древнее повествование», вышедший анонимно в 1789 году, появилась в самом первом выпуске «Московского журнала». Это была очень серьезная статья, содержащая немало важных наблюдений, но вызвавшая недовольство некоторых московских масонов, в том числе сводного брата Хераскова Н. Н. Трубецкого. Впрочем, сам Херасков принял участие в «Московском журнале», как отметил еще В. В. Виноградов. Полемицизируя с его истолкованием псевдонима «И. К.», которым были подписаны стихотворение «Время» и басня «Осел и лира», бесспорно принадлежащие Хераскову, Н. Д. Кочеткова расшифровывает этот псевдоним как «Издатель Кадма». Для Карамзина это могло быть знаком благоприятного отношения писателя к молодому рецензенту. Свидетельством того, что у Карамзина и Хераскова в период издания «Московского журнала» сохранялись постоянные контакты, служат и «Письма русского путешественника». В одном из швейцарских писем, опубликованных на страницах журнала, упоминается «греб. священник». Исследователи и комментаторы «Писем» обошли вниманием это сокращение. Между тем, утверждает Н. Д. Кочеткова, совершенно очевидно, что это означает «гребеневский священник». Он был хорошо известен многочисленным гостям подмосковного имения Хераскова Гребенево (Гребнево), среди которых был и

Карамзин. Все это были реалии, хорошо понятные литераторам той поры, связанным с Новиковским кружком.

М. Г. Альтшуллер (Питтсбург, США) проанализировал литературные позиции Гнедича и Державина, проявившиеся в эпизоде их ссоры в 1811 году. В 1806 году двадцатидвухлетний поэт Н. И. Гнедич решил продолжить незавершенный Е. И. Костровым перевод «Илиады» александрийскими стихами. Работа Гнедича была встречена одобрением и шумными похвалами в кругу Державина—Шишкова. Но, когда в 1810 году началась организация «Беседы любителей русского слова», Гнедич демонстративно отказался от участия в этом престижном литературном сообществе (ему предложили занять место во втором разряде, под председательством Державина). По словам Ф. Ф. Вигеля, «„Беседа“ в распределении мест держалась более табели о рангах, чем о талантах». Приглашенный на девятое место в члены-сотрудники, а не в действительные члены, Гнедич не поддавался ни на какие уговоры маститого и почитаемого поэта. Наконец разразился скандал: обиженный Державин выгнал гордого, независимого, хотя бедного и нечиновного Гнедича из дома князя Бориса Голицына. Описывая эту вопиющую историю, Гнедич назвал Державина варваром. Естественно полагать, что после такого скандала Гнедич не должен был переступать порога дома Державина, где проходили заседания «Беседы любителей русского слова». Однако он, хотя формально и не стал членом «Беседы», принял в ее деятельности самое живое участие и присутствовал на многих заседаниях. Он читал здесь и продолжение перевода Кострова, и новый перевод Гомера гекзаметрами. Как предполагает М. Г. Альтшуллер, причина была в том, что Гнедичу была близка идеологическая позиция «беседчиков»: представление о высоком учительном пафосе литературы, глубокий интерес к славянскому языку и российским древностям, признание важнейшей роли искусства в общественной жизни, интерес к высокому литературным жанрам и пр. В то же время «арзамасцы» рассматривали Гнедича как полноправного члена «Беседы» и вволю смеялись над ним и над русскими гекзаметрами на своих заседаниях. Докладчик предложил несколько пересмотреть устоявшуюся в науке точку зрения на литературную позицию Гнедича, закрепленную даже в справочных изданиях. Считается, что он не примыкал ни к какой литературной группировке. М. Г. Альтшуллер высказал убеждение в том, что по литературным симпатиям и вкусам, по отношению к нему враждующих групп можно рассматривать Гнедича как автора, полноправно входившего в круг «Беседы любителей русского слова».

С. И. Панов (Москва) посвятил свое выступление отношению современников к личности И. И. Дмитриева.

Е. О. Ларионова (Санкт-Петербург) выступила с докладом «Курс славянских литератур Мицкевича: историческая репутация и реальное содержание». Основная проблема восприятия лекций Мицкевича как его современниками, так и позднейшими читателями и исследователями заключалась в том, что в общественном сознании эти лекции были априорно политизированы. Однако, чтобы правильно воспринимать курс Мицкевича, надо представлять себе ту внутреннюю эволюцию, которую проделал Мицкевич во второй половине 1830-х годов. В самом общем определении это было движение от политической идеи к религиозной, от открытой политической борьбы за восстановление независимости Польши к идее национального возрождения через возрождение религиозное и нравственное совершенствование общества. Этот внутренний путь Мицкевича, как было показано в докладе, связан самыми разнообразными нитями с французскими религиозными доктринами того времени. В контексте внутренней эволюции Мицкевича могут быть несколько по-иному освещены господствовавшая в его курсе идея общеславянского мессианизма и те политические противоречия Польши и России, которыми были пронизаны лекции Мицкевича.

Доклад О. К. Супронюк (Киев, Украина) «Французский источник пьесы Е. П. Гребенки „В чужие сани не садись“» был посвящен творчеству товарища Гоголя по Нежинскому лицу Е. П. Гребенки. В прижизненные собрания сочинений автора пьесы не включалась, впервые она была опубликована в 10-томном полном собрании его сочинений в 1902 году. Пьеса была написана в 1827 году. В это время в гимназии учатся Гоголь, Кукольник и другие будущие русские и украинские литераторы. Как утверждает О. К. Супронюк, непосредственным источником гимназической пьесы Гребенки «В чужие сани не садись» можно считать комедию в стихах Алексиса Пирона «Метромания, или Страсть к стихотворству». Работая над пьесой, Гребенка использовал апробированный прием И. А. Крылова в способе усвоения французской комедийной традиции — взять сюжетно-композиционную схему французской пьесы и наполнить ее русским содержанием. Он изобразил среду мелкопоместного дворянства, которую знал изнутри. На протяжении всей пьесы Гребенка использует сюжетные и словесно-структурные реминисценции из комедии Пирона. Некоторые ситуации комедии Гребенки являются прямой парафразой соответствующих эпизодов пьесы Пирона в переводе Н. Сушкова. Гребенка сделал свою пьесу прозаической: основной текст — проза со вставками стихотворных эпизодов. На его эстетике сказались сильные еще в нежинской литературной среде влияния классицистической драматургии.

А. А. Карпов (Санкт-Петербург) исследовал феномен эпигонской литературы в до-

кладе «„Медный всадник“ Платона Смирновского».

Лермонтоведческим трудам В. Э. Вацууро был посвящен доклад Такаси Кимура (Оцу, Япония). Исследователь проанализировал статью «Поэмы М. Ю. Лермонтова», помещенную в собрании сочинений Лермонтова 1979—1981 годов, и статью о стихах Серафимы Тепловой как источнике лирики раннего Лермонтова.

Л. И. Вольперт (Тарту, Эстония) остановилась на мифе о «Пророчестве Казота» Лагарпа и стихотворении Лермонтова «На буйном пириестве задумчив он сидел». Как известно, источники для написания научной биографии Лермонтова недостаточны и противоречивы. Но все же она создавалась совместными усилиями компаративистики, культурологии, герменевтики, биографического метода, неомифологического метода, новой исторической школы. Хотя эти новомодные названия модернистских школ не были в ходу, ведущие лермонтоведы работали именно в этом направлении. Как отметила Л. И. Вольперт, в В. Э. Вацууро все эти ипотаси совместились. В качестве примера исследовательница привела стихотворение «На буйном пириестве задумчив он сидел». В своей статье в «Лермонтовской энциклопедии» Вацууро предложил несколько разнообразных подходов, ракурсов, наметил линии дальнейшего изучения, маркировал генетическую связь стихотворения с прозаическим «Пророчеством Казота» Лагарпа.

В. А. Кошелев (Великий Новгород) обратился к анализу трагической поэтики «Надписей на стихотворениях Пушкина» А. К. Толстого. Хотя томика стихотворений Пушкина с пометами Толстого никто, кроме Цертелева, не видел, усомниться в их достоверности невозможно. В этих пометах настолько ярко отразился не только стиль, но и характер художественного мышления Толстого, что их просто невозможно приписать никому другому. Перед нами отражение какой-то специфической «игры» с пушкинскими текстами, подобной «игре» в «Козьму Пруткову», которой в течение нескольких лет увлекались Толстой и братья Жемчужниковы. Эта «игра» выходила за пределы литературы и становилась частью быта, отложившегося в ряде анекдотов о тех «дурочествах», которые устраивали молодые остроумные авторы «Козьмы Пруткова». Нечто подобное представляла собой и абсурдистская «игра» Толстого с классическими пушкинскими текстами. Это была игра «для себя», никак не предназначенная для печати: Толстой проверял собственную художественную реакцию на текст, воспринимавшийся в рамках его времени как непрерываемо классический и неприскосновенный. Толстой «надписывает» пушкинское стихотворение — и тем самым «дописывает» его, создавая некую возможность собственного художественного осмысления мира в границах того мировидения,

которое предложено Пушкиным. Это «дописывание» строится по законам, противоположным тем, которые бытовали в пушкинскую эпоху. Часто эти «кощунства» напоминают «базаровско-писаревские» «рацеи» по поводу превосходства «материального» над идеальными «чувствованиями». Однако насмешливое отношение Толстого к классическим пушкинским стихам никоим образом не сводилось к возможности «позитивистского» отношения к пушкинскому мировосприятию: в этом отношении Толстой отвергал писаревские оценки, предпочитая пушкинские представления о художестве и художнике. В своих «надписях» возле классических пушкинских текстов Толстой в сущности демонстрирует свободу, импровизацию. Здесь Толстой нисколько не пытается «принизить» Пушкина, ни даже вступить с ним в «соревнование». Но, как истинный поэт, Толстой переосмысливает и преодолевает «пушкинскую манеру», ощущая невозможность ее механического воспроизведения в новых поэтических условиях. И в качестве вариантов такого «преодоления» представляет собственные образчики «дописывания» пушкинских классических текстов.

Доклад М. Н. Виролайнен (Санкт-Петербург) «„Подлинное происшествие“ в анекдоте „золотого“ и „виртуального“ века» был связан с разными темами, о которых писал В. Э. Вацуру: с историей передачи Пушкиным Гоголю сюжета «Ревизора», с сопоставительным анализом мемуарных свидетельств, с творчеством М. П. Погодина, а также Гоголя и Пушкина. В современной русской литературе появились произведения, описываю-

щие «альтернативную», или «виртуальную», историю. Они преподносят читателям такие исторические факты (исторические анекдоты), которых явно никогда не было. Убрав обязательную для «золотого» века опору анекдота на подлинное происшествие, современный автор при создании мифа в качестве единственной своей опоры выдвигает слово, власть которого в классической литературе была закамouflированной, в культуре постмодернизма — отвергнутой, а теперь оказалась заново утверждаемой.

К конференции была подготовлена выставка, посвященная жизненному пути В. Э. Вацуру. На ней были представлены фотографии, рукописи и книги ученого, материалы, освещающие его научное творчество в контексте пушкинистики второй половины XX века.

30 ноября, в день рождения В. Э. Вацуру, участники конференции посетили его могилу на мемориальном кладбище в Комарово.

На вечере памяти В. Э. Вацуру был показан фильм, в котором использовались документальные съемки Пушкинского юбилея 1999 года, сделанные Нобухико Асаока. Видеозаписи сохранили выступление Вадима Эразмовича с докладом в Тбилисском университете, его общение с коллегами, а также блистательное исполнение им роли тамады на торжественном ужине, завершавшем грузинскую часть юбилейной конференции. В заключение с воспоминаниями о В. Э. Вацуру выступили его коллеги и ученики.

© А. К. Михайлова

ЮРИЙ ДАВИДОВИЧ ЛЕВИН

22 января 2006 года не стало Юрия Давидовича Левина, одного из старейших и наиболее авторитетных сотрудников Пушкинского Дома.

Ю. Д. Левин родился в 1920 году в Петрограде, с которым была неразрывно связана вся его жизнь. В 1937 году он поступил на английское отделение филологического факультета Ленинградского университета. В июле 1941-го, окончив четыре курса, он ушел добровольцем в армию защищать родной город. Демобилизованный в 1945 году вследствие тяжелого ранения, Юрий Давидович вернулся в университет уже в качестве аспиранта Кафедры истории западноевропейских (позднее — зарубежных) литератур и в 1951 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Зарождение критического реализма в английской литературе (Творчество Джорджа Крабба)». В 1956-м, по приглашению М. П. Алексеева, своего университетского еще с довоенных времен учителя, Ю. Д. Левин стал сотрудником создававшегося в Пушкинском Доме Сектора взаимосвязей русской и зарубежных литератур и проработал там в течение более сорока лет. Несколько лет он заведовал Сектором. В 1968 году Ю. Д. Левин защитил докторскую диссертацию на тему «Шекспир в русской литературе XIX века (От романтизма к реализму)», а в 1975 году возглавил Ленинградское отделение Шекспировской комиссии АН СССР; в 1984 году он стал членом Союза писателей СССР.

Ю. Д. Левин был глубоко связан с традициями выдающихся гуманитариев прошлого, с которыми ему довелось сотрудничать, развивал эти традиции и передавал их новым поколениям ленинградских—петербургских филологов. Высокая культура, огромное трудолюбие, научная честность и принципиальность — этими чертами была отмечена вся его неустанная и плодотворная деятельность, несмотря на немалые испытания, выпавшие на долю ученого в разные периоды жизни.

Первая печатная работа Ю. Д. Левина — статья «Некрасов в Англии и Америке (Критико-библиографические заметки)» — была опубликована в 1947 году. Знаменательно, что уже в ней были намечены и одновременно сведены воедино три ключевых направления его научных интересов: русско-английские литературные связи, история художественного перевода и библиография.

Главными же ориентирами, точками притяжения всегда оставались для него Шекспир, Пушкин, Тургенев, Лермонтов, М. Л. Михайлов, Россия и Англия, XVIII век. Очень рано обозначились и две основополагающие темы, в которых он заслуженно считался крупнейшим авторитетом: теория и история художественного перевода и восприятие творчества Шекспира в России. Впрочем, в высшей степени поучительным был весь ход творческой эволюции ученого. Ее основными вехами являются следующие работы: М. Михайлов. Собрание стихотворений (Б-ка поэта, Большая сер., 1953); Русские писатели о языке (XVIII—XX вв.) (совместно с Б. В. Томашевским, 1954); Русские писатели о переводе: XVIII—XX вв. (совместно с А. В. Федоровым, 1960); Шекспир и русская культура (1965); Оссиан в русской литературе (1980); один из авторов «Лермонтовской энциклопедии» (1981); Дж. Макферсон. Поэмы Оссиана (1983); Русские переводчики XIX века и развитие художественного перевода (1985); Шекспир и русская литература XIX века (1988); Восприятие английской литературы в России (1990); один из авторов «Истории русской переводной художественной литературы» (1995—1996. Т. 1—2).

Каждая крупная работа Ю. Д. Левина оказывалась в центре внимания его коллег как в России, так и за рубежом. Подтверждением тому служат многочисленные отклики на книги ученого. Наибольший резонанс вызвала монография «Оссиан в русской литературе» — четырнадцать рецензий, из них десять иностранных; одиннадцать откликов вызвала монография «Русские переводчики XIX века».

Особое значение имела монография Ю. Д. Левина «Шекспир и русская литература XIX века», труд новаторский и этапный для отечественного литературоведения. Творчество Шекспира рассматривается здесь не просто как национальная версия общекультурного процесса, а как неотъемлемая часть духовной, культурной и общественной жизни России; четко определены и разграничены качественно разные этапы русского шекспиризма.

Неизменно волновали ученого вопросы художественного перевода. Его открытия в этой области имели столь большую ценность для отечественной теории художественного перевода, что уже давно воспринимаются как аксиомы. К таким идеям, высказанным впер-

вые Ю. Д. Левиным, принадлежит, например, теория переводной множественности, обоснованию которой посвящено несколько его работ и которая лежит в основе многих его исследований. Монография «Русские переводчики XIX века» явилась первым опытом описания и осмысления огромного пласта словесности, обычно игнорируемого не только русистами, но и авторами любых историй национальных литератур. Ю. Д. Левин убедительно доказал, что без учета творческих достижений переводчиков, их вклада в национальную культуру любые историко-литературные построения оказываются не только односторонними, но и неверными.

В Союз писателей Ю. Д. Левин был принят в секцию перевода, причем речь в данном случае шла не только, а может быть, даже не столько о его заслугах в области переводоведения, осмысления природы художественного перевода и изучения его истории, сколько о его вкладе в практику художественного перевода, о его талантливых переводах с английского, немецкого, французского: Дж. Свифта, Дж. Крабба, Э. Верхарна, Г. Сакса, Т. Мура, Дж. Макферсона и мн. др.

Чрезвычайно высок был авторитет Ю. Д. Левина и в своей стране, и за рубежом. Его работы прекрасно знали, рецензировали, ими постоянно пользовались, опирались на сделанные в них выводы. Долгие годы исследователю был заказан путь в Англию, культурой которой он занимался столь основательно. Известность ученого неизмеримо возросла в перестроечные годы, он стал активнее участвовать в международных конгрессах и

коллоквиумах. Статьи Ю. Д. Левина публиковались в таких солидных научных журналах, как Oxford Slavonic Papers, Slavonic and East European Review, Scottish Slavonic Review, Zeitschrift für Slawistik и др. Книга Ю. Д. Левина «Восприятие английской литературы в России» вышла в английском переводе. В 1988 году ему была присуждена Оксфордским университетом степень почетного доктора литературы, а в 1993 году он стал членом-корреспондентом Британской Академии. Ю. Д. Левин также был избран Президентом Международной Ассоциации современных гуманитарных исследований на 1994 год.

В своих страстных, несмотря на подчеркнуто суховатость манеры изложения, работах Ю. Д. Левин доказывал единство мирового литературного процесса, развеивая миф о культурной разобщенности, да и своим человеческим типом — человека открытого и приветливого — он доказывал единство, а не разобщенность людей. Он всегда готов был дать ценную научную консультацию, библиографическую справку, помочь доброжелательным советом.

Благодарная память о Ю. Д. Левине, ученом и человеке, навсегда сохранят все те, кто его знал, кто с ним работал, кто у него учился.

© В. Е. Багно,

© Р. Ю. Данилевский,

© П. Р. Заборов

Технический редактор *Е. Г. Коленова*
Корректоры *О. И. Буркова, А. К. Рудзик и Я. Л. Сухова*
Компьютерная верстка *Т. Н. Поповой*

Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000 г. Подписано к печати 25.04.06.
Формат 70 × 100 $\frac{1}{16}$. Гарнитура школьная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 19.5.
Уч.-изд. л. 24.2. Тираж 1027 экз. Тип. зак. № 223. С 94

Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1
E-mail: main@nauka.nw.ru
Internet: www.nauka.nw.ru

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12